ЖАН ЖЕНЕ

ВЛЮБЛЕННЫЙ ПЛЕННИК



18+

Влюбленный пленник

Жан Жене

Аннотация
Жан Жене. Влюбленный пленник
Воспоминания
Воспоминания II

Аннотация

Жан Жене с детства понял, что значит быть изгоем: брошенный матерью в семь месяцев, он вырос в государственных учреждениях для сирот, был осужден за воровство и сутенерство. Уже в тюрьме, получив пожизненное заключение, он начал писать. Порнография и открытое прославление преступности в его работах сочетались с высоким, почти барочным литературным стилем, благодаря чему талант Жана Жене получил признание Жана-Поля Сартра, Жана Кокто и Симоны де Бовуар.

Начиная с 1970 года он провел два года в Иордании, в лагерях палестинских беженцев. Его тянуло к этим неприкаянным людям, и это влечение оказалось для него столь же сложным, сколь и долговечным. «Влюбленный пленник», написанный десятью годами позже, когда многие из людей, которых знал Жене, были убиты, а сам он умирал, представляет собой яркое и сильное описание того исторического периода и людей.

Самая откровенно политическая книга

Жене стала и его самой личной – это последний шаг его нераскаянного кощунственного паломничества, полного прозрений, обмана и противоречий, его бесконечного поиска ответов на извечные вопросы о роли власти и о полном соблазнов и ошибок пути к самому себе. Последний шедевр Жене – это лирическое и философское путешествие по залитым кровью переулкам современного мира, где царят угнетение, террор и похоть.

Жан Жене
Влюбленный пленник

Jean Genet
Un Captif Amoureux

© Editions GALLIMARD, Paris, 1952
© Смирнова Алла, перевод
© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Воспоминания

Страница, которая была поначалу белой, теперь сверху донизу покрыта крошечными черными значками, буквами, словами, запятыми, восклицательными знаками, и благодаря им страницу теперь можно прочитать. Однако откуда это непонятное душевное беспокойство, отвращение, чуть ли не тошнота, нерешительность, которая не позволяет мне начать писать… неужели реальность и есть это множество черных значков? белизна здесь — субстанция сродни полупрозрачности пергамента, охре глиняных табличек то с процарапанными, то с рельефными письменами, а прозрачность и белизна, возможно, — реальность более убедительная, чем уродующие их значки. Палестинская революция была записана на небытии, вот еще одна субстанция — небытие, и белая страница, и любой, самый крошечный просвет белого листа между двумя словами, возможно, более реальны, чем черные значки? Читать между строк — искусство штиля, читать еще и между слов — искусство шторма. Если бы реальность могла существовать в каком-то

определенном месте, она, реальность времени, проведенного рядом с палестинцами — но не вместе с ними — сохранилась бы, возможно, я не совсем точно выражаюсь, между каждым из слов, стремящихся осознать эту реальность, но она съеживается, уплотняется, туго входит в пазы между словами или, вернее, оказывается плотно вбита между ними, на этом белом пространстве бумажной страницы, между словами, а не в них самих, которые и были написаны для того, чтобы исчезла эта реальность. Нет, скажу по-другому: пространство между словами наполнено реальностью больше, чем время, необходимое, чтобы эти слова прочитать. Но, возможно, это то самое, плотное и реальное время, спрессованное между буквами древнееврейского языка; и когда мне привиделось, что негры — это черные буквы на белой странице Америки, эта картинка промелькнула слишком быстро, поскольку реальность в том, чего я никогда не смогу узнать достоверно, она там, где разыгрывается любовная драма между двумя американцами с разным цветом кожи. Выходит, палестинская революция прошла мимо меня? Именно. Я понял это, когда Лейла посоветовала мне отправиться на Западный берег реки Иордан. Я отказался, потому что

оккупированные территории были лишь частью трагедии, прожитой мгновение за мгновением и теми, кого оккупировали, и теми, кто оккупировал. Их реальность была переплетением ненависти и любви, прозрачностью, тишиной с насечками слов и фраз.

Мне показалось, что в Палестине — здесь это заметнее, чем где бы то ни было — у женщин на одно положительное качество больше, чем у мужчин. Мужчина, тоже храбрый, отважный, внимательный к другим, в каком-то смысле ограничен собственными добродетелями. В то время как к добродетелям женщин, которые, впрочем, не допущены на военные базы, но работают в лагерях, добавляется, ко всем прочим, еще одно качество, над которым можно было бы от души посмеяться. В комедии, которую они разыгрывали, чтобы защитить кюре, мужчинам не хватило бы убедительности. Возможно, гинекей, женские покои в доме, был изобретен женщинами, а не самцами. Когда мы закончили обедать, было около половины первого. Лучи солнца вертикально падали на Джераш[1], мужчины отдыхали. Мы с Набилой, единственные бодрствующие существа,

[1] Примечания: 1
Город в Иордании. (*Прим. ред.*)

которые не пытались укрыться в тени, решили отправиться в лагерь Бакаа неподалеку. В те времена Набила была еще американкой, позднее она разведется, чтобы остаться с палестинцами. Ей тридцать, она красива, как героини вестернов: джинсы, синяя джинсовая рубашка, распущенные черные волосы до пояса, на лбу челка, в такой час на дороге, ведущей в лагеря, она выглядела неприлично соблазнительной. Какие-то палестинки в национальных платьях заговорили с ней и были чрезвычайно удивлены, когда эта женщина-мальчик ответила им по-арабски, причем с палестинским акцентом. Стоит только трем женщинам начать разговор, не успеют они обменяться двумя-тремя учтивыми фразами, как к ним присоединяются еще пять женщин, а потом еще семь-восемь. Я стоял рядом с Набилей, но обо мне забыли, вернее, просто не обращали внимания. Минут через пять мы зашли в дом к одной из палестинок выпить чаю — просто предлог, чтобы продолжить разговор в прохладной комнате. Они разостлали для нас двоих покрывало, бросили на него несколько подушек, сами остались стоять, готовя чай или кофе. Никто не обращал на меня внимания, кроме Набилы, которая, вспомнив о моем присутствии, протянула мне стаканчик.

Разговор велся по-арабски. А моими собеседниками были четыре стены и беленый известью потолок. Что-то подсказывало мне: данная ситуация не совсем соответствует принятому на Востоке — я оказался единственным мужчиной среди нескольких арабских женщин. Это был какой-то Восток наоборот, ведь все женщины, кроме троих, были замужем, и каждая, похоже, была единственной женой у своего мужа. Так что вся эта обстановка — я лежал, развалившись на подушках, как паша — выглядела довольно двусмысленной. Я прервал поток слов, которыми они обменивались с Набилой, и попросил ее перевести:

— Вы ведь все замужем, где ваши мужья?

— В горах!

— Они воюют!

— Мой работает в лагере!

— И мой!

— А что бы они сказали, если бы узнали, что с вами находится чужой мужчина, который лежит на их покрывалах и подушках?

Они расхохотались, а одна сказала:

— Они это и так узнают. Узнают от нас, смутятся, а мы еще и посмеемся. Мы все будем смеяться над нашими воинами. От досады они сделают

вид, что играют с детьми.

При этом все женщины не только болтали: каждая занималась одним-двумя существами мужского пола, которых некогда произвела на свет, меняла им пеленки, давала грудь или соску, чтобы он вырос, стал героем и погиб в двадцать лет не на Святой земле, а ради нее. Так они мне сказали.

Это было в конце 1970 года в лагере Бакаа.

Слава героев измеряется не значимостью завоеваний, а величием знаков почитания; «Илиада» важнее, чем война Агамемнона, халдейские стелы значимей, чем армии Ниневии; колонна Траяна, «Песнь о Роланде», настенная живопись великой Армады, Вандомская колонна, все эти памятники, прославляющие военные победы, были созданы после великих сражений благодаря трофеям, созданы талантом художников, их пощадили мятежи и ненастья. Остаются только свидетельства более или менее точные, но всегда волнующие, дарованные победителями грядущим векам.

Безо всякого уведомления мы оказались в состоянии боевой готовности. Европа содрогнулась, я до сих пор не могу прийти в себя. За три года до этого, цитирую: «кинематографисты Тель-Авива

разбрасывали по пляжам башмаки, каски, ружья, штыки, оставляли на песке следы босых ног, чтобы изобразить картину разгрома, которая будет доработана в студии Лос-Анджелеса». Изображение битв, побед или поражений, все это не было внове, в каждом лагере имелись свои хитрости, свои мастера, творцы, приписанные к армии в каждом египетском походе, рисовальщики и художники живописали по следам событий то, что оставит вам победитель. В 1967 году Израиль сперва подготовил, затем снял, смонтировал беспорядочное бегство египтян, а на седьмой день показал его по телевизору, мир получил эту картинку одновременно с заверениями об их победе над арабами. Внезапно умер Насер, и пышность его похорон затмила саму смерть. Колыбель, аэростат, если хотите, гроб, раскачивался, танцевал, почти парил над головами людей, с виду рассерженных, но, возможно, очарованных этой игрой. Хусейн, Бумедьен, Косыгин, Шабан-Дельмас, Хайле Селласие, прочие главы государств или правительств были отодвинуты в сторону пятнадцатикилограммовыми кулаками, широкими накачанными плечами — сколько надо перетаскать ящиков — каирских грузчиков или рабочих сборочного конвейера, отодвинуты и

поставлены на свое место — так осторожно и даже изящно снимают шелковый чулок, захватив его между большим и указательным пальцами, и кладут на диван. Суровые египетские парни гроб не отдали.

Игра уже началась, и мяч для регби затерялся в свалке, чтобы вновь появиться в другом углу экрана. За него дрались несколько регбистов. Чей раздосадованный пинок швырнул его в бессмертие? Те, кто несли гроб, шли все быстрее и быстрее, за их бешеным темпом едва успевал Коран. Ступни, ноги, груди, гроб неслись во весь опор. Носильщики устремились вперед с гробом, злобные, как игроки Олл Блэкс. Толпа поглотила его. Весь мир следил за этой игрой с экранов телевизоров, угадывал передвижения гроба — от ноги к ноге, от кулака к плечу, между ног, в волосы, и на египетской земле толпа, носильщики, чтецы Корана, гроб, регбисты, все исчезло, осталось одна только скорость, она все нарастала и нарастала, и так до самой могилы. Лопаты, выворачивающие землю, издавали больше шума, чем холостые пушечные выстрелы. На могиле, несмотря на охрану, две или три тысячи освобожденных от груза ног танцевали до самого утра. Они двигались с абсолютной скоростью, это была скорость

Бога Единого. Я подумал, что на Кубке мира по Похоронам на скорость эти стали бы чемпионами.

Немного позже, в сентябре 1970 Хусейн, король Иордании мог быть свергнут фидаинами, но Америка пришла ему на помощь. Коль скоро моральный дух и мужество Насера оказались не на высоте, чувственное и мужественное регби, которое мы наблюдали по телевизору, были некой церемонией, призванной стереть из памяти поражение 1967, скрыть то, что предвещал 1970. Тот, кто пропадает, — прячется? Сила этого зрелища на экране была простодушной, как поцелуи, расплющенные о рот, волосы, золотую цепочку, серьгу в ухе, веки того, кто забил гол. А крики взметнувшегося стадиона, возгласы — так приветствовали гол эти обмен поцелуями? Под грудой десятерых потных парней пропал один? Он так прячется? Тело *Раиса*[2] исчезло. Тот, кто был солнцем народа, соединится с кедром, из которого сделан гроб, а время все благословит. Эпоха наций насаживает на вертел арабский народ. Отечества возбуждены… Нужны будут новые войны. Насер объявится снова в виде рисунков в комиксах.

---

[2] Примечания: 2

«Раис» — глава, президент в переводе с арабского языка. (*Прим. ред.*)

Еще прежде чем оказаться там, я знал, что необходимость моего присутствия на берегу Иордана, на палестинских базах, никакими словами выразить невозможно: я принял этот мятеж, как музыкальное ухо распознает верную ноту. Часто лежа под деревьями возле палатки, я смотрел на Млечный путь, такой близкий за нависающими ветками. Вооруженные часовые передвигались в ночи бесшумно, по траве и листьям. Их силуэты хотели слиться со стволами деревьев. Они прислушивались. Они, часовые. Мой-твой-часовой.

Млечный путь, беря свое начало в огнях Галилеи, выгибался сводом, который, нависнув надо мной, нависал и над всей Иорданской долиной, а затем, разделившись, умирал в Саудовской пустыне. Вытянувшись на покрывале, я проникался этим зрелищем, возможно, глубже, чем палестинцы, для которых небо было банальностью. Придумывая, как мог, их мечты, ведь у них были мечты, я знал, что меня отделяет от них вся моя жизнь, которую я прожил в тоске и скуке. Поскольку слова «колыбель» и «невинность» связаны так целомудренно, палестинцы, дабы случайно не исказить ни то, ни другое понятие, похоже, не решались поднять голову: наверное, они и не видели эту ночь, где рождалась красо-

та неба — ее колыбель качали мигающие огни Израиля. В одной шекспировской трагедии лучники пускают стрелы в небо, а я не удивился бы, если бы фидаины, твердо стоящие на широко расставленных ногах, раздраженные такой красотой свода, опирающегося на землю Израиля, прицелились бы и выпустили автоматную очередь в Млечный путь, Китай и социалистические страны, поставляющие им столько боеприпасов, что можно было бы разнести половину небесного свода. Но чтобы Палестина стреляла в звезды, которые излучает их собственная колыбель?

— Была единственная процессия — моя. Та, в святую пятницу, где я шел впереди в белом стихаре и черной мантии. Мне некогда с вами разговаривать, — сказал мне кюре, уже красный от гнева.

— А я видел две процессии. Там еще была хоругвь с Богородицей…

— Нет, никакой второй процессии с Богородицей не было. Это что, проходимцы, которые шагали в ногу и трубили в трубу? Какие-то рыбаки, шли бы они своей дорогой. Любят они скандалы.

А у меня на глазах столкнулись две процессии, во главе первой шел этот ливанский кюре, а

над второй реяла белая с синим хоругвь, и, если верить рассерженному священнику, шествие состояло из всякого сброда, бездельников, моряков, они направлялись в порт. Я позднее узнал от одного бенедиктинца, процессий, и правда, было две. Первая, несмотря на музыку, двигалась довольно медленно, с какой-то неестественной скорбью. Оркестр и хор — мужчины и женщины — исполняли «Реквием», и вот эту скорбную процессию решительно подрезала другая, где очень бодро, чуть ли не бегом, шли молодые люди и дули в трубы. Шагающий во главе здоровяк высоко нес стяг с образом богородицы. Я узнал ее по двум сложенным ладоням, по отделанным белой каймой облакам на синем небе, золотистые звезды обрамляли ее, как на картинах Мурильо, пальцы ног опирались на полумесяц, который казался таким острым. Звезды, синева неба, размеренный шаг, трубы, бодрая мелодия, резиновые сапоги, вязаные свитера моряков, вся эта процессия должна была бы открыть мне — и если верить кюре, главным образом звезды и луна, открыть мне вот что: звезд, описывающих почти идеальную сферу вокруг богородицы, было ровно столько, сколько в Малой Медведице; синева неба была синевой моря; облака с белой каймой

— волны с изгибом; полумесяц — Ислам; трубы трубили радостную мелодию, потому что люди шли по правильному пути, наперерез траурной процессии; парни в резиновых сапогах это рыбаки, а женщина — без нимба, венчающего голову Девы Марии, символизировала Полярную звезду. Так начался мой разговор с бенедиктинцем. Еще он мне сказал, что образ Богородицы отнюдь не был ни богородичным, ни вообще христианским, а привнесенным еще доисламскими народами, населявшими морское побережье. Она была языческой по своему происхождению, а моряки поклонялись ей уже тысячелетия; в самые темные ночи она неизменно указывала им на север; благодаря ей самая неоснащенная лодка могла бы идти без парусов, но монах не смог мне сказать, почему эта процессия была такой радостной в день смерти Сына, оставившего шестнадцатилетнюю мать, похожую на образ богородицы, изображенный на стяге. Поскольку расспрашивать его дольше он не позволил, я сказал себе, то есть, сказал без слов, что радость этих труб, возможно, была именно сегодня, в пятницу, торжеством язычества над религией Сына.

Этой ночью в Аджлуне[3] я увидел Полярную звезду, которая находилась справа, на своем привычном месте в созвездии Малой медведицы, и если Млечный путь рассыпался в Аравийской пустыне, я чувствовал звездное головокружение, осознавая, что нахожусь в мусульманской стране, где женщина, как я еще думал, так далека, я вызывал в своем пред-сне процессию мужчин-холостяков, которые завладели — это походило на похищение — *образом* очень красивой дамы, и женщина эта являла собой Полярную звезду, навечно закрепленную где-то в эфире, на неисчислимо-огромном расстоянии, и, как всякая женщина[4], она принадлежала всегда к какому-то другому созвездию; рыбаки мастурбировали чаще, чем законные мужья, а слово полярный относилось и к звезде, и к женщине. Хоть я и лежал совершенно неподвижно, завернувшись в покрывала, лицом вверх, я чувствовал, как звезды увлекают меня в некий вихрь, нежность

[3] Примечания: 3

Аджлун — город на северо-западе Иордании, расположенный вблизи границы с Израилем. (*Прим. ред.*)

[4] Примечания: 4

Палестинцы, которых часто приглашали в Китай, напомнят — и мне нечего будет им возразить — высказывания Мао: одно из самых часто цитируемых касалась женщин, которых тот называл «Другая половина созвездия»

мускулистых рук и волновала, и успокаивала. Я слышал, как в двух шагах от меня, в ночи струятся воды Иордана. Я стыл.

Так когда-то, скорее, из любопытства, а не по убеждению приняв приглашение провести несколько дней с палестинцами, я останусь с ними почти на два года, и каждую ночь, вытянувшись на покрывале, полумертвый, в ожидании, пока меня усыпит пилюля нембутала, я лежал, широко раскрыв глаза, с ясной головой, не удивляясь ничему и ничего не боясь, но находя забавным то, что лежу здесь, где по обоим берегам реки мужчины и женщины давно привыкли жить настороже, так почему не я?

При всей своей тогдашней бедности я был человеком, которому повезло родиться в столице империи столь обширной, что она опоясывала весь земной шар, а в это самое время палестинцев изгоняли с их земель, из их домов, их постелей. А сколько им пришлось скитаться потом!

«Звезды, мы были звездами. Из Японии, Норвегии, Дюссельдорфа, Соединенных Штатов, Голландии, не удивляйся, что я считаю на пальцах, из Англии, Бельгии, Кореи, Швеции, стран с неизвестными нам названиями, это были про-

сто географические понятия, приезжали нас снимать, фотографировать, брать интервью. «Кинокамера», «в кадре», «наезд камеры», «голос за кадром», понемногу фидаины оставались «за кадром». Какой-то журналист, рядом с которым целых три метра шел Халеб абу Халеб, благодаря этой милости стал утверждать, будто является другом Палестины; мы узнавали неведомые нам прежде названия городов, учились пользоваться невиданными ранее приборами, но никто на военных базах или в лагерях не видел ни одного фильма, ни одной фотографии, ни одной передачи, ни одной иностранной газеты, в которой говорилось бы о нас, мы существовали, мы делали поистине удивительные вещи, раз уж на нас приезжали посмотреть так издалека, но где было это далеко? Журналисты оставались с нами почти два часа: им нужно было сесть на самолет в Аммане, чтобы шесть часов спустя присоединиться к свите Лорда-мэра лондонского Сити. Большинство из них полагало, будто Абу Аммар и Ясир Арафат это два разных человека, возможно, противники. Даже те, кто знали правду, ошибались, когда умножали на три или четыре (количество имен, которые каждый носил) число

сторонников АОП[5] или ФАТХа, думая, будто нас в три-четыре раза больше. Нами восхищались, пока наша борьба не выходила за пределы, установленные Западом арабскому миру. Сегодня и речи нет, чтобы поехать в Мюнхен, Амстердам, Бангкок, Осло — мы когда-то добрались до Осло, где выпало столько снега, что его можно было собирать и лепить снежки, а потом бросать прямо в физиономию. В наших песках и холмах мы были людьми из Легенды. Спуститься ночью в бездну Иордана, поставить мины, утром вернуться, это значило подняться из Ада или спуститься с Неба? Когда на нас смотрел какой-нибудь европеец или европейка…»

Мне поведали этот рассказ через переводчика, но мне показалось, что его автору-фидаину приходится повторять его часто, ведь каждое слово стояло на своем месте и казалось так уместно во фразе, что я все понимал еще до того, как звучал перевод. Очевидно, фидаин прочел это в моем взгляде? Он обратился непосредственно ко мне:

— Все бойцы моего возраста были похожи. Похожи на меня. Взгляд европейца сиял — теперь я знаю, почему и как он сиял: от желания, потому

---

[5] Примечания: 5
Армия Освобождения Палестины.

что мы чувствовали этот взгляд на своем теле еще до того, как замечали самого европейца. Даже если мы поворачивались спиной, ваши взгляды пронзали затылок. И мы инстинктивно становились в позу — героическую, а значит, соблазнительную. Ноги, бедра, туловище, шея, завораживало всё — не то, чтобы хотели соблазнить кого-то конкретно, просто они провоцировали ваши взгляды, а мы на них отвечали, как вы и надеялись, ведь вы сделали из нас звезд. А еще чудовищ. Вы нас называли: террористы! Мы были террористами-звездами. Любой журналист готов был подписать Карлосу чек на крупную сумму, чтобы выпить с ним один, два, три, десять стаканов виски, опьянеть, и чтобы он обратился к нему на «ты», А если не Карлос, то пускай Абу эль-Аз.

— Кто это?

В 1971 был убит Васфи Таль, премьер-министр Хусейна — его зарезал, кажется, в Каире, один палестинец, который потом смочил руки в его крови и стал пить. Он называет себя Абу эль-Аз. Сейчас он в ливанской тюрьме, его арестовали фалангисты. Фидаин, который мне это рассказывал, был его сообщником. Я не скажу его имени. С каким отвращением европейские журналисты передавали это «я пил его кровь», сперва я

подумал, что это риторическая фигура, которая означает «я его убил». Его верить его товарищу, он и вправду лакал кровь Васфи Таля.

— Все командиров и всех фидаинов, членов АОП Израиль называет террористами. Что, он должен восхищаться вами?

— Ну, рядом с ними, рядом с американцами и европейцами мы просто карлики. Если вся земля — это царство террора, мы-то знаем, кто в этом виноват, вы всюду сеете террор, а сами прячетесь в норы. Сегодняшние террористы и те, о ком я говорю, выставляют напоказ свои тела, в этом-то и разница.

После соглашений 1970, когда в Аммане уличную полицию разогнали патрули фидаинов и бедуинов, иногда смешанные, фидаины с насмешливой беспечностью считывали эмблемы и символы каждой страны, быстро пролистывали паспорта, которые бедуины осторожно рассматривали и вертели в своих длинных пальцах аристократов пустыни. С серьезными лицами они возвращали разрешения на проживание, пропуска, водительские права, технические паспорта, держа документы вверх ногами. Было видно, как они растеряны и напуганы. Униженные в 1970, они с радостью убивали палестинцев

в июне 1971. Причина убийства была не важна, была радость убийства.

Сегодня почти весь Амман похож на квартал, который до сих пор называют Джабаль Амман, и который остается самым шикарным кварталом столицы. Стены вилл были возведены из шишковатого камня, порой обтесанным под так называемый «алмазный конус». В 1970 этот роскошный район, солидный и внушительный, был так не похож на строения в лагерях из парусины и листового железа. Эта парусина с разноцветными заплатками, закрывающими дыры, радовала взгляд, особенно взгляд западного человека. Если смотреть на лагерь издалека и в пасмурный день, можно было подумать, будто там царит сплошное счастье, казалось, каждый кусок разноцветной ткани тщательно подобран в сочетании с другими, и такую гармонию мог создать только веселый народ, сумевший сделать из своего лагеря радость для взора.

Кто, читая эту страницу в середине 1984, когда она была написана, спросит себя, подходит ли слово «разрастаться» лагерям палестинцев? Как, наверное, четыре тысячи или даже больше лет назад они, похоже, появились на поверхности планеты сразу во многих местах: Афганистан, Ма-

рокко, Алжир, Эфиопия, Эритрея, Мавритания… целые народы становятся кочевниками не по собственному выбору, а из-за какого-то зуда в ногах, мы видим нечто подобное из иллюминатора самолета или перелистывая журналы для богатых, где все эти лагеря на глянцевой бумаге, кажется, преисполнены мира и покоя, а ведь это обломки «оседлых» народов. Не зная, как избавиться от «сточных вод», они просто оставили их в долине, на склоне холма, как правило, между тропиками и экватором.

С небес, из герметичного пространства самолета, мы видим, что так называемые оседлые города и нации, прикрепленные, привязанные к земле, подобно Гулливеру, если и использовали труд своих кочевников: корсаров, мореплавателей, магелланов, де гама, ибн-батут, путешественников, центурионов, землеустроителей, то использовали, презирая их. Зато потом так хорошо, так тепло им было при банках, под сенью золотых запасов, когда благодаря переводным векселям «циркулировали» деньги.

Нам следовало с недоверием относиться к этой изысканности и элегантности, которая могла бы убедить нас, что счастье — там, где столько фантазии и воображения; следует с недоверием

рассматривать фотографии освещенных солнцем лагерей на глянцевой бумаге роскошных иллюстрированных журналов. Порыв ветра — и все улетело, парусина, холсты, цинковые и железные листы, и я увидел несчастье при свете дня.

Присвоить себе язык мореплавателей, было, вероятно, делом нетрудным, но на каком языке принимались говорить, когда терялись на твердой земле, нет, еще не поэты, как их именовали на суше, шагающие и отдыхающие на незыблемой почве, успевающие воскресить в памяти и бескрайние морские просторы, и пропасти, и вихри, а именно мореплаватели, идущие по курсу, в надежде — если не вмешается небесное или материнское провидение — на нежданное возвращение на знакомую землю, к своему очагу; так какие слова вырывались из уст, когда нужно было назвать берег или деревянный брус, ют, верхнюю палубу, кусок треугольного полотнища на брам-стеньге. Странно не то, что слова эти были изобретены в припадке безумия, а то, что они до сих пор живы в нашем языке, а не сметены мощным кораблекрушением. Придуманные в часы скитаний и одиночества, то есть, страха, они в нашей лексике что-то вроде килевой качки, которая заставляет нас раскачиваться из стороны

в сторону и терять равновесие.

Если нужно добраться из Клагенфурта в Мюнхен, садишься на небольшой поезд, пульсирующий между холмов петлевым узором, где контролер-австриец ходит по узкому проходу, раскачиваясь, как матрос на палубе в бурю. В Тирольских горах этот нелепый танец вразкачку в коридорах поезда — единственное напоминание о море, все, что осталось от континентальной и морской империи, где над землями и морями никогда не заходило солнце, Максимилиан и Шарлотта видели это, когда ездили в Мексику. «Большие глубины» — это такое же высокопарное выражение, как и почти все судоходные термины, старое, но не забытое. Когда в море скитались моряки, потерянные в одиночестве, тумане, воде, постоянной качке, они скитались — в надежде потеряться и там тоже — в своих словесных находках и открытиях: буруны, шторма, край земли, поселенцы, баобабы, ниагары, катраны… при помощи этого словаря, неведомого их вдовам, вышедшим вторично замуж за какого-нибудь башмачника, они станут рассказывать о путешествиях, о которых даже просто говорить нельзя без страха и наслаждения. «Воды больших глубин» — возможно, это глубина, сходная с са-

мым черным мраком, и ни один взор не в силах проникнуть через тысячи и тысячи стен, туда, где бесполезны цвета, поскольку — невозможны. Амман я тоже могу описать с помощью этого выражения, ведь под семью горами, на которых раскинулся город, расстилаются девять долин, расщелин, их не смогут заполнить собой ни банки, ни мечети, и когда покидаешь дорогие, то есть, расположенные высоко и самые богатые кварталы, словно спускаешься в большие глубины, даже странно, что туда можно добраться без скафандра, а еще замечаешь вот что: ноги становятся подвижнее, коленные чашечки поворачиваются быстрее, сердце бьется слабее, но крики прохожих и гул автомобилей — а порой и треск автоматной очереди — сходятся, словно две команды-соперницы какого-то нового спорта, на мгновение всё перекрывают крики, затем гул и получается сумбур, в котором ничего нельзя различить четко, и остается только некий шум, непонятно почему его называют глухой шум, хотя глухим становитесь вы сами; это что касается слуха. Что же до взгляда, он останавливается на однообразно серых витринах, окаймляющих улицы «больших глубин». Без сомнения, пыль была еще арабской, а товар японский, но ровный слой

пыли на привезенных из Токио инструментах, слой пыли, на взгляд такой же мягкий, как шерстка внутри ослиного уха, был тоже подобием ночи, но не кромешной ночи, а словно освещенной этой серой пылью, которая и делала из Аммана город больших глубин. Нежная, кроткая пыль, опускающаяся на последние модели японской электроники, самого *неистового* архипелага мира, ну как ее объяснить? Неприятие любого проявления эстетства? Погребение, откуда нет возврата? Образ будущего, того, во что всё превратится? Нежность и мягкость, от которых делаются хрупкими самые страшные механизмы?

Но была бы астрономия наукой столь же ничтожной и пустой, что и теология, если бы мореплаватели, в страхе перед большими глубинами и рифами, не рассказали о небесах и созвездиях?

От Аммана, города царства Давида, набатейского, римского, арабского, пришедшего из глубин веков, поднимался смрад наносных отложений.

Поскольку Провидению, которое вело нас за руку, веры больше не было, оставалось полагаться на случай. Благодаря ему я узнал о двух каналах, по каким попадали в Египет молодые североафриканцы, решившие умереть за ФАТХ, единственную организацию, название которой в

1968 было известно всем арабам. Бургиба, предпочитавший дипломатию войне, запретил на своей территории всякие сети добровольцев, но, тем не менее, они там существовали. Возможно, он просто закрывал глаза, поскольку приближающая старость все настойчивее требовала послеобеденного отдыха.

Некоторые слова требуют объяснений более, чем другие, тоже незнакомые. Услышав их хотя бы один раз, не можешь уже отделаться от их музыки, и слово «фидаин» из их числа. В поезде из Суса в Сфакс[6] я познакомился с шестью молодыми людьми, они смеялись и ели сардины и сыр. Они были счастливы, потому что призывная комиссия признала их негодными к военной службе, и по их рассказам я понял, что они симулировали слабоумие, помешательство и мастурбацию, от которой глохнут. Им было лет по двадцать. В Сфаксе мы расстались. Я вышел на перрон. Несколько часов спустя я вновь увидел их на берегу водоема, они опять ели консервы, но теперь не ответили на мое приветствие, на мою улыбку, смутились, кто-то опустил голову, рассматривая дыры в куске швейцарского сыра,

[6] Примечания: 6
Сус и Сфакс — города в Тунисе. (*Прим. ред.*)

другие, узнав меня, негромко и быстро заговорили между собой, и я понял — по крайней мере, так мне передали — что они вышли из поезда не на перрон, а с противоположной стороны, на рельсы, чтобы их не увидел начальник станции. На следующий день грузовик повез их в Меденин[7], где они остановились в небольшой гостинице. Ночью они перешли ливийскую границу.

Это происходило в начале лета 1968. Я часто ездил в Сфакс. Служащий отеля спросил меня, нравится ли мне Тунис — так после обмена взглядами завязываются любовные отношения. Я ответил, что нет.

— Пойдемте вечером со мной.

Мы встретились возле книжного магазина.

— Я вам прочту и переведу.

Книготорговец, незаметно, как ему казалось, прикрываясь стопкой книг, протянул нам несколько небольших сборников арабских стихов. Он открыл дверь и провел нас в маленькую комнату. Молодой человек прочел первые стихи, посвященные ФАТХу и фидаинам. В начале каждого стихотворения, справа, я увидел искусно выполненные миниатюры.

---

[7] Примечания: 7

Меденин — город на юго-востоке Туниса. (*Прим. ред.*)

— А почему тайно?

— Полиция не хочет, чтобы они распространялись. Ты знаешь, американские и вьетнамские инженеры осваивают юг Туниса. Бургиба боится историй с Америкой и Израилем. Наше правительство признало Сайгон. Идем завтра с нами. Нас трое, мы поедем на машине сорок километров.

— Зачем?

— Сам увидишь. И услышишь.

Стихи, во всяком случае, их перевод, поразили меня лишь красотой каллиграфии. В них говорилось о битвах, о чем-то страшном, но в метафорах я ничего не понял: голуби, невеста, мед. На следующий день, около пяти вечера, молодые люди повезли меня в пустыню. Они остановили машину там, где пересекались два следа. В шесть мы стали слушать радио. Это было выступление Бургибы на арабском. Время от времени молодые люди сердились, насмехались. Потом мы отправились обратно в Сфакс.

— Ну и зачем было так далеко ехать?

— Мы уже два года так развлекаемся: слушаем выступление Баргибы в пустыне.

Затем, уже серьезно, они показали мне два сходившиеся на песке следа: через юг с караванами

верблюдов и через север Туниса. Оба шли из Марокко, Мавритании, Алжира в сторону Триполи, Каира и палестинских лагерей. Те, кто направлялись по северному «каналу», ехали автостопом или «зайцем», и контролеры особо не свирепствовали, это мне рассказал сам контролер. Те, кто выбрали южный «канал», шли с караванами бедуинов. Граница короля Идриса[8] была для них открыта. Из Триполи после нескольких недель военной подготовки поездом в Каир, из Каира в Дамаск или Амман, уже не знаю, как.

В палестинские лагеря из четырех-пяти стран Магриба хлынул поток желающих сражаться и помочь палестинцам, а благодаря этой противозаконной поездке в пустыню мне удалось услышать эти призывы, воззвания и обращения, осознать, какой быстрый отклик находит палестинское сопротивление у арабов. Разумеется, необходимо было помочь фидаинам противостоять сионистской оккупации, но за этой потребностью я мог разглядеть и нечто другое: каждый из этих арабских народов желал избавиться от собственных поработителей: Алжир, Тунис, Марокко стряхнули со своих ветвей притаившихся там французов,

[8] Примечания: 8
Мухаммад Идрис ас-Сануси — король Ливии (1951–1969). (*Прим. ред.*)

Куба — своих американцев, в Южном Вьетнаме они держались на тонкой паутинке, а в Мекке еще не было паломников.

Приблизительно в это время министр Бен Салах упомянул в своих тунисских переговорах эти цифры — 49 и 51 — то есть, пятьдесят один процент для мужчин, 49 для женщин. Вероятно, просто ради развлечения, Бен Салах решил обуздать жесты торговцев, получился какой-то ущербный, усеченный рынок: торговцы коврами с ампутированными жестами, подобно деревьям парка Ле Нотра с обрезанными ветвями, изнуренные, глядя в землю, казалось, пытались отыскать там свои принесенные в жертву ветви. Небесно-голубой глаз Бургибы смотрел только на Вашингтон. В каждой деревне тунисского побережья, протянувшегося с севера на юг, гончары многие тысячелетия неутомимо вращали миллионы амфор, которые до сих пор находят на дне моря добытчики губок, и в них, в этих амфорах, до сих пор хранится масло, морской ил укрывает их еще с карфагенской эпохи, каждое утро их находили снова, еще теплые от печи, которую только что погасили. Именно так я и представлял себе, как уменьшается, как истончается Тунис: он, сам слепленный из глины, вращался на гончарном

круге и затем продавался в виде керамических амфор. В конце концов, так он весь и исчезнет, этот Тунис, — думал я.

Несколько недель спустя, где-то в середине мая 68 года в Париже, во дворе Сорбонны я нашел такие же брошюры арабских стихов, только без миниатюр, стихов во славу ФАТХа, рядом был стенд, посвященный Мао; в августе Советский Союз обкорнал Пражскую весну.

Молодым тунисцам, которых я встретил тогда на юге страны, было около восемнадцати-двадцати лет; это возраст течки, возраст обольщения ради обольщения, возраст насмешек над родительской моралью, которой потрясают, но не следуют ей. Молодежь была разнузданной, оголтелой и наглой, ведь Насер поощрял ее бунт, и потом, они были готовы умереть. Часть этой молодежи Туниса была такой, как я ее описал, а другая часть готовилась пополнить ряды официантов, приказчиков, рядовых, офицеров. Коридорные — это была последняя ступенька лестницы на Небо: красивые, полуобнаженные коридорные, иногда, сочетавшись браком, они покидали Тунис первым классом, с каким-нибудь швейцарским банкиром, реже с банкиршей, и

1968 год закончился. Поначалу тайная и приглушенная, в Аммане окрепла борьба палестинцев против короля Хусейна.

Я бы хотел сказать еще про амфоры, несколько слов вертятся у меня на языке. Я видел, как их делают. На гончарном круге лежала глина, гончар вращал круг ногой — он напоминал мне крестьянку, приводящую в движение швейную машинку Зингер — и когда амфора была почти готова, он доставал ее из гончарного круга и бросал в ящик, она разбивалась, и подмастерье разминал еще свежие, не застывшие куски глины, формируя плотную массу, смешивая с другой кучей глины, которой предстояло отправиться на гончарный круг, просто гончар в последний момент сделал какую-то непоправимую ошибку. Возможно, его палец, наверное, большой или какой-нибудь другой, может, от усталости или по какой иной причине, слишком сильно надавив, прорывал стенку сосуда, или еще что-нибудь. Нужно все начинать сначала, иначе амфора не проживет положенные ей три тысячи лет. А японские гончары, напротив, любят такие случайные повреждения. Они их дожидаются, подстерегают, что бы ни стало их причиной: глина, гончарный круг, печь, глазурь, подстерегают

и порой даже утрируют, во всяком случае, готовы ввязаться с ней в новую авантюру, форма и цвет могут соответствовать всем канонам, но на боку вдруг появится царапина ногтем, обжиг окажется слишком сильным или слишком слабым, они будут беречь эту ошибку, любить ее и лелеять, пока она не станет умышленной, пока не сделается выражением и отражением их самих. Если у них получится, они будут удовлетворены: это современное произведение. А у тунисцев нет, не современное, но зато мало кто из швейцарских банкиров любит японских гончаров. К причинам, о которых я уже говорил — почему арабская молодежь едет сражаться вместе с палестинцами — думаю, следует добавить их отвращение к тысячелетним амфорам.

В свой стране молодые тунисцы смотрели вокруг и находили того, кого можно подчинить себе: феллахов, приехавших с юга, из какого-нибудь захолустья, которому еще не нашлось места на карте, или французских туристов, которых легко уболтать, в этом деле жгучий взгляд важен не меньше, чем хорошо подвешенный язык. Могло показаться, будто скорость речи есть следствие приема амфетаминов, а на самом деле эта молодежь выдавала настоящие языковые перлы,

поскольку их единственными учителями были дикторы французского телевидения: «*совершенствование общественной системы и замедление стремительного роста преступности, успех на всех уровнях и самые впечатляющие результаты, вследствие чего возникает необходимость пользоваться высококачественными товарами, даже если новые отрасли знания требуют применения сверхсложного оборудования последнего поколения*», но за пределами Туниса ни по-арабски, ни по-французски ни один сопляк не решался и рта раскрыть. Требовались решительные действия, в цене были наглые и дерзкие, а в два часа пополудни начинается сиеста. Бургиба спал, вытянувшись на спине.

Однако было так приятно мечтать об этих палестинцах, и никто, разве что в Израиле, не знал еще, что все арабские страны Азии их прогонят, никто этого не знал, но каждый ждал, когда они уйдут, и втайне подготавливал их исход. Один-единственный палестинец — уже означало волнение. В 1982 их приход в Тунис — это было слишком для томного, расслабленного народа, этих итало-турко-бретонцев, тунисцев. Более тысячи палестинцев, и среди них — Арафат собственной персоной.

Именно здесь, ни раньше, ни позже, я должен объяснить, что такое ФАТХ[9]. Но создатели различных наименований палестинских движений уже пользовались арабским языком, как дети или филологи. Вот почему я попытаюсь интерпретировать слово Fatah, но уверен, что не смогу раскрыть всех его богатств.

F.T.H., три согласных, в соответствии с правилами арабского языка, образуют трехбуквенный корень, означающий щель, расселину, разрыв, отверстие, и даже открытие, в смысле, начало чего-то, то есть, начало победы, но победы, которую хочет Бог. А еще Fatah это замóк[10], который влечет за собой слово «ключ», по-арабски «ключ» это *meftah*, то есть, те же согласные, перед которыми стоит *me*. Еще этот трехбуквенный, трехсогласный корень взывает к слову *Fatiha* (та, что открывает), это первая сура *та, что откры-*

---

[9] Примечания: 9

Аббревиатура ФАТХ (FATAH, Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini — движение за национальное освобождение Палестины) является сложносокращенным словом HATAF в обратном порядке букв, само слово “fatah”в переводе с арабского означает «победа», а слово “hataf” смерть. (*Прим. перев.*)

[10] Примечания: 10

Исходно в арабском языке у слова «фатах» нет значения «замок». Возможно, это значение метафорично введено автором. (*Прим. ред.*)

вает Коран. Она начинается с «бисмилля»[11] … Все уже поняли, что Fatah, или, вернее, F.T.H. три начальные буквы слов Falestine Tahrir (освобождение) Haka[12] (движение). Но чтобы получилось слово F.T.H., порядок букв оказался нарушен. Это, наверное, развлекались взрослые дети.

Вот что получается:

FA (Falestine = Палестина)
TH (Tahrir = Освобождение)
HA (Haka= Движение)

а если исходный порядок сохранялся, получилось бы Hathfa. Само по себе это слово не значит ничего.

В трех словах: Fatah, meftah, fatiha я обнаруживаю три потаенных, скрытых значения:

Fatah это щель, расселина, отверстие, то есть, ожидание, начало победы, почти пассивное ожидание;

meftah (мефта), ключ, и обнаруживается ключ в отверстии, то есть, в замке;

---

[11] Примечания: 11

Бисмилляхи-р-рахмани-р-рахим» («во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного») — фраза, с которой начинается каждая сура Корана. (*Прим. ред.*)

[12] Примечания: 12

Движение по-арабски «haraka». Автором была допущена ошибка в исходном написании слова. (*Прим. ред.*)

Fatiha (Фатиха), третье слово, возникшее из этого корня, тоже открытие, начало, но начало суры Корана. Первая строфа Корана, где, как мне представляется, появляется религиозный смысл. За тремя этими словами, возникшими из корня Fatah, можно разглядеть три понятия: сражение (победа), сексуальное насилие (ключ в замочной скважине) и битва, которую выиграли с Божьей помощью.

Пусть читатель воспримет это длинное отступление как шутку, но выбор и сама композиция слова Fatah так тревожили меня, что я стал искать и нашел три эти значения, о которых и рассказал. А еще слово Fatah три раза встречается в Коране.

Образ фидаина становится все отчетливей. Вот он поворачивается на тропинке: я больше не увижу его лица, только спину, а еще его тень. И когда я не смогу больше ни говорить с ним самим, ни слышать его, мне понадобится говорить об этом.

По-видимому, постепенное стирание этого образа — не только исчезновение, а еще и необходимость заполнить этот пробел чем-то другим, может быть, его противоположностью. Словно в этом месте появилась какая-то дыра, в которой исчез фидаин, и теперь рисунок, фотография, портрет хотят его вернуть — во всех смыслах

этого слова. Они призывают фидаина издалека — во всех смыслах этого выражения. Может, он и захотел исчезнуть, чтобы появился портрет?

Лучше всего Джакометти рисовал ближе к полуночи. Днем он смотрел, разглядывал пристально и неподвижно — нет, я не хочу сказать, что черты натурщика были в нем самом, это другое — каждый день Альберто смотрел в последний раз, он запечатлевал последний образ мира. В 1970 году я познакомился с палестинцами, многие настойчиво требовали, чтобы эта книга была завершена. А я опасался, что ее конец станет концом самого сопротивления. Что если мое решение описать все эти годы означало, что оно, это сопротивление, отступает, отдаляется от меня? Словно я получил некое предупреждение: мятеж теряет силу, постепенно расплывается, его заволакивает дымкой, сейчас он, словно фидаин, сойдет с тропинки и исчезнет. От него останутся лишь героические песни. Я смотрел на сопротивление, как если бы завтра ему предстояло исчезнуть.

Тем, кто видел палестинцев по телевизору или смотрел на их фотографии в газетах, казалось, что они вращаются вокруг земного шара, причем, вращаются стремительно, находясь одновременно и здесь, и там, но сами они знали: их

обступают, словно окутывая своей атмосферой, все миры, сквозь которые они проникают, а мы, и они, и мы, глубоко заблуждаемся или, вернее, находимся на той границе, где над старым обманчивым представлением встает рассвет новой истины, и они сталкиваются, как заблуждение Птолемея пришло в столкновение с новой и, разумеется, преходящей и мимолетной истиной Коперника. Палестинцы считали, что их преследуют сионизм, империализм, американизм. Ближе к вечеру, когда наступали самые спокойные мгновения суток, мы сидели под защитой каменных стен в здании палестинского Красного креста. Я записывал под диктовку Альфредо какие-то адреса, и вдруг громкий крик, вернее, вой разорвал вечер. Это выла женщина лет пятидесяти. Палестинка, в молодости переехавшая в Небраску, там разбогатела. Я сохранил в памяти ее лицо, ее американский акцент[13], ее неизменно черную одежду, будь то кофта и зауженная или широкая юбка, длинные шаровары, пальто с черной меховой подкладкой или опушкой, тяжелое или скроенное из легкой ткани, все было черным; туфли, чулки, гагатовые бусы, волосы и повязан-

[13] Примечания: 13

Уехавшая в ранней молодости, она говорила только на американском языке. Такое с палестинцами бывает только в Небраске.

ный на голове платок: все только черное. Лицо ее было суровым, речь резкой и отрывистой, голос гортанным. Президент Красного креста, выделивший ей спальню и разрешивший пользоваться гостиной, рассказал о ней следующее: однажды у себя в Небраске она на экране телевизора увидела фидаинов, казненных бедуинами короля Хусейна; она выключила телевизор, отключила электросчетчик, взяла сумку, паспорт и чековую книжку, заперла дверь на все замки, отправилась в банк, в туристическом агентстве купила билет до Аммана, прилетев в Амман, прямо из аэропорта на такси явилась в расположение Красного креста, приведя там всех в недоумение, потому что эта невероятно богатая палестинка умела лишь подписывать чеки — что она и делала, пока не разорилась — и смотреть по телевизору американские фильмы.

Мы разговаривали с ней мало. Она знала американский язык и совсем немного арабский, но ее крик, причину которого мы поняли позднее, поведал нам, как бывают потрясены палестинцы, внезапно осознав, что все нации против них. Выбирая наугад, с каким телевизионным каналом провести время, она нажимала одну за другой кнопки, пытаясь найти диалоги на арабском

языке. Она была спасена от вечерней скуки, от нашего с Альфредо молчания, от приглушенного далекого шума Аммана, потому что один из персонажей произнес целую фразу на бруклинском жаргоне, но — тут-то она и закричала — второй ответил ему фразой на иврите: телевизор поймал какой-то сериал из Тель-Авива. Дрожащая от гнева рука палестинки немедленно обрубила фразу на древнееврейском. Вновь наступила тишина. Если палестинцы отравлялись в Осло, а потом сразу же в Лиссабон, они знали, что именно на этом ненавистном языке будут сообщать об их передвижениях.

В виллах Джабаль Аммана комнаты были просторными; четыре гостиные: в стиле Людовика XV, Директории, восточном стиле, Модерн; детская обита перкалью, комната няни кретоном. Слуги, кухарки, садовники, лакеи, всевозможная прислуга ночевали в пригороде Аммана, в лагере Вихдат или в двадцати километрах от города, в лагере Бакаа. Специальные автобусы для слуг увозили их по вечерам, они ехали стоя и уже спали, и привозили обратно на следующий день утром, они ехали стоя и еще спали. На ночь оставался один слуга, чтобы утром приготовить к пробуждению хозяев чай и бриоши. В этом мире

беженцев хозяева и слуги были на равных. Слово «беженец», ставшее чем-то вроде звания, было равносильно свидетельству на право собственности для владельцев каменных вилл, которые, в отличие от лагерей из латаных парусиновых палаток, могли противостоять ветрам.

«Мы с тобой на равных, я тоже беженец, я выше тебя по положению, мой дом из тесанного камня. Не обижай меня и не огорчай, я беженец, я мусульманин, как и ты».

Перемещаясь взад и вперед — туда и сюда, как сказал мне один из них — из лагеря на виллу, слуги с достоинством несли свою обиду и унижение. 1970 год растревожил всех. Богатые палестинцы на какое-то время уступили собственные спальни слугам. Некоторые, из осторожности, довольствовались едой из буфетной. В сентябре, практически в одночасье, в моду вошла демократия. Сперва украдкой, затем в открытую девушки сами стали заправлять постели, а некоторые даже опорожняли пепельницы в гостиных. А все дело в том, что слуги-мужчины взяли оружие, чтобы быть готовым к битве за Амман. Они стали героями, или мертвыми, что было еще лучше, потому что мученик это лучше, чем герой. По многим причинам эта эпоха должна была имено-

ваться Черный сентябрь.

Многие немецкие семьи захотели дать приют раненым фидаинам, их лечили в мобильных госпиталях, таких, как госпиталь доктора Дитера, с которым впоследствии мне доведется много разговаривать, и я знаю, что в 1971 году в лагере Газа он организовал школу медицинских сестер. Мне довелось там побывать однажды, после того, как он сделал обход раненых и больных. Вместе с ним я вошел в комнату, единственную в доме. Там находились уполномоченный и родители — и отцы, и матери — всех девочек, решивших научиться азам медицинского дела.

Пили, разумеется, чай. Встав перед черной доской на стене, Дитер начал свой урок, начертив крупными штрихами мужское тело со всеми половыми признаками. Никто не засмеялся и не улыбнулся, стояла почти священная тишина. Переводчиком был ливанец. С помощью цветных мелков Дитер показал систему кровообращения. Он нарисовал вены и артерии, одни синим, другие красным цветом. Обозначил сердце, легкие, все жизненные органы, потом местоположение и форму повязок. От сердца, головы, легких, аорты, артерий, бедер он постепенно приближался к мужским половым органам:

— Сюда может попасть пуля или осколок снаряда.

Возле члена он нарисовал пулю. Он ничего не прикрывал ладонью, не понижал голос, не замалчивал. Я точно знаю, что эту откровенность оценили и уполномоченный, и все члены семей. Дитера очень беспокоила нехватка врачей и санитаров — и санитарок тоже — в лагерях.

— За двадцать уроков они узнают главное, но я не смогу им выдать дипломы: таково требование властей. Они будут следовать за фидаинами и заботиться о раненых. Они не отправятся в Амман подавать аспирин и готовить ножные ванны миллиардершам из Джабаль Аммана.

В Рейнской области много палестинцев. Они работают на заводах, хорошо говорят по-немецки, умеют правильно ставить глаголы в конце фразы. Молодые палестинцы, рожденные от матерей-немок, учат арабский, историю Палестины, и всех дюссельдорфских мясников в заляпанных кровью фартуках называют Хусейном.

На военной базе в Аджлуне я увидел сержанта, палестинца, но чернокожего, к которому фидаины обращались если не презрительно, то, по крайней мере, насмешливо. Может, из-за его цвета кожи? Один говорящий по-французски

фидаин сказал мне, что, нет, дело не в этом, но почему-то улыбнулся. Поскольку уже наступил рамадан, солдаты разделились: очень набожные, умеренно набожные и те, кому было все равно, последние не ограничивали себя в еде. Зная, что я христианин, однажды вечером сержант разложил на траве салфетку, поставил миску супа, кастрюлю с овощами и предложил мне поужинать, а сам остался стоять рядом, чтя Коран. Я должен был очень быстро сделать выбор: отказаться значило отказать чернокожему, согласиться означало оказаться на льготных условиях; и я выбрал компромиссное решение: поесть, но немного. Впрочем, мне хватало нескольких кусочков хлеба, смоченных в бульоне. За моей спиной стояли два солдата. Когда можно уже было сделать вид, что я сыт, я встал, и сержант велел двум солдатам доесть то, что осталось от моего ужина. Я почувствовал волну жара на щеках и понял, что краснею. Сказать любому сержанту, чтобы фидаины ели вместе со мной, а не после меня и не мои объедки, да, но чтобы такое сказал чернокожий? Главное было не придавать этому случаю особого значения. Я промолчал. Может, сесть рядом с фидаинами и попросить у них кусок хлеба? Фидаины все поняли, а чернокожий сер-

жант нет, так, во всяком случае, мне показалось.

Когда палестинцы предаются воспоминаниям, видят ли они себя с теми же чертами, жестами, в тех же позах и одежде, что и пятнадцать лет назад? Со спины или в профиль? А может, они помнят себя, не важно, со спины или анфас, но более молодыми, во время какого-то события, которое вдруг всплыло из глубин их памяти?

Под деревьями Аджлуна кто-нибудь из них вспомнил сцену, которую я наблюдал через несколько дней после битвы за Амман? Фидаины соорудили что-то вроде небольшой беседки, крытой листьями, посреди стоял стол, то есть, три плохо закрепленных доски на четырех вбитых в землю ножках — четыре срезанные ветки — и четыре скамейки с четырех сторон стола. Рамадан преподнес нам ожидаемый подарок: распахнутый на запад полумесяц. Мы, поужинав, сидели возле беседки прямо на траве, сытые, возле еще горячей, но уже пустой миски, слушали аяты Корана. Было около восьми вечера.

— Это человек — чудовище, — сказал мне Махджуб, в тот вечер он казался мне самым голодных из всех. — После Нерона это первый глава государства, который поджег столицу.

Вооружившись остатками национальной гор-

дости, я ответил ему:

— Простите, доктор Махджуб, — еще до Хусейна мы делали это не хуже Нерона. Адольф Тьер, который просил прусских офицеров обстреливать Версаль и Париж с его коммуной, вполне достоин вашего короля, к тому же, он тоже маленького роста.

Взошла Звезда пастухов. Озадаченный Махджуб отправился спать в свою палатку. Десяток бойцов от пятнадцати до двадцати трех лет набились в беседку, где нашлось место и мне. Один из фидаинов встал часовым у дверей. Вошли двое бойцов, совсем еще мальчики, которые явно казались себе взрослыми и суровыми, потому что под носом уже пробивался пушок. Они, встав лицом друг к другу по обе стороны стола, смерили один другого суровыми взглядами, затем уселись непринужденно и развязно, поддернули брюки, спасая от заломов несуществующую складку. Я сидел на третьей скамейке, внимательный и молчаливый, как мне и было велено. Солдат рядом со мной сунул руку в левый карман пятнистых маскировочных брюк, жестом очень простым и в то же время торжественным вынул оттуда колоду из пятидесяти карт и протянул партнеру, чтобы тот снял. Потом рассыпал карты веером на

столе перед ними обоими. Второй игрок завладел колодой, собрал карты, сложил параллелепипедом, перетасовал, как положено, раздал партнеру и себе, оба были серьезны, почти бледны от недоверия друг к другу, губы поджаты, челюсти стиснуты, а их молчание я, кажется, слышу до сих пор. Уполномоченные запрещали на базах карточные игры — «буржуазная игра буржуев», как выразился доктор Махджуб. Партия началась. Взгляды игроков светились алчностью, ставку забирал по очереди то один, то другой, силы их были равны. Остальные стояли за спинами игроков, внимательно наблюдая за тем, как открывается и мгновенно схлопывается карточный веер, пытались прочитать карты. Против всяких правил, сидевшие и стоявшие сзади наблюдатели корчили рожи, а игрок напротив старательно притворялся, будто ничего не замечает. Думаю, они играли в нечто вроде ложного покера. Я был восхищен этими напряженными взглядами игроков, тем, как они скрывали возбуждение и тревогу; восхищен той стремительностью, с какой они принимали решение: одна, другая или третья карта, восхищен проворством худых пальцев с такими тонкими фалангами, что было странно: как они не ломаются, когда выиграв-

ший переворачивал карты, пододвигая их себе. Один из игроков уронил карту на пол и поднял ее небрежно и медленно, как в кино при съемке рапидом, а его равнодушие и почти презрение, с какими он взглянул на эту карту, навели меня на мысль, что поднял он туза.

«Да он смухлевал», — подумал бы каждый, кто имел хоть какое-нибудь представление об уловках карточных шулеров. Немногие известные мне арабские слова были угрозами и ругательствами. Эти слова:

“*Charmouta*”
“*Hattaï*”

которые бормотали сквозь зубы играющие, казалось, мгновенно втягиваются обратно со слюной.

Игроки поднялись, пожали друг другу руки над столом, не улыбнувшись, не обменявшись ни словом. Только в казино Европы или Ливана предусмотрен такой тоскливый, скучный ритуал. А еще в конце теннисных матчей, но в Австралии. Иногда улыбку можно увидеть на лице нарядного проходимца, который снимает карты в длину. Каждая из них, вогнутая или выпуклая, в зависимости от ее местоположения на столе, может

стать лодкой, на которой от берега отплывает шулер, или верхней половиной животного с двумя спинами, или распластанной на берегу женщиной с оголенным животом. Если его застают за этой хитростью, крупье приносит новую колоду, а на лице его и во взгляде полная рассеянность, как у человека, забывшего застегнуть ширинку.

Обон — так называется еще одна игра, японская. Это день поминовения усопших, которые на три дня возвращаются к живым. Встав из могил, мертвый являет себя лишь через нарочито неловкие жесты живых, и в этой неловкости я вижу вот что: «Мы живые, мы смеемся над нашими мертвыми, а они не могут даже возмутиться этой насмешкой, они так и останутся скелетами на дне ямы», и это их не-существование дети — главные действующие лица обряда — вознесут и разместят в своих квартирах. «А сами мы останемся на кладбище, мы никого не побеспокоим. И только ваша неловкость сделает нас видимыми». Незримых мертвых усаживают на самые красивые подушки, им предлагают лучшие блюда, сигареты с золочеными кончиками, какие курила танцовщица Лиана де Пужи в ту пору, когда ей было двадцать три. А потом дети станут хромать. Говорят, что весь месяц, предшествую-

щий Обону, мальчишки тренируются хромать, чтобы половчее запустить этот отсутствующий труп в траншею, где начинались шествия; останавливаются они внезапно: берцовые кости, черепа, бедренные кости, фаланги рассыпаются и падают, а все живые смеются. Достаточно насмешливого мягкого жеста, чтобы мертвый вкусил немного жизни. Карточная игра, которая проявилась лишь через постыдно реалистичные жесты фидаинов: они играли играючи, понарошку, без карт, без тузов и валетов, без Барабанных Палочек и Мечей, без дам и королей, эта карточная игра напоминала мне, что вся деятельность палестинцев походила на праздник Обон, где не доставало лишь одного — того, кто не должен появляться.

Похоже, наука кричать известна арабам почти так же хорошо, как и искусство рожать стоя, когда женщина с расставленными ногами цепляется за подвешенную к потолку веревку.

— Жан, слышал женщину? Конечно, она арабка. Так кричала бабушка, когда выдирала у моего отца свое наследство.

— А какое наследство?

— Восьмая часть оливкового дерева.

— Это сколько?

— Три с половиной килограммов оливок.

Как мало слов понадобилось Мохамеду, чтобы поведать про свою бедность, зависимость от отца, про этот крик арабской женщины, крик, возможно, дикий, стихийный, но такой высокий и пронзительный, что ему надо учиться с детства. Часового Р'Гибу никто специально не учил этому сигналу тревоги, он сам выучился ему с юности, голос у него резкий и высокий; крик появляется сам собой, если часовой стоит на карауле и ему угрожает какая-то опасность. Очень часто осторожные, осмотрительные сирийцы испускали такой крик, как и палестинцы, гадающие на картах Таро, когда появляется карта масти Мечей, поскольку все фигуры, кроме семерки Мечей, имеют дурное предзнаменование: один Меч, испытание на прочность; двойка Мечей, сомнение, осуждение; тройка Мечей, отсутствие поддержки, разобщенность; четверка Мечей, уединение или одиночество; пятерка Мечей, поражение; шестерка Мечей, путь, перемены; семерка Мечей — знаменитые Семь Мечей[14]; единственная фигура, которую принимают с благодарностью; восьмерка Мечей, преграда, ограничение; де-

[14] Примечания: 14

Мария Семь Мечей — персонаж из «Сатиновых башмаков» Поля Клоделя. Семь скорбей, которые выпали на ее долю.

вятка Мечей, неудача, безысходность; десятка Мечей, отчаяние, слезы, поражение, а крик, не грозный, скорее, удрученный, отнюдь не походил на крик радости, каким встречали появление Жезлов, мастей счастливых.

В лагере Бакаа мстили за унижение. Японцы, итальянцы, французы, немцы, норвежцы были первыми операторами, звукооператорами, фотографами. Легкий воздух сгустился и стал тяжелым. Те, кто сами становились звездами, если фотографировали звезду — а здесь такой звездой был каждый палестинец в пятнистой маскировочной униформе и с калашниковым — хватали и не выпускали свою добычу. Японцы с их почти не наигранной нервозностью обитателей озлобленного архипелага по-английски грозились вернуться в Токио безо всяких снимков, даже не подозревая, что в каких-то десяти километрах тренируются те самые террористы Лодзи, а в карманах штанов у них карты Израиля и планы аэропорта; а какого-то фидаина французы раз двенадцать просили принять определенную позу. Три коротких слова, сказанные доктором Альфредо, прекратили эту комедию. Чтобы продемонстрировать свое владение искусством съемок с низкой точки, итальянцы велели солда-

там вскинуть автомат к плечу, предварительно вынув патроны, быстрым движением бросались на землю и так фотографировали фидаинов; и в этом веселом беспорядке не последнюю роль играл реваншистский дух. Фотографа фотографируют редко, а фидаина часто, но если он позирует, то скорее умрет от скуки, чем от усталости. Некоторым кажется, что вокруг человека, которого фотографируют, почти физически ощутимо одиночество, а у него просто такой изнуренный, изможденный вид, легко ли вынести назойливый танец фотографа? Зачем этот швейцарец заставил самого красивого фидаина взгромоздиться на перевернутое ведро? Неужели ради красивого снимка: силуэт на фоне заходящего солнца?

Когда у власти сила, которую по законам этимологии следовало бы назвать посредственностью, сам собой устанавливается так называемый порядок, то есть физическое и умственное истощение.

Причина предательства — и любопытство, и помутнение рассудка.

А что если написанное, и вправду, было бы ложью? Позволило бы оно скрыть то, что существовало на самом деле, коль скоро любое свидетельство не что иное, как обманка, оптическая

иллюзия? Не то чтобы написанное противоречило действительности, нет, оно просто показывает лишь видимую сторону, да, вполне приемлемую и, если можно так выразиться, бессловесную, ведь способов показать на самом деле, что стоит за этой видимостью, у него, написанного, нет. Различные сцены, в которых появляется мать Хамзы, в каком-то смысле *пусты*, да, они сочатся любовью, состраданием, дружескими чувствами, но как в то же время передать все противоречивые суждения других свидетелей этих же сцен? Точно так же и с прочими страницами этой книги, у которой будет один-единственный голос, мой. А мой голос фальшив, как и все голоса, и даже если читатель заметит эту фальшь, то не поймет ее природы. Пожалуй, вот единственно подлинные вещи, заставившие меня написать эту книгу: орешки, которые я собирал в изгородях Аджлуна. Но эта фраза хотела бы заслонить всю книгу, как и каждая фраза хотела бы заслонить предыдущую фразу, и оставить на странице лишь одну ошибку; я так и не сумел описать достаточно тонко то немногое, что происходило, это слишком тонко даже для моего понимания. К Хишаму никто не относился с почтением, ни старики, ни молодые. Не то чтобы он ничего из себя не

представлял, просто он ничего не делал, и никто не обращал на него внимания. Однажды, когда у него заболело колено, он записался на прием к врачу, пришел и получил четырнадцатый номер, а пятнадцатый был у одного фидаина, командира подразделения. Приняв тринадцать пациентов, доктор Дитер вышел со списком, назвал его номер и произнес имя. Хишам едва понял, что речь идет о нем, настолько он был взволнован, что сам доктор назвал его по имени. Он указал пальцем на фидаина, чья очередь была следующей, пятнадцатой, но доктор Дитер возразил:

— Нет, сначала ты, у тебя болит колено.

Командир фидаинов велел Хишаму пойти перед ним. Что Хишам и сделал. Мне рассказывали, что после того дня Хишам преисполнился уважением к себе — ведь немецкий доктор захотел, чтобы он прошел первым. Не то чтобы он воспринял это как повышение в звании, но после того, как командира-фидаина, пусть на мгновение, отодвинули в сторону, Хишам возгордился. Продолжалось это недолго. Стушевался он довольно быстро, потому что командиры забывали отвечать на его приветствие. В лагере Бакаа нет места гордыне.

Стоя под деревьями возле беседки, десяток

фидаинов, безразличные к игре, ждали своей очереди бриться. Видно было, что они устали, но в то же время как-то спокойны и расслаблены. Церемония бритья долгая и основательная. Сначала каждый должен принести немного сухих веток. Зажигали огонь и кипятили воду в старой консервной банке. Конечно же, если бы у целой команды было одно нормальное зеркало, все они могли бы бриться самостоятельно, но зеркальце они держали в ладони, и потом, это был отдых, своеобразная порция вечернего отдыха для каждого: отдать свою бороду и все лицо в руки одного фидаина, которого называли брадобреем. Ладонь, дружеская или равнодушная, но не твоя собственная, ласкала щеку и подбородок, проверяя, остались ли волоски, так зарождалась волна, идущая до самых кончиков пальцев уставших ног, успокаивая и умиротворяя все органы тела. Бороды брили по очереди. Эти процедуры происходили, как правило, от восьми до десяти вечера, три раза в неделю.

Но при чем тут карты?

— Я даю им полную свободу.

Ночью мы прогуливались с Махджубом под деревьями.

— Надеюсь, они свободны.

— Я запрещаю только игру в карты.

— Но почему именно карты?

— Палестинский народ хотел революцию. Когда он узнает, что на базах Иордании есть игорные дома, то решит, что вот-вот появятся бордели.

Защищая эту игру, которая лично меня никак не привлекала, я сожалел, что Махджуб единолично решил запретить это развлечение.

— Во время игры часто бывают потасовки.

Шахматные турниры, которые я привел в качестве примера непримиримой борьбы Советского Союза и государств Запада, его не убедили. Махджуб сухо распрощался со мной и пошел спать. Фидаины знали о его запрете. Разыгранный передо мной спектакль свидетельствовал об их разочаровании, ведь играть в карты одними жестами, когда в руках могли бы быть короли, королевы, валеты, все эти фигуры, символизирующие власть и полномочия, в этом было что-то неестественное, сродни шизофрении. Играть в карты без карт каждую ночь: мастурбировать всухую.

Здесь я должен предупредить читателя, что воспоминания мои точны, когда дело касается фактов, событий, дат, а вот разговоры приходится восстанавливать. Еще какое-нибудь столетие на-

зад обмен репликами принято было «описывать», признаюсь, я отдал дань той эпохе. Диалоги, которые вы читаете, — просто их реконструкция, надеюсь, реконструкция достаточно точная, но я знаю, что они лишены простодушия настоящего диалога, здесь видна более или менее ловкая рука Виолле ле Дюка, основоположника архитектурной реставрации. Только не подумайте, будто я недостаточно уважительно отношусь к фидаинам. Я стараюсь передать тембр, интонацию голосов и слов: мы с Махджубом, действительно, вели такой диалог, он такой же подлинный, как эта игра в карты без карт в руках, но сама игра четко воспроизведена жестами, мимикой, движением ладоней и пальцев.

Хотелось бы знать: благодаря особенностям своего возраста или ввиду отсутствия способностей, когда я воспроизвожу некое событие, каким вы меня видите: какой я есть сейчас или таким, каким был тогда? И кого рассматривает тот незнакомец, на которого я смотрю со стороны с любопытством, с каким обычно разглядываешь себя самого, кого же: того, кто уже умер? и сколько ему лет: столько, сколько сейчас, или сколько было на время тех событий? И вообще, что это: привилегия моего возраста или несчастье всей

моей жизни — видеть себя со спины, ведь всегда, каждое мгновение я стоял спиной к стене?

Мне кажется, только сейчас я понимаю некоторые события и поступки, которые удивляли меня тогда, на берегу Иордана, стоящего лицом к Израилю, понимаю отдельные события и поступки — в подлинном значении этого слова, как обособленные, недоступные и неприступные островки, чьи очертания смущали и волновали меня, а теперь это единый сияющий архипелаг. В Дамаске мне было восемнадцать.

Игра в карты по-арабски весьма отличается от той, в какую играют французы или англичане. Сегодняшняя игра по-арабски походит, скорее, на испанскую, наследие ислама, оставшееся в пальцах мальчишек, играющих в Ронду, популярную в Марокко карточную игру. Махджуб в Иордании, однорукий генерал Гуро в Дамаске запрещали карточные игры по разным — как им казалось — причинам. Гуро, похоже, беспокоили тайные, стало быть, антифранцузские сборища. По ночам в маленьких мечетях Дамаска, освещенных огарком свечи или смоченным в масле фитиле, сирийцы играли в карты. Я словно сейчас вижу, как рядом с ними на корточках сидит французский солдатик. Должно быть, мое присутствие

их успокаивает. Если какой-нибудь сбившийся с пути патруль, удивленный неурочным светом, вдруг застанет их за этим занятием, моей задачей будет объяснить, что мы здесь благоговейно молимся за Францию. После игры сирийцы — им хотелось удостовериться, что я их не забуду — неизменно демонстрировали мне развалины, причем генерал Гуро запрещал расчищать завалы, чтобы каждый житель Дамаска вечно дрожал от страха. Поутру, в час утренней молитвы, игроки расходились по домам, держась за мизинцы или указательные пальцы. Я вновь вижу Мечи и семерку Мечей.

Среди весьма немногочисленных членов ФАТХа, которых я знал, имелось восемь человек по имени Халеб Абу Халеб. Какое впечатляющее изобилие боевых кличек. Поначалу целью всех этих вымышленных имен было скрыть истинную личность воина, теперь же они, наоборот, украшают их. Выбор вымышленного имени позволяет угадать их самые потаенные фантазмы, например, такие имена, как Чевара — сокращенное Че Гевара, Кастро, Лумумба, Хадж Мухамед. Каждое имя было маской из очень тонкой, иногда прозрачной материи-покрывала, под которой имелось другое имя — другая маска — из другой

материи, или такой же, но другого цвета, а за ней проступало отражение еще одного имени. За Халебом угадывался какой-нибудь Милуди, который, в свою очередь, не слишком скрывал Абу Бакра, а за Абу Бакром уже виднелся Кадир. Все это наслоение, напластование имен соответствовало наслоению личностей, за которыми скрывалось существо иногда простодушное, но чаще непонятное и очень усталое. В этом случае имя было, возможно, именованием некоего деяния, благовидного здесь, осуждаемого там. Эту видимость я принимал с той же готовностью, что и реальность, и неведение было мне в помощь, а когда мне случалось вдруг узнать первое, изначальное имя, я чувствовал внутри какое-то раздражения. Что же касается двух этих слов: видимость и реальность, сколько об этом можно сказать! Имена, порой придуманные, отражения искаженных воспоминаний об американских фильмах, имена, за которыми пытались скрыть те самые осуждаемые, постыдные деяния, мне казалось, я до сих пор слышу их отголоски во фразах персонажей, населяющих воображение народов-мятежников. Чьи они?

«Чтобы воевать с вами, я вступил бы в союз с самим дьяволом».

«Кто соглашается обедать с дьяволом, должен запастись большой ложкой».

«Свободу не выпрашивают, ее вырывают силой».

«Мы устроим два, три, четыре, пять, десять Вьетнамов».

«Мы проиграли битву, но не войну».

«Я не смешиваю американский народ, который люблю и которым восхищаюсь, с реакционным правительством этого народа».

У всех этих поговорок есть автор, не всегда очевидный. Четвертое высказывание принадлежит Че Геваре, авторство третьей приписывают Абд аль-Кадиру и Абд аль-Кериму, вторую фразу могли бы сказать Черчилль, Сталин или Рузвельт. Первое высказывание приписывается Лумумбе, но присвоил ее себе Арафат, поэтому Халеб сказал мне:

— Ведь Израиль был для нас дьяволом, с которым мы должны объединиться, чтобы победить Израиль.

Мне показалось, что фраза была произнесена практически слитно, на одном дыхании, без пауз, и только в самом конце какой-то вдох, похожий на заключительный смешок. Ее и нужно было воспринимать так, как она себя подает, как хоти-

те, так и понимайте.

Вполне обычный, банальный образ мог бы поспорить своей тривиальностью с рекламными объявлениями в парижском метро. Вот, например:

«Словно огненные языки, перекликались призывы, боевые клички и песни. Тот, кому в ту пору было двадцать, видел, как планету поглощают, облизывают эти языки пламени, так вечно юные огни уничтожили заглавную букву Р в слове Революция, не оставив следов ожога».

Прежде всего, я увидел, что «каждый народ», стремясь оправдать мятеж, пытался отыскать свою самобытность далеко в глубине веков, в самой сокровенной глубине; в истоках каждого мятежа обнаруживались генеалогические глубины, и главная сила была не в ветвях этого древа, хотя бы и потенциально возможных, скрытых ветвях, а в его корнях, так что все эти мятежи, восстания, революции, возникающие на земле повсюду, казалось, прославляли какой-то невероятный культ мертвецов. Откапывали, словно эксгумировали какие-то слова, фразы, целые языки. Так, в Бейруте, когда я остроумно ответил какому-то ливанцу, он сказал мне с улыбкой, почти нежно:

— Вы стали истинным финикийцем.

— Почему финикийцем? Почему не арабом?

— Арабом — нет. Мы сами перестали быть арабами после вторжения Ливана в Сирию (в 1976). Сирийцы — арабы, а ливанцы — христиане, «финикийцы».

Самое юное поколение состояло из людей-кротов. После двух тысячелетий жизни на поверхности планеты, после путешествий верхом, пешком, по морю, по подземным лабиринтам, — вернуться в то место, где то тут, то там вырастают взрытые кротами бугорки земли, разыскивать руины некоего храма, отыскать их, ну и зачем? Вульгарны не сами поиски, а эти попытки идентификации одного народа с другим, его корнями и его ветвями, мне казалось это — не говоря уже о сомнительных результатах — по-парижски пошлым, какими-то поверхностным, салонным. Только умственная леность заставляет нас думать, будто благородное происхождение — это дворянские предки. Палестинцы, когда мне довелось их узнать, к счастью, избежали этого убожества. Похоже, опасность состояла в том, что в Израиле они видели некое «сверх-Я».

В 1972 году битвы за лагерь палестинских беженцев Тель-Заатар еще не было. Она произойдет

в 1976, но над самим лагерем палестинцы показали мне казармы фалангистов. Части этой книги озаглавлены «Воспоминания», я должен провести читателя через время и, разумеется, пространство. Пространством будет вся планета, а время, допустим, годы с 1970 по 1984.

Полиция Пьера Жмайеля, скопированная с гитлеровских «Штурмовых отрядов», называлась фалангой, по-арабски «Катаиб». Черные, коричневые, синие рубашки — знаменитая «Голубая дивизия», которая погибала от холода в сказочных снегах белой России, зеленые, серые, железные рубашки… “Задумчивое тряпье флага[15]” стало для меня “Полотнищами…”. Крепкие парни, фалангисты 1970 года шагали в ногу и как доблестные воины пели гимны во славу Непорочного Зачатия. Они очаровывали и завораживали меня. По их глупости я догадывался, насколько они жестоки. У этих солдат, полухулиганов-полумонахов, марширующих чеканным шагом с выставленным вперед подбородком, песни (какой-то трепетный музыкант поменял темп, чтобы добиться большей торжественности, свойственной неумолимому шествию в бессмер-

[15] Примечания: 15
Искаженная цитата из стихотворения Малларме. (*Прим. перев.*)

тие) вырывались из толстогубых, негроидных ртов, глупые, как и они сами. Наверное, Деве Марии, небесам эти песни должны были внушить страх перед стремительным, мощным десантом мертвецов — почти подростков. А еще — как же она была трагична, мнимая мужественность этих молодых парней, воспевающих нежность незримой богини, а может, какой-нибудь бойкой девицы, что брела, пьяно пошатываясь, хранима венцом из белых роз. Эти идущие размеренным шагом силачи показались мне фантастическими, нереальными, и уже — обитателями небесного свода, куда они, и в самом деле, направлялись.

«Они шли воинственно». Хотя война это вовсе не воинственное шествие, возможно даже, как раз воины и не умеют маршировать. Просто этой фразой мне хотелось облагородить тяжелую, несколько театральную — если судить по Бейрутскому оперному театру — поступь фалангистов, таково было требование их командира, как раз ему и нужна была эта старомодная театральность, потому что хотя сам он никогда не маршировал, то думал именно в двухтактном размере мерного шага.

Оба сына продавца газет ответили мне сразу же. Они были фалангистами и, разговаривая со

мной, трогали, нет, не просто трогали, а крепко сжимали золотые медальоны с изображением «Лурдской Богоматери» — малиец, которого я как-то встретил на берегу Нигера, так же трогал свой амулет (несколько магических слов, начертанных по-арабски на очень тонкой, возможно, на папиросной бумаге, в красном шерстяном чехольчике.

— Почему ты это трогаешь?

— Он напоминает мне, что нужно прочесть утреннюю молитву.

Когда фалангисты, дабы сберечь свою силу, трогают крест и образ Богородицы — особенно если они выгравированы — рельефно, в золоте, что они на самом деле трогают: Крест, Богородицу, Золото или фаллос мира? — они, если и убивают, то не по своей воле, а по приказу Бога, который защищает свою мать, сына и золото, дар волхва, по приказу военного Бога, который стремительно приходит нам на помощь, дабы повергнуть Другого, угрожающего ему: Аллаха. В 1972 году при мне один фалангист обнял молодую ливанку. Меж двух ее загорелых грудей — эти груди изобличили ее: она обнажала их, принимая солнечные ванны — сверкал золотой крестик, усыпанный бриллиантами и рубинами, только

вместо Христа там была привинчена черная яйцеобразная жемчужина. Рот молодого человека захватил украшение, и язык ласкал кожу груди. Девушка смеялась. Три фалангиста по очереди склонили головы перед этим причастием. Девушка непринужденно произнесла:

— Иисус вас хранит, а его Мать дарует нам победу.

И, произнеся это благословение, целомудренно удалилась.

Франсиско Франко царил. Чтобы добраться до монастыря Монсеррат, мне пришлось карабкаться по холмам и утесам, идти по полям спелой ржи. С церковных колонн свисали хоругви вишневого шелка, расшитые золотом или тем, что в наши дни, благодаря своему мерцанию, наводит на мысль о золоте; красный цвет — цвет убранства Церкви на Троицу, это было совместное богослужение. Осмотревшись с некоторым волнением — позже станет понятно это волнение перед встречей с Хамзой и его матерью, когда черная Богородица демонстрировала своего мальчишку: как черный хулиган трясет черным фаллосом, так Дева Мария потрясала своим черным хулиганом — я нашел свободное место на скамье. В церкви было много мужчин и женщин в трауре.

Большинство прихожан молодые. На Аббате, наследнике Хименеса де Сиснероса[16] и двух его служках, вишневое облачение. Хрупкие и ломкие, еще не устоявшиеся детские голоса выводили мессу Палестрины, во время которой я не мог отрешиться от мысли, что первые шесть букв этого имени совпадают с названием Палестины. Потом стали христосоваться: после возношения даров Аббат в обе щеки расцеловал служек, а они в свою очередь — каждого из монахов, сидящих на креслах со спинкой. Два мальчика из хора открыли решетку, и Преподобный вышел к прихожанам. Он расцеловал многих из нас — я оказался одним их тех, кто позволил себя поцеловать, но не передал поцелуй дальше, так что цепь братства оказалась мною прервана. Духовенство, спустившееся с хоров в центральный неф, прошествовало к дальним дверям. Прихожане, мужчины и женщины вперемежку, пошли за ними, я тоже. И тогда для меня одного случилось что-то вроде чуда: словно сами собой открылись двери, казалось, каждую створку толкнул кто-то снаружи, в общем, произошло противополож-

[16] Примечания: 16

Кардинал Франси́ско Химе́нес де Сисне́рос (исп. Francisco Jiménez de Cisneros; 1436 — 8 ноября 1517) — глава испанской церкви, великий инквизитор. (*Прим. перев.*)

ное тому, что бывает на Вербное воскресенье, когда духовенство, выйдя из дверей ризницы, три раза стучало в главные двери — напоминание о входе Мессия в Иерусалим, спрашивая дозволения проникнуть в центральный неф. Теперь же, на Троицу, двери открылись снаружи вовнутрь, а сзади, в освещенном приделе, они словно дожидались Аббата с его жезлом и всем духовенством, которое желало выйти. Сразу за папертью расстилалась сельская местность. С победоносным видом процессия шла по полю пшеницы, по полю ржи, шла далеко к скалам, через которые около 730 года так и не осмелились перебраться первые испанские сарацины. Все давно уже пели «Приди, Создатель». И тогда я вспомнил, что «Приди, Создатель» поют не только на Троицу, но и на венчание. Монахи и служки окропили процессию святой водой. Аббат благословлял ее одной рукой, средним и указательным пальцем. Он пел, надрываясь изо всех сил. Толпа была безумна, вот-вот забьется в исступлении. Немного дождя, хоть несколько капель, какое это было бы облегчение. Вокруг расстилалась залитая солнцем каталанская равнина, плоская и слегка выгнутая, как любое ровное пространство в Испании. Должно быть, Бог, создавая небо и

землю, очень веселился, когда ваял эти красные фаллические горы, которые Аббат благословил, как и поле пшеницы. Полуденное солнце пылало. Решительно повернувшись спиной ко всей этой природе, посреди которой и для которой поднялась и звучала, ведомая за собой нашим пастырем, эта свадебная песнь, грегорианский хорал, мы вернулись в церковь, и возвращение в этот сумрак было нечто большим, чем просто вхождением в Храм, это было вхождением в лесную ночь, туда, где при свете луны нас поджидали высокие деревья, мелкая поросль и поляны. А юноши и девушки, вставшие в круг в лесу, в полночь, при лунном свете, они собрались здесь, чтобы молиться или объединить свои силы для проклятия, ведь все в исламе подчинено лунным циклам? По-христиански ли вставать новобрачным вовнутрь Полумесяца? Даже не знаю, с чем сравнить мое волнение. Здесь был кто-то еще, кроме Всевышнего. Какой страх мог бы сравниться с этим страхом: «Белая гора надвигалась на меня?» или: «Клоун Грок вышел на середину арены и достал из штанов детскую скрипочку?» или: «Рука полицейского опустилась мне на плечо. И рука эта нежно говорила: «Ты попался».

Слово «многобожие» резонирует в любом обще-

стве, словно вызов. Слово атеист слишком близко к христианскому морализму, христианскому, но там, где Христос сводится к единственному шипу из его царственного божественного венца; а многобожие заставляет язычника погрузиться в глубь веков, ту самую, которой дали насмешливое прозвище «тьма веков», когда Бога еще не существовало. Некое хмельное упоение и великодушие позволяет язычнику подходить ко всему и ко всем с таким же почтением, как и к самому себе, не унижая и не принижая себя. Подходить. Возможно, созерцать. Наверное, язычеству я дарую больше, чем то, на что оно может претендовать и, похоже, в предыдущих строках я уподобил его анимизму, свойственному первобытным народам. Воскрешая в памяти эту церемонию, я пытаюсь объяснить, из какой пещеры я вышел, в какой пещере я оказываюсь порой из-за какого-нибудь мимолетного переживания.

В «Ревю д'Этюд палестиньен»[17] мне хотелось описать, что осталось от лагерей палестинских беженцев Сабры и Шатилы после того, как фалангисты провели там три ночи. Одну женщину они распяли заживо. Я потом видел ее тело, с

---

[17] Примечания: 17
«Revue d'études palestiniennes» — книга Жана Жене. (*Прим. ред.*)

раскинутыми руками, облепленное мухами, особенно много мух было на тех местах, где раньше находились пальцы: мухи прилепились к десяти сгусткам запекшейся крови, ей отрезали фаланги, возможно, отсюда и их название? — подумал я тогда. В тот самый миг и на том самом месте, в Шатиле, 19 сентября 1982 года, мне показалось, что все это было какой-то игрой. Отрезать пальцы секатором — как садовник подрезает тис — эти шутники-фалангисты были просто веселыми садовниками, которые из английского парка хотели сделать французский. Это первое впечатление улетучилось, как только мне удалось немного придти в себя, и я мысленно прожил совсем другую сцену. Ветки и пальцы отрезают не просто так, безо всякой причины. Когда женщины услышали выстрелы сквозь закрытые, но с разбитыми стеклами окна, когда увидели лагерь в зареве осветительных ракет, они почувствовали себя в западне. Содержимое шкатулок с кольцами они вывернули на столы. И каждая женщина, словно перед нагрянувшим неожиданно праздником, нацепила все свои кольца на пальцы — все десять, включая и мизинцы, а может, и по пять-шесть колец на палец. Они пытались бежать, надев на себя все золото? Наверное, одна

из них, полагая, что разжалобит этим какого-то пьяного солдата, сняла с указательного пальца дешевое колечко с поддельным сапфиром. Уже и без того пьяный, но еще больше опьяневший от вида драгоценностей, желая как можно быстрее отправиться дальше, фалангист своим ножом (или найденным возле дома секатором) отрезал пальцы до первой фаланги, потом положил их в карман штанов.

Пьера Жмайеля в Берлине принимал сам Адольф Гитлер. То, что он увидел — юные мускулистые блондины в коричневых рубашках — определило его решение: у него будет своя милиция, созданная на базе футбольной команды. Христианин, но ливанец, он терпел насмешки от христиан, у которых сила заключалась лишь в финансах. Насмешки маронитов вынудили Пьера и его сына Башира объединиться с израильтянами, а фалангистов применять жестокость, которая есть отражение силы, более действенной и уместной здесь, чем обычная сила. Ни Пьер, ни его сын не сумели бы управлять, не будь у них покровителя: Израиля, и у жестокого Израиля тоже был свой покровитель: США.

Так я лучше узнавал фалангистов, которые целовали крестики в ложбинке между грудями,

удерживали во рту медальон с изображением Богородицы, подвешенный на золотой цепочке, толстыми губами лобзали руку Патриарха и благочестиво мастурбировали рукояткой золоченого Жезла.

Я поднял глаза и пристально посмотрел на «Пресуществление Святых Даров» в монстранции, где торжественно и смиренно, но неизменно и непреложно являл себя «хлеб». Церковь, сколько личных кораблекрушений…

Неслись вскачь магометанские скакуны. Может, они спасались бегством? Вслед за Аббатом мы вошли в церковь. Черная Дева и ее черный Иисус приняли привычные позы, но тогда, на Троицу, почувствовал бы я это восторженное состояние, если бы в Барселоне не усадил в свое такси двадцатилетнего марокканца, который оставался со мной на протяжении всех религиозных обрядов? Тот изначальный поцелуй, дарованный Аббатом на хорах церковного придела, поцелуй, что множился, словно хлеб, раздаваемый назарянином на берегу озера, он раскрывался, как раскрывается бутон, отделяя свои лепестки, и каждый лепесток, отсоединяясь от венчика, все равно оставался этим изначальным поцелуем, а напомнил мне поцелуи, которые глава Каинова

племени дарил — в порядке убывания — шестнадцати именитым.

«Каждому по его заслугам». А самый именитый из шестнадцати удостоился, возможно, одного-единственного поцелуя. Поскольку я не знал вообще ничего, то не знал и смысла этой прогрессии: может быть, единственный поцелуй был знаком самого высокого почитания — от шестнадцати до Единственного?

В темноте, перед самым рассветом, в январе 1971, то есть, через четыре месяца после «Черного Сентября», три группы фидаинов в конце долгого перехода с одной базы на другую пели, перекликаясь через холмы. А в перерыве между песнями я слушал утреннюю тишину, ее напряженность и плотность была соткана из всех дневных звуков, еще не успевших прозвучать. Моя группа находилась ближе всего к Иордану. В перерыве я пил чай, пил шумно, потому что было жарко, и еще так было модно: пусть все слышат это наслаждение языка и нёба, ел оливки и пресный хлеб. Фидаины переговаривались по-арабски и смеялись, не ведая, что недалеко отсюда Иоанн Креститель когда-то крестил Иисуса.

Перекликались три невидимые друг другу вершины — как раз в это время или чуть позднее

Пьер Булез сочинял свои «Респонсории», солнце еще не взошло, но на востоке уже подкрашивало синим черное небо. А неокрепшие голоса четырнадцатилетних львят всерьез пробовали свои силы: ради собственно эстетического удовольствия, и чтобы полифония заиграла всеми красками, потому что все, как правило, пели в унисон, а еще чтобы доказать свою зрелость во всем, свой боевой дух, отвагу, мужество, а может быть, свою любовь к героям — так они целомудренно давали им понять, что достойны их. Одна группа молчала, дожидаясь, когда две другие, невидимые им, ответят в унисон, но по-разному, каждая из трех в своей манере. Гармония нарушалась лишь в некоторых пассажах, когда какой-нибудь ребенок-воин брал на два — два с половиной тона выше, для особых трелей и только в тех пассажах, какие выбирал сам, и тогда хористы замолкали, словно расступались, давая дорогу старейшине. Этот контраст между голосами подчеркивал контраст между земным царством, государством Израиль, и землей без земли, с ее единственной опорой: бессловесным пением палестинских солдат.

«Так эти мальчики были воинами, солдатами, фидаинами, террористами, которые отправляют-

ся во все точки света, тайно ли в ночи, утром или при свете дня, чтобы подложить бомбу?»

Между строфами перекликающихся через холмы песен, казалось, наступала полная тишина. Но мгновение, и сквозь эту тишину словно просачивался четвертый голос, голос ручья, очень близкого или далекого, я так никогда и не узнал; этот голос воды, которая журчала между двумя холмами и двумя хорами так, что казалась мне прозрачной и чистой, осторожно прокладывал себе путь. И только между пятой и шестой строфами голос возвысился, наполнив долину. Словно тонкая струйка воды перетекла в тонкий голосок, потом он охрип и набух, сделавшись властным и грубым, прогнав детские и серьезные голоса. Мне показалось нелепым и абсурдным, что этот диктатор заставил замолкнуть влюбленных, но, возможно, они так и услышали ни ручья, ни бурного потока.

Ночь не была уже такой темной: я различал стволы деревьев, ранцы, ружья. Если взгляд мой привыкал к сумрачной громаде ночи, то, всмотревшись пристальней, на месте этого пятна я мог уже разглядеть длинную черную аллею, а в глубине аллеи что-то вроде перекрестка, откуда расходились другие аллеи, еще более черные.

Любовный призыв исходил не от голосов, не от вещей, не от меня самого, но от компоновки природы в ночи, как зачастую сам пейзаж при свете дня дает приказ любить.

Отобранные и сымпровизированные ребенком — ведь конец песни был импровизацией — эти вокализы без согласных казались пронзительными, как будто три Королевы Ночи с едва пробивающимися усами, в пятнистой маскировочной форме отошли от лагеря и потерялись, а утром нашлись в выразительном вибрато, с уверенностью, дерзостью, холодностью оперных прим, забывших о своем оружии, о форме и солдатском уставе, между тем как автоматная очередь из Иордании могла навсегда заставить их замолчать выстрелами более точными и столь же гармоничными, как их песня. Может, они, эти Королевы, верили, будто маскировочная форма делает неслышимой их песню, или язык и музыка излучают инфразвуки?

Из глубин памяти возникла легенда об Антаре, арабском поэте и герое доисламитской эпохи. Напомню ее: Антара, всадник двадцати четырех лет, стоя в стременах, пел об умершей возлюбленной, о нежности родного дома. Натянув лук, какой-то слепой, ориентируясь лишь на голос, пустил

стрелу и убил героя, попав тому в пах. Мертвые глаза не нужны, мишенью стал голос Антары.

Голоса, по крайней мере, тем утром, были такими же настоящими, как звуки гобоя, флейты, флажолета, такими подлинными, что можно было почувствовать запах дерева, из которого сделаны инструменты, догадаться о направлении древесных волокон, такие же подлинные звуки, как и звучание инструментов в «Истории солдата», которые я узнал в собственном голосе Стравинского, чуть надтреснутом, столь приятном слуху. Кажется, я вспомнил, что эта шероховатость гортанных арабских согласных, когда гласные выпадают вообще, а согласные удлиняются, придавала голосам такое бархатистое звучание.

На востоке светло: опережая солнце, над холмами вставал рассвет. Я стоял у подножия хорошо мне знакомой старой оливы.

Мы опять обошли холм, все тот же самый, а я-то думал, что мы прошли уже несколько холмов. Это была довольно примитивная военная хитрость: пусть противник верит, будто палестинцев много и они повсюду. Почти уже десять лет палестинцы использовали такие абсолютно бессмысленные, но отвлекающие маневры, зачастую красивые,

иногда опасные, и эти маневры улавливались сверхчувствительной израильской аппаратурой.

На мой вопрос:

— Какую песню вы поете? Халеб ответил мне:

— Каждый свою. Тему задает первая группа, второй становится та, что быстрее ответит, третья посылает первой ответ-вопрос, ну и так далее.

— И все-таки о чем в ней говорится?

— Ну… о любви, конечно. И немного о революции.

Я сделал еще одно открытие: голоса, модуляции, тональность были мне очень близки. Впервые в моей жизни арабская песня свободно лилась изо ртов и легких, ее подхватывало живое дыхание, которое всякие механизмы — диски, кассеты, радио — убивали с первой же ноты.

Утром, совершенно забыв о смерти, которая подстерегала повсюду (я говорю о смерти певцов, воинов-артистов, чьи тела могли разложиться уже под полуденным солнцем), я услышал великую музыкальную партию, сымпровизированную прямо здесь, на горных тропах, в минуты опасности.

Не будем повторять всем известный факт, что память — вещь ненадежная. Безо всякого злого умысла она искажает события, даты, навязывает

собственную хронологию, забывает или видоизменяет то, что в ней сохранилось, сказанное или написанное. Она превозносит случайное: каждому гораздо интереснее оказаться свидетелем событий редких, о которых никто прежде не слышал. Тот, кто узнал исключительный, необычный факт, словно сам проникается этой исключительностью. Всякий автор мемуаров хотел бы остаться верным своему начальному выбору. Лишь находясь очень далеко можно увидеть: за линией горизонта банальность совсем такая же, как та, что рядом! Мемуарист хочет показать то, что никто в этой банальности не разглядел. Мы самоуверенны: нам хочется дать понять, что наше вчерашнее путешествие стоило того, что мы написали этой ночью. Такие спонтанно музицирующие народы встретишь нечасто. Ведь у любого народа, в любой семье есть свой певец и, не признаваясь в этом себе, мемуарист хочет стать певцом самого себя, и в нем самом разыгрывается эта невероятно ничтожная, но нескончаемая драма: написал бы Гомер свою «Илиаду» без разгневанного Ахилла, или что узнали бы мы о гневе Ахилла, если бы не Гомер? А если бы Ахилла воспел какой-нибудь посредственный поэт, у него тоже была бы

эта короткая, но славная жизнь, а не длинная и спокойная, дарованная Зевсом? Английские аристократы и механики умеют насвистывать Вивальди и все песенки воробьев и прочих английских пташек. Палестинцы сочиняли свои песни, как будто те были забыты, а затем заново найдены в них самих, они были в них спрятаны, пока не пришло время их спеть, и всякая музыка, даже самая новая и современная, мне кажется не сочиненной, а найденной, проявившейся там, где была погребена в памяти, покоилась — особенно мелодия — еще неслышимая, но уже записанная на звуковых дорожках тела, а новый композитор дает услышать песню, которая издавна заключена во мне, хотя я ее и не слышал.

Через несколько дней после того памятного утра я вновь увидел Халеба. Мне показалось, я узнал его голос в одном из хоров трех холмов. Какие темы выбрал он? Он сказал мне, улыбаясь:

— Я через месяц собираюсь жениться, и два других холма смеялись над моей невестой. Говорили, что она некрасивая, необразованная, глупая, горбатая, я ее защищал, а когда свершится революция, я их упрячу в тюрьму.

Он снял с плеча мушкетон и поставил его прикладом вниз к тем, что уже стояли на траве. Под

усами блестели зубы.

Я писал это в феврале 1984, то есть, через четырнадцать лет после песен на холме. Я никогда ничего не записывал на дорогах, на базах, где-нибудь еще. Я пишу о событии, потому что был его свидетелем, и потому, что оно так сильно подействовало на меня и надолго оставило след: думаю, вся моя жизнь выткана такими и еще более важными событиями.

— А почему не прямо сейчас?

— Ты же знаешь, у нас нет тюрьмы.

— Есть прицепной тюремный вагон.

— Но мы должны действовать по плану.

— И что?

— Они мне ответили, солнце уже встало, утреннюю молитву спели, они мне сказали: а ты что делал тайком с Хусейном и Голдой[18]...

— И что?

— А я им опять про тюрьму.

— А они?

— Они мне сказали, что пели про свой холм, он называется Невеста.

Он помолчал, еле заметно улыбаясь, и робко спросил:

---

[18] Примечания: 18

Голда Меир — израильский политический и государственный деятель, 5-й премьер-министр Израиля. (*Прим. ред.*)

— Правда, красивая песня?

И посмотрев на его руку, его сильную ладонь, я, кажется, понял величие его песни и его души.

— Может, там были незнакомые тебе слова? Я в песне перечислял названия европейских городов, где у нас были акции, я рассказывал про них. Ты ведь слышал, как я в разных тональностях пел про Мюнхен?

— Ты описывал город?

— Да, каждую улицу.

— Ты был в Мюнхене?

— Я так много про него пел, так что… в общем, да.

Еще он сказал мне, по-прежнему улыбаясь, как себе представляет искусство пения, и уже серьезно добавил:

— Нам очень мешал ручей.

— Почему?

— Как только он заговорил, то уже не давал сказать никому другому.

Значит, и он услышал этот голос, а мне-то казалось, он такой тихий, потаенный, и никакое ухо, кроме моего, распознать его не может.

Но если и чужие органы восприятия способны улавливать то, что, как я думал, доступно мне одному, значит, нет у меня никакой тайной

жизни?

Однажды вечером — это был тот вечер, когда фидаины отдыхают после целого дня трудов: снабжение, охрана базы, штаба, платформ для тяжелой артиллерии, контроль телефонной и радиосвязи, все то, что имеет отношение к безопасности палестинцев, я уже не говорю о постоянной боевой готовности, ведь от иорданских деревень исходит опасность — однажды вечером Халеб Абу Халеб спросил меня, как сражаются Черные Пантеры.

Мой рассказ был неторопливым из-за скудости словарного запаса арабского языка. Партизанская война в городах его удивила.

— Зачем они это делают, разве у них в Америке нет гор?

Возможно, потому что движению Черных Пантер не хватало глубины и основательности, оно распространилось среди черных и молодых белых, воодушевленных мужеством рядовых членов и командиров и новой протестной символикой. Символика: «афрошевелюра», железный гребень, все это имелось и у других представителей «черных» движений, обращенных к Африке — Африке воображаемой, где ислам уживался с анимизмом — Пантеры тоже не отказывались

от подобной символики, но добавляли к ней свою: «All Power to the People": черная Пантера на синем фоне, кожаный пиджак, берет, но главное — оружие, которое носят на виду, демонстративно. Вообще-то у Партии не имелось никакой идеологии: «Десять пунктов» ее программы были довольно расплывчаты или противоречивы, их марксизм-ленинизм казался надуманным, в самом деле, когда заявляют, что главная цель революции — освобождение человека (в данном случае, черных американцев), это вообще ни о чем. Если марксизм-ленинизм по определению атеистичен, то революционные движения Пантер или палестинцев вроде нет: но их тайная (или не слишком тайная) цель — это медленное и постепенное истощение Бога, когда он делается пресным, бескровным, забытым, истончается и тускнеет до полного исчезновения. Это может быть такой особой тактикой, пусть долгой, но эффективной. Все, что делали Черные пантеры, они делали — так они считали — ради освобождения черных. Они заставляли принять «Black is Beautiful", и это внушает уважение даже черным копам, даже тем неграм, кто раболепствовал перед белыми. Поощряемое властью движение выходило за пределы, предусмотренные вла-

стью.

Оно стало хрупким и недолговечным, как мода, но в то же время жестким и суровым, ведь приходилось охотиться на копов, а копы охотились на них.

Хрупким из-за своих отливающих всеми цветами радуги нечетких границ, о чем я уже говорил, из-за способа финансирования движения, из-за большого количества телевизионных картинок, тоже нестойких и мимолетных, из-за своей риторики, жесткой и мягкой одновременно, за которой не виделось серьезных размышлений, из-за своей легкомысленной театральности — ну да, театральности — из-за быстро появляющихся и стремительно исчезающих символов.

Итак: переливающие всеми цветами радуги границы. Наверное, они представляли собой нечто вроде заграждения между белыми и Пантерами, но мало того что заграждение это было непрочным, оно еще было взаимопроницаемым.

Теперь о способе финансирования: золотая богема, и белая и черная, быстро увлеклась ими. Чеки лились потоком: джазбанды, театральные труппы перечисляли выручку от спектаклей и концертов. Пантеры поддались соблазну тратиться на адвокатов, на судебные процессы, на

прочие издержки. Кроме того, у них появилось сильнейшее искушение просто проматывать эти деньги, и они поддались этому искушению.

Телевизионные картинки: картинки движущиеся, но двухмерные, как будто они опирались на нечто воображаемое, то есть, на мечту, а не на факты.

Риторика Пантер: она радовала молодых, белых и черных, которые подражали ей. Но слова “Folken”, “A man”, “All Power to the People” быстро сделались привычкой, заглушающей всякие размышления.

Театральность, как и телевидение, тоже переносит в воображаемое, только ритуальными способами.

Символику удалось расшифровать слишком быстро, поэтому она потеряла смысл. Ее стремительно приняли, но тут же и отвергли, слишком прозрачной и понятной она оказалась. Несмотря на это, и еще потому что влияние ее было слабым, ее восприняли сначала молодые чернокожие, заменившие марихуану провокациями с прическами, затем молодые белые, получившие возможность избавиться от викторианского языка, которые хохотали, услышав, как сначала Джонсона, потом Никсона публично называют

ублюдками, которые поддерживали — пытаясь им подражать — Пантер, потому что это было «модным» движением. На этот раз черные оказались на виду не как покорное меньшинство, не как люди, чьи права надо защищать, а как яростные, стремительные, непредсказуемые нападающие, до самой смерти преданные своему долгу — защите черных.

Эта вспышка, вероятно, стала возможной благодаря войне во Вьетнаме и борьбе вьетнамцев с американосами. И предоставляя слово — вернее, не отказывая предоставить слово — лидерам Пантер на антивоенных митингах, в каком-то смысле им предоставляли *право* вмешиваться в государственные дела. Наконец, и это нельзя недооценивать, к движению примкнули чернокожие ветераны войны в Индокитае, с их гневом, их агрессией, их знанием огнестрельного оружия.

Наверное, самый важный итог движения Пантер это то, что черных стали замечать. Я сам могу это подтвердить: в 1968 году на Демократическом конгрессе в Чикаго черные были если не робкими, то, по крайней мере, осторожными. Они старались не попадаться на глаза и особо не высказывались. А в 1970 году они уже жили с высоко

поднятой головой, как будто наэлектризованные. Реальная деятельность Пантер была практически завершена. Если белая администрация хотела их уничтожить, позволив разрастаться без ограничений и тем самым сглаживая влияние, она быстро поняла, что ошиблась: период разрастания Пантеры использовали, чтобы увеличить число своих выступлений или деяний, которые становились символами, и сила этих символов оказывалась их же слабостью, их тут же перенимали все чернокожие и белая молодежь: над гетто пронесся яростный ветер, сметая стыд, незаметность, четырехвековую униженность, а когда ветер стих, оказалось, это было всего лишь легкое дуновение, почти нежное, дружеское.

Любое слово может возвестить о создании, затем о проявлении любого образа, но тот образ, что отпечатается здесь, предстал среди огромного множества других, уступающих ему в яркости, силе, убедительности, по мере того, как моя решимость писать становилась все четче и в конечном итоге сосредоточилась лишь на одном образе: полярная ночь. Взлетев из аэропорта Гамбурга вечером 21 декабря 1967, самолет Люфтганзы сначала доставил нас в Копенгаген. Из-за поломки навигационных приборов нам пришлось вер-

нуться во Франкфурт. Вновь мы вылетели утром 22. Пассажирами, за исключением трех американцев, пятерых немцев и меня, были молчаливые японцами. До самого Анкориджа не произошло ничего особенного, но незадолго до приземления стюардесса сказала несколько приветственных слов по-английски и по-немецки, затем произнесла «Сайонара»[19]. Вероятно, чистый тембр ее голоса, необычность этого звучания, к которому я был готов, прозрачность гласных, едва подхваченных согласными, в общем, это произнесенное в ночи слово, а еще самолет на западной долготе, которую вскоре предстояло покинуть, это слово вызвало во мне новое яркое ощущение, которое называют предчувствием.

Самолет вновь взлетел. Или нет? Моторы вращались, а я ведь не почувствовал никакого, ни слабого, ни резкого толчка, когда мы отрывались от земли, а ночь была такой плотной, что я не понимал, неподвижны мы или уже нет. Все молчали, может, спали, может, щупали себе пульс. В иллюминатор я видел лишь красные бортовые огни на конце крыла. Стюардесса сказала, что мы обогнули полюс и «перемещаемся» на восточ-

---

[19] Примечания: 19

Сайонара — японская формула прощания. (*Прим. перев.*)

ную часть глобуса. Усталость от путешествия, изменение маршрута, блуждание самолета, ночь, которая если и кончится, то только где-нибудь над Японией, сама мысль о том, что мы уже на востоке земного шара, и что каждую секунду возможна авария, а с каждой новой секундой становилось понятно, что авария не произошла, слово «Сайонара», до сих пор звучавшее во мне — всё это вместе не давало спать. После этого слова мне стало казаться, что от моего тела, рискуя оставить меня голым и белым, лоскутами стала отпадать черная и плотная иудео-христианская мораль. Меня удивляла собственная безучастность. Ведь это я сам подвергался этой процедуре, я же был ее свидетелем, мне она даже была приятна, но я в ней как будто не участвовал. Следовало быть осторожным: всё пройдет успешно, если бы я не стану вмешиваться. Чувство облегчения было обманчивым. Как будто кто-то прощупывал и исследовал меня. Так долго я боролся против этой морали, что борьба моя стала комичной. И совершенно напрасной. Одно японское слово, японское слово, произнесенное гибким эластичным голосом молодой женщины, уже начало действовать. А еще мне казалось удивительным, что в своих прежних сражениях я так и не спо-

добился отыскать, может, придумав его сам или выучив японский, это простое, немного забавное слово, чей банальный смысл еще не совсем был мне понятен. Застигнутый врасплох очистительной властью, целебной властью простого слова, спроецированного на прозрачный матовый экран, я был заинтригован. Немного позднее мне показалось, что «Сайонара» — в японском звука «р» не существует, и слово прозвучало как «Сайонала» — стало для моего измученного тела — измученного, потому что держало унизительную осаду против этой иудео-христианской морали — первым прикосновением кусочка ваты, снимающей грим, чтобы оставить меня, как я уже сказал, голым и белым. Освобождение, которое представлялось мне долгим, медленным, изнуряющим, глубинным, потребующим работы скальпелем, начиналось как игра — незнакомое слово, поставленное в насмешку после двух англо-немецких, приветствие, адресованное всем пассажирам, оно стало началом очищения, пусть пока поверхностного, но оно освобождало меня от этой морали, не разъедающей, а скорее липкой и вязкой. Мне не понадобится церемонная и торжественная хирургическая операция, она просто растворится при помощи мыла. Внутри

ничего не было. И все же я встал и пошел срать в конец самолета, надеясь освободиться от солитера длиной в три тысячи лет. Облегчение было почти мгновенным: все будет хорошо, ведь освобождение начиналось насмешкой, весьма подходящей для такого случая. При помощи тонкой эстетики разрушалась тяжеловесная мораль. Я не знал учения дзен и не знаю, почему пишу эту фразу. Самолет по-прежнему летел в ночи, но я уже не сомневался, что по прибытии в Токио буду голым, улыбающимся, проворным, способным разом обезглавить первого, второго таможенника, и плевать мне на это. На девочку-японку, чьей смерти я боялся и желал, таможенники даже не взглянули. Мне показалось, хрупкость ее костей и то, что черты лица были и так сплюснуты, уже являлось вызовом: расплющивание, деформация. Впрочем, тяжелые сапоги немецкого экипажа так подходили мускулатуре бедер и ягодиц, широкому торсу, шейным сухожилиям, твердому взгляду.

«Такая хрупкость есть агрессия, требующая репрессий».

Вероятно, эти слова я произнес про себя как-то по-другому, можно предположить, передо мною пронеслись образы обнаженных изможденных

евреев, в лагерях, где их слабость казалась провокацией.

«Казаться таким хрупким и таким расплющенным, они так молились, что их расплющило? Если их совсем расплющит, как об этом узнают? Нас, живых японцев, уже более сотни миллионов».

Она была живой и говорила по-японски.

Всякое решение принимается вслепую. Если какое-нибудь постановление, вынесенное судебное решение оставляло судей обескровленными и обессиленными, присяжных заседателей дезориентированными, публику озадаченной, а преступника свободным, в основе этого постановления и этой свободы — безумие. Сочинять приговор с таким же усердием, с каким идиот сочиняет стихотворение, ну и дела! Где найти человека, принявшего решение не судить, чтобы заработать себе на хлеб? Кто готов покинуть ровные и прямые коридоры суда, чтобы заблудиться и зачахнуть, сочиняя очередной приговор, рискуя осознать, что слишком тщательная подготовка подлости может помешать ее осуществлению? У судьи нет имени, есть лишь функция. Но преступника он называет по имени, и тот встает. Преступник не может без судьи, они связаны один с другим некой биологической несуразностью,

которая не противопоставляет их, но дополняет. Кто из них тень, кто солнце? Всем известно, что бывают великие преступники.

Все произойдет на фоне ночи: готовясь вот-вот умереть, хотя эти слова обладают столь малым смыслом, столь мало передают значимость события, преступник хотел бы еще сам решать, чем являлась его жизнь — истекающая на ночную тьму, которую он желал не осветить, но сгустить еще сильнее.

Стоуни Брук — университет километрах в шестидесяти от Нью-Йорка. Университетские постройки, дома преподавателей и студентов находятся прямо в лесу. Мы с Черными Пантерами должны были читать там лекции, одну для студентов, другую для профессоров. Цель — рассказать о Бобби Силе, его тюремном заключении, о реальной опасности смертного приговора, а еще рассказать о решимости Никсона уничтожить партию Черных Пантер, рассказать о проблеме чернокожих в целом, продать выпускаемый партией еженедельник, получить два чека за лекции, один — 500 долларов — от профессоров, другой — 1000 — от студентов, провести сбор пожертвований, попытаться завербовать сочув-

ствующих среди чернокожих студентов. Садясь в машину — мы были на съезде партии в Бронксе — я сказал Дэвиду Хиллиарду:

— Ты едешь с нами?

Он слегка улыбнулся, отказался и произнес показавшуюся мне загадочной фразу:

— Еще слишком много деревьев.

Я уехал с Заидом и Наппье. В течение всей поездки эта фраза «Еще слишком много деревьев», постоянно вертелась у меня в голове. До сих пор для чернокожего, едва достигшего тридцатилетия, дерево — совсем не то же самое, что для белого: не праздник листвы, не птичьи гнезда, не процарапанные на коре сердечки с именами, а виселица. При виде дерева, воскрешающего в памяти не такой уж и древний страх, у чернокожего пересыхало во рту, отказывали голосовые связки: оседлав ветку покрепче, белый держал веревку с уже готовым узлом, это было первое, что видел негр, которого собирались линчевать; сегодня от чернокожего нас отличает не столько цвет кожи или форма прически, сколько его терзаемая навязчивыми идеями психика, которую нам не суждено понять, разве что сам черный, следуя какой-то шуточной и тайной моде, вдруг произнесет некую фразу, и она покажется нам

загадочной. Она и вправду загадочная, впрочем, это переплетение навязчивых мыслей черные держат при себе. Из своих несчастий они сделали богатство.

Профессора Стоун Брук вели себя непринужденно. Они принимали нас с большой теплотой. Вряд ли они поняли, что я, используя менее агрессивную риторику, вовсе не пытаюсь отмежеваться от Пантер. Мне следовало бы как-то смягчить, объяснить им… на мое имя выписали два чека и отдали их Пантерам. Такая деликатность тронула меня. Одна светловолосая дама, преподавательница, сказала мне:

— Нам нужно протестовать против расстрелов Пантер, ведь учитывая, как развиваются события, потом нам придется опасаться за своих сыновей.

После некоторых размышлений я должен написать: со времени своего создания в октябре 66 года Партия Черных Пантер все время будто пыталась превзойти самое себя, беспрестанно вбрасывая новые картинки, и так вплоть до конца 1970. В апреле 70 Пантеры были по-прежнему сильны, у университетских профессоров не хватало доводов вести дискуссии, бунт чернокожих базировался на таких очевидных вещах, что возражать было бессмысленно, а всё, на что были

способны белые — профессура или кто еще — заклинали злых духов. Кто-то вызывал полицию. Но радостное, преисполненное пафоса движение Пантер так и не стало популярным. Они призывали к самопожертвованию, вооруженным столкновениям, словесным баталиям, оскорблениям, которыми хлестали белых по роже. Насилие могло подпитываться только нищетой гетто. Великая внутренняя свобода находила свое выражение через войну, которую они объявили полиции, администрации, всему белому населению и части черной буржуазии. Это движение было таким пронзительным, что исчерпалось довольно быстро. Оно сгорело, потрескивая, искрясь и сделав проблему чернокожих не просто видимой, но сияющей.

Нашлось не так много американских интеллектуалов, понявших, что аргументы Пантер — поскольку не основывались на сущности американской демократии — представлялись слишком поверхностными, а сами Пантеры необразованными и ограниченными. Резкость пантеровской риторики (некоторые ее называли пустословием) проявлялась не в самой сути дискуссий, а в напоре утверждения — или отрицания, в гневном тоне и тембре голоса. Этот

побуждающий к действиям гнев не допускал напыщенности и высокопарности. Пусть сравнит тот, кому довелось присутствовать на политических потасовках белых, скажем, на конгрессе Демократической партии в Чикаго в августе 1968: поэтические измышления не принесли им удачи.

Теперь хорошо видно, что партия Пантер не только провоцировала и поощряла молодых черных, за дерзкими провокациями в адрес белых угадывалась такая воля жить, что было понятно: они готовы пожертвовать самой жизнью. Молодые экстравагантные черные из Сан-Франциско, Гарлема или Беркли и скрывали, и прямо указывали, что оружие направлено на белых. Благодаря Пантерам черные, которых называли еще «Томами», занимающие высокие посты в администрации, должностные лица, мэры крупных городов с преобладающим черным населением, те, кого избрали или назначили для вида, напоказ, теперь эти черные были «на виду», отныне белые их «слышали». Не потому что они повиновались Пантерам или Пантеры были их инструментом, а потому что Пантер опасались. Порой это станет несчастьем для самого гетто: высокопоставленные черные, которых

белые теперь выслушивали, испытали искушение распространить свою власть и нанести удар по черным, не заботясь о справедливости, а из стремления к еще большей власти. Они смогли служить американскому закону и порядку. Но с 1966 по 1971 Пантеры проявили себя как юные варвары, угрожающие законам и искусствам, ссылаясь на марксистско-ленинскую религию, столь же близкую к Марксу и Ленину, как Дюбюффе к Кранаху. Надо было спать, не так ли? Ближе к концу ночи, после всех дискуссий, ссор, виски и марихуаны, нужно спать. Многие Пантеры страдали язвой желудка.

Вы полагаете, этот молодой черный, оказавшийся в тюрьме, потому что курил, украл, изнасиловал, избил белого — сын учтивого чернокожего, уважающего религиозные и государственные законы? На самом же деле, этот молодой черный, и он сам прекрасно это знает, три сотни лет назад убил белого, совершил множество побегов с кражами, грабежами, собаками по следу, соблазнил и изнасиловал белую женщину и был повешен без суда и следствия; он один из главарей восстания 1804 года, у него кандалы на ногах, он прикован к тюремной стене, он тот, кто повинуется и кто отказывается повиноваться. Белая администра-

ция предоставила ему отца, которого он знать не знает, черного, как и он, но ему, возможно, было предназначено сделать еще отчетливей отличие между первоначальным негром, который никуда не делся, и им теперешним. Такой метод устраивает белого и обслуживает его интересы: устраивает, потому что администрация может избивать или убивать людей и не чувствует свою вину; обслуживает интересы белого, потому что ответственность за «преступления» черного будет нести один человек, а не черное сообщество, а приговор, вынесенный ему лично, станет элементом системы американской демократии. Итак, белые очень несчастны: надо осудить негра? или черного? Благодаря Черным Пантерам появились очень хорошие, правильные чернокожие, но своими действиями эти Пантеры доказывали, что негр остается негром.

Но немного чеснока, к счастью…

В палестинских лагерях львятами называли мальчиков от семи до пятнадцати лет, которые учились быть солдатами. Критиковать подобную практику очень просто. С точки зрения психологии польза от этого была, хотя и не слишком большая. Закаливать тело и дух можно было бы

с помощью спортивных упражнений, ежедневно увеличивая их интенсивность, чтобы научиться справляться с холодом, жарой, голодом, страхом, ужасом, внезапным нападением. Условия тяжелых тренировок все равно не будут соответствовать реальной ситуации, когда придется встретиться лицом лицу с коварными солдатами противника, готовыми убивать даже детей. Когда командиры этих львят отдавали приказы мальчишкам, пусть даже самые суровые, в их голосе слышалась почти материнская нежность.

«Каждый десятилетний палестинец умеет стрелять», — торжественно объявила мне Лейла. Еще она полагает, что стрелять — значит приложить винтовку к плечу и нажать на спуск. Но хорошо стрелять — это прицелиться в противника и убить его, а эти мальчишки пользуются оружием устаревшего образца, и фидаины тоже. Стрелять куда? В кого? А главное, в каких условиях? На этом микроскопическом клочке земли, отданном львятам — скорее игровая площадка, чем полигон, царила умиротворяющая атмосфера детства, и не было в помине этой невыносимой жестокости, ужаса не было, потому что о враге *никогда не узнаешь*. Уроки партизанской войны были простейшими. Я так часто видел, как львята

преодолевают заграждения колючей проволоки, всегда одни и те же, и перед ними не ставят никакой новой задачи, не требуют искать выход из ситуации неожиданной и опасной, зародившейся в извилинах израильских умов, так что в какой-то момент мне стало казаться, что эти дети тренируются на каких-то «Потемкинских» военных базах. Журналистам со всего мира, которые посещали палестинские лагеря, львята словно хотели доказать, что они представители нового поколения, родившиеся с винтовкой в руках, прицельной линией в глазах и отвоеванными территориями в сердце. Кроме журналистов из коммунистических стран никого одурачить было нельзя.

При этих заявлениях Израиль (на географических картах пробел, окаймленный на севере синевой Средиземного моря, на востоке Ливаном, а на юге королевством Иордания, изображает то, что еще до 1948 года называлось Палестиной. Предполагается, что на карте стерто то, что некоторые страны называют сегодня Израилем) взрывался ненавистью, которая никогда не затухала. Одних только фотографий львят в лагерях было достаточно, чтобы продемонстрировать пусть не слабость Государства, но, по крайней мере,

беспрерывную угрозу, а приготовления и акции израильтян и сравнить было нельзя с этими лагерями сыновей полка, над которыми каждое утро торжественно поднималось треугольное знамя. Я неоднократно присутствовал при этом ритуале поднятия флага: он был соразмерен этим детям, то есть, небольшой; никого не удивляет, когда школьники размахивают маленькими бумажными флажками, приветствуя королеву, судя по улыбке высочайшей особы, их маленький размер вполне соответствует маленьким детям: в лагерях львят символ Родины был обескровлен, и я бы сказал, что с возрастом символы увеличивались в размере. Когда внезапно тренировочный лагерь заволакивало дымом, дети не испытывали ни страха, ни удивления, это была запланированная операция, но какой эффект, когда среди бела дня наступила тьма, потому что Израиль уничтожил солнце! Что означает это «но немного чеснока, к счастью…»? Пресный вкус можно улучшить с помощью небольшого количества чеснока, и зачастую старшие львята, более испорченные и порочные, чем их командиры, отдавая приказы своим товарищам, словно пряность в блюдо, добавляли немного садистского удовольствия, возможно, приправа и была слишком острой, но

такой тонизирующей.

Палестинцам пристало быть чистоплотными, к мертвым следовало отправляться только после тщательного мытья и чистки. Я узнал об этом все от того же Халеба; двое двадцатилетних солдат, из тех, что пели с ним среди холмов, тщательно мылись неподалеку от нас. Казалось, другие фидаины их не замечают — только не смотреть на них. Под мытьем-чисткой я подразумеваю почти маниакальную заботу о своей гигиене, для них это работа, священный ритуал. Сначала салфеткой, затем руками они полировали свою кожу, несколько раз протерли между пальцами ног, чтобы там не осталось никакой грязи. Затем тщательно вымыли половые органы, торс, подмышки. Солдаты помогали друг другу, один намыливался, затем второй лил чистую воду. Стоя чуть поодаль — всего в нескольких метрах — от других солдат, они казались одинокими, и причиной одиночества как раз и было это занятие, отдалившее и отстранившее их от прочих. Одновременно возвышающее их до размеров горы и отодвинувшее от всех так далеко, будто они были муравьями. Слово «чистка» мне представляется точным: каждый мыл свое тело, как хозяйка чистит кастрюли, которые нужно отполировать

порошком, а после ополоснуть, чтобы они засияли, это было больше, чем просто мусульманское омовение. Я пытался смотреть на происходящее глазами тех фидаинов: предоставил двух молодых людей их одиночеству и их работе, и то, и другое нельзя было ни с кем разделить. Один из них принялся что-то напевать, другой подхватил. Первый взял лежащий рядом небольшой саквояж, открыл застежку-молнию, достал остроконечные портновские ножницы и, продолжая напевать, по обыкновению импровизируя, аккуратно обрезал ногти на ногах, особенно уголки, которые могли порвать носок, затем наступила очередь ногтей на руках, потом он вымыл руки, лицо, половые органы со сбритыми волосками, при этом продолжал петь, подыскивая и быстро находя слова, обращенные к Палестине. Не знаю почему, но той ночью они не стали спускаться в Израиль. Предпогребальное омовение не стало посвящением. Они вновь сделались фидаинами, неотличимыми от других. Когда их назначат вновь, все начнется сначала.

Хохоча во все горло и запрокидывая голову, так что на шее выступило «ожерелье Венеры», такое

же, как у Ланнии Сольх[20], Набила поведала мне о кончине одной восьмидесятилетней палестинки. Она обмотала вокруг плоского живота пояс с четырьмя рядами осколочных гранат. Ей, вероятно, помогли женщины — ее ровесницы или моложе, затем, плача настоящими слезами, она приблизилась к группе из движения Амаль[21], который отдыхал, радуясь, что хорошо пострелял в палестинцев. Старуха плакала долго, на что-то жалуясь сквозь слезы. Люди Аманль вежливо подошли к ней, чтобы утешить. Она все плакала и бормотала по-арабски какие-то жалобы, так тихо, что шииты ее не слышали: им пришлось встать совсем рядом. Когда я узнал из газет, что какая-то шестнадцатилетняя девственница взорвала себя посреди группы израильских солдат, я не удивился. Меня заинтересовали скорее предсмертные радостные приготовления. За какую веревку должна была дернуть старуха или девушка, чтобы сработали гранаты? Как нужно было приладить пояс, чтобы придать телу девствен-

[20] Примечания: 20

Скорее всего, речь идет о Ламии Сольх — дочери первого премьер-министра Ливана, невесте, а впоследствии — жене марокканского принца Абдаллы. (*Прим. ред.*)

[21] Примечания: 21

Амаль — ливанское политическое движение, известное своей кампанией против палестинских беженцев в 80-гг. (*Прим. ред.*)

ницы женскую гибкость и привлекательность и не вызвать недоверия у солдат, известных своей сообразительностью?

Я слушал «Реквием» в плейере, сидя в гостиничном номере, но представьте себе настоящие похороны в церкви, с цветами, венками и восьмью свечами, настоящим покойником в гробу, пусть даже закрытом, и как обрушивался на меня оркестр и хор. Ведь через музыку является жизнь, а не смерть, жизнь этого покойника, для которого звучит месса, и неважно — лежит он в гробу или нет. У меня имелись наушники. Сообразно римской литургии и латинским фразам, которые я рассеянно слушал, Моцарт просил вечного покоя или, вернее, иной жизни и, поскольку церемония происходила лишь в моем воображении, а передо мной не было ни церковных ворот, ни кладбища, ни священника, ни коленопреклонения, ни кадила, после *Литании* мне послышалось языческое безумие. Танцуя, из пещер вылезали троглодиты, чтобы поприветствовать умершую, они танцевали не под солнцем, не под луной, а в молочном тумане, светящемся собственным светом. Пещеры походили на дыры в огромном куске швейцарского сыра, а эти троглодиты, не человекообразные существа, а смеющиеся,

злые духи мелькали, танцевали, встречая новую умершую, значит — каков бы ни был ее возраст — *юную умершую*, чтобы она постепенно привыкала к загробной жизни, чтобы как радостный дар, приняла смерть или новую вечную жизнь, счастливая и гордая оттого, что удалось вырваться из этого, земного мира; день гнева, туба мира, «царь приводящего в трепет величия»[22], это была не месса, а главная партия в опере, которая звучала не меньше часа, *пока длилась агония*, пережитая и сыгранная в ужасе от того, что теряешь этот мир, чтобы оказаться — в каком? Под каким обличьем? Переход по подземному туннелю, ужас могилы, надгробной плиты, но главное — веселье, радость, что летят быстрее смерти, стремительность, с какой агонизирующий покидает этот мир, торопясь оставить нас неблагодарной благопристойности повседневной жизни, чтобы вознестись, не опуститься, а вознестись, смеясь, а может, и чихая, к свету, вот на чем мне довелось присутствовать от *Диес ире* до знаменитейшего восьмого такта *Лакримозы*, которого я никогда не отличал от последующих

[22] Примечания: 22

Dies irae, Tuba mirum, Rex tremendae majestatis (День гнева, туба мира, «царь приводящего в трепет величия») — части моцартовского «Реквиема». (*Прим. перев.*)

тактов, допуская веселость, я, осмелившись сказать *свобода*, осмеливаюсь на все. Когда юноша после долгих дней беспокойства и растерянности решается поменять пол, стать тем, кого обозначает это ужасное слово транссексуал, и когда уже решение принято окончательно, его наполняет радость при мысли о новых половых органах, о двух грудях, которые он станет ласкать своими слишком маленькими и слишком влажными ладонями, но главное — по мере того, как станет увядать прежний половой орган и вот-вот отпадет, сделавшись окончательно непригодным, придет радость сродни, наверное, безумию, когда о себе он будет говорить не «он», а «она», осознав, что грамматика тоже делится на две части и, поворачиваясь вокруг своей оси, одна ее половина обозначает его, то есть, женскую сущность, а другая пусть останется языку. Переход от одной половины, в щетине и волосатой, к другой, с эпиляцией, должен быть сладостным и страшным. «Твоя радость переполняет меня…» «Прощай, дорогая половина, я умираю в себе…». Покинуть мужскую сущность, ненавистную, но привычную, это значит покинуть мирскую жизнь ради монастыря или лепрозория, оставить мир брюк ради мира бюстгальтеров — сродни смерти, кото-

рую ожидаешь, но страшишься и, не правда ли, когда хор поет *Tuba mirum,* это можно сравнить с самоубийством? Транссексуал станет чудовищем или героем, а еще ангелом, потому что я не знаю, воспользуется ли кто-то этим искусственным половым органом хотя бы один-единственный раз, если только всё тело и его новое предназначение не сделаются одной огромной вагиной, когда упадёт отцветший член; нет, хуже, он не упадёт, а падёт, поверженный. Страшное начнется, когда ступня откажется уменьшаться: трудно найти женскую обувь 43–44 размера на шпильках, но радость перекроет всё, радость и веселье. Об этом и говорит «Реквием», о радости и страхе. Так палестинцы, шииты, юродивые, которые, смеясь, устремились к старейшинам в пещеры, позолоченные лодочки 43–44 размеров взорвались тысячами осколков смеха, вперемежку с пугливым отступом тромбонов. Благодаря этой радости в смерти или, вернее сказать, в новой, несходной с этой, жизни, несмотря на скорби, нравственность стала не нужна. Радость транссексуала, радость «Реквиема», радость камикадзе… радость героя.

Как неудобно и неприятно было сушить свои «западные» ладони, держа их под горячим воздухом сушилки, уж лучше намочить чистое

полотенце, зато вам — особенно в детстве — довелось познать счастье стоять под дождем, под ливнем, лучше всего летом, когда падающая на вас вода теплая. Я никогда не мог, подняв намоченный слюной палец, определить направление ветра, то же самое и с направлением дождевых струй, если только они не падали косо, как последние лучи заходящего солнца, а когда я понял, что при первом порыве ветра иду навстречу пулям, то удивился и засмеялся, как ребенок. Под защитой стены я испытал идиотское счастье, нахлынувшее на меня вместе с уверенностью в собственной безопасности, хотя в двух метрах за стеной подстерегала смерть: настроение было прекрасным. Страха не существовало. Смерть, как и дождь из железа и свинца, была частью нашей жизни. На лицах фидаинов я видел лишь счастливые и спокойные улыбки, ну, может, чуть скептические. Абу Гассам фидаин, который резко потянул меня за рукав в укрытие мертвой зоны, казался раздраженным.

«Стреляют без предупреждения, так еще этого европейца защищай», — вероятно, подумал он, потому что из-за знания французского оказался ответственным за меня. Я обратил внимание, что никто из солдат, вооруженных и увешанных

боеприпасами — скрещенные на теле патронные ленты — не попытался проникнуть в здание, найти там убежище, откуда мог бы вести ответный огонь и в случае необходимости защищать обитателей дома. Все — кроме меня — были молоды и еще не обстреляны, как это слово сюда подходит. Я находился в угнетенном состоянии, в другом месте другие люди назвали бы это пораженчеством. Знаменитое евангельское «Совершилось!», вероятно, лучше всего выразило бы мои ощущения. Возле Джераша уже не сражались. Только колонны римских храмов, оставшиеся со времен римлян. Пули решетили фасад дома, но поскольку мы стояли за углом, то ничем не рисковали. Смерть держали на почтительном расстоянии. Два шага вперед, и я был убит, и там отчетливее, чем где бы то ни было, я услышал властный и повелительный призыв на краю бездны, готовой принять меня на веки охотнее, чем любая пучина, выкрикивающая мое имя. Стреляли долго, как и в другие дни. Молодые фидаины смеялись. Кроме Абу Гассама никто из них французского не знал, но их глаза говорили мне всё. Если бы у Гамлета не было ни публики, ни партнеров, испытал бы он это счастье самоубийственного головокружения?

Но почему голос ручья ночью стал вдруг таким громким, даже раздражающим? Может, холмы и хоры приблизились к воде, а никто этого и не заметил? Я, скорее, предполагаю, что у певцов устали голоса или они сами слушали голос водного потока, потому что он завораживал их, а может, наоборот, воспринимался, как неприятный шум.

Когда я пытаюсь донести до вас свои воспоминания, мне нужно призвать на помощь два образа. Первый — это белые облака. Все, чему я был свидетелем в Иордании и Ливане, окутано плотными-плотными облаками, которые до сих пор нависают надо мной. Мне кажется, я их прорываю, когда иду вслепую, стараясь отыскать что-то зримое, но не знаю, что именно. Оно должно явиться мне во всей своей свежести, каким предстало передо мной впервые, был ли я действующим лицом или только свидетелем; например, четыре ладони, постукивающие по дереву, выбивающие все более веселый ритм на досках гроба, и вот туман отступает. Стремительно или медленно, как поднимается театральный занавес, всё, что было связано с этими ладонями, проступает со всей четкостью того первого раза, когда я это увидел. Я различаю каждый волосок

черных усов, белые зубы, улыбку, которая сначала тает, а потом становится еще шире.

Второй образ — это огромный упаковочный ящик. В нем только стружки и опилки, мои руки роются в этих опилках, я почти отчаялся при мысли, что там ничего больше и нет, хотя знаю, что эти опилки нужны, чтобы защищать от повреждения ценные вещи. Наконец, рука нащупывает какой-то твердый предмет, пальцы узнают голову фавна, значит, это ручка серебряной чаши, которую стружки и опилки одновременно и защищают, и скрывают, оберегают: мне пришлось долго рыться в этом бездонном ящике, чтобы эта чаша явилась мне. Чаша — одно из палестинских впечатлений, потерянных, как мне казалось, в опилках или облаках, но оно сохранилось в своей утренней свежести, словно кто-то — может, мой издатель? — тщательно упаковал его, сберег, чтобы я мог описать вам его таким, каким оно было.

Поэтому я и хочу написать: грозовые тучи весьма питательны.

Как бы то ни было, мое удивление означает вот что: «Если они обладают способностью различать то, что, как мне казалось, различить могу я один, я должен скрывать свои чувства, ведь порой они меня шокируют. Скрывать не из вежливости, а

из осторожности». Несмотря на искренние лица, жесты, поступки, несмотря на их открытость, я довольно быстро понял, что сам удивляю не меньше, чем удивляют меня, а может, и еще больше. Если столько вещей существуют лишь для того, чтобы их увидеть, только увидеть — и всё, ни одно слово не сможет их описать. Фрагмент руки на фрагменте ветки, глаз, которых не видел их, но видел меня. Каждый знал, что я знаю: за мной наблюдают.

«Они притворялись друзьями, товарищами? Меня можно увидеть или я прозрачен? А может, меня видят именно потому, что я прозрачен?

Конечно, прозрачен, потому что меня можно увидеть как видят камень или мох, но не как одного из них. Мне казалось, мне есть, что скрывать, у них был взгляд охотника: недоверчивый и понимающий.

Если мужчина не палестинец, он не слишком много сделает для Палестины: он может отказаться от нее, уехать в какое-нибудь спокойное место, например, в Бургундию, в Дижон. Фидаин должен победить, умереть или предать». Это первая истина, которую он должен осознать. Единственный еврей, бывший израильтянин является одним из руководителей Организации

Освобождения Палестины, Илан Галеви. ООП и палестинцы его не опасаются, потому что он окончательно порвал с сионизмом.

Или же палестинец падает и умирает; если он выживает, его отправляют в тюрьму на пытки. Затем его забирает пустыня и держит в своих лагерях неподалеку от города Зарка. Потом мы узна́ем, что обеспечивало «щадящий режим» фидаину. Это группа немецких врачей — они ездят повсюду, где практикуют пытки, возможно, руководствуясь коммерческой надобностью: обеспечивать лагеря инструментами для пыток, продавать врачам лекарства и продвигать последние чудеса науки в области медицинской реабилитации, наконец, особо строптивых, не поддающиеся пыткам переправлять через границу и спасать. Потом их отправляют в больницу в Дюссельдорфе, Кельне, Гамбурге и там лечат. Когда они выходят оттуда, то говорят по-немецки, знают, что такое снег, зимний ветер, ищут работу, а иногда женятся, причем берут всего лишь одну жену.

По слухам, именной такой была судьба Хамзы. Так уверяли многие палестинцы. С декабря 1971 года я не встречал никого, кто мог бы мне подтвердить, что Хамза еще жив.

Но что это за «щадящий режим»? Возможно, в этом выражении кроется самый постыдный секрет палестинского солдата. Из чего сотканы сны революционера, восставшего в пустыне, ничего не знающего про Запад и почти ничего про отбрасываемую им тень, то есть, Восток? Где находят они свои вымышленные имена? Как влияет на них новое имя? Вот так, например.

Герб, который так нетрудно расшифровать: всё венчает золотая иорданская королевская корона. Где король? На троне, а самым популярным человеком был Глабб-паша. В 1974 его называли так:

— Как «Повелитель»?

— Что делает «Повелитель»?

— Что об этом думает «Повелитель»?

— Куда пошел «Повелитель»?

— «Повелитель» был в хорошем настроении.

— «Повелитель» писает стоя. Он что, принимает себя за Бисмарка?

Палестинцам в лагерях, даже в частных беседах, когда Мухабарат[23] не слышит, в государствах Европы, где укрылись бывшие фидаины, никому не пришло бы в голову сказать просто-напросто «Мясник из Аммана».

---

[23] Примечания: 23
Тайная полиция королевства Иордания.

«Это не оскорбление. Бедняга любит блондинок и дрочит, когда из открытого окна наблюдает за бойней. Я трахаю тебя и трахаю блондинок, я убиваю, убиваю. Для этого есть его черкесы, его Мухабарат, его бедуины».

«Простота Его Величества удивляет. Я оказываюсь рядом с Ним довольно часто. Он садится, опираясь на одну ягодицу, видите, как он робок, на краешек кресла, видите, как он любезен, еще бы, ведь образование Он получил в Великобритании. Он выслушивает несколько слов, поднимается и уходит. Говорит несколько слов по-английски, просто, как наследные принцы. Впрочем, Он бедуин».

«Его огромная гордость: быть, и быть лишь бедуином из Хиджаза. Он входит. В гостиной гаснут все люстры. Он приближается — маленькая керосиновая лампа с шелковым сиреневым абажуром протягивает руку для поцелуя».

«Это опора Короля Хусейна, если бы он не смирил палестинцев, ЦАХАЛ[24] был бы сейчас в Эр-Рияде[25]».

---

[24] Примечания: 24
Армия обороны Израиля.

[25] Примечания: 25
Столица Саудовской Аравии.

«Этому человеку не повезло. Подойдите к своему стулу — поскольку стены стенают, послушайте меня:

«Его дедушка король Абдалла: убит на выходе из мечети в Иерусалиме. Кровь».

«Его отец сумасшедший. Кровь».

«Его наставник Глабб-паша, убрали. Кровь»

«Его отец, король Талал, умер от психоза в Швейцарии. Кровь». «Палестинцы. Кровь».

«Его премьер-министру Мухаммаду Дауду дала пощечину шестнадцатилетняя дочь. Кровь».

«Другой премьер-министр Васфи Таль убит в Каире. Кровь».

«Бедный король Хусейн, сколько смертей на его маленьких руках».

Так пели в Аммане в июле 1984.

Некий особый взгляд через призму мог бы нам все объяснить — но взгляд на что? Несколько лет назад в различных частях арабского мира можно было встретить эдакую учительницу младших классов, очень добрую, посвятившую жизнь помощи обездоленным. Она держалась на равных с любым мужчиной, любой женщиной, любым ребенком, с человком любого звания и сословия: по рождению она была принцессой Орлеанской. На фоне такого величия презрение — если оно и

было — становилось незаметным, о нем не догадывались ни эмиры, ни арабские попрошайки, она знала: она принцесса, состоящая в родстве с монаршьими домами Европы, ее одинаково заботили и голод в деревне, и родство какого-нибудь шейха с Пророком.

Но кто или, вернее, что заставило меня вернуться в этот дом? Желание увидеть Хамзу четырнадцать лет спустя? Его мать, которую безо всякого путешествия мне нетрудно было представить старой и исхудавшей? Или потребность доказать самому себе, что я принадлежу, *хочу я того или нет*, к касте проклятой, но втайне желанной, где самые именитые не отличаются от самых обездоленных? Или может, без нашего ведома был выткан невидимый шарф, соединивших нас? Хусейн высмеять ее не мог: он не из Орлеана.

Трущобы в королевстве. В осколке разбитого зеркала они видят отражение своих лиц и тел, величие, которое им там удается рассмотреть, проступает, словно в каком-то полусне; и всегда этот сон предшествует смерти. Каждый готов явиться во Дворец, и с тринадцати лет все носят шелковые платки, вытканные во Франции, скроенные и сшитые специально для трущоб

королевства, ведь надо знать цвета и узоры, приметные, как завитки на лбу. Взаимоотношения между трущобами и внешним миром существуют, они ограничены продажей платков, брильянтина, парфюма, пластмассовых пуговиц, фальшивых наручных часов из фальшивой Швейцарии, а взамен — бордели и траханье. Платки, рубашки с машинной вышивкой должны быть «к лицу», то есть, подчеркивать красивую физиономию парней. Платки, рубашки и часы имеют свой смысл: отношения возможны. По этим символам эмиссары из Дворца, вербовщики из полиции опознают тех, кто их призывает, видят их скрытые или выраженные особенности. Такой-то готов рисковать жизнью, другой предлагает свою мать, сестру, а то и обеих, третий — командный голос, жопу, глаз, любовный шепот на ушко, и нет такого, кто повязал бы на шею платок, не соответствующий его сильной стороне. Рожденные в результате случайного совокупления и взращенные под ржавым небом бидонвиля, все они прекрасны. Их отцы пришли с юга. У мальчишек слишком рано проявляется эта дерзость самцов, которым уготован тяжкий труд или улыбка фортуны за пределами этих трущоб и за пределами самого королевства. Есть среди

них светловолосые: скандальная, вызывающая, кричащая красота, настоящая провокация.

«Только при нас. Наши кудри волосы, наши шеи и бедра. Можно подумать, Жан, что ты не знаешь, как сияют наши бедра?»

Вот еще вопрос: этот королевский Дворец — бездна, куда может низвергнуться бидонвиль, или бидонвиль — бездна, увлекающая в себя Дворец со всей его пышной обстановкой: что из них реальность, что отражение? На самом деле это даже неважно, Дворец — отражение, реальность — бидонвиль, и наоборот. Достаточно сначала посетить королевский Дворец, а затем бидонвиль. Взаимодействие сил настолько тесное, что задаешься вопросом: а что если очарование, о котором так часто говорят, возможно лишь в условиях этой привычной конфронтации, полной ненависти и желания нравиться, когда король с завистью глядит на нищету мужчин и женщин, изнемогающих в стремлении выжить, мечтает предать — но кого? — знает, что богатство и роскошь должны познать искушение крайней нуждой. Какой гениальный пинок швырнул голого ребенка, согретого дыханием вола, пригвожденного медными гвоздями, вознесенного благодаря предательству к вечной славе?

Предатель это всего лишь человек, перешедший в стан врагов? И это тоже. Пётр Достопочтенный, аббат Клюни, решил заказать «перевод» Корана, чтобы изучить и понять его. Помимо осознанного стремления к утратам — а они неизбежны, ведь при переходе с одного языка на другой божественное сочинение равнодушно передает лишь то, что происходит, то есть, всё, кроме божественного — Петром, вероятно, руководила еще одна тайная потребность: предать (она проявляется своеобразным пританцовыванием на месте, как будто человек хочет писать). Искушение перейти «на противоположную сторону» это уже проявление тревоги оттого, что обладаешь единственной одномерной истиной — то есть, неистинной истиной. Познание другого, которого считаешь скверным, поскольку он враг, уже означает битву, а еще тесное переплетение тел двух сражающихся и двух учений, так что одно оказывается то тенью другого, то его двойником, то субъектом и объектом новых мечтаний, новых размышлений. Это нераспознаваемо? За потребностью «пере-вести», за которой скрывается — невыявленная еще — потребность «пере-врать», то есть, «предать», и в самой попытке предательства увидится некое счастье, сравнимое, возможно, с

любовным опьянением: кто не познал опьянения предательством, тот ничего не знает об исступлении и восторге.

Предатель не вне, но внутри каждого. Дворец отбирал своих солдат, доносчиков, сукиных сынов из того, что оставалось от населения, опрокинутого навзничь, и бидонвиль отвечал насмешками и издевками. Скопище монстров и невзгод, бидонвиль, созерцаемый из Дворца и созерцающий его сам со всеми своими невзгодами, знавал наслаждения, неведомые больше нигде. Торс на двух ногах перемещался за сумерками вслед, а сумерки тоже перемещаются на двух ногах от утра до вечера, а из торса торчит рука, на конце которой огромная, словно кропильница, ладонь, это чаша для пожертвований из настоящего сырого мяса, требующая лепту тремя полупрозрачными пальцами. Запястье высовывалось из лохмотьев, к тому же, американских, истрепанных, мятых, грязных, все больше смешиваясь с грязью и дерьмом, а потом их самих продадут как лохмотья, грязь и навоз. Чуть дальше, тоже на двух ногах, приближается женский половой орган, голый и бритый, пульсирующий и влажный, он хочет прижаться ко мне; а где-то один неподвижный глаз, одно

глазное яблоко без зрачка и зрительного нерва, без взгляда, который бывает порой острым, глаз, подвешенный на небесно-голубой нитке; а еще где-то задница, а вот усталый член болтается меж двух вялых бедер. Предательство везде. Всякий наблюдавший за мной мальчишка пытался продать отца или мать, а отец — пятилетнюю дочь. Было тепло. Мир разрушался, словно его распарывали по шву. Небо существовало где-то далеко, а необъяснимый покой — здесь, где имелись только обязанности. Под жестяными крышами день оставался серым и такой же ночь. Прошел парень, одетый по американской киномоде 30-х годов. Лицо было напряженным, чтобы расслабиться, он что-то насвистывал. Это бордель для презренных арабов. Ад или средоточие ада, место абсолютного отчаяния или успокоения, облегчения, то есть, сортир, облегчаться ходят туда, это место погибели, этот квартал борделей по причинам совершенно непостижимым мешал бидонвилю растекаться дальше, смешиваться с глиной, на которую был заботливо поставлен. Он, этот квартал, прикреплял бидонвиль к остальному миру то есть, ко Дворцу. Здесь занимались любовью, и сутенеры, сводни, шлюхи, клиенты бодрствовали ночами, обрекая себя на так на-

зываемую нормальную, то есть, ограниченную и убогую любовь. Никакой содомии, минетов, только традиционное торопливое траханье лежа или стоя, никакого облизывания и покусывания члена, п…ы или задницы: вполне себе супружеская, унылая любовь, миссионерские позы. Что до эротических фантазий, их смаковали — и практиковали — в будуарах и кулуарах королевского Дворца, глаз различает малейшую деталь почти последней картинки, ставшей совсем увешанного зеркалами, где имелись целые зеркальные стены, и в них любая ласка воспроизводилась до бесконечности, до той самой бесконечности, в которой крошечной, увиденной под неожиданным углом, неожиданным, но долгожданным, кадрирующим желаемое изображение: а на картинке — бидонвиль. Или что-нибудь другое. Надо ли говорить, что люди Дворца были изысканней, чем обитатели бидонвиля? А сами-то бидонвильцы знали, что они существуют в мозгу Дворца, обостряя его наслаждения?

Развращаясь, каждый чувствовал, как облегчается, утоляется, избавляется от нравственного и эстетического бремени, а бордели видели, как к ним, пресмыкаясь, ползут желания, которые надо быстро удовлетворить. Тот, кто направля-

ется в бордель, тащится туда, как сороконожка, волочась брюхом по глине, ища и находя пульсирующую влажную дыру, где за пять мгновений и пять толчков исчезает все напряжение этой недели. Если бы иностранец — араб или не обязательно — мог сюда добраться, он убедился бы, что в борделе выживает хранимая и оберегаемая цивилизация, цивилизация тесного, почти благоговейного контакта с отбросами, что в Европе называют грязным. Там всегда был заведен будильник. За пять минут клиент отделывался от своих мечтаний. Восемнадцатилетний парень, который желает проникнуть во Дворец или в сообщество полицейских шпиков, должен бояться застигнуть своего отца срущим: неопытный юнга сокрушает ударом каблука рожу сидящего на корточках отца или заявляет, что этот человек приехал из Норвегии. Отсутствие морали пугает, но никому не внушает отвращения. Испражнения утешают, они находят отклик у нас в душе, они удерживают нас на краю. Шагает задница, пытается исполнить свою функцию. Чтобы дойти до этого состояния, нужно было изжить гордость быть собой, гордость иметь имя, фамилию, потомство, родину, идеологию, партию, могилу, право на гроб с двумя датами, рождения и смерти

— случайного рождения и случайной смерти — сложно назвать «случайностью» эту Абсолютную Сверхчувственность, повелевающую в Исламе Небом и Землей. Между Дворцом, Королем, Двором, Конюшнями, Лошадьми, Офицерами, Слугами, Бронеавтомобилями, Бидонвилем существует сложная система обмена, неявная, но четко определенная. Она устанавливает уровни того и другого места. Все происходит постепенно и вот как: у Дворца свое величие, и это нищета. Приказы Короля-Солнце и придворных мифологичны. Жестокость полиции объясняется ее готовностью повиноваться как можно проворнее и как можно лучше. Бидонвиль сдерживает, смягчает, обуздывает это наивное проворство. Очень красивые, порождения невероятных соитий, парни переходят из борделя в бордель, где все то, что происходило там прежде, озаряет их тела и лица. К их красоте прибавляется дерзкое презрение. Этот самец не монах, а монарх. Дабы упрочить свою власть, Дворцу нужна сила, которая вырывается по ночам из бидонвиля.

«Я сила. Я бронемашина».

Дойдя до этого момента в своих фантазиях, я задаюсь вопросом: кто автор всего этого: бог, но не какой попало, а тот, кто нет, не воскреснет, но

родится впервые на куче ослиного и воловьего навоза, будет странствовать по миру борделей, прозябать, умрет на кресте и станет силой.

— Ты мог бы продать свою мать?

— Я продал. Когда выползаешь на четвереньках из задницы, легко продать эту задницу.

— А Солнце?

— Сейчас мы братья.

Нищета деревень приводит в столицу, то есть, под небо цвета ржавой жести, отбросы, у которых одно лишь предназначение: произвести на свет прекрасных мальчиков. Дворец расходует много молодежи.

«Это чтобы поддерживать порядок, либо грязный, либо искромсанный Солнцем».

Что за красота у этих вышедших из бидонвиля подростков? В первые годы их жизни может, мать, может, какая-нибудь шлюха дает им осколок зеркала, которым они ловят луч солнца и пускают его в окно Дворца, и перед этим открытым окном, познают все части своего лица и тела.

Когда отряды бедуинов откапывали, чтобы убить во второй раз — ритуальная фраза: «облегчиться на сотню патронов» — фидаинов, погибших между Аджлуном и сирийской границей, король пребывал в Париже. Он оставил на

три дня свои убийства, чтобы испытать новую модель Ламборджини? Его брат, регент королевства, остался в Аммане. В двадцати километрах от столицы лагерь Бакаа внезапно был окружен тремя линиями танков. Торговля между женщинами лагеря и иорданскими офицерами продолжалась два дня и две ночи. Старые вызывали жалость, те, кто помоложе — желание, и все они пытались предъявить то, что могло бы тронуть военных: детей, груди, глаза, морщины. А мужчины из лагеря, казалось, не замечали эту праведную проституцию. Отвернувшись, они группами по трое или пятеро молча ходили по грязным улочкам. Курили, перебирали янтарные четки. Представьте себе тысячи окурков с золотым ободком на конце, сигареты, которые отбрасывали, едва закурив. Эмираты снабжали сигаретами, чтобы у палестинцев была возможность изучить географию Персидского залива. Мужчины отказывались разговаривать с офицерами короля Хусейна. Еще я думаю, что фидаины (а все мужчины лагеря были фидаинами) договорились с женщинами, молодыми и старыми: женщины разговаривают, мужчины молчат, чтобы своей решимостью, действительной или притворной, произвести впечатление на иорданскую армию.

Сегодня я полагаю, что решимость была все-таки притворной, но офицеры-бедуины не знали, что присутствуют на театральном представлении, изображающем спасение. Чтобы помешать иорданцам войти в лагерь, палестинцам нужно было продержаться еще один день и одну ночь. Женщины кричали, дети, которых они несли на спине или держали за руку, чувствовали опасность и кричали еще громче. Толкая перед собой повозки, битком набитые детьми, мешками с рисом, картофелем, чечевицей, они пересекли проволочное заграждение. Мужчины по-прежнему молча перебирали четки.

— Мы хотим вернуться домой.

Женщины стояли на дороге, ведущей к Иордану. Среди офицеров воцарилось смятение.

— Как стрелять в женщин и повозки с детьми.

— Мы идем домой.

— А куда это — домой?

— В Палестину. Пешком. Мы пересечем Иордан. Евреи человечнее, чем иорданцы.

У офицеров был сильный соблазн стрелять в женщин и их выродков, которые собрались, видите ли, прогуляться до Иордана, километров сорок.

«Ваше величество, позвольте совет — не стре-

ляйте».

Кажется, такую фразу произнес Помпиду, обращаясь к Хусейну.

Если посол Франции в Аммане был довольно глуповат, Помпиду от своих шпиков знал о женском бунте. Один французский священник, имя которого я предпочитаю забыть, поскольку он еще жив, был посредником при переписке некоторых палестинских деятелей и, возможно, теми, кого именовали тогда французскими левыми, связанными с левым крылом Ватикана; иорданские власти, узнав о его присутствии в лагере, отдали приказ политическому и военному руководству сдать его полиции королевства.

Дворец Правосудия в Брюсселе, памятник Виктории и Альберту в Лондоне, «Алтарь отечества» в Риме, парижская Опера, которые считаются четырьмя жемчужинами архитектуры, на самом деле, самые уродливые сооружения Европы. Впрочем, одно из них достойно помилования. Когда машина выезжает из внутреннего двора Лувра и оказывается на проспекте Оперы, в глубине предстает Опера Гарнье. Ее венчает что-то вроде серо-зеленого купола, и вначале замечаешь именно его. Когда женщины покинули лагерь Бакаа, намереваясь отправиться домой, в Па-

лестину, король Хусейн, направляясь на обед в Елисейский дворец, как раз ехал по проспекту Оперы. И единственное, что он успел увидеть, был этот серо-зеленый купол с гигантскими белыми буквами: ПАЛЕСТИНА ПОБЕДИТ. Танцовщики, танцовщицы, рабочие сцены Опера Гарнье ночью перед проездом кортежа поднялись на крышу и начертили это послание. Король прочел его. Ни одно место в мире не защищено от террористов, в том числе, и это здание Оперы, который облюбовал себе Фантомас, где в подвале поселился Призрак Оперы, и вот теперь на чердаке — фидаины. Под солнцем и дождем это предупреждение из двух слов будет виднеться еще долго, несмотря на приказ Помпиду. Который в душе, должно быть, веселился.

Но раз двадцать или больше мне довелось увидеть на серых парижских стенах неподалеку от Оперы ответ израильтян на это ПАЛЕСТИНА ПОБЕДИТ, нанесенную с помощью аэрозольного баллончика надпись, торопливые, неброские, почти робкие буквы: *Израиль будет жить*. Всё это происходило через два-три дня после событий, которые в своих воспоминаниях я называю: палестинцы, последний бал в лагере Бакаа. Неизмеримо бóльшая сила ответа — не возражения

— на преходящее «победит» это вечное «будет жить». В парижской полуночи риторика Израиля, выраженная этими торопливыми неброскими буквами, оказалась сильнее.

Можно понять, что какой-нибудь народ готов погибнуть ради своей территории, как алжирцы, или родного языка, как бельгийские фламандцы или северные ирландцы, нужно принять, что палестинцы сражаются против Эмиров за свои земли и свой акцент. Двадцать одна страна Лиги наций говорит по-арабски, палестинцы в том числе, и едва заметный, сложный при восприятии для непривычного уха, этот акцент все-таки существует. Деление палестинских лагерей на кварталы, примерно соответствующие палестинским деревням, «наложение» географии в реальном масштабе, для них не так важно, как этот акцент.

Приблизительно это сказал мне Мурабак в 1971 году. Когда я предложил одному арабу подвезти его на машине на расстояние сто шестьдесят километров туда, куда было ему нужно, он убежал, попросив меня подождать его. За каких-то пятнадцать минут он проделал два километра и вернулся со своим единственным сокровищем: слегка поношенной рубашкой, завернутой в

газету. *Filium que* (*сын, который*) — и вот уже пылает другая религия. Ударение на первый или на предпоследний слог — и вот уже два народа отказываются друг друга понимать. То, что нам кажется ничтожным, становится единственным сокровищем, которое нужно сберечь даже ценой своей жизни.

И не только акцент, одна добавленная или пропущенная буква может привести к трагическому исходу. Во время войны 1982 года водителями грузовиков были ливанцы или палестинцы. Какой-нибудь фалангист, раскрывая ладонь, спрашивал:

— Это что такое?

Пуля в голову или жест рукой. Слово «томат» араб из Ливана произнесет как *banadouran*[26], а палестинский араб — *bandoura*. Одна лишняя или пропущенная буква была равноценна жизни или смерти. Каждый квартал в лагере пытался воспроизвести покинутую палестинскую деревню, вероятно, разрушенную ради строительства электростанции. Но деревенские старики беседовали между собой, когда-то они бежали, унеся свой

[26] Примечания: 26

На самом деле, слово помидор в Ливане произносится как «банадура», а в Палестине как «бандора». Именно манера произношения во время гражданской войны в Ливане могла стоить жизни. (*Прим. ред.*)

акцент, а иногда и нерешенные споры. Здесь был Назарет, в нескольких улочках отсюда Наблус и Хайфа. Потом медный водопроводный кран: справа Хеврон, слева бывший Аль-Кудс (Иерусалим). А рядом с краном женщины, ожидая, пока наполнится водой ведро, приветствовали друг друга на своих наречиях, со своим акцентом, словно поднимали хоругви, возвещающие о происхождения того или иного наречия. Несколько мечетей с цилиндрическим минаретом, два-три купола. Когда я там был, мертвых еще хоронили в Аммане, на склоне горы, обращенном к Мекке. Мне довелось присутствовать на многих похоронах, и я знаю, что в Тье, как и на Пэр-Лашез, компас указывает на Мекку, но могила, просто лунка в земле, походила на узкую трубу, присутствующие вынуждены были порой утаптывать покойного, чтобы он уснул.

Игры слов или игры акцентов во все времена и во всех странах зачастую были причиной сражений, порой довольно жестоких. Всем ворам доводилось иметь дело с судьями, от которых нельзя было спастись. Зачитывая в суде наше уголовное дело, они умели голосом передавать любые оттенки и звучание слова. Торжествующе:

— Украл!

— Украл!

Пауза, и внезапно нежным, мягким тоном отчетливо произнося каждую букву в отдельности, чтобы даже на скамье подсудимых остался след нашей вечной вины:

— У-к-р-аааа-л!

— Украл. Срок. Украл, точка.

И опять, в очередной раз в истории восстаний женщины послужили приманкой. Неприоритетное требование: не выдать этого христианского священника. Неприоритетное требование: спасти лагерь. Стремление к побегу, театральности, маскараду, изменению голоса, жестикуляции и женщины дрожат от удовольствия, между тем как удовольствие для мужчин — трусить и важничать. На эту же тему: «Сделаем вид, что оскорбление слишком велико, ведь мужчины бедуины хотят войти к нашим женщинам», женщины отважились на этот сценарий и разыграли его, как по нотам:

Регент позвонил Хусейну. Тут и Помпиду со своей знаменитой фразой. Как обычно, настала ночь. Как и полагалось, пять знамен, означающих, справа налево, Отца, агнца, крест, Деву Марию, Младенца, должны были возникнуть

перед иорданскими танками. Появились подростки в красных платьях и белых, длинных кружевных корсажах, неся нечто вроде золотого солнца. И эта процессия, поющая, возможно, по-гречески, направилась в сторону танков. Каждый иорданский солдат должен был глубокой ночью открыть глаза и уши и принять живого или мертвого французского священника. Вокруг маленькой греческой церкви в Аммане все уже видели подобные церемонии, на которые смотрели, вытаращив глаза. Но они не видели пожилого крестьянина в бархатных брюках, с красным шарфом вокруг шеи, который один преодолевал проволочное заграждение. Возле танков бодрствовали женщины рядом со своими уснувшими детьми. Наступило утро: радостные, улыбающиеся женщины взяли за руки иорданских офицеров и привели их во все дома лагеря, предусмотрительно открыли каждый коробок спичек, каждый пакет мелкой и крупной соли, чтобы те убедились: в доме не прячется ни один кюре. Через неделю после возвращения Хусейна состоялась церемония примирения между армией бедуинов (которых только что обманули, да еще как обманули, женщины и мужчины, способные, наконец, долго болтать и улыбаться) и

фидаинами, совсем как в средневековой Европе, когда короли-братья сжимали друг друга в объятиях так сильно, что один душил другого, или, если вам угодно, как примирение между Китаем и Японией, между двумя Германиями, Францией и Алжиром, Марокко, Ливией, Голлем-Аденауэром, Арафатом-Хусейном, и я не вижу конца этим лицемерным объятиям. Мы ждали праздника, и он наступил.

Хусейн прислал несколько корзин и ящиков с фруктами, Арафат принес бутылки с соком: кокосовый, манговый, абрикосовый, не помню еще какой, на площадку перед лагерем, где провели ночь женщины и орущие дети. Все произошло так, как я излагаю?

За несколько месяцев до этого солдаты (немного) и офицеры (еще меньше) дезертировали из бедуинской армии. Некоторых из них я встречу, среди них молодого младшего лейтенанта, белокурого, с голубыми глазами. Если я спрошу его, откуда эта его белокурость и небесная синева взгляда, он поведает мне о полях пшеницы провинции Бос и синих французских мундирах времен первых крестовых походов, «потому что ведь я, как и другие, потомок франкских крестоносцев». Разве араб имел право быть свет-

ловолосым? Я вслух спросил:

— В кого ты такой белокурый?

— В мать. Она югославка, — ответил он по-французски без акцента.

Офицеры, по-прежнему «лояльные» Хусейну, вероятно, отвернулись, чтобы не видеть, как выходит из лагеря священник, которого все разыскивают. Он прошествовал не спеша, в своем зеленоватом одеянии, на нем было вязаное красное кашне и фуражка с логотипом Национальной оружейной мануфактуры в Сент-Этьен, (департамент Луара). Пользуясь ночной темнотой, палестинские мужчины препроводили священника в Сирию, где он сел на самолет до Вьетнама.

Чтобы быть ближе к событиям, я пришел ранним утром с одним египетским другом. На деревянных столах, застланных белыми скатертями, я сначала увидел горы апельсинов и бутылки фруктового сока. Но куча народу поднялась еще раньше меня: целый батальон бедуинов из пустыни с двумя перекрещенными на груди патронташам; две группы фидаинов без оружия, фотографы со всего света, журналисты, киношники из арабских или мусульманских стран. Танец бедуинов целомудрен, мужчины танцуют друг

с другом, касаясь партнера локтями или указательными пальцам. Но он и эротичен, потому что танцуют только двое мужчин, а еще потому, что танцуют они перед женщинами. Так кто же, он или она, пылает от желания встречи, которой никогда не будет?

Можно ли сказать, что бывает праздник без опьянения? Если у праздника нет цели вызвать опьянение, вероятно, туда стоит прийти уже пьяным? Бывает ли праздник без запретов, от которых можно отступить? Бывает: это праздник «Юманите» в Ла-Курнев. Поскольку алкогольные напитки Коран запрещает, тем утром все пьянели от песен, танцев, обид, или, если угодно, обид из-за песен и танцев. На земляную площадку я смотрел немного снизу. Рядом с фидаинами в гражданской одежде, которые еще стояли неподвижно и казались какими-то напряженными, уже начинали танцевать солдаты-бедуины под аккомпанемент собственных криков, возгласов и стука босых ног о бетон. Так и есть, чтобы было удобнее танцевать, они сняли башмаки, зато оставили обмотки. Эти бедуины использовали танец, как за неделю до этого палестинцы использовали своих женщин, мне показалось, танец был признанием, почти разоблачением, почти

изобличением их женственности, которая так диссонировала с грубыми торсами, на которых перекрещивались патронташи такие полные, что если бы взорвался хоть один из них, на воздух взлетел бы целый батальон бедуинов, но в этой готовности принять смерть, а возможно, не просто готовности, но и желании, коренилось их мужское начало, и отвага тоже.

Вот как они танцевали: сначала в одном ряду, затем разделившись надвое. Десять, двенадцать, четырнадцать солдат держались за руки, как бретонские новобрачные, затем добавлялся еще один ряд из двенадцати танцующих, и снова рука об руку, крест-накрест, одетые в длинные, застегнутые до самых икр, до обмоток, туники. Из обязательного: тюрбан и усы, но зубов под ними не видно, солдаты-бедуины, ставшие сегодня победителями, не улыбались. Не то, что командиры. Их солдаты были слишком застенчивы и, наверное, уже знали, что через улыбку может просочиться ярость. В двухтактном ритме, слегка напоминающем овернские мелодии, бедуины высоко вскидывали колени, выкрикивая:

– *Ya ya El malik*![27] (Да здравствует Король!)

---

[27] Примечания: 27

На самом деле данное восклицание звучит, как «Яхья аль-малик!» (*Прим. ред.*)

Напротив них, но в некотором отдалении, палестинцы в штатской одежде неуклюже копировали танец бедуинов и, смеясь, отвечали:

– *Abou Amar*! (Яссер Арафат!)

Ритм был таким же: *Ya ya El malik* звучит как «*Yayal malik*». Четыре слога, произнесенные иорданцами, четыре палестинцами, ритм такой же и танец почти такой же, почти — потому что это был остаток танца, обрубок танца, изнуренное отражение, затихающий отголосок нескольких па забытого танца, эдакий плохо завязанный галстук как вызов обязательному дресс-коду, где уже не было угрюмой торжественности бедуинов, которые надвигались почти угрожающе, резко, словно толкая перед собой и взвихрив вокруг себя пустыню-сообщницу, призванную их защитить. Их «Yaya» было не просто данью уважения королю, это был оскорбительный плевок в лицо палестинцам, все более смущенным своей неуклюжестью — своей неполноценностью — в этом спектакле. Бедуины танцевали, а вокруг них танцевала пустыня и тьма времен. И я еще задаюсь вопросом: может, этот танец закованных в броню песка и пуль бедуинов, который становился всё более суровым, всё более мощным, когда-нибудь сделается таким суровым и мощным, что разру-

шит то, что призван был защищать: королевство хашимитов; а потом и саму Америку, а потом покорит небо, встретит там фидаинов, говорящих на их языке. Возможно, язык — это механизм, который быстро осваивают, чтобы высказывать мысли, но не следует ли под языком понимать и другое: воспоминания детства, слова, синтаксис, который усваиваешь еще в младенчестве, гораздо раньше, чем лексикон, все эти камешки, солома, названия трав, водный поток, головастики, рыбы, времена года, названия болезней — женщина «умирала от чахотки», рядом с которыми прочие слова: туберкулез, легочная болезнь, становились тривиальными — крики и стоны любви тоже корнями из детства, наше изумление, наше внезапное осознание…

— Ты красный, как рак!

Что за нелепость! Рак серый, почти черный. Он пятится, мы видели его в ручье. Да, он серый, но надо было подождать и увидеть, как рака бросают в кипящую воду, в которой он умирает и становится красным. Бедуины и фидаины говорили на разных языках. Для тех и для других «красный рак» остался чем-то загадочным. Танцуя все хуже и хуже, палестинцы должны были уступить. Резкий свисток: один из командиров понял это,

жестом указал на стол и фрукты. Спасены! Сейчас это означало «спасти лицо», и, изображая нестерпимую жажду, взмыленные танцоры ринулись к бутылкам и апельсинам. Бедуины и палестинцы так и не обменялись ни единым словом.

Ненависть кланов, даже если поддерживается искусственно, может быть чудовищной. Вот еще несколько цифр: вся армия бедуинов насчитывала 75000 солдат из приблизительно 75000 семейств, всего официальная численность «чисто» иорданского населения — 750 000 человек. Бедуины, отвечая определенным образом на вопрос, который я задавал себе два-три дня назад, победили своим танцем.

Обособленные своей старомодной мужественностью, палестинцы превосходили бедуинов с их малопонятными привилегиями, не эпатируя при этом Израиль, между тем, как каждая жизнь, единственное богатство тех и других, была и будет прожита в своем исключительном великолепии.

Цифры, которые я привел, относятся к 1970 году.

Со стороны Аджлуна над лесами едва поднялось солнце.

— Тебе нужно на нее посмотреть. Идем с нами,

мы тебе переведем.

Можно представить, как в шесть часов утра я был сердит на этих, разбудивших меня, мальчишек.

— Пей, тебе сделали чай.

Отбросив одеяла, они вытащили меня из палатки. Если я пойду за ними два километра по дороге вдоль орешника, то увижу ферму и ее хозяйку. К югу от реки Иордан холмы у Аджлуна похожи на холмы французского горного массива Морван. Иногда встречается стебель наперстянки или жимолость, но в полях гораздо меньше тракторов и совсем нет коров.

Территория рядом со зданиями была тщательно ухожена, на это я обратил внимание сразу. В крошечном огородике бывшие хозяева посадили петрушку, кабачки, лук-шалот, ревень, черную фасоль, а еще вьющийся виноград, и каждая кисть уже тянулась навстречу утренним лучам. Стоя на пороге двери, изогнутой в форме романской арки, крестьянка смотрела, как ватага мальчишек куда-то тащит старика. Судя по ее морщинкам, по седым прядям, выбивающимся из-под черного платка, было ей около шестидесяти. Позже я напишу, что в 1970 матери Хамзы было под пятьдесят, а когда мы увиделись вновь

в 1984, ее лицо было лицом восьмидесятилетней. Именно «было», а не «казалось» лицом восьмидесятилетней; из-за всех этих мазей, кремов, массажей, различных манипуляций с морщинками, кожей, целлюлитом я уже и забыл, каким стремительным может быть путь к немощи и дряхлости, то есть, к смерти и забвению; здесь, в Европе, я забыл, как разрушается лицо крестьянки, обожженное солнцем и морозом, усталостью, нищетой, отчаяньем, пока не сделается, как сказал бы злой ребенок, похожим на трюфель.

Она протянула мне руку и без улыбки поздоровалась, но затем поднесла к губам палец, которым касалась моей руки. Я поприветствовал ее точно также, а она поздоровалась с каждым фидаином, учтивая, но сдержанная, почти настороженная. Иорданка, она не гордилась и не стеснялась этого, просто говорила, что иорданка. Дома она находилась одна, поэтому в гостиную входить было нельзя. Впрочем…

— Здесь и для пяти места нет, а тут пятнадцать…

Говорила она свободно. Позже мне рассказали, что ее арабский был безупречен, как у профессоров. Босые ноги на соломенной подстилке. Изредка она читала газету. Единственным ме-

стом на ферме, где можно было бы разместиться нам всем, была примыкающая к дому овчарня, идеально круглая.

— А где стадо?

— Мой сын увел его вон туда. А муж водит мула в горы.

Так значит, тот иорданский крестьянин, с которым я по привычке здоровался каждое утро, и был ее мужем. Своего мула он сдавал внаем фидаинам, они каждый день поднимали на вершину горы бочки с провиантом для солдат, охраняющих безмолвные деревни. Здесь все было безмолвным. Время от времени я замечал в бинокль какую-нибудь крестьянку в черной косынке, которая бросала зерна курам или доила козу, она возвращалась в дом и закрывала за собой дверь. Мужчины должны были ждать снаружи с ружьем, линия прицела перемещалась с одной цели на другую, то есть, на склады, на палестинские патрули.

Накануне того утра, когда мы отправились на ферму, два фидаина, улыбаясь, вошли во двор дома, где играли свадьбу. По обычаю хозяин должен предложить еду и питье каждому вошедшему, даже случайному прохожему. Все улыбались всем, кроме палестинцев, при их приближении улыб-

ки гасли, они вышли, оскорбленные. Крестьянка предложила всем кофе. Чтобы приготовить его, она пошла в главную комнату, возможно, единственную в доме. Овчарня была круглой с устланной соломой полом. Каменный выступ по периметру внутренней стены служил скамьей. Мы уселись; мальчишки дурачились, женщина держала поднос с кофейником и пятнадцатью пустыми стаканами, вставленными один в другой. Ей помогли.

— Но нас шестнадцать.

Мне показалось, что я неправильно понял. Здесь одинокая женщина никогда не сядет с нами, но мы все хотели, чтобы она стала шестнадцатой. Она не стала ломаться, просто отказалась. Присела на пороге овчарни, чуть приподнятом. Из-под платка не выбивался ни один волосок, видимо, пока готовился кофе, она привела себя в порядок перед зеркалом. Я сидел напротив, и ее силуэт четко выделялся на свету. Я видел ее крупные ступни, голые, загорелые, высовывающиеся из-под широкой черной юбки в очень мелкую складку: Дельфийский возничий решил отдохнуть в овчарне. Когда ее спросили, она ответила, заговорив ясным, звонким голосом. Один парень, знавший французский, стал переводить, ее араб-

ский, как шепнул он мне, был самым красивым, какой он когда-либо слышал.

— Мы с мужем совершенно согласны, что две половинки нашего народа это одна страна, вот эта страна. Мы были едины, когда турки основали Империю. Мы были едины до того, как французы и англичане с линейками разделили нашу страну на геометрические фигуры, которых мы не понимаем. Англии передали полномочия по управлению Палестиной, которая называется теперь Израилем, нам дали эмира Хиджаза, а Хусейн его правнук. Вы пришли ко мне с христианином, скажите ему, что я дружески приветствую его. Скажите ему, что вы наши братья и нам плохо, когда вы живете в палаточных лагерях, а мы в домах. А вот без того, кто называет себя королем, и без его семьи мы вполне можем обойтись. Он отправил отца умирать в тюрьму для сумасшедших, вместо того, чтобы заботиться о нем во дворце.

Обычно патриотизм это преувеличенно-восторженное утверждение своего суверенитета и воображаемого превосходства. Перечитывая написанное, я понимаю, что слова хозяйки фермы меня убедили, вернее сказать, тронули, как трогает всякая молитва в очень старинной церкви.

Казалось, я слышал песню, в которой звучали чаяния народа. Когда думаешь о палестинцах, всегда нужно помнить, что у них ничего нет: ни паспортов, ни нации, ни территории, и если они воспевают это, если стремятся к этому, так это потому, что для них это всего лишь призраки. Иорданская крестьянка пела об этом, как о чем-то будничном. Самое волнующее, самое музыкальное идет не от псалмов и деклараций, больше всего трогает сухое, без эмоций, высказывание, ведь самое очевидное передается однотонным голосом.

— Хусейн мусульманин и ты мусульманка, — смеясь, сказал какой-то мальчишка-провокатор.

— Может быть, как и я, он любит запах резеды, вот и все сходство.

Сидя на пороге, она говорила около часа спокойным, безо всякого страха голосом. Затем встала, выпрямилась, давая понять, что ей пора работать.

Я подошел к ней и похвалил ее сад.

— Мы уроженцы юга. Мой отец был солдатом-бедуином. Ферму он получил за несколько недель до смерти.

Крестьянка не выказывала голосом ни гордыни, ни унижения, ни гнева, на каждый наш

вопрос или замечание отвечала терпеливо и вежливо.

— Знаете, кто научил нас обрабатывать землю? Палестинцы, в 1949. Они научили нас пахать, отбирать семена, определять время для полива…

— Я заметил, у вас очень красивый виноградник, но он стелется по земле…

Она впервые улыбнулась, очень широко.

— Я знаю, в Алжире и во Франции виноградник должен виться и карабкаться вверх, как зеленая фасоль. Вы делаете из него вино. А для нас вино — это грех. Мы едим сам виноград. А созревшие на солнце гроздья вкуснее, когда они лежат на земле.

Коснувшись кончиком пальцев каждого из нас, она смотрела, как мы уходим.

Вполне возможно, каждый палестинец в душе осуждает палестинскую землю за то, что она слишком легко поддалась, уступила сильному и хитрому врагу.

— Даже не возмутилась, не взбунтовалась! Вулканы могли бы плеваться, грохотать, могли бы ударить молнии, устроить пожар…

— Молнии? Но у нас с евреями одно небо, вы разве не знаете?

— Но так поддаться! Где же знаменитые зем-

летрясения?

Даже этот гнев — не только вербальный, но рожденный болью и горем — усиливал решимость сражаться.

— Запад имеет наглость защищать Израиль…

— На высокомерие сильных ответит жестокость слабых…

— Даже слепых?

— Даже слепых. Ради цели слепой и прозорливой.

— Что ты имеешь в виду?

— Ничего. Это я злюсь.

Ни один фидаин не выпускает из рук ружья, он то носит его на ремне через плечо, то держит горизонтально на коленях или вертикально между ног, не подозревая, что сама по себе эта поза является вызовом — эротическим или сулящим гибель, а может, и тем, и другим. Ни на одной базе я не видел, чтобы фидаин расставался с ружьем, разве что во сне. Готовит ли он еду, вытряхивает покрывала, читает письма, оружие казалось более живым, чем сам солдат. Я даже думаю, что если бы крестьянка вдруг увидела, как к ней приходят дети без оружия, она бы метнулась в дом, оскорбленная видом обнаженных подростков. А так она не была удивлена: ее окружали солдаты.

Когда мы вышли от нее и за поворотом увидели небольшой орешник, фидаины бросились врассыпную, оставив меня одного на дороге. Они углубились в лесок и каждый, пытаясь укрыться, спрятаться от других, спокойно, как дети, которые садятся на горшок — хотя полы их белых рубашек чуть виднелись сквозь листву — присели и стали срать. Думаю, они подтирались листьями, сорванными с низких веток, а потом вернулись строем на дорогу, уже аккуратно застегнутые, по-прежнему с оружием, по-прежнему распевая импровизированный марш. По возвращении приготовили чай.

Когда я вспоминал эту крестьянку, иногда она виделась мне мужественной, умной женщиной, а порой мне казалось — и я не мог помешать себе так думать — что она прекрасно умеет скрывать свои мысли и чувства. По негласному договору, как и все жители Аджлуна, она и ее муж притворялись: он — другом (до раболепия!) палестинцев, она же, хитрая и лукавая, проявляла дипломатичность и политический расчет. Может, это была чета коллаборационистов, так одни французы называли других французов, сотрудничающих с немцами, или этой паре было поручено изображать симпатию, чтобы лучше информировать

иорданские войска? В таком случае, возможно, именно они предоставили самые важные сведения, благодаря которым сделалась возможной июньская резня 71 года? Я до сих пор не понимаю, почему эта крестьянка была так настроена против Хусейна. Может, в ее родне были палестинцы? Ей нужно было расквитаться? Или она вспоминала, что когда-то ее спасли палестинцы? Я до сих пор задаю себе этот вопрос.

Столько уловок, ошибок, оптических иллюзий могло быть обнаружено журналистами, причастными к мятежу или ослепленными его сиянием, незатейливость этих явлений должна была бы их насторожить; а я не помню ни одной статьи в прессе, где выражалось бы удивление банальностью или наивностью этих оптических иллюзий. Газета, пославшая их так далеко, требовала, возможно — ведь она тратила реальные деньги — чтобы события были трагическими, ведь только трагические события достойны таких посланцев: фотографы, операторы, репортеры. Пресловутое выражение: «Проходите, здесь нечего смотреть», приписываемое парижским копам, имело другое происхождение: еще задолго до этого журналистам был запрещен доступ на базы — стой! секретный объект! — базы были такой

запретной зоной, куда никто не допускался, и все, должно быть, думали, не решаясь произнести это вслух, что там *нечего смотреть*. В памяти всплывают чудесные мгновения, а моя книга и есть — но скажу ли я об этом? — накопление таких мгновений, все ради того, чтобы утаить это великое чудо: «*здесь нечего смотреть и нечего слушать*». А может, это что-то вроде заграждения, воздвигнутого, чтобы скрыть пустоту, множество подлинных подробностей, которые по аналогии придают подлинность другим подробностям? Не в силах воспрепятствовать этому тривиальному способу хранить военные секреты, я чувствовал беспокойство: ООП использовала скрытые или цинично-демонстративные методы победивших государств.

В самом деле, я не увидел и не услышал ничего такого, что нельзя было разгласить, но может, это из-за своей наивности или рассеянности — с таким изумлением, например, я рассматривал на какой-то базе колонию семенящих вереницей гусениц-шелкопрядов, и эта рассеянность и отрешенность были так некстати, что находящиеся рядом фидаины проголодались и замерзли, поджидая меня? Возможно, Абу Омар видел во мне некоего легкомысленного союзника или лишен-

ного проницательности старика, которой, что бы важного и значительного ни произошло, не проболтается, не поймет, обратит на это не больше внимания, что и на вереницу ползущих гусениц.

Фидаин, так хорошо переводивший мне с арабского слова той крестьянки, неожиданно сократил дистанцию, которая вопреки его и моей воле пролегала между нами. Он пригласил меня на ужин в честь дня рождения отца, бывшего османского офицера.

Застыв в пыльной убогости, свойственной крупному арабскому поселению вплоть до совсем недавних времен, во всяком случае, в семидесятые было именно так, Амман, как и многие другие столицы арабского мира, словно лежал в отрепьях. После множества смерчей, пронесшихся над Бейрутом, город словно хватил апоплексический удар. Нищета не дает забыть о том, что все арабы остерегаются палестинцев, и никто не попытался помочь народу, которого так истязали и мучили: враги израильтяне, революционные и политические разногласия, собственная душевная боль. Видимо, все полагали: народ, у которого нет земли, угрожает всем землям.

«Ливан, маленькая ближневосточная Швейцария» должен исчезнуть, когда исчезнет под

бомбами Бейрут. Выражение «ковровая бомбардировка», которое твердят газеты и радио, подходит, как нельзя лучше: ковер из бомб, навалившийся на город, раздавил Бейрут; чем больше оседал город, чем больше домов складывались пополам, как будто страдая от колик, тем сильнее становился Амман, крепли мускулы, отрастало брюшко, появлялся подкожный жирок. По мере того, как спускаешься в старый город, все больше становится обменных лавок: стена к стене, дверь в дверь, нос к носу, и все непосредственно из Лондона, из самого Сити. Как только солнце начинает печь особенно сильно, усатые смеющиеся менялы опускают железные шторы. В пропотевших футболках они расходятся по своим Мерседесам-с-кондиционерами. У них сиеста на собственной вилле в Джабаль Аммане. Почти все они палестинцы, а их жены — во множественном числе — толстые. Женщины просматривают журналы «Вог», «Дома и сады», едят шоколад, слушают на кассетах «Четыре времени года». Когда я приехал в июле 1984, Вивальди был очень моден, к моему отъезду подоспел Малер. Этому чуду очень шли вечные развалины: вечность и великолепие они берут у того, что их разрушает. Восстановите раненую колонну, покореженную

капитель, и руина превратится в новодел. В пыли и грязи, благодаря своим римским развалинам Амман выглядел очень эффектно. Возле Ашрафии я прошел через виноградник. Фидаин-переводчик ждал меня. Вот мое описание: одноэтажный дом, похожий на дом Нашашиби[28]. Просторная гостиная открывалась прямо в абрикосовый сад. Сидя в кресле, отец Омара курил кальян. Ковер в гостиной был таким широким, большим и толстым, а его рисунок таким красивым, что мне сразу захотелось снять обувь.

«Тогда запахнет моими немытыми ногами, ногами почтальона, проделавшего пешком столько километров…»

На ковре уже стоял круглый одноногий столик с медовыми пирожными.

— Восточные сладости надо любить.

Отец Омара был высоким, худым, на вид довольно суровым. Седые волосы и усы, обрезанные коротко.

— Да-да, восточные, не верьте моему сыну, он решил, что их не любит, потому что при изготовлении не использовали метода научного марксизма-ленинизма. Месье, не стесняйтесь.

---

[28] Примечания: 28

Нашашиби — известная и влиятельная арабская семья из Иерусалима. (*Прим. ред.*)

Добравшись до подушек, то есть, до края ковра, я вытянулся, опершись на локти. Омар, его отец, второй фидаин Махмуд сидели на корточках все трое, он были в носках, три пары туфель остались за краем ковра, на мраморных плитах. Я засмеялся, увидев, как в стеклянном шаре кальяна пузырится вода.

— Вас это удивляет и забавляет, — сказал мне бывший османский офицер.

— У меня забавное ощущение, что передо мной мой собственный живот, после того, как я выпил бутылку Перрье.

У Омара и Махмуда губы изогнулись в легкой улыбке. Правда, совсем легкой, почти незаметной.

— А про себя вы думаете вот что: ваш живот напротив вас, а мой рот вызывает в нем бурю.

Не то чтобы я «думал про себя», я, скорее, «ощущал про себя», и это ощущение было невозможно выразить словами вот здесь, на этом ковре, под этой люстрой из муранского стекла, перед офицером. Я узнал, что ему восемьдесят.

Границы принятых в разговоре соглашений-условностей весьма зыбки, возможно, как и географические границы государств, и чтобы их подвинуть, тоже нужна война и герои, живые,

раненые или убитые. Эти границы двигаются, чтобы защитить новые границы, в которых столько ловушек. Так что о Братьях-мусульманах я по-прежнему знаю немного.

— В прошлом году в Каире один писатель попросил меня поправить его статью на французском. Там было страниц сорок. Я начал читать и уже на второй странице стал задыхаться. Столько полных ненависти высказываний… Вот такое, например: «*нужно вооружаться против всего немусульманского… Сейчас идут забастовки. Богу нет ничего милее — ужасно для людей, но отрадно для Бога — чем «голодный» запах изо рта брата-забастовщика, появляющийся на десятый день, и запах изо рта атеиста, страдающего от голода*».

Когда марокканский юрист произносил это, на его лице читалось такое отвращение, что казалось, я наблюдаю фарс, еще более фальшивый, чем тирада того каирца. Он отказался править этот французский текст. Каждый член движения «Братья мусульмане», беседуя с французом, старается не выходить за обычные рамки беседы. Это был своего рода «закрытый фонд» «Братьев-мусульман», куда я так и не получил доступа, как прежде получали доступ в отдел специального

хранения Национальной библиотеки. Похоже, бывший офицер не боялся нарушить приличия. И здесь, как и после, когда я буду говорить об Абу Омаре и Мубараке, у меня должно получиться произведение, на первый взгляд искажающее истину, потому что, заполняя пустоты, я воссоздаю слова Мустафы, в противном случае я смог бы предложить лишь невразумительный контур руин — и ночи. Я остаюсь верным содержанию. Если некоторые люди еще живы, я изменил фамилии, имена, инициалы.

— Я начал говорить на вашем языке в Константинополе. Вообще-то я родился в Наблусе, наша фамилия Набулси. Мы принадлежим к знаменитому семейству, и мне сегодня восемь часов восемь минут назад исполнилось восемьдесят. В 1912 году я был офицером османской армии и учился в Берлине при Вильгельме Втором. В начале войны, в 1915, когда вы, полагаю, были еще французским ребенком, но уже моим врагом (он любезно улыбнулся, как святая или младенец), мы — нет, простите, это слово не связывает вас со мной, оно вас исключает, в данном случае «мы» означает немцы и турки — находились под командованием Кайзера Вильгельма Второго, лейтенанта. Мы еще не встретились с вашим мар-

шалом Франше д'Эспере. Он появится позднее. Итак, я хорошо изъясняюсь на турецком, это мой родной язык, на арабском, мой французский вы можете оценить сами, на английском и немецком. Не осуждайте меня, если этим вечером я много говорю о себе, до полуночи это мой праздник. В 1916 меня призвали на разведывательную службу.

Последующая фраза поглощала предыдущую, не давая возможности переварить ее. Мне же оставалось только слушать.

— Эта война, которую вы, европейцы, считаете законченной, будет длиться еще долго. Я был мусульманином, я остался им при Империи, хотя мы знали, что трансцендентальный Бог уже не в моде, но быть мусульманином сегодня это значит, называть себя мусульманином или что-то другое? Я еще араб и мусульманин в глазах арабов и мусульман. Будучи турком, я был палестинцем, теперь уже никто или почти никто. Может, с Палестиной меня связывает мой младший сын, Омар? Я остаюсь палестинцем благодаря тому, кто предал ислам ради Маркса. Я, как и вы, верю в добродетели предательства, но еще сильнее я верю в верность. Меня здесь оставляют в покое, вы же видите, в моем доме в Аммане, но я иорданец,

учтите это… от плохого к худшему, от Хедива[29] к Хусейну, от империи к провинции.

— Вы по-прежнему османский офицер?

— Если угодно. Меня из любезности называют полковником. Для меня это так же важно, как титул герцога СФИО[30], или принца Эр Интер[31], которыми мог бы пожаловать меня господин Жорж Помпиду. Теоретически я подчиняюсь последнему отпрыску — почему бы не сказать огрызку или огузку — династии хашимитов в Хиджазе, то есть, с 1917 я должен был — хотя нет, я ошибаюсь, с 1922, потому что в это время Ататюрк присоединяется к Европе и ведет с ней переговоры…

— Вы не любите Кемаля Ататюрка?

— Я не верю в эту историю. Я имею в виду брошенный с трибуны Коран в зале Высокой Ассамблеи. Он бы не посмел, в зале было полно депутатов мусульман. Но впоследствии он доказал, что нас ненавидит.

---

[29] Примечания: 29

Хедив — вице-султан Египта в период зависимости страны от Османской империи. (*Прим. ред.*)

[30] Примечания: 30

Французская секция Рабочего интернационала. (*Прим. перев.*)

[31] Примечания: 31

Внутренние Авиалинии. (*Прим. перев.*)

— В конце жизни он вернул Турции Александретту и Антиохию.

— Турции их вернули французы. И напрасно. Это арабские земли. Там до сих пор говорят по-арабски. Но, как я вам говорил, с 1922 года я перестал подчиняться османам и стал подчиняться англичанам, Абдалле, а еще Глабб-Паше, который забрал у меня офицерский чин, потому что я служил при Ататюрке. Глабб сделал это, потому что я обучался военному делу в Германии.

— Во Франции говорят «Потерянные солдаты».

— Какое красивое название! Но все солдаты — потерянные. Сейчас только десять. Мое время — до полуночи. Когда я вернулся в Амман, в тот самый город, где я сражался с англичанами, которыми тогда командовал Алленби, так вот, мой старший сын Ибрагим — его мать моя первая жена, она немка — мой сын заставил меня выкупить наш дом, я должен был это сделать. В кафе рядом с вашим отелем я играл в триктрак — кажется, отель Салахеддин — меня там узнали, и пять месяцев я провел в тюрьме. Вам повезло больше, чем мне, я всего лишь несколько часов был там с Набилой Нашашиби — мне сказал об этом один из ее братьев — и вот я свободен. Свободен, представляешь! Свободен не переправляться

через Иордан, свободен никогда больше не видеть Наблус. Это я смеюсь, ты же понимаешь.

Он вновь взял в рот мундштук кальяна. Я трусливо воспользовался этим коротким молчанием.

— Но вы по-прежнему османский офицер.

— Меня, как говорится, вычеркнули из списков, причем давно уже. Вместе с Исметом Инёню, он не такой жестокий, но более злобный, чем Кемаль. В последний раз я надел униформу на его похоронах в Анкаре, тридцать лет назад. Моя первая жена хранит ее в Бремене, она живет там с моим сыном Ибрагимом.

Он тихо пропел:

«В последний раз я надел униформу на его похоронах в Анкаре тридцать лет назад».

Потом на другой мотив:

«Последний раз
Я надел
Униформу
На его похоронах
В Анкаре-каре-каре
Тридцать лет назад».

— Вот песенка ко мне привязалась, это такая каватина, которую играла подставка для блюд

у нас за столом в Константинополе, по-вашему Истамбул.

— Когда вы, османский офицер, сражались с англичанами, у вас не было ощущения, что вы сражаетесь с арабами из армии Аленби и Лоуренса?

— Ощущение, скажете тоже! Когда ты военный, ощущение одно: ты любишь командовать, любишь выполнять команды, подчинять, подчиняться, а еще любишь медали стран-победителей, вы же, господин Жене, надеюсь, не верите ни в какие ощущения?

Мы с ним оба негромко рассмеялись. Омар и Махмуд оставались серьезными.

И потом, все было далеко не так ясно и понятно, как нам описывает этот маленький, но далеко не скромный археолог. Лоуренс всё приукрасил, даже свою содомию он преподносит, как героический поступок. Посмотрите-ка, что сейчас происходит в Аммане и Зарке: все солдаты и офицеры палестинцы по различным каналам получили приказ, ну, или, по крайней мере, настоятельный совет дезертировать из иорданской армии, состоящей из недобитых банд Арабского легиона Глабба, молодых бедуинов, палестинцев, и присоединиться к Армии Освобождения Пале-

стины[32]. Ну и многие так сделали?[33]

— Мало.

— Очень мало. А почему? Потому что предатели? Из трусости? Чтобы не сражаться с бывшими братьями по оружию? Из лояльности к королю Хусейну? Я сам старый-старый солдат и понимаю, что все это очень важно. Я был офицером османской армии, арабским офицером. Когда ваши историки говорят о всеобщем подъеме арабского мира, вызванном Лоуренсом, скажем прямо, подъем был вызван золотом, ящиками золота, которое посылал Его величество Георг V. Там были очень серьезные дискуссии, амбиции пытались скрыть всякими напыщенными речами: мол, свобода, независимость, патриотизм, благородство; но как эти самые амбиции ни пытались скрыть, они вылезали в самом уродливом виде — все эти требования постов, мест в правительстве, чины, звания, поездки, я кое-что и подзабыл, в общем, все, что угодно, только не золото. Но мои глаза его видели, пальцы трогали! Хорошо, давайте

---

[32] Примечания: 32

Армия Освобождения Палестины — не путать с Организацией Освобождения Палестины. Председатель исполкома ООП — Ясер Арафат.

[33] Примечания: 33

Лейла мне говорила, напротив, что дезертировало много солдат и офицеров. Но много — это сколько?

поговорим о нем. О золоте. О карманах, полных золота. Сын рассказал мне, что на прошлой неделе вы были у одной крестьянки, кажется, это дочь унтер-офицера бедуина, которого ослепил блеск британского золота. Его ослепило золото, а наших эмиров не только золото, но еще орденские ленты через плечо, орден Подвязки, медали, нашивки — у бедуинов цацки и грудь колесом, а опьянить его может один выстрел винтовки Лебеля. Можете смотреть на меня, можете закрыть глаза, в том, что происходит вокруг, вы же все равно видите только поэзию: Омар в ФАТХе, вы думаете, фидаины бегут туда из самоотверженности?

Он закричал каким-то жалобным голосом: «Омар! Омар, Махмуд, этой ночью можете курить при мне!» и добавил уже для меня, откинувшись на вышитые шелковые подушки: «Пока я миф, они не посмели бы оскорбить курением мои седины». Он не обратил внимания на оговорку, вернее, не счел нужным ее поправить, предпочтя изображать передо мной эдакого старого османского вояку, который скорее миф, чем жив. Может, в своих туманных мечтаниях он видел себя героем легенды: мы помолчали.

Пальцы уже теребили в карманах зажигалку и сигареты.

— Вы когда-нибудь поймете, кто были эти англичане. Вспомните о черкесах. Давайте пару минут поговорим о них: Абдул-Хамиду была нужна надежная армия (мусульмане, но не арабы), чтобы дать отпор мятежникам бедуинам. Он вспомнил о Российской империи и о черкесах. Кедив подарил им свои лучшие земли — эту Иорданию, а еще теперешнюю Сирию — земли, где источников было немного, но все богатые, хотя они отдали евреям те, что находятся на Голанских высотах, у них остались еще деревни возле Аммана. Кто такие были эти черкесы? Казаки-магометане, истребители бедуинов. Они по-прежнему на генеральских и министерских должностях, руководящих постах. Служат господину Хусейну и охраняют его от палестинцев.

Молодые люди отправились курить за перегородку. Эту почтительность по отношению к арабской аристократии или, по крайней мере, той, что выдает себя за таковую, я видел в их лицах, словах, жестах, а еще когда в холл отеля Странд в Бейруте вошла Самия Сольх[34]. Описание того вечера может подождать, османский военный продолжал:

---

[34] Примечания: 34

Вероятнее всего речь идет о Ламии Сольх, бывшей тогда невестой мароканского принца Абдаллы. (*Прим. ред.*)

— В наших офицерских столовых — здесь нам лучше было бы проиграть войну, потому что в наших столовках, где сотни закусок мезе, за стаканчиком рисовой водки мы могли думать только о жратве — было много блюд, наливок, шуток, но наши разговоры буксовали бы, если бы нас не вела некая путеводная звезда, Звезда Пастухов, и это золото, месье. А разговоры были такие: Мы, арабские офицеры турецкой армии, должны ли мы было способствовать ослаблению Империи и англо-французскому триумфу? Я одобряю то, что достойно одобрения в наших резолюциях, что можно назвать благородным, а наши отвратительные амбиции напоминают мне, как Людендорф отделал вас на Сомме. Англичане презирали нас уже при Мохаммеде Али; Французы в Алжире, в Тунисе — кто всю войну 14–18 молился в мечетях за нашу победу, может, это из-за Бея, который турок по национальности, но, во всяком случае, тунисские молитвы за победу Германии и Турции над вашей страной доходили до Бога; итальянцы презирали нас после событий 1896 года в Эритрее. Мы должны желать успеха всем христианам?

— Немцы были христианами.

Господин Мустафа несколько секунд помедлил,

насвистывая каватину музыкальной подставки для блюд.

— Ни одна арабская страна не была немецкой колонией. Инженеры-боши сделали нам шоссе и железные дороги. Вы видели дорогу в Хиджаз?

— В этот раз нет. Видел, когда мне было восемнадцать. Я проходил военную службу в Дамаске.

— В Дамаске? Расскажите-ка мне. А в каком году?

— В 1928 или 1929.

— У вас остались хорошие воспоминания?.. Нет-нет, не рассказывайте об этой стране, о себе и о своих любовных историях. Я знаю, что об этом думать. Меня интересуют разговоры, наверняка вы обсуждали арабов, наши убеждения. У меня двойственное отношение к Ататюрку, я не слишком его уважаю. Он не любил арабов, и арабского языка почти не знал[35], но он спас от османского мира все, что только мог. Унизить Империю, как вы ее унизили, когда последний халиф сбежал на английской корабле — пленник и дезертир, что вы сделали с Абд аль-Кадиром. Англия здесь с Глаббом, в Палестине Самюэль, Франжье в Ли-

[35] Примечания: 35

Это легенда? Ататюрка едва не посадили в тюрьму, потому что он плохо говорил по-арабски. И, как мне рассказывали, понимал его тоже плохо.

ване, в Сирии Афляк с его смехотворной БААС[36], Ибн Сауд в Саудовской Аравии…

— Что должно было быть между 14 и 18?

Отец Омара выпрямился передо мной на ковре из Смирны, под люстрой венецианского стекла.

— Мы до 1917 года, еще задолго до декларации Бальфура знали, что богатые землевладельцы…

Я впервые услышал, как он произносит фамилию семейства Сурсок.

— … землевладельцы во время этой войны установили нужные контакты, чтобы продать евреям целые деревни, земли там были всякие, и хорошие, и плохие. Мы знаем имена арабов, которые получили от этого прибыль…

— У них имелись сообщники в Порте…

— Разумеется. А англичане, которые были хотя и антисемитами, но реалистами, занимались обустройством европейского поселения по соседству с Суэцким каналом, чтобы удерживать восточный Аден и присматривать за ним.

Стенные часы из эбенового дерева пробили полночь. Шел шестнадцатый час восьмидесятилетия османского офицера. Омар вежливо поинтересовался, не боится ли он обидеть свои-

---

[36] Примечания: 36

Партия арабского социалистического возрождения (*Прим. перев.*)

ми разговорами иностранца. Старик взглянул на меня, как мне показалось, благожелательно.

— Ни в коей мере. Вы прибыли из страны, которая и после моей смерти останется у меня в сердце: страны Клода Фаррера и Пьера Лоти.

Каждый день и каждую ночь смерть проскальзывала рядом: вот откуда это ажурное кружевное изящество, по сравнению с которым все эти танцы под аплодисменты кажутся такими неуклюжими и тяжеловесными. Не знаю, как животные, а все предметы становились родными.

Когда потери личного состава исчисляются сотнями и тысячами, смерть не означает здесь ровным счетом ничего, а главное — невозможно почувствовать двойную, тройную, четверную печаль, когда погибали четверо друзей, и когда погибали сто, печаль не становилась стократ сильнее. Смерть какого-нибудь фидаина, которого ты любил, каким странным бы это ни казалось, позволяла ему жить среди нас еще интенсивнее, представать перед нами с прежде не замечаемыми мелочами и подробностями, говорить с ним, слушать, как он отвечает веско и убедительно. Из-за того, что время жизни оказалось таким кратким, эта единственная жизнь фидаина, теперь уже мертвого, приобретала поразительную

плотность. Если у какого-нибудь двадцатилетнего фидаина были планы на завтра — помыться, отправить написанное накануне письмо… — теперь мне казалось, что к его неосуществленным планам примешивался дурной запах, запах разложения: ведь планы мертвого пахнут тлением.

Но зачем им нужна была моя белая голова со светлой кожей, седыми волосами, небритой бородой, эта белая, розовая, круглая голова? Может, нужен был свидетель? Мое тело не шло в счет: оно просто несло эту голову: круглую и белую.

Все было гораздо проще: вместо ребенка Черные Пантеры нашли всеми покинутого старика, и старик этот оказался белым. Человек наивный во всех смыслах, я был настолько несведущ в американской политике, что слишком поздно понял: сенатор Уоллес был расистом. Вероятно, я пытался осуществить старую детскую мечту, в которой иностранцы — в сущности, больше похожие на меня, чем соотечественники — дарили мне новую жизнь. И это детское ощущение наивности и простодушия пришло ко мне благодаря мягкости пантер, отнюдь не полученной мною как некая привилегия, но которой я пользовался, ведь она, как мне казалась, была самой сущностью Пантер. Мне, старику, вновь стать приемным ребенком

было очень приятно, поскольку благодаря этому я познал настоящее покровительство и внимательное, сердечное воспитание, ведь Пантер можно было узнать по их педагогическим талантам.

Покровительство Пантер было таким надежным, что в Америке я ничего и никогда не боялся — разве что боялся за них самих. И, словно по волшебству, белая полиция и белая администрация не придиралась ко мне. В самом начале, еще до того, как меня принял под свое покровительство Дэвид Хиллиард, когда мне хотелось увидеть Гарлем, меня всегда кто-нибудь сопровождал, до того самого дня, когда я один отправился в какое-то бистро для черных, где обслуживали только черных: вероятно, это было что-то вроде борделя, куда с черными парнями приходили красивые девушки Я заказал кока-колу. Мой акцент и построение фразы вызвали всеобщий смех. В самый разгар ссоры с каким-то типом и хозяином бистро двое посланных на поиски Пантер отыскали меня «в городских джунглях».

Испуганные при виде оружия белые, кожаные куртки, непослушные волосы, слова и даже тон голоса, одновременно злобный и нежный: Пантеры так хотели. Они сами выбрали такой образ, театральный и драматический. Театр — чтобы

разжечь драму и потушить ее. А драма разыгрывается ими для белых; они сами хотели, чтобы этот образ, повторенный стократно в прессе и на экране, неотступно преследовал белых, и угроза оказалась не пустым звуком, потому что ее подкрепляли реальные смерти: они стреляли, и вид оружия, направленного на цель, заставлял стрелять копов. Если сказать, к примеру, что «поражение Пантер связано с тем, что они присвоили себе «товарный знак» до того, как стали осуществлять реальные дела в подтверждение этого знака» (это я вкратце излагаю вопрос, заданный мне газетой «Рампар»), то потребуется много примечаний. Например, что мир можно изменить не войнами и человеческими смертями, а другими средствами. «Власть находится на конце оружейного дула», возможно, а может быть, и на конце тени ружейного дула. Изложенные в десяти пунктах требования Черных Пантер и примитивны, и противоречивы. Вероятно, это заслонка, за которой происходит некий процесс, причем, процесс вовсе не такой, каким оказался бы, будь он выражен четко и понятно. Вместо независимости: реальной, территориальной, политической, административной, требующей конфронтации с властью белых, произошла

метаморфоза чернокожего. Из невидимого он сделался видимым. И этой самой видимости удалось добиться разными способами. Ведь когда мы говорим «чернокожий», то имеем в виду не цвет: на эпидермис с более или менее плотной пигментацией он может накинуть цветные одежды, праздничные одежды, и это станет его обрамлением, золотым, лазоревым, розовым, сиреневым, а черный цвет, более или менее черный, требует определенной договоренности с другими тонами, пастельными или яркими, во всяком случае, привлекающими внимание, и это обрамление не может скрыть разыгрывающуюся драму, потому что глаза все равно видят и скрыть ничего невозможно.

Эта метаморфоза и есть изменение?

«Да, когда эта метаморфоза касается белых, путь они изменяются тоже. И белые изменились, ведь их страхи уже не те, что прежде».

Были смерти, были нападения, доказывающие, что чернокожие становятся все более грозными, все менее уязвимыми. И тогда у белых появилось предчувствие, что рядом с ними создается настоящее общество. Да, оно существовало и прежде, но было боязливым, пыталось копировать белое общество, и вот теперь оно отделялось

и отказывалось быть чьей-то копией в повседневной жизни, но в мифах тайной мифологии Малкольм Икс, сам Кинг, Нкрума были для него примерами.

Почти не оставалось сомнений, Пантеры победили, причем какими-то несерьезными способами: шелком и бархатом, взлохмаченными волосами, символами, которые преобразили чернокожего и его изменили. А на тот момент допустимыми методами считалась традиционная борьба, национальные освободительные движения, возможно, классовая борьба.

— В этом было что-то театральное?

— Обычно театр подразумевает сценическую площадку, публику, репетиции. А Пантеры если и играли, то не на сцене. А их публика никогда не бывала пассивной: черная публика вела себя естественно или освистывала их, белая оказывалась уязвлена и страдала от своих язв. Если полагаете, будто эти представления происходили за воображаемым занавесом, который ослаблял и смягчал впечатление, вы ошибаетесь: избыточность и чрезмерность в словах, в поведении, в роскоши приводила Пантер к еще большей избыточности и чрезмерности. Теперь, наверное, следует поговорить о земле, которой нет. То, что

последует дальше — всего лишь предположение.

Для всех народов, у которых территория проживания ограничена — впрочем, для кочевых народов тоже, ведь границы пастбищ устанавливаются не хаотично и беспорядочно — земля это опора и основа родины. Но не только. Земля, или территория — сама по себе материя, пространство, где осуществляется определенная стратегия. Она может быть необработанной или возделанной или застроенной, но главное, она является пространством, где назревает война или готовится стратегическое отступление. Можно называть ее священной или нет, все эти дикие обряды, имеющие целью сакрализовать ее, не имеют большого значения: прежде всего, это место, откуда начинается война и куда отступают. У чернокожих нет земли, как ее нет и у палестинцев. Их положения — черных американцев и палестинцев — не схожи ни в чем, кроме одного: у тех, и у других нет земли. Измученные и истерзанные, на какой территории будут готовить они мятеж? Да, существует гетто, но они не могут ни укрыться там — понадобились бы баррикады, крепостные стены, бункеры, оружие, боеприпасы, соучастие всего чернокожего населения — ни вырваться оттуда, чтобы вести войну на

территории белых: вся территория Америки принадлежит белым американцам. Значит, в другом месте и по-другому будут они вести деятельность, разрушительную для сознания. Где бы ни были американцы, они хозяева. Пантеры будут стремиться наводить ужас на хозяев, но с помощью единственного средства, каким располагают: протест. И он произойдет, потому что вызван отчаянием, потому что они сумеют сделать его особо выразительным благодаря своей особой ситуации: смертельная опасность и реальные смерти, ужас тела и напряженные нервов.

Протест есть протест, и существует опасность, что он превратится в нечто воображаемое, станет лишь красочным карнавалом, и такой риск был у Пантер. Но имелся ли у них выбор? Будучи хозяевами — или суверенными собственниками территории, они не смогли бы, вероятно, образовать правительство: президент, военный министр, министр образования, фельдмаршал и после выхода из тюрьмы «Верховный главнокомандующий» Ньютон.

Немногие сочувствующие Пантерам белые довольно быстро выдохлись. Они могли воспринимать лишь их идеи, но не могли последовать за ними в их оборонительные сооружения, где

чернокожие были вынуждены разрабатывать и осуществлять стратегию, которая черпала свои ресурсы в воображаемом.

У Пантер было несколько путей: к безумию, к преобразованию черного сообщества, к смерти или в тюрьму. Этими путями исчерпывался результат всего этого предприятия, но главным следствием было именно преобразование, и поэтому можно сказать, что пантеры победили благодаря поэзии.

По дороге, ведущей в Эс-Салт[37], я вернулся в палатки Аджлуна. Абу Кассем стоял с поднятыми руками — это первое, что я увидел. Он развешивал белье на протянутой между деревьями веревке. Источник был рядом. Слуги иорданских министров перед резней в Аммане поили там лошадей. Фидаины заняли пять-шесть вилл, предназначенных министрам. Интересно, где Абу Касем раздобыл прищепки для белья? И к чему эта стирка? Он ответил мне без улыбки фразой из катехизиса:

— Фидаин всегда сам находит то, что ему нужно. Прищепки здесь. Если тебе нужно развесить белье, возьми вот эти, других все равно не най-

---

[37] Примечания: 37

Эс-Салт — город на северо-западе Иордании. (*Прим. ред.*)

дешь, ты же не фидаин.

— Спасибо, я никогда не моюсь. Ты шутишь, Касем, но у тебя даже шутки мрачные.

— Мухамед этой ночью идет в Гхор. (Гхор — Иорданская долина).

— Это твой друг?

— Да.

— Ты давно узнал о его отъезде?

— Двадцать минут назад.

— Это его белье?

— Его и мое. Этой ночью нужно быть чистым.

— Ты волнуешься, Касем?

— Я беспокоюсь. И буду беспокоиться, пока он не вернется, или пока не станет ясно, что надеяться больше не на что.

— Ты революционер и так любишь Мухаммеда?

— Когда ты станешь революционером, то поймешь. Мне девятнадцать лет, я люблю революцию, я посвятил себя революции, и надеюсь, смогу ей служить еще долго. Но здесь мы отдыхаем. Мы революционеры и мы люди. Я люблю всех фидаинов и тебя я люблю тоже; но под деревьями ночью или днем я могу дарить свою дружбу кому-нибудь одному из отряда, я могу разделить пополам, но не на шестнадцать частей плитку

шоколада и отдать половину тому, кому хочу. Я выбираю.

— Вы все революционеры, но ты отдаешь предпочтение одному из них?

— И все палестинцы. А я выбираю ФАТХ. Ты никогда не задумывался о том, что революция и дружба подходят одно к другому?

— Я да, а твои командиры?

— Если они революционеры, они, как я, кого-то любят больше.

— А эту дружбу, о которой ты говоришь, ты решился бы назвать любовью?

— Да. Это и есть любовь. Сейчас, в эту минуту ты думаешь, что я боюсь слов? Дружба, любовь? Одно я знаю наверняка, если сегодня ночью он умрет, рядом со мной всегда будет пустота, и я постараюсь туда не упасть. А что командиры? Когда мне было семнадцать, они решили, что я достаточно благоразумен, чтобы вступить в ФАТХ. ФАТХ меня не отпустил, когда я был нужен матери. Сейчас, когда мне девятнадцать, мое благоразумие никуда не делось. Я революционер, и когда отдыхаю, моя дружба отдыхает тоже. Этой ночью я буду беспокоиться, но все равно стану делать свою работу. Все, что мне нужно делать, когда я спущусь к Иордану, я выучил два

года назад и знаю наизусть. А теперь мне нужно повесить последнюю майку.

В Иордании всего десять-двенадцать лагерей. Могу назвать их: Джабаль аль-Хусейн, Вихдат, Бакаа, Лагерь Газа, Ирбид, это те, которые я знаю лучше всего. Жизнь там проста и неприхотлива, во всяком случае, не такая, как на базах. Более устоявшаяся, что ли. Женщины, при всей своей безмятежности, были какими-то массивными, даже самые худые, я не говорю про массивность тел, грудей, зада, я имею в виду весомость их жестов, выражающих уверенность и покой. Многие иностранцы, то есть, не-палестинцы, отправлялись именно в лагеря, те, что «над базами» — это «над базами» звучало комично, потому что как раз вооруженные базы располагались в горах, чтобы наблюдать за Иорданом. Фидаины возвращались в лагеря для отдыха — французы говорили «чтобы пострелять» — или запастись лекарствами.

Во всех лагерях имелись крошечные медпункты-аптеки, заставленные (именно потому, что очень маленькие) коробками с просроченными лекарствами, бесполезными, непонятно от чего, присланными из Германии, Франции, Италии, Испании, из скандинавских стран, и никто не мог разобрать состав, инструкции, способ упо-

требления.

Когда в лагере Бакаа сгорели несколько палаток, Саудовская Аравия прислала в подарок самолетом прямо из Рияда дома из гофрированного железа, и как только они прибыли в лагерь, пожилые женщины устроили прием: что-то вроде импровизированных танцев, как Азеддин, который выплясывал вокруг своего первого велосипеда. Крытые листовым железом — или алюминием — дома сияли на солнце, отражая свет. Представьте себе куб, в котором отсутствует одна сторона, а именно пол. А в другом боку дыра для двери. В такой комнате чета восьмидесятилетних стариков под полуденным солнцем могла бы свариться заживо, а зимней ночью заледенеть. Нескольким палестинцам пришла в голову мысль заполнить впадины волнообразной железной поверхности рыхлой черной землей, и на крыше, и по бокам, где ее, землю, удерживала металлическая решетка. В этом маленькой садике они посеяли траву и каждый вечер поливали ее, там даже выросло несколько чахлых цветочков, какие-то маки. Дом из гофрированного железа стал пещерой, довольно уютной и зимой, и летом, но желающих копировать эти сельские холмы

почтальона Шеваля[38] нашлось немного.

Ну и что делать после этих огненных и железных бурь? Пылать, стенать, стать охапкой хвороста, пылающим факелом, почернеть, сгореть, медленно покрываться пылью, потом землей, семенами, зарастать мхом, оставить после себя лишь челюсть и зубы, стать, наконец, крошечным холмиком, который еще цветет, но уже ничего не укрывает.

С самого начала, насколько я имел возможность ее наблюдать, палестинская революция не стремилась овладеть территорией, вернуть утраченные земли, огороды или фруктовые сады без ограды, это было крупное протестное движение, кадастровый спор, захлестнувший весь исламский мир, причем речь шла не только о территориальных границах, а о пересмотре и, возможно, отрицании теологии, умиротворяющей и нагоняющей сон, как бретонская люлька. Эта была мечта, но еще не твердое решение фидаинов — раскачать, сдвинуть с места двадцать два арабских народа, пойти как можно дальше, чтобы

[38] Примечания: 38

Жозеф Фердинан Шеваль, более известный как почтальон Шеваль, — предтеча Ар брют, создатель самого впечатляющего памятника наивной архитектуры — Идеального дворца почтальона Шеваля. (*Прим. перев.*)

вызвать у всех улыбки, сначала детские, потом идиотские. Америка, первая из намеченных целей, изобретала всякие чудеса. Палестинская революция, полагая, будто шествует с высоко поднятой головой, на самом деле шла ко дну. Страсть к самопожертвованию — ведь N не мог вернуться в Европу — это своего рода опьянение, которое мешает жертвовать собой, когда бросаешься в пропасть не для того, чтобы спасти тех, кто уже бросились туда раньше, а чтобы последовать за ними, а главное, когда уже ясно видишь ужас собственной гибели, явленной не в отраженном свете, а в реальности.

Чуть выше, когда я говорил о почтительности, почти угодливости — в словах, поклонах, жестах — фидаинов перед представителями палестинской аристократии, я обещал, что вернусь к Самие Сольх.

На юге Ливана мне уже приходилось видеть раненых коммандос на белых больничных простынях, смущенных видом пожилых женщин с накрашенными глазами, губами и скулами, громогласных и звенящих при каждом своем движении золотыми браслетами, золотыми цепочками, золотыми колье, золотыми серьгами, золотыми подвесками, и этот звон казался по-

хоронным.

— Этот ваш звон их или разбудит или убьет, — сказал я одной из них.

— Скажешь тоже. Мы много жестикулируем, как все средиземноморские народы, мы ведь мароните и финикийцы. Мы, конечно, пытаемся сдерживаться, но когда видишь столько страданий, подавлять жалость не получается, вот наши украшения и звенят, тут уж ничего не поделаешь. Мне многие говорили, что никогда раньше не видели таких богатых и красивых. Пусть, по крайней мере, глаза этих больных наполнятся счастьем.

— Не спорь с иностранцем, Матильда. Пойдем к ампутированным.

Позднее мне слишком часто придется наблюдать вблизи пожилых дам, все, что осталось от известных палестинских семейств.

Рагу из гусятины — возможно, эта метафора даст представление о красивой пожилой палестинке? Лицо и манеры богатых дам наводили на мысль, что не жарка в кипящем масле, а, скорее, томление на медленном огне округлили скулы, придали коже розовый оттенок; горести их народа смягчили и отшлифовали черты этих женщин, пропитанных несчастьем, как гусь

становится сочным, пропитавшись собственным жиром. Они были — особенно одна из них — восхитительно и эгоистично нежными, как будто их нежность нужна для того, чтобы отстраниться от жестоких невзгод. Медленно томиться на слабом огне, чтобы стать вкуснее. Им было известно про резню в Шатиле так же, как и про курс золота и доллара, но их осведомленность была сродни изнанке шерстяного или шелкового ковра, когда об узоре смутно догадываешься по узелкам и петлям с обратной стороны; да, они знали про страдания, но до них все доходило словно через какой-то буфер, может, через платье столетней или стодвадцатилетней давности, расшитое мертвыми пальцами слепой вышивальщицы. Они культивировали свою учтивость, чтобы она служила им украшением. Так, если бы разговор случайно зашел о Венеции, они бы никогда не произнесли фамилию Дягилева, а стали бы говорить о Лагуне, о Большом Канале, о стекольных мануфактурах на острове Мурано, о похоронных процессиях на гондолах…

— Так хоронили Дягилева, — сказали бы вы.

— Я видела, как они проплывали, с балюстрады отеля Даньели.

Со своего катафалка они разглядывали свой

народ через перламутровый бинокль. С этого ложа и из окон принцессы с достаточно крепкими — чтобы носить золотые цепочки — запястьями созерцали сражения, и печаль придавала их взгляду особую манерность. Из окна переносного дома я смотрел на море, на виднеющийся вдали Кипр, я тоже ждал, когда начнутся сражения, но все же не стал такой постаревшей принцессой с сочной плотью. Это сходство меня никогда не смущало; слащавые черты и приторность, обволакивающая аристократическое потомство Али, мне никогда не нравились; однако, как и эти дамы, я из окна или театральной ложи, словно через перламутровый лорнет рассматривал палестинский мятеж. Как же далеко я от них был — живя среди фидаинов, я находился по эту сторону некой границы, я знал, что меня оберегает, нет, не моя кельтская внешность, не защитный слой гусиного жира, а сияющая другим светом надежная броня: моя не-принадлежность к этой нации, к этому движению, с которыми я так и не слился. Мое сердце было там, мое тело было там, мой разум был там. Все по отдельности было там: но не моя вера полностью, и не я сам весь целиком.

Есть множество вариантов сочетаний и союзов.

Но что мне казалось странным — ежедневное, днем и ночью, ежечасное и ежесекундное необычное супружество: ислам и марксизм. Если рассуждать теоретически, это сплошные противоречия: Коран и «Капитал» ненавидели друг друга, однако какая ощутимая всеми гармония рождалась из этих несходств и разногласий. После серьезного и вдумчивого чтения немецкой книги эта гармония, которая, как казалось прежде, дарована из великодушия, представлялась даром по справедливости. Мы плыли вслепую, наобум, то быстро, то медленно, Бог ударялся лбом о выпуклый лоб Маркса, который его отрицал. Аллах был повсюду и нигде, несмотря на обращенные в сторону Мекки молитвы. В конце сороковых во Франции был популярен актер Луи Жуве. На его равнодушную просьбу написать пьесу для двух-трех персонажей я ответил равнодушным согласием. Я понял, что именно любезность побудила его задать почти провокационный вопрос, и такую же любезность я услышал в голосе Арафата, когда он сказал мне:

— А почему бы не написать книгу?

— Конечно.

Мы не стали связывать себя обещаниями, которые забываются еще до того, как произнесены.

Я не сомневался, что вопрос Арафата, как и мой ответ, были всего лишь обменом любезностями, поэтому я и думать забыл про перо и бумагу. Я не верил в возможность написания этой книги — вообще никакой книги — ведь был убежден, что внимателен лишь к рому, что вижу и слышу. Меня увлекло, скорее, мое собственное любопытство, а не то, что было объектом этого любопытства. Хотя я сам не отдавал в этом отчета, каждое событие и каждое слово откладывались у меня в памяти. Мне нечего было делать, только смотреть и слушать, а это не самое благовидное занятие. Итак, я оставался любопытным и нерешительным, но постепенно, так бывает у старых супружеских пар, поначалу безразличных друг к другу, так случилось между палестинцами и мной, моя любовь и их нежность привели меня в Аджлун.

Благодаря политике сверхдержав и отношению с ними Организации Освобождения Палестины палестинская революция приобрела нечто вроде трансцендентальной защиты, которой мы пользовались; дрожь, зародившаяся, возможно, в Москве, возможно, Женеве, Тель-Авиве волнами через Амман доходила до Джераша и Аджлуна.

Шедшие параллельными путями и, как я по-

верил на какое-то мгновение, наслаиваясь одно на другое, тысячелетия, прожитые арабами и палестинцами бок о бок, делали свое дело.

Палестинский патриотизм в Аджлуне походил на «Свободу на баррикадах» Делакруа. Если посмотреть на нее издалека, учитывая некое смещение, в ней можно увидеть богиню. Аравийский полуостров полностью находился под османским владычеством, по мнению некоторых, мягким, по мнению многих, достаточно суровым. Если в общих чертах: англичане, приведя в качестве аргументов ящики с золотом, посулили арабам независимость и создание арабского королевства, если народ — арабоязычный — восстанет против османов и немцев в 1916, 17, 18. Но уже тогда соперничающие влиятельные семейства: палестинские, ливанские, сирийские, хиджазские искали поддержки то турок, то англичан, причем, не для того, чтобы добиться большей свободы для новой, арабской, нации, которая лишь зарождалась, но еще не появилась на свет, а чтобы сохранить власть и остаться одним из этих влиятельных семейств, чьи фамилии говорят

сами за себя: Хусейни, Джузи[39], N'Seybi[40], Нашашиби… Другие ждали победы эмира Фейсала или работали против него.

Ни одно знатное палестинское семейство не высказалось твердо и определенно, вероятно, у каждого из них были свои представители и в том, и в другом лагере: и у османов, и у французов с англичанами.

Затем те, кто неосмотрительно выбрали сторону англичан, то есть, лагерь эмира Фейсала, были вынуждены выступить против них, когда узнали, что евреи получили свое государство.

Кроме богатых сирийских и ливанских семейств — например, Сурсоки — и невероятного потомства Абд аль-Кадира, все, кто по праву наследования являлись «Большими Палестинскими семьями», пожелали сражаться за Палестину в первых рядах одновременно и против англичан, и против Израиля.

---

[39] Примечания: 39

По-видимому речь идет о иерусалимской семье аль-Джаузи. (*Прим. ред.*)

[40] Примечания: 40

Нусейбе — одна из двух мусульманских семей-хранителей ключей от Храма Гроба Господня. (*Прим. ред.*)

Семейство Хусейни[41] — сыновья, внуки, племянники, внучатые племянники главного муфтия из Иерусалима — насчитывает много мучеников, погибших за свободу Палестины. (Когда я употребляю некоторые слова, такие как «мученик», то вовсе не пытаюсь примерить благородный ореол, которым гордятся палестинцы. Сохраняя некую шутливую дистанцию, я использую то или иное слово в его словарном значении. Вот и все. К этому выбору я еще вернусь).

Госпожа Шахид (это имя означает «мученик»), урожденная Хусейни, племянница главного муфтия Иерусалима, рассказала мне, не без гордости, как мне показалось, о выборе константинопольского хедива.

«В этой христианской свалке вокруг Гроба Господня царил такой хаос (кто отслужит больше месс в церкви, кто будет ее дольше занимать: католики, русские или греческие православные, мароните с тонзурой или без, по какой литургии? Французские, итальянские, немецкие, испанские, коптские епископы, русские и греческие попы

[41] Примечания: 41

Семья Хусейни, представители которой еще весьма многочисленны, имеет весьма дальнее родство с Хусейном, нынешним королем Иордании, разве что те из них, что ведут свое происхождение от Пророка, потому что оба семейства — из Хиджаза и из Палестины — это роды Шарифа, то есть, потомки Пророка.

— все хотели совершать богослужение на своем языке), что хедивы решили отдать ключи от Гроба Господня и от церкви Вознесения двум-трем мусульманским семьям, чтобы те хранили их в своих домах в Иерусалиме. Помню шум кареты по мостовой, когда мой отец вернулся с ключами от могилы Христа, и радость матери, что отец цел и невредим».

«Влиятельные семейства» продолжали играть важную роль в борьбе. Далеко не все их представители были преданы этой борьбе, некоторые ей пользовались, то отдаляясь, то приближаясь, в зависимости от собственных интересов. В семействе Хусейни много героев, в семье Нашашиби — их соперниках при османах — тоже.

Представители влиятельных семейств не щадили друг друга, они считали своим исключительным правом рассказывать то, что могло навредить их соперникам, неважно, правда эта была или ложь. Чего я не могу понять, так это оскорблений у фидаинов. Может, это из-за моего плохого знания языка? Однако я слышал много оскорблений в адрес военачальников. Фидаины не скрывали, что относятся к ним безо всякого уважения. О своих начальниках они говорили мне с презрением, о равных себе — никогда. И эта

деталь мне кажется очень красноречивой, она перевешивала все остальные.

А еще фидаины не принимали в расчет соблазнительные архитектурные завитки, которыми эти влиятельные семейства, поколение за поколением, дополняли орнамент мусульманской эпопеи. Никто не смог бы мне поведать то, о чем рассказала госпожа Шахид:

«Войдя в Иерусалим, султан (далее следует какое-то имя) решил до официальной церемонии прочитать молитву. Но там еще не было места для проведения исламского богослужения. Население предложило султану прочитать молитву в христианской церкви. Тот отказался: «Если я так сделаю, кто-нибудь из правителей, пришедших после меня, увидит в моем поступке повод завладеть этой церковью, коль скоро она послужила местом молитвы Аллаху». Он помолился в другом месте. Там, где впоследствии по велению Ислама воздвигли мечеть, так называемую Мечеть Купола Скалы».

Арабский рассказ в точности совпадает с легендой о Святом Людовике, который вершил правосудие под дубом.

Своими сказаниями палестинка госпожа Шахид добавляла к легенде немного толерантного

ислама, как на английских кладбищах заботятся о могилах, она заботилась о репутации некоего султана, который жил полторы тысячи лет назад и был, возможно, ее предком, прямым или в результате брака. Фидаины не придавали значения подобным сказкам.

Власть арабского народа была обещанием, данным Лоуренсом Фейсалу, но Англия не сдержала этого обещания. По мандату, утвержденному Лигой Наций, Франция получила Ливан и Сирию, Англия Палестину, Ирак Трансиорданию. Соперничество влиятельных семейств превратилось в патриотизм. Став военачальниками, их старейшины стали именоваться Англией и Францией главарями банд, а к 1933 году — пособниками Гитлера на Ближнем востоке. Зарождалось палестинское сопротивление.

Когда я однажды разговорился с консьержем гостиницы, он сообщил, что ждет ответа из Канады, где надеялся получить место в фешенебельном отеле, «ведь здесь нет никакого будущего». В этот самый момент мимо нас проковылял старый слуга, сгорбленный, унылый, и быстро исчез в буфетной.

— Вот это мое будущее, если я останусь. Шестьдесят лет службы, — презрительно произнес он.

— И никакого недовольства.

Он злобно ударил ладонью по стойке красного дерева:

— Вот именно, месье, шестьдесят лет и никакого недовольства. Поэтому я готов уехать куда угодно.

Политическое руководство, военные из АОП и ООП, политики всех наций, настроенные на встречу с Арафатом, более или менее дружественные или, по крайней мере, признанные Сопротивлением журналисты, несколько благожелательно настроенных немецких писателей были клиентами Странд-отеля в Бейруте. В гостиных отеля можно было выпить стакан-другой виски с телохранителями Кадуми. Вошла Самия Сольх, ее встретил сам директор отеля. Прежде чем сесть в кресло, невеста марокканского принца Абдаллы уронила с плеч белое норковое манто, подбитое белым шелком, красивыми складками оно упало прямо к ее ногам. Упало и на какое-то мгновение превратилось в меховой пьедестал, который она перешагнула. Жених поднял манто и на вытянутых руках отнес в гардеробную.

Мне было восемнадцать, когда здесь, в Бейруте,

на Площадь пушек[42] Плас де Канон мне показали четверых повешенных (сказали: «воры», но сегодня я думаю, что это были мятежные друзы), их еще не сняли с виселиц; мой взгляд, стремительный, как у клиентов Странд-отеля, стал искать и нашел ширинку повешенных; в Странде все взгляды сразу устремились на знаменитые ягодицы, затем поднялись вверх: у этой Самии, столь же красивой, сколь и глупой, рот и язык были бойкими и проворными.

— Мы сразу понравились друг другу. Неделю назад я была в Триполи с Муаммаром.

Взволнованные — они и не подозревали, что десять лет спустя ООП будет запрещена в Ливии, а ее отделения в Триполи закроются — палестинские офицеры слушали так серьезно, что ее слова казались не шепотом в тиши собора, как хотелось бы некоторым, а торжественным выступлением в амфитеатре Коллеж де Франс. Выступлением, прерываемым раскатами смеха: и каждый, пытаясь понять, откуда исходит этот смех, видел шею с тройным «ожерельем Венеры». Обладательнице этого смеха он, вероятно, казался жемчужным, но на самом деле был густым и вязким, особенно,

[42] Примечания: 42

Площадь пушек или Площадь мучеников — центральная площадь Бейрута. (*Прим. ред.*)

когда голос произносил имя Каддафи.

Никто не мог вести с нею диалог. Разве что радио, равнодушно комментирующее вновь начавшуюся бойню на берегах Иордана и бегство фидаинов, которых один за другим отлавливали израильские солдаты.

Ягодицы, грудь, шея, рот были безупречны. Когда есть такая красота, к чему все эти косметические средства, массажи, антицеллюлитные обертывания, молочко одуванчиков, пчелиное маточное молочко, лучшие гели, изобретения бесстыдных химиков, тогда я задавался вопросом, почему фидаины были так взволнованы и напряжены, теперь-то я понимаю, почему. Их предупредительность и услужливость в тот вечер на многое открыли мне глаза. Они оказывали почтение не этой чертовке с ее ходящей ходуном задницей, а Истории, ворвавшейся вместе с нею в отель. В Странд-отеле тогда встречались Камаль Адуан, Камаль Насер, Абу Юсеф Неджар, о смерти которого от рук израильтян я еще расскажу, и возможно, эти смерти были ответом на теракт во время мюнхенской Олимпиады 1971[43]?

---

[43] Примечания: 43

Так у автора. На самом деле, Мюнхенская Олимпида, во время которой членами палестинской организации «Черный сентябрь» был совершен теракт, проходила в 1972. (*Прим. перев.*)

«Верден[44] это хорошо отрегулированное устройство. (Я не сказал — смешение крестов и полумесяцев, что в целом составляет огромное кладбище). Там произошла бойня, и автором ее был никто иной, как Бог; сенегальцы, мальгаши, граждане Новой Каледонии, тунисцы, марокканцы, маврикийцы, корсиканцы, пикардийцы, тонкинцы, реюньонцы противостояли в смертельной схватке прусским, вестфальским, болгарским, турецким, сербским, хорватским, тоголезским уланам; пожраны грязью тысячи крестьян, прибывших умирать туда со всех концов света[45]. Принимать смерть, равно как и раздавать ее. Их было так много, что поэтам, а такой вопрос ставился лишь поэтами, это место представлялось гигантским магнитом, притягивающим людей, солдат всех стран, национальностей, областей, принуждающим их приезжать сюда умирать, и этот магнит указывал на другую Полярную звезду, чьим символом была другая женщина, другая дева.

---

[44] Примечания: 44

Небольшой французский городок, о географическом расположении которого я не имею понятия.

[45] Примечания: 45

Битва при Вердене — одно из кровопролитнейших сражений Первой мировой войны. (*Прим. ред.*)

«Наши палестинские могилы упали из самолета на весь мир, и людей, умерших неизвестно где, не приняло ни одно кладбище. Наши мертвецы пришли из арабского мира, чтобы создать идеальный континент. Если бы Палестина не спустилась на землю из Небесной империи, мы были бы не так реальны?» — поет по-арабски фидаин.

«Оскорбление, резкое, как удар хлыста, было неминуемо. Мы, небесная нация, вот-вот исчезнем, мы нисходим на землю, а наш политический вес — как у княжества Монако», — отвечает по-арабски другой фидаин.

«Нам, мужланам, сынам мужланов, заселять небесные кладбища, быть изменчивыми и непостоянными, создавать бесплотную империю, где один полюс — Бангкок, а другой — Лиссабон, где столица здесь, здесь или там, где сад искусственных цветов из Бахрейна или Кувейта, нам наводить ужас на вселенную, аэропорты возводят в нашу честь триумфальные арки, звенящие при нашем проходе, как двери бакалейных лавок, нам делать то, о чем лишь мечтает курящий травку. Но какая династия «не установила свое тысячелетнее царство на лжи?»», — отзывается третий фидаин.

И везде этот Обон, несуществующий японский

мертвец, и игра в карты без карт.

После полудня под деревьями.

— Заворачиваемся в одеяла. Спим. Мир, в котором мы завтра проснемся, будет копией израильского мира. Это ведь мы создали палестинского бога — не арабского — палестинского Адама, палестинскую Еву, Авеля, Каина…

— А где в этой фразе ты сам?

— Копия.

— С Богом, Книгой, разрушением Храма и всем остальным?

— Нью-Израиль, но в Румынии. Мы захватим Румынию или Небраску и станем там говорить по-палестински.

— Когда ты был рабом, как приятно стать подонком. Был палестинцем, а стал тигром.

— Мы, рабы, проснемся жестокими хозяевами?

— Скоро. Через две тысячи лет. «Если я забуду тебя, Иерусалим…»[46].

Два фидаина переругивались через весь лагерь. Они без конца улыбались друг другу, приглаживали усы большим или указательным пальцем или языком, смеялись во весь рот, предлагали

---

[46] Примечания: 46

Здесь отсылка к псалму, известному по названию «На реках вавилонских», который начинается со слов «Если я забуду тебя, Иерусалим». (*Прим. ред.*)

огня. Предложить огня, протянуть зажженную зажигалку, заслонить ладонью огонь от ветра, приблизить ее к самому кончику чужой сигареты, если по оплошности погаснет пламя, вновь чиркнуть кремнем зажигалки, вся эта сумятица жестов гораздо дороже, чем просто предложенная сигарета, когда эмиры рассыпают миллионы пачек. Эти простые и сложные жесты означают почтительность и истинную дружбу, явленную через улыбку, предложенную расческу, простой взгляд в крошечное зеркальце. Но зелени было так много, и была она такой дерзкой, что я стал даже сожалеть о запахе мясного бульона Вьяндокс.

Я перечитываю свой текст, и вижу, что часто упоминаю деревья. Просто они далеко. Это было пятнадцать лет назад, а сейчас, возможно, их уже спилили. Даже зимой листья желтели, но не опадали. Бывает ли где-нибудь еще такое чудо? И вообще, чудо ли это? Вспоминая деревья, знайте, что там бродило счастье, и этим счастьем был мир на грани войны, вооруженный мир. Вооруженный — потому что было оружие, снаряд в стволе пушки, но все-таки мир, безмятежней которого я не помню. Нас окружала война: Израиль был настороже, тоже вооруженный, угрожала иорданская армия, каждый фидаин делал в

точности то, что ему было предназначено, ради свободы упразднены любые желания: ружья, автоматы, катюши, все это пристрелянное оружие под золотыми кронами деревьев, это мир. И опять про деревья: я забыл сказать про их непрочность. Множество деревьев, целый лес деревьев с желтыми листьями, прикрепленными к веткам тонкими и живыми черешками, но все-таки лес Аджлуна был таким непрочным и хрупким, что казался порой не лесом, а строительными лесами, неким остовом, который исчезнет, когда отделка дома будет завершена. Бесплотный и нематериальный, он был, скорее, эскизом леса, сочиненным экспромтом, с неважно какими листьями, но по нему проходили прекрасные солдаты и несли с собой мир. Все они погибли или попали в плен и были замучены.

Группа Ферраджа из двух десятков фидаинов располагалась лагерем в лесу, довольно далеко от асфальтированной дороги из Джараша в Аджлун. Когда мы с Абу Омаром нашли их, они сидели на короткой траве. Полковник Абу Хани командовал всем сектором, то есть, территорией около шестидесяти километров в длину и сорока в глубину, которую с двух сторон ограничивал Иордан, а с третьей сирийская граница; первое, о

чем полковник сообщал редким гостям, было его звание. Помню, он носил погоны, тросточку под мышкой, звезды на плечах, у него было слишком красное лицо, скорее, злобное, чем властное, но при этом довольно глуповатое. Выражением лица — но не ростом — он напоминал французского короля Карла IX. Ферраджу было двадцать три года. Довольно быстро наш разговор принял оборот, который его устраивал.

— Ты марксист?

Захваченный врасплох и не придав особого значения ни его вопросу, ни своему ответу, я сказал:

— Да.

— Почему?

С моей стороны то же равнодушие. Выражение лица Феррадж казалось по-юношески невинным, никакой хитрости или подвоха, он улыбался и словно раскрылся навстречу моему ответу; я чуть помедлил и несколько опрометчиво произнес:

— Наверное, потому что я не верю в Бога.

Абу Омар перевел тут же и очень точно. Полковник подпрыгнул, до сих пор он, как и все мы, сидел на мху или рыжей траве, а тут прямо подскочил и заорал:

— Хватит! — он обращался ко мне и к фидаинам. — Здесь вы можете говорить обо всем.

Абсолютно обо всем. Но не ставьте под сомнение существование Бога. Богохульство не позволительно. Запад нам здесь не пример.

По-прежнему хладнокровный Абу Омар, искренне верующий христианин, перевел это высказывание, спокойно, но несколько напряженно. Не поднимая глаз на полковника, Ферраджа, пристально смотревший на меня, не повышая голоса, ответил, как мне показалось, слегка иронично и мягко, как разговаривают с безобидными сумасшедшими.

— Ты можешь не слушать, очень даже просто. Твой командный пункт в двух километрах. Если медленно идти, дойдешь за четверть часа. И ничего не услышишь. А мы будем присматривать за французом до пяти утра. Будем его слушать, отвечать ему. Мы будем свободно спрашивать, а он свободно отвечать.

Мне подарили эту ночь или, как посмотреть, отняли пропуск.

Абу Хани ушел, предупредив напоследок, что ему нужно будет предоставить отчет обо всем, что я скажу этой ночью.

— Я отвечаю за дисциплину в лагере.

На следующее утро он вернулся на базу Ферраджа. Пожал мне руку. Как он утверждал, ему

было известно, что я этой ночью говорил.

Той ночью под навесом, растянутым под деревьями, мы долго не ложились спать. Каждый фидаин задал мне несколько вопросов, одновременно готовя кофе или чай или свои аргументы.

— Это вы должны со мной говорить. Сказать, например, что такое для вас революция, и что, по-вашему, нужно, чтобы она победила.

Вероятно, ими завладела предутренняя истома, или это было влияние погоды, которая становилась все более хмурой и одурманивала, приводила в беспорядок часовые механизмы памяти, зато давала полную свободу словам. Так в городах, когда вот-вот закроется бар, внезапно особенно четко становится слышен шум игрального автомата, появляется нечто, делающее нас особенно внимательными и проницательными, и хочется продолжить разговор снаружи, потому что бармены уже клюют носом. За полотняной перегородкой слышались крики шакалов. Это место, возможно, из-за нашей усталости, сделалось вневременным и внепространственным, фидаины, наслаждаясь собственным красноречием, все говорили и говорили, а Абу Омар переводил:

— Посколько ФАТХ — это начало революции, а не только войны за освобождение, нам придет-

ся прибегнуть к насилию, чтобы избавиться от привилегированных, прежде всего, от Хусейна, от бедуинов и черкесов.

— А как вы это сделаете?

— Нефть принадлежит народам, а не эмирам.

Я очень хорошо запомнил эту фразу, потому что, скорее, простодушный, чем порочный, то ли всерьез, то ли нет, полагал, что это нужно самому бедному народу: беднея все больше, позволять себе роскошь содержать жирных эмиров, они видят не жир, а свежесть зеленого сада; некоторые бедные экономят и даже разоряются ради Рождества, а другие, еще более бедные, радуются, что над ними вырастет жирное растени. Есть народы, которых ночью пожирают клопы, а днем мошки, и они готовы это терпеть, лишь бы жирели стада набожных монархов. Но поскольку мои размышления той ночью были несвоевременными и неуместными, вслух я ничего не произнес. Из наших ртов и ноздрей вырывался дым аравийского табака.

— Нам нужно избавиться от Хусейна, от Америки, англичан, Израиля и от ислама.

— А почему от ислама?

С самого начала, как только мы прибыли сюда, я обратил внимание на его длинную черную бо-

роду, жгучий взгляд, блестящие черные волосы, темную кожу, а еще на то, что этот человек все время молчал. Но сейчас вопрос задал именно он: «Почему от ислама?». Голосом мягким, твердым и таким отчетливым, что казался почти прозрачным:

— Зачем избавляться от ислама? Как? Избавиться от Бога?

Он обращался именно ко мне:

— Ты здесь не просто в арабской стране, не просто в Иордании, на берегу Иордана, ты с фидаинами, значит, ты наш друг. Когда ты пришел — он улыбнулся — ты приехал из Франции, я из Сирии, — когда ты только пришел, ты нам сказал, что не веришь в Бога, но, по-моему, если бы не верил, тебя бы здесь не было.

Он улыбался.

— Я хочу быть хорошим мусульманином. Если ты согласен, мы будем разговаривать вдвоем, при всех. Ты согласен?

— Да.

— Тогда встань и пройди половину пути, а я пройду вторую половину. Мы встретимся и обнимемся. Пусть пребудет с нами дружба по время разговора и после, но главное, перед началом разговора. Год назад меня послали в Китай на три

месяца. Вот что мне запомнилось из учения Мао: перед началом разговора нужно доказательство дружбы: два поцелуя в щеки.

Он говорил свободно. Немного смущенный оттого, что завладел разговором, он, тем не менее, не сомневался в своих словах, ведь речь шла о Божественном. Когда мы поднялись, чтобы обняться посреди палатки и вернулись на свои места, наступила полная тишина. Разговор возобновился так: «Все равно нужно будет добывать нефть».

Возможно. Углеводородом займутся эксперты. Но этим утром фидаинам казалось, что вся аравийская нефть помещалась в единственном бездонном колодце, колодце Данаид, подобном полному золотых монет ящику англичан, который никогда не пустел, несмотря на полные карманы, сумки, коробки, мешки, притороченные к седлам лошадей. Сириец Абу Жамаль сказал:

— Если бы Бога не было, то и тебя бы здесь тоже не было. Мир создал бы себя сам, и мир был бы Богом. Мир был бы добрым. Но он не Бог. Мир несовершенен, потому что он не Бог.

Абу Амар перевел на французский. Я был опьянен усталостью, поэтому ответил довольно

опрометчиво:

— Если Бог создал этот мир, Он создал его плохим, а это сводится к тому же самому. Бог причина несовершенства мира.

— Мы здесь, чтобы принести лекарство. Мы вольны выбирать себе лекарство, мы вольны выбирать себе невзгоды.

Я уже ясно видел, что земля плоская, а Лотарингия называется еще Лотринген и принадлежит она Лотарю. Призовите мне в помощь Фому Аквинского. Мы с Абу Жамалем продолжали поединок, совершенно не беспокоясь, ни тот, ни другой, что он неизбежно ведет к святотатству, но главным для меня были не аргументы обеих сторон, а эта доброжелательность и решительность, не сама дискуссия, которая уводила нас, как мне казалось, к анемичной схоластике, а именно доброжелательность, при том, что наши мнения расходились. Мы, и в самом деле, были вольны говорить все, что угодно. Мы не были опьянены, мы просто утратили ощущение реальности, а в паре километрах отсюда одинокий Абу Хани, вероятно, видел уже десятый сон.

Я почти грубо перебил Ферраджа, обратившись к Абу Жамалю.

— Ты захотел, почти потребовал, чтобы мы

начали спор и чтобы тебя поддерживал Бог, ты выбиваешь почву у меня из-под ног, потому что у меня нет столь же грандиозного и величественного защитника. Тем более что его величие дает тебе возможность усиливать свои аргументы соразмерно его величию. Ты захотел, почти потребовал, чтобы мы начали спор под знаком дружбы, это значит, ты, мусульманин, больше веришь в дружбу, чем в Бога. Ведь вот мы здесь, все вооружены, я неверующий среди верующих, и все же ваш друг.

— Кто, если не Бог, дарит дружбу? Тебе, мне, всем нам этим утром. Разве ты был бы другом, если бы Бог не вложил тебе в сердце дружбу к нам, а нам — дружбу к тебе?

— Но почему Он не дарит ее Израилю?

— Он это сделает, когда пожелает. Думаю, Он это пожелает.

Мы по очереди заговорили о том, как орошать пустыню.

— Значит, нужно будет избавиться от эмиров, ведь они владеют пустыней. И изучить науку орошения. Досадно, наши эмиры потомки Пророка, — сказал Феррадж.

— Надо им объяснить, что они, как и все мы, сыновья Адама.

Это сказал Абу Жамаль. Потом обратился ко мне:

— Если бы какой-нибудь иорданский солдат, то есть, мусульманин, стал тебе угрожать, я бы его убил.

— Если бы он угрожал тебе, я бы сделал то же самое.

— Если бы он убил тебя, я бы отомстил за тебя, убив его, — рассмеялся он.

— Трудно, наверно, оставаться мусульманином. Я тебя уважаю, потому что в тебе есть вера.

— Спасибо.

— Но уважай меня за то, что я умею обходиться без нее.

Решиться на ответ было опасно. Он задумался, затем все же сказал «нет».

— Я молю Бога, чтобы Он *вернул* тебе веру.

Мы все в палатке рассмеялись, даже Абу Омар, даже Абу Жамаль. Было почти четыре часа утра.

Это ночное бдение было просто волшебным, молодые люди пили чай или апельсиновый сок, слушали и наставляли старого француза, неожиданно оказавшегося здесь под покровом зимы, той самой зимы, что началась Черным Сентябрем, среди веселых, насмешливых, совершенно не циничных террористов, увлеченных игрой

слов, одновременно бесстыдных и сдержанных, как семнадцатилетние семинаристы, от их имен дрожали газетные страницы, словно листья на деревьях. На земле и на небе об их подвигах говорили с ужасом и отвращением, отвращение было на лицах и в словах, впрочем, его легко можно сымитировать. То, что в их адрес высказывали какие-то банальности на тему морали и нравственности, их совершенно не беспокоило. Этой ночью, с вечера до зари…

После моего приезда в Аджлун время претерпело любопытную трансформацию. Каждый момент стал «*драгоценным*», то есть, таким блистательным, что нужно было подбирать каждый его осколок, после времени сбора урожая пришел сбор урожая времени.

Мне, однако, удалось их поразить, когда я проглотил восемь капсул нембутала. В этом укрытии, оборудованном глубоко под землей, к тому же, под навесом, мой сон был мирным и безмятежным. Чернокожие американцы из Черных Пантер были мне очень симпатичны, но забавной была сама ситуация: появиться в США после того, как в Париже американский консул отказал мне во въездной визе; еще забавнее было находиться здесь, спокойно спать, соприкоснувшись с

этим диким эгалитаризмом, воспринятым тоже довольно дико: событие не показалось мне каким-то особо важным, забавным, скорбным или героическим, эти нежные террористы вполне могли бы расположиться на ночлег прямо на Марсовом поле, а мы издалека разглядывали бы их в полевые бинокли, издалека — потому что боялись бы промокнуть, они писали высоко и очень далеко. Пятнадцать-двадцать террористов, вытянув шеи, пристально смотрели на флакон, восхищенные количеством капсул нембутала (восемь) и моим безмятежным лицом, они следили, как двигается мой кадык, когда я глотал яд. В их глазах я прочел столько изумления, а то и восхищения, что, кажется, догадался, о чем они думают:

— Не боится проглотить такую дозу… наверное, смелый француз. Этой ночью мы дарим приют герою.

В разговорах и в дружеских спорах прошло несколько часов, эти долгие ночи идиотской усталости и взаимного привыкания: болтовня ни о чем, которую сейчас я пытаюсь воссоздать на этих страницах.

В каждой мечети, пусть самой крошечной, был свой источник для ритуальных омовений:

слабенькая струйка воды, что-то вроде болотца или водоем с оградой. Когда нужно было побрить лобок, готовясь к молитве, набожный фидаин шестнадцати-девятнадцати лет из покрытых листвой веток и пластмассового зеленого ведра сооружал в лесу эдакий Ганг в миниатюре, крошечный индивидуальный Бенарес у подножья фигового дерева, бука или пробкового дуба, он окроплял себя водой и очищался ею. Так точно была воссоздана Индия, что я, проходя мимо этого места, из губ мусульманина, стоящего здесь со сложенными для молитвы руками, услышал шепот «*Ом мани падме хум*». В магометанском лесу стояли будды.

Вот только:

Куда бы ни текла (или где бы ни застаивалась) вода, все равно это был источник, и с наступлением ночи на каждом шагу ислам спотыкался о язычество. Именно здесь, где христианские верования воспринимаются как богохульство, разъедающее душу, словно человеческий организм — солитер (он же: запрещенная карточная игра, то есть, грех), язычество приносит немного тьмы в полдень, немного солнца во мрак, немного мха, влагу, что просачивается через капилляры Иордана, вызывая сильную аллергию у феи, кото-

рая по ночам кашляет и не может уснуть, сжимая в руке волшебную палочку. Влажный мох, на котором остается след человеческой ступни.

Поскольку фидаины никогда ничего не имели и никогда не знали роскоши, от которой хотели избавить мир, им оставалось только воображать ее, роскошь. Эти «периоды энергосбережения», о которых я говорил выше: эти мечтания, от которых необходимо освободиться, коль скоро нет ни сил, ни подходящего случая воплотить их в жизнь. И тогда изобретают игру под названием революция, так называется восстание, которое длится некоторое время и принимает определенную структуру, когда из поэтического отрицания оно становится политическим утверждением.

Чтобы эта умственная деятельность приносила пользу, необходимо, чтобы она просто была, как подкладка в одежде европейского костюма, но, похоже, без нее уже начинают обходиться. Богатство и власть (только интеллектуальные) позволяли — вот химера! — разрабатывать оружие, которое поможет нам уничтожить реальное богатство и реальную власть. Если не считать мягкой потрепанной диванной подушки в одном старом турецком доме, в Иордании больше всего не хватало красного бархата. Оказалось, фидаины

обязаны были изобрести власть из красного бархата — почему именно эта ткань и именно этот цвет? Есть ли связь между ними и властью? Вроде бы да. Блеск и роскошь этого почти абсолютного царствования, царствования Короля-Солнца, требуют красного бархата, коронование первого французского императора было красным и бархатным, второго тоже. Другие ткани казались не такими удушающими, а их цвета оставались приятными глазу. Но красный бархат! Тесаный, довольно мягкий камень, из которого сложены виллы Аммана, особенно Джабаль Аммана, своей массой не так подавляли военных, как женщин и стариков, живущих в палаточных лагерях. По приезде в Амман я веду жизнь погребенного заживо.

«Мрачно и патетично. Впрочем, чтобы появилась поэзия, и нужна эта мрачность: тут все от бедности» (аль-Катрани про сад Тюильри, в Париже, ночью).

Читать Маркса? Несколько фидаинов попросили, чтобы из Дамаска я привез работы Маркса, в первую очередь, «Капитал». Они не знали, что Маркс писал его, подложив под задницу розовые шелковые подушки, а писал он его как раз ради борьбы с этим томным розовым или сире-

невым шелком, изящными столиками, вазами, люстрами, люстрином, молчаливыми слугами, дородными комодами эпохи Регенства. Здесь, в Иордании, у нас были колонны, чаще всего горизонтальные, упавшие, поднятые, вновь упавшие римские колонны, полная противоположность роскоши, ведь они — история.

Вот по возрастающей те, кто стали врагами палестинцев: бедуины, черкесы, король Хусейн, арабские феодалы, ислам, Израиль, Европа, Америка, Международный Банк. Победа достается Иордании, значит, всем остальным, от бедуинов до Международного Банка.

Однажды декабрьской ночью 1970 в пещере состоялось собрание под председательством Махджуба. Махджуб фидаинам:

— Вы должны соблюдать прекращение военных действий. Это мое официальное заявление. Это так. Вы солдаты, проявите сообразительность. Ваши сестры и кузины вышли замуж за иорданцев. Постарайтесь определить, куда нацелен автомат вашего новоиспеченного зятя. Ничего лучше я придумать не смог. Будьте хитрее меня. Правительство Хусейна больше не позволит вести операции с баз против Израиля и

оккупированных территорий[47].

Советы Махджуба были восприняты плохо. Каждый фидаин приводил одну и ту же причину: «Чего стоит безоружный солдат?» и даже: «Что такое безоружный солдат?» Какая разница между голым мужчиной и безоружным мужчиной? Чтобы заставить их просто выслушать — не убедить! — понадобилось три часа в этой пещере, освященной карманными фонариками и зажигалками. Когда мы выбрались из этого логовища, меня одного поразила чистота этой ночи, а фидаины перед красотой неба и обетованной земли еще сильнее почувствовали тяжесть нанесенной им раны.

Оружие нужно было сдать на следующий день. Уже были приготовлены тайники. Если бы через какое-то время сражения возобновились, эти ружья разобранные, тщательно смазанные, оказались бы бесполезны.

Согласно протоколу, фидаинам в Иордании позволялось бдеть в пределах четырехугольника, ограниченного Иорданом, дорогой Салт-Ирбид,

---

[47] Примечания: 47

ООП договорилась с Хусейном о том, чтобы палестинская милиция осталась, но оружия не показывала. Мы собрались в пещере именно для того, чтобы Махджуб смог это объяснить упрямым феддаинам, ведь для них оружие, которым не потрясают, перестает быть оружием.

сирийской границей и дорогой в Салт-Иордан. Почти в самом центре — Аджлун.

Это происходило внутри нас: словно нас начинал беспокоить какой-то орган, потому что побеспокоили его, или вдруг внезапно мы стали лучше видеть мир, а может, нам так только казалось. Какое-нибудь место, чаще всего пустое, где нет ни человека, ни животного, хотя бы гусеницы, только мох, галька, трава, полегшие злаки, и вдруг все это, все предметы словно намагничиваются один от другого, и все начинает дрожать и трепетать, не двигаясь с места. Оно становилось — или всегда было — эротичным. Такими были луга Аджлуна. Они ждали только сигнала, но от кого?

От одного куста к другому, где под навесами расположился отряд, бродили молчаливые фидаины, одни вооруженные, другие без оружия, настороженные, внимательные, чего-то ожидающие. Переносили ящики с гранатами, чистили ружья.

Униженность от поражения… ведь когда-то они покрыли себя славой, доставив много хлопот Хусейну и бедуинам, развернули в пустыню самолеты израильской авиакомпании «Эль Аль» и швейцарских авиалиний, пережили гибель

стольких товарищей от рук израильтян при последней засаде за Иорданом, прислушивались к тревожной тишине иорданских деревень, думали о женщинах и детях, оставшихся в лагерях и не могли пережить стыд, когда видели — и не могли стрелять по колесам — как белый хромированный кадиллак с зажженными при ярком солнце фарами с откинутым капотом проезжает по их территории, а за рулем шофер-бедуин с головой, обмотанной красно-белой куфией, кричит во все горло, разгоняя солдат, которые сторонятся, пропуская автомобиль.

«Я шофер эмира Джабер, мне нужно узнать о племяннике секретарши Его Светлости», — конец арабской фразы тонет в скрежете колес, когда машину заносит на повороте.

Поскольку служба безопасности начала обустраиваться здесь с середины ночи, стараясь сделать это как можно незаметнее, мы узнали о приезде советского посла в Каир, о его посещении Арафата в некоем секретном месте в горах Аджлуна. Он прибыл на вертолете. Этот импровизированный визит нас немного удивил: палестинская проблема перестала быть региональной. Власти стали интересоваться этой пока еще малозначительной, недавно появившейся

ООП.

Нам следовало бы воспользоваться этим визитом и попытаться взглянуть на события с высоты, хотя внезапно сделаться самолетом с вертикальным взлетом будет непросто. Каждый фидаин считал себя свободным на этой территории, по которой шел пешком или перемещался на машине, не отрываясь от поверхности. Мы занимали ее, эту поверхность, и когда перемещались по ней, нам были знакомы все особенности рельефа. У каждого фидаина имелся свой обзор, свой взгляд, своя подошва, которыми он исследовал этот рельеф. Он смотрел перед собой и знал, куда идет, поворачивая обратно, он знал, откуда идет. Ни радио, ни газеты не соединяли его с другим сегментом революции, разве что командировочное удостоверение, и то изредка. Когда я сообщил фидаинам, что собираюсь присутствовать на собрании в Кувейте, они все, включая уполномоченных, пришли в смятенье.

— Что ты будешь делать в Кувейте? Оставайся с нами. И вообще, кто ездит в Кувейт? Одни европейцы. Там все говорит по-английски, а ты по-английски не говоришь.

— У меня в паспорте есть кувейтская виза, мне забронирована комната, вот приглашение.

— Какой ты упрямый. Мы отвезем тебя на машине в Даръа. Тебя проводят два фидаина.

— Почему два?

— Мы всегда по двое, на всякий случай. Границу в Даръа[48] вы перейдете, как получится. А там двое других проводят тебя в Дамаск. Сядешь на самолет до Кувейта. После конференции, когда нужно будет возвращаться, в аэропорту Дамаска тебя будет ждать самолет, полетишь на нем до Даръа. В Даръа тебя тоже уже будут ждать, и два фидаина привезут тебя сюда обратно.

Было решено, что из Аджлуна я выезжать не буду.

Но дипломатия ООП была довольно активна, хотя ей всячески препятствовал Хусейн, следовавший советам американского посольства, а перемещения дипломатов между Амманом, Тель-Авивом и Вашингтоном были извесны если не в подробностях, то, по крайней мере, по слухам. В этом периметре, о котором я говорил, мы считали себя свободными, хотя из одной точки в другую перемещались, из соображений безопасности, буквально на уровне земли, мы подчинялись приказам полковников, высокое

---

[48] Примечания: 48
Даръа — город в Сирии. (*Прим. ред.*)

положение которых было обусловлено высотой, на которой висели штабные карты: их уже не клали на стол, а пришпиливали булавками на стену, довольно высоко, и чтобы показать крайний север — реку Иордан и первые города оккупированной территории — им нужна была указка. Опуская на изображении небесной сферы географические очертания и название Израиля, понимали ли палестинцы, что заодно стирают и Палестину? Закрашивая Израиль синим, они словно сбрасывали его в синее море, а если черным, то территория превращалась в *обитель сумерек, пристанище теней*, как говорили греки.

Арафат и вся ООП, унося с собой все свои договоренности и распри, набирали другую высоту и на самолетах перемещались от столицы к столице. Для них, вероятно, Палестина перестала быть территорией. Ее реальность исчислялась в дольных единицах: десятые части операции между Востоком и Западом. Однако каждый из нас смутно догадывался, что миру, который мы пробовали на ощупь, которым наслаждались, мы были обязаны ООП.

Мы ничего не знали о поездке Киссинджера в Пекин, как и о его возвращении на следующий день в Пакистан. Да и как могли бы мы

знать, стоя на краю этого обрывистого берега, что Китай сократил помощь ООП? Каким отсюда виделся Китай? Прежде всего, это было имя: Мао. Многих палестинцев, простых фидаинов и лидеров, приглашали в Пекин и в Москву. Я по-прежнему считаю, что они просто спутали Китай с мобилизованными толпами, пылкими манифестациями, и эти картины они привозили с собой, возвращаясь обратно, а еще рассказы о поистине райской повседневной жизни — раз сорок приглашенные принимались говорить мне о красоте стариков, которые по утрам в тишине, с улыбкой или без, делают упражнения шведской гимнастики на площади Тяньяньмэнь. Еще они рассказывали мне о длинных тонких бородках этих спортивных стариков, между тем как здесь бороды обрамляют лицо.

Может, я и не узнаю, как правильно писать: Палестинское Сопротивление или Палестинская Революция? И надо ли писать эти слова с заглавных букв? А в арабском языке нет заглавных букв.

В начале этой книги я попытался описать карточную игру в беседке. Как я говорил, все жесты были настоящими, но только без карт. Их не просто не было на этом столе, их вообще не было,

то есть, карточная игра не являлась карточной игрой. Карты ни присутствовали, ни отсутствовали, их просто не существовало, как для меня не существует Бога. Можно представить себе, что́ подобная деятельность, единственной целью которой является притворство — сделанное мне приглашение, организация процесса, сам спектакль, нервозность: как я восприму отсутствие карт — притворство ради притворства, что́ подобная деятельность может вызвать у того, кто предается ей ежедневно? Карты как кокаин, карты как ломка. Конец партии был ее началом: ничего в начале, ничего в конце. В сущности, у меня на глазах тасовали эти отсутствующие картинки — палицы, кони, два меча, три меча, пять, шесть мечей, семь мечей, кстати, Клодель знал эту игру с испанской колодой?

Изгоняя людей из Палестины, новые захватчики этой земли не знали, не усвоили из высшей теологии, что станет с изгнанным народом? Если он не исчезнет, то займет другое пространство другого народа.

— А может быть, ассимилируется?

Как тут не ответить:

— Как может ассимилироваться идущий народ? В какой стране такое произошло? В каких

краях? С помощью чего?

Я по-прежнему не знаю, что ощущали фидаины, но для меня их территория — Палестина — была не просто вне досягаемости, коль скоро они находились в поисках ее; этих территорий вообще никогда не существовало, как карт для игроков или атеистов для Бога. Оставались следы, но деформированные в памяти стариков, где, как правило, образ, изображение тех вещей, о которых вспоминаешь, гораздо меньше, чем сами эти вещи. Они уменьшаются по мере того, как человек стареет, или же наши воспоминания их освещают, и тогда, напротив, они видятся слишком большими. Очень редко в памяти, хранящей эти вещи, их размеры не меняются. Горы, овраги, их названия, все изменилось. Малейший росток вырывался, лес, ставший бумагой, книгой, газетой, уничтожался ежедневно. Вот и мишень, в которую прицеливались фидаины, превратилась для них в нечто невообразимое для них. Из-за этого театрального закона: репетиция перед представлением — их жестам недоставало эффективность. Игроки с призрачными картами в руках, какими бы прекрасными, какими бы уверенными в себе они не были, знали, что их жесты дадут вечную жизнь — может, здесь име-

ется в виду пожизненное заключение — партии в карты без начала и конца. У них, фидаинов, в руках была такая же пустота, что и под ногами.

«Наверняка некоторые офицеры тосковали по прочному боевому снаряжению, стальному щиту, приборам и инструментам, с которыми учат обращаться в высших военных школах Европы и Америки или СССР. Они остерегались слова «герилья», что означает маленькую войну, когда нужно брать в союзники туман, сырость, почву, муссон, высокую траву, крики ночных сов, положение солнца и луны. Они знали, что человеку, стоящему по стойке смирно, можно скомандовать только «смирно». Военные школы не помогут, они не приспособлены к тому, чтобы требовать дисциплину и послушание, то есть, победу у едва оперившихся существ, у веселых арабов с их сообщниками — мхами и лишайниками. Скользить от дерева к дереву, от скалы к скале или замирать при малейшем шуме, похожем на стон, этого не смог бы ни один офицер из военной школы».

То, что я сейчас написал, так думают и палестинцы, которые сожалеют о военных хитростях и солдатской верности, а порой, быть может, о братстве по оружию.

«Бедуины с одной стороны, израильтяне с другой массово истребляют все гражданское население, убивают с самолетов и из танков. Пусть сто партизан хитростью проникнут в Израиль, все равно будет воздушный налет и самолеты забросают бомбами палестинские лагеря. В военно-морском флоте Франции, а еще в марокканском военно-морском флоте их называют «адмиралами» — моряков-сифилитиков, на чьих медицинских картах стоят кресты или звездочки. Первый крест из-за сифилиса принимается с восторгом, так после забитого гола на трибунах начинают целоваться — не надо больше доказывать мужественность: первый шанкр это своего рода посвящение.

— Все, доктор, санитар, повар, все занимались нами. Я был адмиралом с четырьмя крестами. Ну, или если тебе так больше нравится, с четырьмя звездами. Пять означало уже императорскую власть. И смерть. Знаменитый Прокаженный король[49], известный даже в исламе, пережил два коронования: один раз миропомазание, второй — коронование лепрой. Интересно, самые отчаянные офицеры, требующие тяжелого воору-

---

[49] Примечания: 49
Название романа Пьера Бенуа (*Прим. перев.*)

жения, танков, пушек, даже атомного оружия, те, кто настаивали на ведении классической войны, может, они тоже мечтали стать адмиралами, погибнуть за Родину, но погибнуть с уверенностью, что их похоронят с государственным размахом. То есть, как мужчин.

Партизанской войне не хватало благородства не только по мнению воспитанников высшей военной школы в Сен-Сире, даже Советский Союз отказывался принимать всерьез этот феномен и тоже называл его терроризмом. Если палестинской армии суждено победить, пусть прежде она станет тяжелой машиной, а грудь каждого палестинского полковника подставкой и витриной для сорока-пятидесяти медалей, знаков отличия всех наций благородного происхождения.

В тот вечер, когда завершился пост рамадана, возле водного источника вблизи Иордана двое уполномоченных устроили праздник, от будней он отличался лишним медовым пирожным, да бодрым смехом, что раздавался то там, то здесь. Они приветствовали молодого человека с длинными волосами, струящимися между лопаток: Исмаила. Я уже привык к прозвищам, вымышленным именам, так что этому имени тоже не удивился (возле этого источника, между мостами

Дамиа и Алленби, где Иоанн крестил Иисуса, фидаины решили заменить мое имя именем Али). Гладкие, темные волосы, как у Бонапарта, покрывали плечи Исмаила.

— Он палестинец. Служит в израильской армии. Прекрасно говорит на иврите.

Я заметил, что в профиль молодой человек больше похож на еврея, чем на араба.

— Он друз, только не говори об этом. Когда он тебя увидел и узнал, что ты француз, то переменился в лице. (Я так и не понял смысла этой фразы). Он очень рискует, сообщая нам сведения.

Смеясь и что-то жуя, я попросил у Исмаила по-французски:

— Спой нам израильский гимн.

По глазам Исмаила мне показалось, что он понял. Удивился, но, сохраняя присутствие духа, попросил, чтобы мой вопрос перевели на арабский, а сам в ответ на замечание Махджуба сказал по-английски:

«*Classic war, I don't know. Classic war or romantic war*».

Фраза показалась мне слишком литературной.

Отправляясь обратно в Израиль с наступлением темноты, чтобы его не заметили часовые, он

обнял всех, кроме меня.

Этот араб знает, вероятно, что случилось с папашей Гюком[50], чьи глаза стали узкими после сорокалетнего пребывания на Тибете. У палестинца был древнееврейский профиль, а ритм жизни — европейский.

Чуть раньше, в Джераше, один тридцатилетний лейтенант-суданец очень удивился, услышав, как кто-то говорит по-французски, а Абу Омар отвечает ему на этом же языке.

— Все, что здесь происходит, это из-за вас тоже. Вы в ответе за правительство Помпиду…

Он сказал мне это и много чего еще, я уже и не помню, зато я никогда не забуду это черное лицо с блестящими волосами, со шрамами племенных насечек на щеках, он говорил со мной не просто по-французски, а на арго, с акцентом парижских предместий, с лексиконом Мориса Шевалье. Разговаривая со мной, он демонстративно держал руки в карманах штанов. Итак, вот я услышал:

— Все, чт’здесь пр’сходит, эт’ зза вас. Вы в’тете за пр’вительство П’мпиду…

Абу Омар объяснил ему по-арабски, что я не

---

[50] Примечания: 50

Имеется в виду Эвари́ст Реги́с Гюк (1813 — 1860) — французский синолог, тибетолог, монголист, путешественник середины XIX века. Католический монах, миссионер ордена лазаристов. (*Прим. перев.*)

имею никакого отношения к французскому правительству. Он успокоился, и мы даже подружились: когда я встречал его, он всегда подходил ко мне с улыбкой. Я знал уже, что для меня, причем, для меня одного, приготовлен новый анекдот.

— Как хорошо, что мы можем друг друга понимать. Если бы не мы, суданцы, ты говорил бы не по-французски, а на каком-нибудь местном наречии Морвана.

— Поясни.

— В каждой французской провинции говорили на своем жаргоне, вы же были варварами. Когда вы стали сильнее и сошли на наш берег, вы были такой лингвистической мозаикой. Чтобы нас завоевать, нужен был единый язык. Баскский солдат говорил по-баскси, корсиканский по-корсикански; поэтому эльзасцу, бретонцу, пикардийцу, гасконцу, провансальцу, нормандцу, выходцам из Мадагаскара, Индокитая, Судана пришлось выучить язык своих офицеров из военной школы Сен-Сир, этот парижский французский. Если пара солдат терялась где-нибудь в трущобах, нужно было знать, по крайней мере, несколько ключевых фраз:

«На помощь, Легион!»

«Парни, сюда!»
«Мы в опасности!»
«Скорей бы дембель!»
«Сюда, друзья зуавов!»

Занятная версия происхождения языка, правильная или нет — неважно, зато назло министру просвещения, а впоследствии министру иностранных дел Жюлю Ферри. Зачатком этого французского языка, чувственного и изящного, который постепенно распространился по всей Франции, вполне возможно, и стала наводящая ужас дрожь, которую бретонские, корсиканские и баскские солдатики, завоевывая заморские территории и умирая в Колониях, доставили в метрополию. Диалектам пришлось отступить, чтобы домой, во Францию, вернулся почти совершенный язык, отточенный там, за морями. А контрапункт этой эпопеи, так сказать, ей «в пару», вероятно, вот что: 1917, Марокко:

«Славные парни! Которые рвутся в бой! Когда я сказал, что дам им оружие и боеприпасы, они были готовы целовать мне руки. Но я спокоен и невозмутим. Еще не родился и даже не зачат тот, кто способен обольстить меня. Они любят драку, я поведу их в драку, славные парни. Они ждали сабель, я даю им ружья: они были готовы истребить

всю Неметчину. С оглушительными ружьями они дошли до самой Соммы». Это я процитировал ударные моменты одного выступления, опубликованного в «Иллюстрасьон». «Они» дошли до самой Соммы. «Они» вышли из поезда. «Они» молча прошли две сотни метров, вдохнули полной грудью. Этих «они» было около тысячи. Первая волна полегла, не успев произнести ни слова, затем вторая, третья. «Они» умирали медленно. Их повалил порыв ветра со смертоносным газом. Распростертый серый ворсистый ковер, раскинувшийся к северу от Аббевиля, огромный ковер из берберов.

Все это рассказал мне Мубарак. Офицер из Судана, он был, скорее, каддафистом. До недавнего времени у меня не было от него новостей. Я не знал его фамилии, как и фамилии Хамзы, только имена. После некоторых сомнений он выбрал Хабаша, а не Арафата. Мне стоит рассказать вам о его красоте, мягкости и о шрамах племенных насечек на щеках.

По распоряжению Жоржа Хабаша НФОП[51] досматривал три самолета, приземлившихся на взлетно-посадочных полосах аэропорта Зарка.

---

[51] Примечания: 51

Народный Фронт Освобождения Палестины (уполномоченный — Хабаш).

Три дня со всеми своими пассажирами-пассажирками они простояли на самом солнцепеке.

После двухнедельного пребывания в Дамаске я вновь оказался на базах фидаинов, но таких «прореженных», таких отдаленных одна от другой, что мгновенно ощутил слабость и уязвимость нового расположения. Это что, распорядился какой-то глупец, новичок, упрямец, дурной стратег и тактик? В моей голове тут же сложился образ: «стена из размякшей бумаги». Какой ожидать помощи, когда здесь их всего шесть или семь, с личным оружием, а напротив никого, даже врага нет, физически его здесь нет, он остановился в километре от стратегической позиции фидаинов, но это враг энергичный и располагающий тяжелым вооружением, которое обслуживают специалисты по баллистике? Прошел слух, что солдатам Хусейна помогают американские и израильские офицеры. (В 1984 году палестинцы меня в этом заверяли, а иорданские офицеры с презрением опровергали).

Мне нужно было снова поехать в Дамаск. Об этом расположении я буду думать, когда четырнадцать лет спустя в разрушенном Бейруте Жаклин заговорит со мной об одном своем путешествии в Южный Ливан.

— Палестинцев, гражданских и солдат, после резни в Сабре и Шатиле на несколько часов заперли в камерах или номерах отеля Сайды и Тира. А перед этим в городах и деревнях на побережье происходило одно и то же: израильские солдаты и офицеры заставляли жителей деревни или квартала проходить перед человеком в капюшоне, закрывающем лицо. Так перед ним проходила вся деревня, шпион не произносил ни слова, чтобы его не узнали, только рукой в перчатке указывал на виновных. Виновных в чем? В том, что палестинцы или ливанские друзья палестинцев, или в том, что умеют обращаться со взрывчатыми веществами.

— И что, никого из этих людей в капюшонах так и не узнали?

— Никого. Ходил слух, что это палестинец-предатель, и он указывает на тех, кто виновен в покушениях. А несколько дней спустя стало известно, хотя правда это или нет, никто не знает, что под капюшоном скрывался израильский солдат, и указывал он наобум, совершенно случайно. Члены семьи погибшего, того, кто был подозреваемым, молчали. Когда стало известно, что роль предателя-палестинца исполнял израильтянин, было уже поздно, зло свершилось. Никто не ре-

шался обнаружить правду, все равно боялись, вдруг под капюшоном друг или родственник-палестинец.

— И долго продолжался этот спектакль?

— Две-три недели. Достаточно долго. Все всех подозревали. А что потом творилось в камерах или гостиницах…

Мне рассказывала об этом одна ливанка. Палестинских женщин, солдат и гражданских запихивали в камеру или гостиничный номер. Внезапно из комнаты раздавались крики ужаса, жалобы, плач, вой, хрип, четко слышалась арабская речь: люди, наговаривая на себя, измышляли жестокие преступления против других арабов, против родственников, фидаины обвиняли своих офицеров, предавали товарищей по оружию, выдавали секретные источники, военные сведения… В действительности же все это записали на магнитофон израильские солдаты, говорящие по-арабски, они запускали пленки снова и снова, сначала в камерах и номерах, это звучало сокровенно и почти задушевно, а при очередном вымышленном признании в предательстве можно было различить, словно фоновую музыку, смешки, ироничные комментарии или притворное возмущение — израильские

офицеры на иврите обсуждали услышанное. На следующий день и еще через день эту же запись, но гораздо громче, запускали на деревенских площадях, транслируя через громкоговорители. Циничный спектакль имел одну цель: разозлить ливанское население, палестинцев, шиитов. Это происходило в сентябре 1982. На записях, сделанных, возможно, в студиях Тель-Авива, еще звучало: «Помните Дейр-Ясин![52]»

Вспоминая об этом монтаже, один француз говорил:

«Состоявшаяся в Израиле огромная манифестация против войны в Ливане 1982 года была спланирована еще до начала вторжения. Предвидели всё: само вторжение, бомбардировки Бейрута, убийство Башира Жмайеля, резня в Шатиле, реакция телеканалов и газет всего мира, которые не скрывали своего омерзения, всеобщее осуждение, и наконец — этот финальный штрих, чтобы слегка омыть грязное лицо Израиля: сама эта манифестация».

Вот что еще сказала мадам Ш.:

---

[52] Примечания: 52

Имеется в виду резня в Дейр-Ясине — события 9 апреля 1948 года, в ходе которых арабская деревня Дейр-Ясин была захвачена еврейскими нерегулярными вооружёнными формированиями Иргун и Лехи, принадлежавшими к радикальным организациям сионистов-ревизионистов. (Прим. перев.)

«Со своим грузовиком и громкоговорителем они выгнали нас из Дейр-Ясина».

Признаться, я рисовал себе в воображении режиссера этого спектакля или его дирижера, возможно, это был какой-нибудь сержант из ЦАХАЛа[53], который заставлял повторить крик или вопль, если нота звучала фальшиво; представлял репетиции в арабских костюмах, так мне хотелось отрешиться от этих стонов и несчастий. Может, это был великий режиссер театра «Габима» в Тель-Авиве?

Вернемся в 1971. В Аджлуне и окрестностях, повсюду, где развернулись базы фидаинов — а я уже говорил, что базы оказались совершенно не приспособлены для обороны, и об их расположении, с точностью до одного метра, прекрасно было известно в иорданском штабе — офицеры-черкесы при помощи младших офицеров бедуинов проделывали одно и то же: из невидимых в темноте репродукторов раздавались голоса, зачастую невнятные:

«Мы все окружены, нужно сдаваться. Отдадим оружие офицерам. Король обещал, что каждый фидаин, который согласится сдать оружие, по-

---

[53] Примечания: 53
Армия Обороны Израиля. (*Прим. перев.*)

лучит его обратно на следующий день. Битва закончена. Ни с кем расправляться не будут. Я говорю от имени короля Абу Аммара». (Ясир Арафат).

Можете себе представить, как воздействовали на солдат, зачастую очень юных, эти голоса, одновременно далекие и близкие, которые вещали между десятью вечера и полуночью, голоса, взмывающие в ночи над лесами и горами, голоса самих гор, слышные на другом берегу Иордана, а плохое качество трансляции не давало возможности эти голоса идентифицировать.

В июне-июле 1971 войска Хусейна окружили фидаинов, только по официальным данным убито было три или четыре сотни, тысячи взяты в плен, брошены в тюрьмы королевства и лагерь Зарка; кому-то удалось спастись в Сирии, за Ирбидом. Многие переправились через Иордан, где их разоружили, но в целом приняли по-дружески израильские солдаты и офицеры. Если фидаины бежали, поверив в предательство своих командиров, то здесь, в Израиле, они оказались одни перед врагом лицом к лицу с собственным, подлинным предательством. Двое французов, сражавшихся в рядах фидаинов, добрались до Ирбида. Они похоронены на городском кладби-

ще рядом с палестинскими мучениками. В этом бегстве я вижу не малодушие и не страх, а нечто величественное. Палестинские солдаты спасались, столкнувшись с Непредвиденным. Смерть, которую они как раз предвидели, так и не пришла. Пули, страдания, смерть, раны — этого-то они ожидали, но не могли ожидать полуночного шума, который оказался, как выяснилось позже, шумом моторов, лопастей вертолетов, пушечными выстрелами, пулеметными очередями, но без снарядов и пуль, и вдруг перекрывающая все эти звуки тишина, чтобы еще отчетливей было слышно предательство командиров, призывающих их предать тоже. Паника — вот точное слово, это была именно паника, когда ноги мчатся сами собой, и не для того, чтобы бежать от смерти, а чтобы бежать от Непредвиденного (может, это как раз и смущало меня больше всего, когда я однажды увидел военную подготовку *achebals* (львят). Невозможно было подготовить их к Неприемлемому), одно дело бежать от иорданской армии, и совсем другое бежать в Израиль, что это, если не самоубийство.

«Против него я готов вступить в союз с самим дьяволом».

И вот это произошло дважды: голоса команди-

ров, приказывающих мне сдаваться, и реальный союз с дьяволом: Израилем.

Пытаясь избавиться от этих голосов, они надеялись отыскать убежище, и, возможно, не зная, что уже оказались в Израиле, думали, что находятся в Палестине, впрочем, они и были в Палестине? Когда я говорю о панике, не знаю, может, это бог Пан играл на своей тростниковой флейте с тембром таким нежным и ласкающим, что тому, кто ее слышал, казалось, будто он устремляется на ее звук, а на самом деле, просто беспорядочно метался. Поднялся дым, закрывая луну. Если необъятный голос, отскакивая рикошетом от холма к холму, был голосом Бога, фидаины, ничего не ведая о чудесах акустики, бежали, чтобы прижаться к Богу богов, свернуться клубком возле него. А может, это была дудочка Крысолова, заманивающего в пучину?

Ужас уже пересек Атлантику, хотя о нем еще не догадывались тело и члены. Над моим отелем в Аммане, где мне часто приходилось бывать, пролетали Боинги, груженые оружием, американскими подарками королю Хусейну.

Два юных француза, оба по имени Ги, как я уже говорил, похоронены в Ирбиде, рядом с другими бойцами. Им было около двадцати. Они помогали

палестинцам восстанавливать обрушившиеся стены, обучаясь одновременно строительным работам и арабскому языку. Эти оба Ги, с которыми я познакомился в Вихдате, показались мне сынами 68 года, свободными и раскрепощенными с одной стороны, а с другой — нашпигованными банальностями и тривиальными представлениями.

— Надо уничтожить Хусейна, потому что он фашист, и установить какой-нибудь революционный режим, только не советский.

— А какой?

— Ну, пускай, например, правят ситуационисты[54].

Рассказывая об отдельных моментах сопротивления, я боюсь упустить его сущность: а было оно смеющимся и юным. Если нужна какая-нибудь картинка, образ, я бы позволил себе вот это, например: «Нет, никакой преемственности, напротив, словно длительное содрогание земной коры, едва заметное, почти неощутимое, заставило вибрировать все страны», или вот еще: «Взрыв смеха, почти немого смеха целого народа, держащегося от хохота за бока и стоящего на коленях

[54] Примечания: 54

Ситуационизм — направление в западном марксизме, возникшее в 1957 году в результате отпочкования от троцкизма. Активно проявило себя во время Майских событий 1968 года во Франции. (*Прим. перев.*)

перед Лейлой Халед, когда она в самолете компании «Эль Аль», стиснув в руке гранату с вынутой чекой, приказывает еврейскому экипажу приземлиться в Дамаске. Что и было сделано. Затем три самолета швейцарских, кажется, авиалиний, набитых американцами и американками, приземлились и остались стоять на солнцепеке борт к борту по приказу Хабаша на взлетно-посадочной полосе Зарка, я уже об этом говорил».

Несколько дней спустя случилось восстание детей, так это следовало бы назвать, когда молодые люди: палестинцы, палестинки, несколько шестнадцатилетних иорданцев, молодые иорданки на широких проспектах Аммана улыбаясь, смеясь, крича «*Yaya! El malek*!» (Да здравствует король!), подходили с цветами к иорданским бронетранспортерам. Удивленные, но довольные танкисты открывали башню, протягивали руки: и танк взрывался, когда девушка, даривша цветы, бросала в кабину, под ноги экипажу, гранату. Затем девушка под прикрытием товарищей стремительно скрывалась в улочках, переводила дыхание, ожидая, пока ей принесут новую гранату и новый букет цветов, и так далее. Это все мне рассказали в Аммане. Сопротивление гордилось этими жестокими деяниями, как украшениями,

так готовилось народное, но официально признанное восстание. Было еще что-нибудь? Во всяком случае, звук пощечины, которую дала дочь Премьер-министру короля Хусейна, до сих пор звучит в ушах.

Думая об этих детях, я вижу лиса, пожирающего цыпленка. Лисья пасть запачкана кровью. Лис поднимает голову, показывает зубы, безупречные, блестящие, белые, острые, так немного надо, чтобы на его морде появилась детская улыбка. Старый народ, вновь обретший юность в мятеже, и этот юный мятеж порой казался мне зловещим. Воспоминание приходит через «мелькание образов», а человек, пишущий эту книгу, видит свой собственный образ, видит издалека, словно в каком-то карликовом измерении, и этот образ все труднее узнать, потому что с каждым разом он все старше и старше. Последняя фраза вовсе не жалоба, так я пытаюсь донести идею старости и ее поэтического выражения: это уменьшение моих пропорций в собственных глазах, я вижу, как стремительно приближается линия горизонта, за которой я вовсе исчезну, слившись с ней. И уже не вернусь.

На обратном пути из Дамаска, проезжая через Джераш, я захотел увидеть Дитера, немецкого

врача, организовавшего в лагере Газа небольшой госпиталь. Меня встретил другой доктор, ливанец с мягкими чертами лица, он сказал мне:

— Доктора Дитера здесь больше нет. Он в Германии. Вы были другом Дитера, я расскажу, что случилось. Его бросили в тюрьму, пытали. Потом посол ФРГ смог вернуть его на родину. Иорданская армия вошла в сектор Газа, чтобы навести порядок, возможно, искали фидаинов. Они избивали детей, женщин, всех, кто был жив, всех, кого находила. Зная, что там есть раненые, доктор Дитер, монашка-медсестра и немецкий фельдшер отправились в сектор Газа с медицинскими саквояжами и лекарствами: спирт, перевязочные материалы, все, что нужно для неотложной помощи. Когда они только начали заниматься ранеными, их окружили солдаты. Они их избивали, вы знаете, как иорданцы умеют избивать. Дитера, фельдшера и медсестру отправили в тюрьму, ту самую, где были вы с Набилой Нашашиби и доктором Альфредо. Мой вам совет: постарайтесь, чтобы вас не особенно видели в Аммане.

Если бы он хотел сопротивляться,… но Дитер был немцем с возвышенной душой, преданный больным, он не замечал усталости, выносил большие нагрузки, по ночам бодрствовал с паци-

ентами, которые поступали вечером, потому что им было одиноко; он мог ободрить их несколькими словами, предложить таблетку аспирина. Он был светловолосым, несговорчивым, но слабым.

В Дамаске я узнал, что бедуины победили. Из рассказа ливанского доктора я понял другое: палестинцы проиграли.

В лагере Бакаа столетний араб, главный в лагере, по-прежнему рано утром отправлялся на прогулку. Босиком, в белой одежде (*abaya*[55]), в белом шарфе вокруг головы, он выходил на рассвете, а часто еще и до рассвета. То есть, свой первый утренний намаз он совершал в пути. Он благоговейно слушал молитву, доносившуюся с ближайшего минарета. Затем вновь начинал свой хадж, медленно и спокойно шел к иорданским позициям — и даже переходил их, как будто не обращая внимания. Солдаты и офицеры приветствовали этого столетнего, еще такого бодрого, старца. Сам он отвечал на их приветствия лишь на обратном пути, то есть, пересекая позиции бедуинов во второй раз, но уже в обратном направлении.

— Они угощают меня чашечкой кофе. Один

---

[55] Примечания: 55
Абая — традиционная арабская одежда. (*Прим. ред.*)

офицер был в Тунисе. Он добавляет в кофе флердоранжевую воду. Мне он очень нравится.

— Офицер?

— Кофе. Он меня успокаивает и помогает вернуться.

Когда солнце опускалось, старик спокойно возвращался в лагерь. Далеко в сумерках виднелась белая прямая тень, он шел без посоха, а за ним тянулась длинная черная тень, пока не исчезала совсем.

На пути туда он считал шаги. На обратном пути проверял, все ли точно. Сопротивление, скрытное и радостное, еще очень осторожное, только набирало силу. Расстояние до первых позиций иорданцев быстро подсчитали и произвели наводку. Фидаины приносили столетнему старцу котелок супа, а тот слушал первые звуки выстрелов, затем отправлялся спать в свою маленькую комнатку.

Однажды мне захотелось узнать, точно ли он считал или это просто легенда. Я задал вопрос Кариму, с которым он часто беседовал. В общем, старику было шестьдесят лет, а не сто. Благодаря своим глубоким морщинам, седым усам и бровям он скрывал свой настоящий возраст, он использовал морщины на своем лице, как

фидаины используют овраги и лощины. Когда он возвращался, то примечал всё: от вооружения иорданцев до цвета их башмаков, любой кустарник, еле различимую пальму, количество и номера танков, он все видел и запоминал: время, часы, минуты, он повторял всё. На другом конце лагеря в большой палатке жили его две жены, а на базе семь сыновей-фидаинов.

Если я не ошибаюсь, Орден почетного легиона носят слева? Никто не замечал, что он вместе с другими медалями висит с правой стороны. Чем рисковал он, надевая его здесь, в пустыне? Как он умер? от старости? от усталости или от пули? Но ведь он умер? Очевидно, это было своего рода бахвальство: не скрывать свою игру. Когда он видел меня, его глаза смеялись: я был обманщиком, как и он. Не имея ни карандаша, ни бумаги, я ничего не писал, может, он наблюдал за мной и обо всем догадывался?

Два первых слога привели бы меня бог знает куда. *Пале* — это далеко. Палестинцев может описать все слово целиком. Четыре слога, чья загадка, наверное, от той, ночной, части их самых дорогих врагов. 28 сентября 1970 было лишь точкой на прямой линии времени, отмеряемом вашим грегорианским календарем, «сентябрь

70» становилось неким паролем, отягощенным страданием, которое ощущали сто миллионов человек.

В молодости Голда Меир была избрана «Мисс Палестиной». Филистимляне называли свою страну Филистией. Эти строки, и вся эта книга, всего лишь забава, вызывающее кратковременное головокружение, проходящее довольно быстро. Услышав слова «ислам», «мусульманин», я уже предчувствовал другие слова.

Если ехать из лагеря Бакаа в сторону Иордана, мимо американских радаров, отслеживающих спутники, можно добраться до Аджлуна. Только пустые или полупустые сигаретные пачки, и больше ничего; через месяц после битвы все, что напоминало о палестинцах, было сожжено, зарыто или просто убрано, остались лишь обгоревшие кусты. Фидаины убиты, захвачены в плен, уведены в пустыню до самой саудовской границы, а перед этим они прошли через тюрьмы, которые мучили их и истязали больше, чем сама пустыня. В полях полегли от сражений пшеница, рожь, ячмень, фасоль. После Бейрута-76 и Бейрута-82[56],

[56] Примечания: 56

Имеются в виду столкновение христиан Ливана с палестинскими боевиками в 1976 году и осада Бейрута израильской армией летом 1982 года во время Ливанской войны. (*Прим. перев.*)

в окрестностях Шатилы можно было увидеть такую же природу, изможденную, обугленную до костей, с торчащими останками черных елей и сосен. В местах, где свершилось преступление, остается порой какой-то знаковый мусор. В 1972 в маленькой черкесской деревушке на склонах Голанских высот после шести лет израильской оккупации я подобрал три обрывка писем, посланных в Дамаск (написанных по-арабски). Все три были от одного сирийского солдата, который бежал, укрылся в Дамаске, а в самих письмах не было ничего, кроме многочисленных цитат из Корана, на основании которых он, похоже, сделал вывод, что Бог сохранил ему жизнь, дабы солдат воспел Его милосердие. Адресаты посланий, его семья, умерли или не получили писем вовремя. Израильские солдаты оказались первыми читателями этих страниц и бросили их здесь. Четыре дома черкесской деревушки — зеленые решетчатые ставни, красные черепичные крыши — были покинуты, двери и окна распахнуты. После высадки союзных войск в Нормандии в Авранше можно было увидеть такие же разграбленные янками деревни.

Если что и нельзя было унести из Аджлуна, так это вырытые в земле ямы, мне удалось отыскать

три укрытия, и я спал там рядом с фидаинами. Стены и потолки закоптились от дыма. Возле мертвецов на полу валялись какие-то куски коричневых обложек. Это были документы, удостоверения личности, продолговатые, с закругленными краями, хорошо знакомого мне сине-зеленого цвета, с фотографией фидаина в правом углу и написанным по-арабски вымышленным именем. Проходя через деревню, еще не видя крестьян и их жен, я обратил внимание на то, что тихо здесь уже не было: какое-то жужжанье, кудахтанье, ржанье, болтовня. Никто в деревне не ответил на мое приветствие, но никто не и позволил себе грубого или недружественного жеста или слова. Я вернулся из стана палестинских врагов, как возвращаются из царства мертвых.

Когда я прибыл в Амман, в палестинском сопротивлении чувствовался некий разлад. Никакой хотя бы видимости единства, которое появится чуть позже вместе с ООП, еще не было и в помине, напротив, между одиннадцатью разрозненными группами сопротивления постоянно вспыхивали ссоры, никто не скрывал озлобленность, почти ненависть. Только ФАТХ, в недрах которого тоже хватало и критики, и соперничества, демонстри-

ровал хоть какое-то единство: хотя бы в том, например, как его сторонники осуждали другие движения.

То, что стало происходить после июля 1971, то есть, после битвы в Аджлуне, Джераше и Ирбиде, меня удивляет до сих пор. В отношениях между фидаинами появилась какая-то горечь разочарования, и я стал свидетелем такой сцены: Я знал двух фидаинов лет двадцати, они были друзьями, жили на одной базе в Иордании, но один так и остался простым фидаином, а другой получил небольшой чин. Однажды в Бакаа при мне первый фидаин попросил разрешения навестить больную жену в Аммане (это в двадцати километрах). Вот этот диалог, как я его помню:

– *Salam Allah alikoum.*

— *… koum salam.*

— Али, можешь дать мне увольнительную на двадцать четыре часа, моя жена беременна?

— Моя тоже. А я остаюсь. Сегодня вечером ты в карауле.

— Я найду замену.

— Так кто должен стоят в карауле, он или ты?

— У меня есть пара приятелей, они согласятся.

— Нет.

Голос первого фидаина становился умоля-

ющим, а голос второго — и это казалось даже нормальным, ожидаемым и в определенной степени необходимым — приобретал начальственные нотки. Это не был вопрос дисциплины, речь не шла о безопасности лагеря, это было обычное соперничество между младшими офицерами и простыми солдатами. Двое самцов схлестнулись лицом к лицу, защитники одной Родины, которую еще и увидеть было нельзя.

Впоследствии я узнал, что родившаяся в тот день ненависть не утихла и по сей день, и они — оба неплохо говорили по-английски — делают в газетах заявления, где слышится отголосок той самой ненависти. Может, ненависть рождается первой, и чтобы окрепнуть, ей нужны двое друзей?

Уехали все, кто были по рождению или в результате брака палестинцами. Сначала через Сирию, и думаю, именно в это время — в конце 1971 — началась вторая волна проникновения палестинских фидаинов в Ливан. Некоторые ловкачи — благодаря какому-нибудь родственнику-иорданцу — приобретали земельные участки в окрестностях Аммана. Говорят, это самые богатые люди королевства хашимитов. От революционного периода — с 1968 по 1971 — они,

общаясь между собой, сохраняют некоторые слова, как слова местного наречия из детства вдруг проскальзывают в разговоре бывшего крестьянина, ставшего директором крупного парижского предприятия. Они чувствуют в вас прежнего сообщника и опасаются: вдруг сегодня вы перестали им быть, и лицо их слегка краснеет. Сразу и безо всяких расспросов с вашей стороны они называют цену своего дома в Джабаль Аммане, «в самом шикарном квартале города».

Мне понадобилось много лет, чтобы понять, как их лидеры, я говорю об известных лидерах, чьи имена вы можете увидеть в западных газетах, стали долларовыми миллионерами. Это были не какие-то разрозненные островки в море Сопротивления, а настоящий сейф, где у каждого, и прочим это было известно, имелся свой ящик, а то и не один. Свое состояние они хранили в Швейцарии или где-нибудь еще. И еще они знали, что́ хранят другие, потому что зачастую это состояние было частью их общей добычи.

Прочим участникам Сопротивления все это было хорошо известно. Документ о праве собственности спрятать можно, а как спрячешь лес, или виллу, или земельный кадастр? Высшее командование тоже обо всем знало. Возможно, оно

этим пользовалось? Всем в ФАТХе был известен Абу Хасан[57], а также его спортивные машины, его красивые девицы, те и другие отличались изящными линиями, я встречал его два-три раза, причем, первый раз при обстоятельствах, весьма для него неприятных, мне пришлось при фидаинах, которых эта сцена страшно забавляла, попросить его предъявить удостоверение личности. Слегка раздраженный, он порылся в карманах куртки и достал ярко-зеленый документ, который носит при себе каждый фидаин, при этом к щекам его прихлынула кровь. Энергичный, спортивный, он был деятельным членом «Черного сентября» и активно участвовал в подготовке операций. Как мне говорили, Арафат в интересах Организации вовсю играл на его тщеславии. О его смерти и смерти Будиа — при взрыве автомобиля — я узнал, как узнают о поражении. Медленно, стараясь не ошибиться, восстанавливая события, я думал приблизительно следующее:

Вполне естественно, что глаза бойца, когда он проникает в роскошные интерьеры, вспыхивают от зависти, особенно, если речь идет о коррупции

[57] Примечания: 57

Абу Хасан Саламе — один из руководителей «Черного сентября». (*Прим. ред.*)

некоторых руководителей, которые ощупывают и мнут новенькие пачки зеленых стодолларовых купюр. Когда какое-нибудь революционное движение оказывается успешным, доказательством преданности становится скорость присоединения к этому движению: кто раньше, тот и преданнее. Как отличить полное самопожертвование от интриг ради получения должности, от суеты ради удовлетворения собственных амбиций — финансовых или властных. Особенно, когда некий честолюбец объясняет, что «всего себя целиком посвятил общественному благу и революции». Это я процитировал фразу одного из лидеров организации, оправдывающего свое богатство (июль 1984).

Наконец, есть вступившие в битву на последнем этапе, так называемые «революционеры тринадцатого часа», они прибегают, когда революция уже свершилась, и вынуждены биться голыми руками с теми бойцами, которые в процессе «великого похода» уже познали столь сладостный вкус власти.

Убийство в Каннах в роскошном отеле Зухейра Мохсена, руководителя организации Ас-Саика, на многое пролило мне свет, но это был такой свет, что я испугался, как бы самому не стать этой

световой вывеской, указывающей на растрату средств, предназначенных для вооружения и питания фидаинов, я понял это так внезапно, что мне на мгновение показалось, будто я единственный в мире, кто это обнаружил. В Риме и Париже руководители ООП окончательно сбили меня с толку, когда, смеясь и куря сигареты высшего сорта — обязательный атрибут их положения — говорили мне:

— Мы все это знали. Между собой его называли «Восточный ковер».

Если все это знали, что же знал сам Мосхен, чтобы при его жизни все молчали?

Перечитывая написанное, я замечаю, что взял полемический тон. Не будем изображать утопление, как в театре, когда на самом деле воды лишь до подбородка.

Первой, ежедневной, обязательной заботой Гитлера при пробуждении было поддерживать физическое сходство с самим собой: пригладить щеткой подстриженные, почти горизонтальные, усики, где каждый волосок, казалось, вылезал из ноздрей, убедиться, что черная блестящая челка лежит там, где ей положено, на «правильной» стороне глянцевого лба, а лапки свастики не повернуты влево, что не изменился знаменитый

тембр голоса, а взгляд гневный или ласковый — по обстоятельствам. Как умудрялся он, встав с постели, предстать перед высшими сановниками Рейха и послами стран Оси Берлин-Рим эдаким юным финном, белокурым и безбородым?

Все происходило по такой же схеме, когда снизу доверху, от ботинок на двойной подошве до подкладки шляпы, от носков «негус» до зонтика, от цепочки на лодыжке до мундштука а ля Марлен Дитрих некая выдающаяся личность становилась символом. Можно ли представить себе Черчилля без сигары? А сигару без Черчилля? Может ли куфия обвиться вокруг головы не-Арафата? Как и всем, он дал мне новую куфию, и это было как «сделайте так в *память* обо мне». Не имея возможности подписывать свои фотографии, как актеры, он таким образом дарил кусочек самого себя. Для Запада Афарат так и остается плохо выбритым человеком в куфие. Велико было мое удивление, когда я увидел его: анфас он был похож на себя, но когда повернул голову, отвечая на мой вопрос, и показал свой левый профиль, это был профиль совсем другого человека. Анфас он казался суровым, а левый профиль был мягким, и улыбка казалась почти женской, при этом он нервно поигрывал черной и белой бахромой

куфии. Бахрома и помпоны падали ему на шею, порой на глаза, как падают на лоб пряди волос раздраженного подростка. Такой любезный, со взглядом, устремленным вдаль, когда не пил кофе; а когда я смотрел на этого человека ростом чуть больше полутора метров, то думал о том, каких это стоит огромных усилий, в каком-то смысле наугад, вслепую, если хочется казаться похожим и на самого себя, и на других. Засыпает лягушка, а просыпается снегирь? Арафат меняющийся был бы равнозначен Арафату мыслящему? Не ему одному фидаины были обязаны днями покоя, почти праздничными днями, которые мне хотелось бы описать. Не ему одному, но он один был виновен в поражении.

Его кажущаяся неподвижность на самом деле была своего рода беспрерывной, при этом неуловимой для глаза, деятельностью? Огромный паук незаметно, молча трудился, почти не шевелясь, ткал муаровую паутину, чья поверхность все увеличивалась и увеличивалась; когда он пил кофе чашка за чашкой и, устремив взгляд куда-то далеко, слышал меня, при этом, казалось, не слушая, может быть, он видел другого огромного паука, ткущего из ниток слюны свое все увеличивающееся в размерах полотно — Голду Меир? Арафат

произносил несколько слов с осторожностью мухи, медленно ползущей по паутине. Он и был таким? Или он играл в ту же игру, что маршал Тлас в Сирии?

«Сначала все цветы в Сирии, от простой незабудки до эдельвейса, потом неведомые цветы; затем восемнадцать неприступных женщин: Каролина, принцесса Монакская, Леди Ди, мисс Мира 83, Луиза Брукс, та самая «Лулу в Голливуде», другие, и каждой посвящена поэма, изданная его собственным издательским домом».

Так говорят палестинцы о маршале Тласе, который, несмотря на свои массивные перстни, мастурбирует, листая «Плейбой», как рассказывал мне, смеясь, один из лидеров движения.

Вот несколько портретов лидеров ООП.

Об Абу Али Ияде[58] я не смогу сказать ничего. Или почти ничего. Его фотографии вместе с фотографиями Арафата украшают все стены представительств ООП и палестинских жилищ. В июне 1971 он командовал военным округом в Джераше. Иорданская армия стреляла в попавших в окружение палестинцев. Стороны

[58] Примечания: 58

Абу Али Ияд — палестинский полевой командир. Был убит около Джераша иорданскими войсками. (*Прим. ред.*)

объявили о прекращении огня. При посредничестве Арафата Абу Али Ияд был предупрежден о следующем: учитывая, что он почти слеп, прихрамывает, ходит медленно и с трудом, и то с помощью палки, Хусейн пообещал сохранить ему жизнь, если он оставит фидаинов, своих товарищей по оружию. Он остался. Все были убиты. Восток ничего не знал про Бейяр, даже Запад не знал. Просто умереть недостаточно. Все палестинцы почитали Абу Али Ияда, но не следует забывать: когда Арафат обнимал Хусейна, возможно, он вспомнил, какую ловушку устроил палестинцам этот самый Хусейн. Предложение сохранить жизнь означало:

«Я предоставляю вам возможность стать трусом. Воспользуйтесь ею, чтобы я мог устыдить всех палестинцев в будущем, и чтобы это легло тяжким бременем на их прошлое».

Так что отказ Абу Али Ияда был предопределен.

Перед лицом смерти не без основания спрашиваешь себя, что такое вечность, надо ли верить в нее и в вечные ценности этого «основания». Можно ли сказать, умереть… ради чего? или, скорее, ради кого, если эти ценности не просто передадутся через смерть, а вызовут к жизни

новый смысл существования?

Этим вечером я отвечаю «нет». Героизм бесполезен, потому что может послужить примером. Можно умереть, чтобы ослушаться приказа, чтобы избежать дарованного соблазна.

Про Абу Али Ияда я не скажу больше ничего.

Возможно, из-за умственной лени французов, из-за звучности слова «миллион», или потому, что казалось, будто прежние монеты ведут свое начало от старого франка, а тот, в свою очередь — от луидоров и су старого режима, новые франки с таким опозданием были приняты в повседневным расчетах. Опять отцам достались старые франки, а сыновьям новые. Традиции и склероз: это слова-синонимы? До 1968–69 годов ни ФАТХ, ни какую-либо другую палестинскую организацию всерьез не принимали. Даже слово это было неизвестно. Названия «Палестина» для большинства французов было названием страны, где предприимчивые евреи жили со дня основания мира.

То есть, евреи были там «со времен Авраама и фараонов». Сила ФАТХа, фактор ее присутствия в лагерях, надежда, которую эта организация давала палестинцам, ее сопротивление Хусейну и населению Иордании, поддержка Насера,

искренняя помощь короля Саудовской Аравии Фейсала, боязливая поддержка других арабских народов, характер их вождей сделали из ООП и палестинцев ставку в политической игре, столь же важную, что и Лига арабских государств, к которой ООП быстро примкнула. Не собираясь пересказывать все эти разногласия, споры, без которых не обходится ни одно движение сопротивления, скажу только, что с момента своего появления ООП приблизился к Советскому Союзу настолько, что Израиль делал, говорил, писал все для того, чтобы не оставалось сомнений: ООП есть эманация СССР, чуть ли не его прямой родственник. Подобное видение вещей вполне соответствовало американскому представлению о добре и зле. И европейскому. Возможно, это потребует длительных исследований. Советский Союз подобная точка зрения устраивала тоже.

Поскольку назвать все имена невозможно, а выдумывать ничего не хочется, довольствуемся небольшим отступлением. Самопожертвование ради какой-то цели, пусть она кажется нам святой, потому что далека и труднодостижима, настолько возвышенна, что мы никогда не сможем связать ее с нашим привычным укладом жизни; то, что именуется «тылом», это не

только «территория за линией фронта, далеко от военных действий», возможно, это самое «далеко» — всего лишь реакция на слова, обозначающие массовую резню, причем, об этих событиях упоминают ради нашего удовольствия репортеры (кадры этого самого «тыла», снятые в специальной студии с помощью телеобъектива, текст, написанный в пресс-службе какого-нибудь посольства, военные сцены с ранеными и погибшими, которые падают, как подкошенные, солдаты, что стреляют стоя, на коленях или лежа — на катастрофу всегда приятнее смотреть издалека или читать про нее, сидя в кресле); а еще «тыл» это место, на которое смотрят без страха, без спешки и без стыда: читая газету, перевернуть страницу с новостями из Азии, чтобы узнать биржевые новости, повернуть выключатель радиоприемника, вернуться к репортажу, в данном случае «не торопиться» равнозначно выражению «получать удовольствие». Солдат, который погибнет, если покинет воронку от снаряда, тот, кто задерживает дыхание, притворяясь мертвым среди мертвых и старясь сделаться невидимым, тот, кто убивает, — они не имеют никакого отношения к «тылу», потому что у них нет выбора, они не могут «не торопиться». Когда вспоминаешь

мертвых или умирающих героев, когда мечтаешь, взвешиваешь шансы, умиляешься, даже отождествляешь себя с ними, а главное, волнуешься, это значит, у тебя есть время и условия для всего этого. «Пусть воодушевит меня эта святая идея, ради которой умрет кто-нибудь другой». Это самопожертвование — вещь сложная. Без сомнения, героизм палестинцев достоин восхищения, порой это обыкновенная геометрия, сложный узел расчетов, когда смерть слегка коснулась, но прошла очень близко или далеко, если угодно, настолько точно был выверен жест и траектория этого касания, будь это огибание острых углов, хождение по краю пропасти, атака шашки наголо, провокация, притворство. И все настолько близко, что герой видит эту смерть: она предстает в форме огромного сейфа, в котором хранятся миллионы долларов. Герою неожиданно дается код этого сейфа. Сейф открывается, и пачки купюр превращаются в драгоценные камни, меха, сигары, мерседесы, мазерати, Мэрилин, и это все в порядке вещей. Герой, если у него нет славы Абу Али Ияда или Аль-Кавасме[59], получает золото и хочет иметь его еще больше.

---

[59] Примечания: 59

Фахд Аль-Кавасме — мэр Хеврона, член Исполнительного комитета ООП. Убит в 1984 г. (*Прим. ред.*)

«Если у меня нет ни славы, ни смерти, зачем мне отказывать себе в их эквиваленте в виде награды?»

— Какими бы богатыми ни были замки и драгоценности у такого-то…

— Назови мне два-три имени.

— Я знаю их гораздо больше. Ты тоже. Скажи их.

— Назови хотя бы одно.

— Он как раз собирался избавиться от Арафата, когда Сирия…

— Его имя?

— Нет.

Здесь сложно импровизировать: как вульгарные желания или мечты о пиршествах превратились в преданность и самоотверженность. И так же трудно понять, что прекрасные поступки превратили решительных, сильных, красивых мужчин в скупцов, истекающих слюной от зависти при виде мраморной колоннады. Пусть кто угодно воспринимает это, как угодно: пусть исследуют почки, сердце, кишки, чтобы обнаружить там испражнения (к этому нужно привыкнуть, приучить свой взгляд, обоняние, самое тонкое из наших тактильных ощущений), вот истоки нашей свобода здесь, возле Иорда-

на. Дни и ночи у нас будут волшебными из-за торгов, сделок, злобы руководителей. В каких сточных водах барахтались они, защищая свои интересы, от которых зависела свобода Аджлуна? В сопровождении министров в 1968 году, если не ошибаюсь, король проехал по главным улицам Аммана, выкрикивая:

«Да здравствуют фидаины! Я первый фидаин».

Этот крик породила непосредственность юного монарха, непосредственность и совершенно бессмысленная демагогия.

Декабрь 1984. Убийство Аль-Кавасме.

Под полупрозрачным эпидермисом мы ясно видим, что сопротивление обескровлено. Замысловато переплетенные каналы гнали потоки грязи, которая постепенно очищается, они соединялись с другими каналами, где затуманивается чистая, прозрачная жидкость, и, вот что странно, смерть разрывает самые чистые сосуды. Здесь не было настоящего ада, во всяком случае, не больше, чем в бидонвиле.

Вручая мне в ноябре 1970 письма, позволяющие передвигаться в лагерях и на базах ООП, Арафат не слишком рисковал. Интересно, знал ли он, что и восточные, и западные журналисты, даже самые несообразительные, уже засекли

эти «потемкинские» базы? Определенные детали довольно быстро указывали на обман. И самые явные из них — те, что вызывали больше всего доверия у самих палестинцев. Слишком старательно студенты из Монпелье, Оксфорда, Штутгарта, Ливорно, Барселоны, Лёвена, Утрехта, Гетеборга, Осаки пытались убедить вас, что палестинцы, воюя против режима хашимитов, правы. Посланники знали это. И еще они знали, что палестинцы совершенно не владеют искусством выдавать настоящие базы за фальшивые. Вообще у фидаинов не было традиции обмана: искусственный мрамор называть настоящим, ложный пафос болью, они вообще не воспринимали ничего театрального и «постановочного». Ничего, похожего на пресловутые «проспекты, засаженные пальмами в горшках», когда по ночам переодетые в садовников полицейские передвигали эти пальмы туда-сюда, чтобы уже в одиннадцать утра Бургиба[60] торжественно въезжал в город по проспекту в тени пальм, выросших за один вечер без единой капли дождя. После приема у официальных лиц Бургиба уезжал, и в

[60] Примечания: 60

Хабиб Бургиба — тунисский государственный и политический деятель, первый президент Туниса с 25 июля 1957 года по 7 ноября 1987 года. (*Прим. перев.*)

эту же ночь пальмы переносили в другой город, чуть южнее предыдущего, где на следующее утро Бургиба ждал такой же торжественный въезд. Маршрут был четко определен и одобрен, хотя и держался в тайне. Понимая масштабы этого надувательства, Бургиба даже стал узнавать деревья, каждое из них имело свое имя, и диктатор выкрикивал его по пути:

«Рокруа! Ватерлоо! Фашода! Здравствуйте!»

На палестинских базах студенты со сладкими речами — на английском, немецком, французском, испанском — умеющие позировать при фотовспышках, в нужный момент расслабиться и надеть на лицо усталую улыбку, повторить ее двадцать-двадцать пять раз для одной-единственной газеты, изобразить в нужный момент радость или гнев, произнести что-нибудь избитое и банальное, устраивающее ту или иную газету… все эти жесты были бессмысленны, журналисты, фотографы и операторы давно уловили фальшь, какую-нибудь деталь, доказывающую, что эта база — блеф, а дающий интервью подросток умеет говорить, но не воевать.

Посылать на войну этих студентов учиться профессии? Чтобы вновь пытаться разрешить этот старый спор:

«Гомер портит себе глаза, потому что он не Ахилл; умереть мгновенной смертью или петь для вечности?»

Журналисты знали разницу между прыжком в дыму фумигаторов и десантом при шквалистом ветре прямо в Иордан. Фидаины и львята знали тоже.

Несмотря на корейскую сдержанность — имеется в виду Северная Корея — Черные Пантеры не могли освободиться от взаимного притяжения, движение Черных Пантер состояло из намагниченных тел, которые притягивались друг к другу.

Фидаины повиновались ласковой суровости. Эротизм был разлит в воздухе. Я улавливал его волны, хотя меня самого они не задевали. Как забыть три ряда танков, окруживших лагерь Бакаа о том, как вышли палестинские женщины, намереваясь отправиться пешком с детьми к себе в Палестину. Этот демарш должен был прикрыть бегство французского монаха — что и удалось. Победа озлобила солдат-бедуинов, которые, танцуя, встретили опасность: политическое и военное руководство. Мужественность доказать трудно, еще труднее ей не поддаться. Так может, проще

поддаться? Бедуины танцевали, бросая вызов бюрократам из ООП. Они танцевали восхитительно. Они с их танцами были неприкасаемы, потому что в этот момент никто не решался прикоснуться к ним. Эта хореография, пленница сухих песков, вот уже два-три тысячелетия оберегающих ее от всякой порчи, продрогшему фидаину казалась юной, свежей и прекрасной. Может быть, палестинцы сожалели, что бросили вызов традиции такой древней, что этот новый мир сам казался не то, чтобы древним, но уже уставшим, морщинистым, между тем как мир пустыни оставался незапятнанным и безупречным.

Три месяца спустя женился один из лидеров движения. Я наряду со многими другими был в числе приглашенных, но не на саму свадьбу, а на свадебный обед. Новобрачный обедал у Абу Омара, где был и я вместе с несколькими фидаинами в гражданском.

— Твоя жена будет медицинской сестрой?

— Никогда в жизни. Я беру ее девственницей.

— И ты собираешься так и оставить ее девственницей?

Присутствующие засмеялись, а лицо новобрачного оставалось серьезным и напряженным.

— Я хочу жениться по-настоящему. Моя жена

не будет медицинской сестрой.

— Ты против медсестер?

— Нет, если они иностранки. А моя жена мусульманка.

Шутка была очень старой, но ее повторили:

«Чтобы найти в песке источники, надо доверять пустыне».

Но, наверное, этот странный афоризм следует дополнить:

«Узнаем от Маркса причины и неудачи промышленной революции в Англии, пусть пустыня сохранит наши источники».

Как свои мужественные, нежные или распутные танцы, песок, возможно, охраняет арабский мир: палатки, караваны, верблюдов…

Палатка: кондиционированный воздух.

Путешествие: без усталости.

Верблюд: Мерседес.

Танец: как у предков, смерф.

Мужественность: Фарид аль-Атраш[61].

Все мечта Востока и мечта бедуина.

В течение почти всего 1971 и частично 1970 года безразличие ко всякой международной политике

---

[61] Примечания: 61

Фарид аль-Атраш — известный египетский актер и музыкант сирийского происхождения. (Прим. ред.)

наводило на мысль о независимости палестинцев, за исключением, возможно, руководителей движения. Вспомним ответ Ясера Арафата одному фидаину из ФАТХа:

— К чему нам знать, договорились ли русские и американцы? Пять лет назад мы шли, куда хотели, делать революцию или что угодно, не спрашивая ничьего мнения.

— О нас просто никто не думал. Сейчас мы являемся проблемой, а проблемы надо решать.

Как в 1910, в 1917 палестинцы, не догадываясь об этом, были грёзой польских и украинских евреев, которые, возможно, знали о Палестине не слишком много, только то, что была она землей обетованной, текущей млеком и медом, хотя тогда никому еще не приходило в голову выгнать ее обитателей. Поскольку была она территорией мечты, где все нужно было создавать и строить заново, евреи 1910 года видели ее пустой, в худшем случае населенной бесплотными, безжизненными тенями. Ни один палестинец не знал, что его сад был пустым пространством, а вовсе не садом, территорией, о которой мечтали за сто километров отсюда и которой предназначено было стать лабораторией, а сам он, владелец этого сада, был в нем всего лишь мимолетной

тенью из сновидений.

Как раздавить гниду? Фабрики по производству амфор плодились, как вши, как гниды. Все больше и больше норвежцев отправляется в отпуск в арабские страны? Значит, в Алжире, Марокко, Тунисе, Египте, Ливане, Сирии, Иордании цены подстраивались под скандинавские валюты, крошечные мастерские поставили на поток изготовление тысячелетних амфор.

Так, в 1970–1971 годах палестинцы, именуемые еще «беженцами», являли собой некую массу, и ежегодная помощь БАПОРа[62]1 предоставлялась именно этой массе, в которой не было личностей, не было имен, а помощь доставлялась не кому-то конкретно, а в лагеря. Затем появилось старое название, исчезнувшее было из политического словаря: палестинец. Эти слова — мужского, женского рода, единственного, множественного числа — не обозначали ни мужчин, ни женщин, а только революцию, и супердержавы, знающие одно: палестинцы — это революция, еще не понимали, что с ней делать: то ли подавить, то ли возглавить. Неуправляемые, якобы свободные

[62] Примечания: 62

Ближневосточное Агентство ООН для Помощи палестинским беженцам и Организации работ (*Прим. перев.*)

с 1966 года, палестинцы, вероятно, тревожили что-то совесть, но нельзя сказать, чтобы о них, действительно, думали, они оставались чем-то абстрактным.

Кибитки стояли у въезда в деревню — или, если угодно, у выезда? — чуть в стороне от свалки, слово, которое прилипает к пальцам и простыням, следствие и доказательство большого счастья или маленькой смерти, хозяйственные отбросы, мешанина из пустых банок, вспоротых консервными ножами, старых матрасов, разбитых тарелок, в которой копались босоногие дети, живущие в таком вот таборе. Женщины ходили гадать в платьях из искусственной тафты с оборками, а мужчины плели корзины: смуглые мужские руки выполняли быстрые заученные движения. Похитители куриц старались не сталкиваться с крестьянами, дети и женщины ходили в деревни, просили милостыню, подворовывали, врали, обычный перечень всех пороков, маленький ад на колесах, который перемещался с места на место на виду у общины. Настоящие фидаины знали закон и подчинялись ему, но перед какой галеркой давали представление палестинцы из такого вот кочевья? Целый мир? Бог? Они сами? Они присматривали друг за другом, чтобы иг-

рали хорошо и не халтурили? Противоречили сами себе?

Последний цыганский табор мне довелось видеть в Сербии, как раз у въезда в деревню (или выезда из нее) Ужице-Пожега возле кучи мусора. Тем утром распряженные лошади тянули деревянные раскрашенные кибитки. Полуголые дети, увидев меня, бросились предупредить женщин, которые, в свою очередь, поспешили предупредить мужчин с грязными всклокоченными волосами, из-под которых виднелась лишь четверть лица с одним глазом, достаточно, чтобы разглядеть меня, а больше им ничего и не надо было. Потом исчезли и эти фрагменты лиц. Чуть позже появились две красивые женщины лет шестнадцати, они прошли, дерзко виляя бедрами, явно мне наперерез, и остановились у стены дома, провоцируя меня. Стоя напротив, но словно под защитой табора, который внимательно следил за ними, они медленно стали поднимать подолы своих длинных платьев с оборками, одно зеленое, другое черное с красными цветами, и, задрав их высоко, до пояса, продемонстрировали мне свои небритые лобки. Палестина — блуждающий спутник, перемещающийся в пределах арабского мира, а фальшивое племя, искусственный

спутник Палестины, вращался вокруг нее, не ударяясь и не соприкасаясь. Эти племенные отходы продолжали вращаться на орбите, как когда-то, в Сербии, цыганские поселения, которые сербы держали на отлете, в стороне от своих привычек, своей морали и от себя самих, потому что это был их способ выжить. Если космический порядок требует наличия солнц, вокруг которых вращаются звезды, социальный порядок представлялся мне точно таким же; любое солнце сохраняет определенную дистанцию в геометрическом смысле этого термина. Этот космогонический закон социальных сфер так стар! а некоторые непредвиденные обстоятельства, ведущие к его нарушению: браки по расчету, безумные любови, победы какой-нибудь крошечной династии над соперниками, биржевые спекуляции и их катастрофические последствия, кружения земных и небесных тел, — на несколько мгновений придавали всему другой масштаб, это чтобы понять воздействие палестинской революции.

Израиль был солнцем, которое хотело быть самым особенным, коль скоро не может быть самым ярким и самым далеким в космосе, он стремился быть первенцем в расширяющейся вселенной, первенцем, появившемся после боль-

шого взрыва.

Став османской провинцией, Сирия считала себя матерью Палестины, которая оставалась территорией османской империи, но эта территория была пространством, где пребывали сильные мира сего, все, так или иначе, намагниченные Блистательной Портой, при этом каждое семейство пыталось оттолкнуть от нее других. В сентябре 1982, когда израильская армия из Восточного Бейрута перешла в Западный, Набила Нашашиби из-за своей внешности и палестинского акцента опасалась, что с ней будут дурно обращаться, ведь она была главным врачом госпиталя Акка, на краю Шатилы. Вместе с мужем она укрылась в квартире Лейлы, одной из последних потомков семейства Хусейни. Я попросил ее:

— Расскажи мне о Палестине под османами.

Мы сидели в роскошной гостиной матери Лейлы. Набила начала:

— В Палестине при османах было два знаменитых семейства, Хусейни и Нашашиби. Палестина, по-прежнему ведущая военные действия, была их общим садом.

Она окинула взглядом комнату, увидела вышитые подушки, ткани, произведения искусства, драгоценности, людей вокруг.

— Ты можешь отвезти меня во французское посольство? Мне здесь не по себе. Это место ненадежное.

По договоренности и согласию этих старинных фамилий, друзей-соперников, престиж каждого семейства основывался, с одной стороны, на родстве полуторатысячелетней давности, их происхождении, через Али и Фатиму, от пророка Мухаммеда, а с другой — на редкой в мусульманских странах открытости Западу благодаря обучению в европейских школах в городах Палестины и Ливана. Я догадывался, как изворотливо действовал ФАТХ и особенно Арафат, используя в своих целях эти семейства, которые, как мне казалось, некоторым образом сами его использовали.

Как должны были лечь карты (очевидно, здесь соединились любовь и деньги), если два эти семейства, во всем, казалось бы, чуждые одно другому, сегодня породнились в результате брака?

Я пишу это, потому что мне хочется, чтобы читатель, хотя бы на время чтения, помнил, что в Палестине разворачивалась сложная история, где слишком многие рвались к власти. Это пространство отнюдь не было пустым. Сильные мира сего, прежде всего, крупные землевладельцы, лишенные имущества Израилем, еще сохраняют

престиж в глазах крестьян, потому что являются потомками Пророка.

Задолго до того, как стать фидаинами, они были палестинцами, все родом из одного уничтоженного леса, в котором по сю пору не засохли стволы двух десятков генеалогических деревьев, чьи последние ветки еще зеленели, а первым было как минимум полторы тысячи лет, а может, и больше, христиане и монофизиты при Византии, евреи и, наконец, мусульмане.

Эти старинные семейства, привычные к цинизму, обману, фальсификациям, не опасались мировых потрясений, но те, что шли непосредственно за ними, теряли от страха голову. В Бейруте один знакомый главный редактор газеты с ужасом говорил мне, что чувствует, как постепенно вступает на путь порока:

— Мой сын стал приносить в дом свежие фрукты. В первый раз я отказался от них, происхождение показалось мне сомнительным. Во второй раз я их ел, потому что был очень голоден. Потом я уже стал ждать, когда сын их принесет, и, наконец, стал его наставником в искусстве воровства. Воровство фруктов, нефти, муки, казалось бы, это ерунда, но мы *лжем*, вот что самое страшное. Вторжение чужого государства сделало из нас

преступников. А самое главное — лжецов, одно это означат, что в какой-то момент наша мораль стремительно обрушилась.

Когда я слушал его, мне казалось, что передо мной — потрепанное будущее доктора Махджуба.

Действенный, хотя и довольно банальный моралистический причинял настоящую боль представителям буржуазии, еще верящим в вечные ценности, проповедуемые отцами в школе Святого Иосифа. Эта самая буржуазия стояла в социальной иерархии как раз под знатными семействами, чей воинственный и напористый аристократизм ограждал их от излишней щепетильности. Именно в здешних благородных кругах была изобретена поговорка: «Украсть — это просто поменять местоположение предмета».

Забавно, что недалеко от Аммана, то есть, от администрации хашимитов и от палестинских волнений, маленькое племя численностью около пяти сотен человек, бродячее племя, проживало в палатках рваных и латаных, еще хуже, чем в палестинских лагерях, скитаясь от долины к долине, кормясь тем, что добудут мелким воровством и попрошайничеством. Я узнал его историю от мужчин племени, если, конечно, они

не солгали: доктор Альфредо спросил у меня, что мы могли бы сделать для маленькой группки бродяг, не внесенных ни в какие списки. В 1970 году она насчитывала пятьсот шестьдесят три человека. Это был один род, их изгоняли из лагерей, деревень и округов, у них не было не только своей территории, но даже просто клочка земли. Они ставили палатки на недавно убранных полях ржи. Поскольку их не признавали, даже в качестве «перемещенных лиц», ООН не защищала их права. Чтобы как-то прокормиться, они, не умеющие ничего делать и, как мне кажется, ненавидящие всякую работу, воровали и попрошайничали. В этом маленьком псевдо-племени имелась, однако, своя иерархия, внизу — все женщины, девочки, затем дети мужского пола, сильные мужчины и, наконец, шестнадцать бородатых стариков, а над ними — вождь, которого я видел, но знаком с ним не был, он показался мне самым старшим в племени, у него было больше всего власти, а манеры вроде бы и мягкие, но не допускающие никакой фамильярности.

Их родным языком был арабский, на нем, как мне пояснили, говорили в Латакии, сирийском порту. Наверное, оттуда они и пришли, точно не могу сказать, потому что все, кого я расспра-

шивал, давали разные ответы: вероятно, они пустились в дорогу в 1948 году, когда Израиль выгнал их из Палестины. Затем потерялись где-то в пустыне Негев, где оставались больше года. Потом отправились к Синаю, вернулись в Палестину, которая уже называлась Израилем, различными путями через Петру попали в Иорданию, добрались до северных и восточных областей, и вот, так нигде и не обосновавшись по пути, никому не доверяя, ни на кого не полагаясь, дошли до окрестностей Аммана, где мы, Альфредо, Набила Нашашиби и я, с ними и познакомились. Со дня Исхода численность группы практически не изменилась благодаря тому, что сурово порицалось Церковью: инцесту.

Мы вчетвером: Альфредо, Набила, фидаин по имени Ширан и я, решили их навестить, для начала просто, чтобы пересчитать, определить, чем им можно помочь. Ширан переводил:

— Мы придем послезавтра. Мы насчитали двадцать три палатки. Мы принесем одеяла: по восемь на каждую палатку. Спички. Ящики. Мыло. Сто банок тушенки. Двести банок сардин.

Все или почти все население табора вышло к нам. Они явно были разочарованы, потому что мы не стали ничего раздавать сразу. Когда мы

начали говорить, люди пожимали плечами. Они привыкли жить не просто сегодняшним днем, а теперешним мгновением, и не могли представить себе будущее, «послезавтра» было для них непостижимо. Впрочем, не знаю, по какой детали или деталям, я понял, что мы скорее имеем дело с группой людей, выбравших маргинальное существование сознательно — может быть, с толпой, поставленной вне закона палестинцами, предпочитавшими сами оставаться в рамках закона — чем с остатком племени, численность которых уменьшилась из-за долгих переходов, смертей, усталости и нищеты. Во всяком случае, мы убеждали себя, что это псевдо-племя, познавшее столько горя, принадлежит к большой общине, что оно не брошено на произвол судьбы. Нас беспокоило, что, несмотря на настойчивые просьбы Набилы и Ширана, никто так и не сказал нам ни своего собственного имени, ни названия племени, так что когда мы рассказывали о нуждах людей, не будучи в состоянии назвать их, палестинские власти, полагая, что мы выдумали этих призраков с их проблемами, так ничем и не помогли, только смеялись над нами. Одеяла и консервы мы взяли из нескольких складов в лагере Бакаа, власти которого были не то, что

жалостливы, а просто любезны. На следующий день мы вернулись с небольшим грузовиком подарков.

В Иордании до сих пор верблюд — символ богатства и благополучия, в племени имелся один верблюд, четыре лошади и стадо коз. Это поголовье скота целиком принадлежало вождю, которого никто из нас еще не видел.

Не думаю, что услышав наше обещание вернуться только через день, женщины и мужчины племени решили, что мы уже не вернемся никогда, просто наше возвращение показалось им очень далеким, как возвращение кометы, которое, конечно, можно вычислить путем сложных подсчетов, но новые поколения с большим трудом, словно подзабытую сказку, вспоминают о страхах и беспокойствах, какими сопровождалось ее предыдущее прохождение рядом с землей. В каком-то смысле и наше возвращение превращало их в собственных потомков. Вернуться после двух тысячелетий ожидания, причем, вернуться с многочисленными подарками — это было сродни празднику. Посреди лагеря натянули большую палатку, узкую и очень длинную, ее окружило все племя. Свой грузовик мы оставили рядом с палаткой под охраной двух фидаинов. Стояла

полная тишина, только Набила обменялась приветствиями с несколькими женщинами. Полог палатки приподнялся, и мы оказались внутри. Шестнадцать старейшин сидели на корточках на одеялах в одном конце, а мы на таких же одеялах — в другом. Женщины подали чай всем, но прежде обслужили старейшин. Когда настала наша очередь, первому, очевидно, по старшинству, подали мне. Было слышно только, как губы втягивают обжигающий чай, англичанам эти звуки показались бы крайне неприличными, но были такими красивыми здесь, среди бород и песков!

Приподнялся полог палатки с той стороны, где сидели старейшины: появился Старейшина шестнадцати старейшин и всех остальных. Нас он не увидел. Все шестнадцать поднялись, мы тоже; первого из шестнадцати Вождь шестнадцать раз поцеловал в правую щеку, второй удостоился пятнадцати поцелуев в правую щеку, и мы слышали эти поцелуи, я даже думаю, что смачный звук прикосновения губ к коже был дополнительной милостью, третий получил четырнадцать приглушенных поцелуев, четвертый тринадцать поцелуев, пятый двенадцать, шестой одиннадцать, седьмой десять, восьмой девять поцелуев. Затем Вождь немного перевел

дыхание и набрал слюны. Он был бородат и имел благообразный вид; если бы рядом с ним стоял какой-нибудь мальчик, поддерживая черную шерстяную мантию или если бы он распростерся ниц, не оставалось бы никаких сомнений, что в этом лже-племени, как в Ватикане, продолжается ритуал Византийского Двора. Вождь возобновил свои труды: девятый старейшина удостоился восьми поцелуев в щеку, десятый семи поцелуев, одиннадцатый шести, двенадцатый пяти, тринадцатый четырех, четырнадцатый трех, пятнадцатый двух, шестнадцатый одного поцелуя, который стал последним. Явив нам это чудо: словно украдкой показав ритуалы племени, он отвернулся, так и не взглянув на нас, и вышел из палатки. Один из шестнадцати старейшин отделился от группы и, подойдя к нам, очень вежливо сообщил по-арабски, что вождь принимает подарки и сам займется их распределением.

Откуда взялись эти хоть и скупо, но вполне обдуманно раздаваемые поцелуи? Никогда, ни в исламе, ни где-либо еще, я не встречал такого: чтобы высшее должностное или духовное лицо целовало вот так, сдерживая чувства, словно на каждую щеку приклеивало, вернее, пришпиливало, звучную медаль, при этом губы и щеки

слеплялись и разлеплялись с тем же шумом, с каким губы и языки втягивают обжигающий чай. Или на каждую щеку наклеивали марку? Откуда взялся этот обычай? Откуда восходил? Или это был церемониал, призванный выделить и отличить это псевдо-племя? Возможно, возникала иная иерархия, основанная на иных представлениях о старшинстве и первенстве; и, повзрослев, нынешние дети сами будут раздавать эти отличительные знаки благородства, полагая их самыми древними из всех существующих в мире.

Набила, Ширан, Альфредо, два других фидаина и я, мы мгновенно поняли: раздавать груз придется нам самим, иначе мы так и уедем обратно с полным грузовиком. Шестнадцать старцев удалились, не протестуя и не улыбаясь. Мы осмотрелись: в лагере стояло не двадцать три, а восемьдесят семь палаток. Каждая представляла собой кусок полотна на ветке, в них жила одна женщина или один ребенок, в самой населенной обитали трое: девушка, девочка и мальчик, все в соплях. Поскольку мы пообещали по восемь одеял на каждую палатку, пришлось привезти еще четыреста, мы сговорились на этой цифре. Вечером следующего дня у ворот сектора Газа женщины перепродавали или обменивали на

консервы около четырех сотен одеял.

— В их положении я бы делал то же самое, — признался мне Альфред.

— Я тоже, — сказала Набила.

— И я, — сказал я.

Но перепродавая их нам же, они все-таки переходят границы, — подумали мы трое.

Это происходило зимой 1970–1971. Когда я появлялся на базе Аджлуна, с каждым разом все более худой, более бледный под слоем загара, с длинными волосами, где уже виднелись отдельные седые пряди, доктор Махджуб, улыбаясь, приветствовал меня, сам он, страдая от серьезного заболевания позвоночника, ходил сгорбленный и выглядел заметно постаревшим. В декабре он говорил мне:

— Хоть бы нам удалось пережить зиму!

А в январе:

— Тяжело переносить холод. Особенно ветер и снег. Когда плохая погода закончится, всё будет хорошо.

В феврале он уверял меня:

— Пусть постараются и пришлют еще продовольствия в Амман. Нам скоро будет не хватать. Посмотрите на фидаинов, они слабеют. Многие кашляют. Очень жаль. Когда появится солнце,

всё будет гораздо лучше.

Доктор Махджуб не видел, какими здоровыми выглядели солдаты-иорданцы: в казармах хорошо топили, их кормили бараниной и курятиной. В марте случился еще один приступ откровенности:

— Жан, вот и солнце. Еще один холодный месяц и все будет прекрасно. Я надеюсь. Потому что у нас уже почти не осталось лекарств.

Махджуб знал, что произошло в Зарка. В нескольких километрах отсюда был построен госпиталь на средства Ирака. Международный Красный Крест, врач и медсестры, лечившие фидаинов, через несколько дней должны были его покинуть: госпиталь переходил в собственность иорданского правительства. Думаю, авторство этой идеи и ее исполнение принадлежало Альфредо, во всяком случае, сказал мне об этом именно он:

— Поедешь с нами, хорошо? Посмотрим, что происходит в иракском госпитале. Там будет Набила. Грузовик поведет Феррадж. С ним будет один его приятель.

Немного об Альфредо. Выросший на Кубе, где изучал медицину, преданный делу палестинцев, он, разумеется, говорил по-испански, по-англий-

ски и по-французски. Вроде бы кубинец, но мне рассказывали, что он родился в Испании, его мать — кастильская графиня. О политике Кастро он отзывался очень критично.

Альфредо питал недоверие к Красном Кресту, который во время битвы при Аммане отказался помогать палестинскому Красному Полумесяцу. Кубинец и врач, Альфредо ругал западную медицину. Выросший на Кубе, работавший врачом в Гаване, он иногда спрашивал в шутку:

— Палестина или Катманду, я еще не решил. А ты что думаешь?

Вооруженный часовой пропустил нас на территорию иракского госпиталя. В холле один на другом громоздились заколоченные ящики с этикетками. Ящики с медикаментами, хирургическими инструментами, присланными из Китая или Тайваня и разных европейских стран. Но кроме часового, который, к слову сказать, курил на посту, ни одной живой души. На втором этаже тоже никого. Мы все, Набила, Альфред, Феррадж и я направились на террасу. Лежащий на груде полотенец светловолосый молодой человек, совершенно голый, ласкал такую же голую блондинку, на фонографе рядом с ними вертелась пластинка, которую ни тот, ни другая

не слушали. Наше вторжение прервало их ласки. Феррай и фидаин тут же вышли.

Шведский доктор и голландская медсестра стали одеваться. Альфредо сказал мне:

— Обругай их как следует по-французски, Набила переведет на английский. Только подольше ругай, а я пока пройдусь, посмотрю раненых.

Хотя палестинская врач Набила Нашашиби была возмущена, она, как и я, с трудом сдерживалась, чтобы не расхохотаться, впрочем, возмущение, которое мы с ней разыграли, произвело на парочку впечатление.

«На втором этаже два десятка раненых, и никто ими не занимается», — вернувшись, сообщил нам Альфредо. Он тоже принялся укорять явно напуганных шведского врача и медсестру. Затем обратился ко мне по-французски:

— Давай еще немного.

Набила перевела вконец сконфуженному врачу мои не вполне искренние упреки. Вернулся Альфредо:

— Оставь их. Пойдем.

Два часа спустя медсестры палестинского госпиталя делили между собой медикаменты и хирургические инструменты из ящиков, которые Феррадж и его приятель-фидаин успели

погрузить на наш грузовик, пока мы отчитывали шведа и голландку.

На следующий день по причинам, не имеющим отношения к этому воровству, нас, одного итальянского доктора, Набилу, Альфредо и меня, вооруженные иорданцы задержали возле Аммана, привезли в полицию и отправили в тюрьму. Но довольно быстро отпустили. Абу Омар, которому сообщили об этом задержании, потребовал, чтобы я с фидаинами отправился на берег Иордана и там оставался под их присмотром. Вход в Амман мне был запрещен. Он боялся моего ареста. В Аджлуне я вновь встретил лейтенанта Мубарака, суданского офицера.

На мгновение привиделась надвинутая на один глаз шляпа-канотье а-ля Морис Шевалье. Этот просторечный выговор парижских предместий уже много лет не услышишь ни в Бельвиле, ни в Менильмонтане, ни в Пантене. Когда-то это были названия оборонительных сооружений, теперь же это периферийные зоны, и говорят там на французском языке, таком же грамматически правильном и чистом, как по радио или на телевидении, уж конечно без парижского акцента, например, без этого жирного раскатистого «р», которое словно колотится о стенки горла, напоми-

ная испанскую хоту, так что обычное «моросит» произносится почти как «морррррросит»; в 1943 я слышал, как какой-то штукатур в сдвинутой на затылок фуражке исправлял полицейского, похоже, уроженца Пуатье:

— Кажется, моросит, — громко произнес коп.

— Ты говоришь неправильно. Надо: морррросит.

До сих пор некоторые слова из моей юности используются в грубой поэзии, смягченной ароматами ширинки и кальсон, только без парижского акцента и без — к сожалению — арготических находок. Если хочешь вновь отыскать в языке живые затейливые фиоритуры, имеет смысл послоняться в окрестностях Руана, Гавра, Ле-Гран-Кевийи, Бове, Санса, Жуани, Труа — возможно, Централ заставляет молодежь быть более изобретательной. Маловероятно, что мальчишка в слишком длинных — не по росту — брюках окажется балагуром с хорошо подвешенным языком. Скорее, какой-нибудь парижский архиепископ с просторечным выговором, давно занимающий эту должность. Вот пример такой бойкой речи: как-то, году в пятидесятом, я остановил на улице такси. Шофер лет шестидесяти с седыми усами на какое-то мгновение задумался, глядя на меня,

затем согласился:

— Подходит, мне это по пути, я как раз в гараж.

Я сел на заднее сидение:

— Значит, вам и платить за поездку?

Он медленно повернул голову, внимательно посмотрел на меня, затем, отвернувшись, бросил через плечо, словно прощая мне мою бестактность:

— Щас, приятель, а еще любовь-морковь и сдачу в придачу.

Здесь было все: и парижский акцент с нарочитым грассированием, и стремительная реакция, и насмешка, с какой он меня разглядывал, и как он меня поставил на место, как мгновенно оценил и нашел правильный тон; ранним утром в Париже на площади Республики мне был явлен маленький лингвистический шедевр. Эта бойкая болтовня, подумал я, словно привезена пригородными поездами, что отправляются с пяти главных парижских вокзалов до какой-нибудь случайной конечной станции. В проходах вагонов второго класса стояли мужчины и женщины, переругиваясь и раскачиваясь при малейшем изгибе железнодорожных рельс, а на вокзалы Дёйя или Мёлана высыпали полу-сенегальцы, четверть-арабы, чистокровные гваделупцы, ко-

торые осторожно, стараясь не задеть ни одного горшка, перешагивали французскую герань, и внезапно, при свете вышедшего, наконец, из облаков полумесяца вокзал в Дёйе становился международным, как аэропорт в Карачи. Джинсы, тесно обтягивающие бедра и ягодицы, казались эротичными и целомудренными одновременно, до такой степени гармонировали они с наступившей ночью; все были обнажены. Стоило лишь прозвучать слову «Чао» со всеми существующими на свете акцентами, вновь наступала тишина. Широкой поступью передвигались немые тени. Верлан[63] еще не был так популярен, как сегодня, впрочем, ни один француз не решился бы пользоваться им в Иордании, поскольку верлан был бы там столь же неуместен, как громкий выхлоп кишечных газов, что у арабов считается верхом неприличия. Время от времени, как того требовала французская мода, произносились два, иногда три слога вместо всего слова целиком. Экономные рыбаки ногтем делят червяка на семь-восемь частей, и каждый такой кусочек насаживают на рыболовный крючок; так фразы того времени

[63] Примечания: 63

Пласт лексики в составе французского молодёжного сленга. Изначально использовался рабочим классом и иммигрантами, живущими на окраине Парижа. (*Прим. перев.*)

состояли из обрубков, которые распознавало сведущее ухо.

Например: «Я быстр’ поднл’ по лестн’, а тут и он повилс’, ты предств’?», ну и тому подобное.

Но при арабах наши французы по имени Ги не стали бы говорить на подобном языке, который им самим, как они мне признавались, казался уродливым. Я оценил их деликатность, но лишь гораздо позднее узнал от Омара ее истинную причину: сокращения могли бы показаться окружающим подозрительными.

— Эти обрубки французского за границей примут за тайный код. Тебя расстреляют и не за такое, — сказал мне Ги II.

— Мы же работаем на базе.

Омар снова собрался заговорить, но так и остался стоять с раскрытым ртом, Ги II продолжал:

— Во-первых, глупых профессий не бывает.

Ги I уточнил его мысль:

— Но бывают глупые люди.

— Палестинцы такие же люди, как и мы, — сказал Ги II.

— Почему бы им не помочь? Они имеют право на родину.

Поскольку это последнее слово в конце фразы, показалось неуместным, Ги I поспешил доба-

вить:

— Они хотят, чтобы это была демократическая родина. Можешь сам прочитать, это есть в их программе.

— Если бы Помпиду попытался помешать мне приехать, я бы послал его куда подальше, — сказал мне Ги II, холодно, как написали бы в газетах, глядя на меня.

— Не понимаю, почему все не станут братьями, — сказал Ги I.

— Нельзя допустить, чтобы их аннексировали Америка или СССР. Франция должна протянуть им руку помощи. Но раз Хусейн фашист, почему бы от него не избавиться?

Конечно, оба они были парижане и говорили без провинциального акцента. Они словно вышли из метро на площади Бастилии. Палестинцы молча смотрели на трех французов и двух француженок, не догадываясь, что здесь, в Аммане, в этой самой комнате на их глазах Франция сражается за заморские территории, а может, это место воссоздавало интерьер парижского бистро. Наверное, эти благородные двадцатилетние юноши добрались сюда автостопом, ехали через Италию, Югославию, Грецию, Сирию, чтобы помочь жителям Вихдата возвести новые стены, понимая,

что они, и стены, и каменщики, возможно, будут уничтожены бедуинами Хусейна. Кажется, чуть выше я довольно точно воспроизвел обмен репликами. А фидаинам доставалось довольно жалкое украшение.

Не довольствуясь словами *благородный, благородство*, которые я написал из вежливости, я задавался вопросом: как же велика была у них жажда приключений, если они решились проехать столько стран? Очарование Востока, «пустынный Восток», «жемчужина Востока», романы Пьера Лоти, все это так, но какой разумный довод мог подвигнуть их отправиться на восток, повторить путешествие Марко Поло? Безрассудство — такая же загадочная первопричина, как и изначальный Большой Взрыв, о котором ничего толком не известно: ни что его вызвало, ни был ли он вообще, впрочем, если у Большого Взрыва не могло быть прецедента, то у обоих Ги как раз имелось много предшественников. Может быть, после событий мая 68 они отправились в Катманду, а по пути обнаружили палестинские лагеря? А возможно, перед отъездом листали какую-нибудь левацкую брошюру и наткнулись на слово «фидаин», которое озарило всю фразу, сделав ее особенно убедительной, и эта самая фраза

подвигла их на отъезд? В конце концов, почему они поехали? Почему они остались, это как раз понятно: они были очарованы всей этой обстановкой, но сам отъезд? Хорошо ли они понимали, какая дорога им предстоит, какие встретятся опасности, а главное — какова конечная цель? Они стали, возможно, к собственному немалому удивлению, учениками каменщика, не ведая, что эта профессия станет пред-предпоследним этапом. А последним будет смерть солдата.

— Все мы братья.

Я признаю универсальность французского дара: мы приносили им всё, искусство бетонирования, хорошие манеры, освобождение женщины, рок, искусство фуги, братство, и в этом даре для меня тоже имелось место, возможно, ничтожно малое, но полновесное.

«Если они будут продолжать в том же духе, мои патриотические иллюзии развеются, как дым». Я замолчал. Мы заметили, что лишь в две страны из вышеперечисленных требовались визы: Сирия и Иордания, их посольства имелись в Париже.

Того и другого звали Ги, но общались они друг с другом так:

— Эй?

— Что?

— Это ты зовешь?
— Нет, может, ты?
— А я при чем?

Ги I смеялся, потом Ги II, потом обе женщины. Для них и их подружек Европа была пустым географическим понятием, но зато Франция имела долгую историю, в которой Жанна д'Арк беседовала с Мендес-Франсом. Палестинцам они принесли свое благородство, рожденное на берегах Сены. Благодаря переводу Омара, сына господина Мустафы, фидаины кое-что понимали про май 68 и борьбу за права эксплуатируемых народов, но в основном, народов экзотических. Их улыбки напоминали зевоту или голодный оскал. Эта комната, примыкающая к бюро ФАТХа, напоминала помещение за театральными кулисами, где в компании пяти парижских реквизиторов Русских балетов 1913 года несколько Нижинских в трико тигровой расцветки с приклеенными листьями дожидались вступления к «Послеполуденному отдыху фавна».

Работая на базе и полагая, будто грязь — это некий признак плебейского благородства, то есть, пролетарской доблести, все четверо, как мне показалось, гордились своими измазанными лицами, шеями, руками, испачканной одеждой.

Ги II поразил меня фразой, которую произнес, как бы ни к кому не обращаясь:

— Ты так разоделся, чтобы делать революцию у слаборазвитых народов: белая шелковая рубашка, кашемировый шарф?

Мы еще немного поговорили. Все, кроме палестинцев, считали, будто я насмехаюсь над революционерами, рассказывая, что специально задержался в Каире на сутки: мне хотелось посмотреть на пирамиды, розовые в предрассветном тумане над Нилом.

— Вы ведь проезжали через Стамбул. И никто не захотел посмотреть на Святую Софию?

— Вообще-то бабы захотели.

Не могу объяснить, почему, но у меня было ощущение, что оба француза произносили арабские имена собственные будто с маленькой буквы. Если с языком имелись проблемы, то манеры казались безупречны: французы приветствовали арабов, как Людовик XIV своих конюхов, так огромна была их потребность хоть как-то досадить Помпиду, к примеру, они научились есть руками, причем, довольно изящно. А я эту науку так и не освоил.

Возможно, это слишком длинное описание французов объясняется своего рода ностальгией:

мне не удалось вновь услышать этот парижский акцент, так очаровавший меня когда-то. Он остался еще разве что у пассажиров пригородных поездов, но я так редко езжу в парижские предместья.

В течение всего путешествия, а может, и во время подготовки к нему, французы отращивали бороду и усы, еще такие юношеские, но уже вполне обильные, ведь они были убеждены, что едут к бородатым мужчинам, вероятно, им довелось увидеть какой-нибудь старый номер «Иллюстрасьон», вышедший во Франции во времена Абдул-Хамида, но молодые палестинцы носили только тонкие, аккуратно подстриженные усики. Единственными бородачами, которых они встречали на улице, (и редко в самом ФАТХе) были Братья мусульмане. Оба Ги вынуждены были сбрить свои бороды, а Омар мне рассказывал:

— Когда они только приехали, у них были такие большие головы, я называл их «два бородача», они здесь одного меня понимали. А когда они побрились, у них сделались маленькие лица, почти как у младенцев, когда я их увидел, мне захотелось дать им соску.

— Каналья, Жан!

Цвет и бархатистость его кожи, его нагота, его

мышцы, его гибкость, мягкие, мягчайшие, чуть ли не страдальческие черты лица, несмотря на шрамы племенных насечек, которые делали из него животное с тавром, животное сказочное, но стадное, то есть, скот для продажи, все это не имело бы значения, если бы не печаль, она словно исходила из него, окутывала оболочкой сумерек, и это было хорошо видно не только, когда он оставался один, но и когда он просто молчал рядом с вами. Его спрашивали, он отвечал. Ответ был разумным, зачастую довольно сложным, четко сформулированным, и это позволяло предполагать, что он обдумывал про себя вопрос еще прежде, чем он был ему задан. Но откуда шел голос Мубарака? Поначалу я наивно думал, что коль скоро его родной континент — часть сказочного мира, а не точной и строгой географии, то и его фауна, что вполне естественно, была порождением фантастического, а голос предназначен для пронзительных звуков, а не членораздельной речи. Если работорговля, охота на человека, покупка, продажа были — и остаются до сих пор — делом вполне официальным, как добыча урана, меди, вольфрама или золота, делом вполне обыденным, которым занимались и солидные банкиры, и всякого рода дельцы, чья

прибыльность зависела как от курса гульдена, так и от ударов хлыста, его французский был не просто понятным, грамматически безукоризненным, но он позволял себе кокетство — привнести в него этот акцент парижских предместий, который я искал так долго и тщетно, который считал навсегда утерянным, как какой-нибудь мертвый язык. При этой мысли я улыбнулся: негр из Судана — англо-египетского экс-Судана — стал кем-то вроде Жоржа Дюмезиля[64], хранителем акцента, как Дюмезиль был хранителем умирающих языков. Даже более того: ведь акцент, субстанция более летучая, чем язык, испаряется и пропадает гораздо быстрее. Так в Дамаске мне случилось поймать Тель-Авив по французскому радио и услышать репортера с насмешливым акцентом парижских пригородов.

Говоря, естественно, по-английски, обращаясь ко мне, Мубарак, смеясь, произнес: «Can I…», так, что я услышал «каналья». Свою печаль он мог бы прогнать в одно мгновение, но она возвращалась, и он, как мне казалось, никак не мог предвидеть ее возвращения.

Он мне рассказывал, что лет в пятнадцать влю-

[64] Примечания: 64

Жорж Эдмон Дюмези́ль — французский лингвист, мифолог и филолог-компаративист. (*Прим. перев.*)

бился в Мориса Шевалье, притом, что слышал только два его диска: «Проспер» и «Валентина». Ему очень понравился этот акцент, пародия на акцент Менильмонтана, и он сохранил его. Мубарак был восхищен, узнав от меня, что в просторечии Менильмонтан именуется «Менильмюш».

Все мои знакомые черные африканцы приблизительно возраста Мубарака были очень веселыми, даже в своем одиночестве. Я еще подумал, что он таит в себе какую-то серьезную рану, но таит так хорошо, что я и назвать бы ее не смог, не мог бы даже сказать, телесная она или душевная. Эта рана добавляла нечто к природному шарму Мубарака. У некоторых юношей голоса такие тихие, что нужно напрягать слух или просить их повторить. А лицо безо всякой на то причины кажется печальным, словно они в трауре: близнец, переживший своего брата, который умер на десятый или двадцатый день жизни.

— Каналья…

Он улыбался моему удивлению, и порой я спрашивал себя, может, он мешает французский с английским из-за снобизма.

Он исчез в своих сумерках, откуда я услышал — на арабском, английском, французском — фразу,

которую часто повторяют усталые фидаины: «У нас будет целая вечность, чтобы отдохнуть».

Эдакая милая причуда, как все эти фразы, чье происхождение неизвестно, авторство не установлено, а бойцы слышат их из уст Абд аль-Кадира, Абд эль-Керима, Лумумбы, Мао Цзэдуна, Че Гевары. Мне показалось, я даже узнаю знакомое звучание, и я сказал об этом Мубараку. Ироничный взгляд скользнул по мне словно вопрос:

— Ну, разумеется, первым сказал француз, тоже мне, пуп земли.

Я прошептал:

— «Вечность не казалось мне столь долгой, чтобы можно было отдохнуть».

— Так даже лучше, это чье?

— Бенжамен Констан, «Сесиль». Или «Красная тетрадь», уже не помню.

Он, похоже, был сбит с толку.

— Еще один слабак.

Он ходил за мной по пятам, словно ищейка.

— Знаешь, Жан, я африканец в Азии. Палестинцы приводят меня в замешательство.

— А еще Палестина это самая близкая к Африке страна.

— Для меня пирамиды — это уже Азия. Фарао-

ны, Навуходоносор, Давид, Соломон, Тамерлан, Пальмира, Зороастра, Иисус, Будда, Мохаммед, в них нет ничего африканского.

— А кто рядом с тобой?

— Наполеон, Изабелла Кастильская, Елизавета Первая, Гитлер. И еще: территория, пространство, это языковая вольность, причем, тщеславная.

И только гораздо позднее, кажется, уже после его смерти, я узнал, что он ни с кем никогда не спал. Ни с мужчинами, ни с женщинами. Наверное, его сперма через гортанный тембр его голоса перетекала в того или ту, кто его слушал. Не то, чтобы он рассказывал какие-то эротические истории — казалось, он избегал этих подробностей — но в теплоте его голоса была какая-то надежность, властная и застенчивая одновременно, как у напряженного члена, ласкающего любимую щеку. Вот и поэтому тоже я не сомневался, что он наследник бродяг из бывшего парижского предместья.

Может, он и сознательно копировал этот просторечный акцент, во всяком случае, мне так и не удалось застать его врасплох и заподозрить, что он обезьянничает. Разумеется, каждый будет помнить случаи или обстоятельства, после которых (или из-за которых) сохранился такой акцент:

летчик-мартириканец, оставивший случайной любовнице из Дижона на память о проведенной вместе ночи младенца, курчавого бургундца, юный немец из Гамбурга, разговаривающий на весьма изящном французском и использующий такие выражения: «он мне мозги засрал» или «у меня это в печенках сидит», и все это говорилось простодушно, без стыда и стеснения: его любовник, рабочий из Вогезов, проведший три года в плену во время войны, произносил это наивно и бесхитростно, сам не осознавая неуместности подобных слов, а главное, он не понимал, как плохо эти выражения вписываются во французский язык. Мимолетная встреча в Джибути… какой-нибудь унтер-офицер из Пантена, возможно, знал Мубарака в юности, он-то и оставил ему на хранение этот подарок: красивый акцент. Мубарак никогда мне об этом не говорил, разве что упоминал о том, как сотню раз прослушивал на патефоне «Проспера» и «Валентину» и как полюбил этот чуть хрипловатый голос Мориса Шевалье.

Гармония этого явившегося мне в сумерках пейзажа: синее небо, зеленые пальмы, охровая земля — напомнила мне, что палестинцы так же прекрасно гармонируют друг с другом, ведь

небо, пальмы, земля, солдаты не знали о существовании друг друга. Единственными звуками, которые я слышал в течение года, были треск автоматов и гудение самолета или вертолета, только после битвы при Аджлуне я понял, что курицы не переставали кудахтать, а коровы мычать, потому что я их, наконец, услышал.

Все, что я написал прежде, нужно было, чтобы отсрочить момент, когда я осмелюсь задать себе этот вопрос: если бы палестинская революция не была направлена против народа самого загадочного и непонятного, чьи истоки восходили к Истокам, а бытие возникло прежде Бытия, народа, который уготовил себе Тьму Веков, она бы привлекала меня с такой силой? Мне кажется, задавая себе этот вопрос, я сразу же и отвечаю на него. Четко выделяясь на этом фоне: Ночь всех Начал — и так будет всегда — палестинская революция переставала быть просто битвой за отнятую землю, она становилась борьбой метафизической. Навязывая всему миру свою мораль и свою мифологию, Израиль уподоблял себя Власти. Он был Властью. Стоило лишь взглянуть на убогие ружья фидаинов, и становилась очевидна эта несоизмеримая дистанция между двумя вооружениями: с одной стороны, довольно

мало убитых и тяжелораненых, с другой — истребление, санкционированное и одобренное европейскими и арабскими народами.

Бесконечные славословия Израилю; приветствия в адрес единственной демократии Ближнего Востока; орошенная, оплодотворенная, усаженная деревьями пустыня, где у каждой яблони или березки имелось свое имя; непримиримая, но весьма галантная борьба между ашкенази и сефардами; научные, археологические, биологические открытия этой страны, которая могла именоваться лишь Государством, и никак иначе; в 1970 всё, что до нас доходило, доходило через оккупированные территории, то есть, существовало нечто вроде цензуры, и мы получали искаженное изображение, пропущенное через фильтр Еврейского государства. Напрямую Израиль не говорил никогда или мы не слышали: о нем нам говорили оккупированные арабы.

На Ближнем Востоке Государство Израиль это синяк, кровоподтек, навечно застывший на мусульманском плече, и не только из-за последнего укуса — в 67-ом — но потому, что немного времени спустя в Дамаске арестовали и повесили Эли Коэна, потому что каждый палестинец и каждый араб считал, что его выслеживают евреи.

Несколько дней назад (1985) Д. сказал мне, что Моссад распространяет опиум и гашиш среди молодежи Южного Ливана.

— Американскую полицию тоже обвиняли в том, что она раздает наркотики черной молодежи.

— Знаю. Моссад стажируется в США. Цели, возможно, и разные, поскольку обстановка другая, но средства не меняются. Здесь люди Моссада надеются, что молодые, утратив волю, в эйфории укажут тайники с оружием и убежища фидаинов. Тут и пресса, и радио, и всякие слухи, якобы беспорядочные, а на самом деле, хорошо продуманные и адресные, израильтяне так активизировали свои службы разведки, что арабы просто сбиты с толку, среди них царит паника. Я сейчас расскажу об одном человеке, его многие знали. В Бейруте, той самой части, которая станет Западным Бейрутом, то есть преимущественно мусульманским, почти полностью про-палестинским, появился некий человек. Как он там появился, никто не помнит. В один прекрасный момент просто там оказался, вот и все. Никто ничего не видел, этот человек говорил по-арабски с палестинским акцентом, просто возник ниоткуда, как боги, которые иногда появляются на земле, и не хотят,

чтобы их до поры до времени узнавали, только вел он себя как-то странно. Дети смеялись над ним, родители жаловались, его называли просто Чокнутый. Безумие, оно везде, ничего удивительного, что и там оно было, иногда казалось каким-то нарочитым, что ли. Так вот, тот человек нес чепуху, вытворял всякие странности, например, вдруг вынырнет из темноты, направит прямо в лицо прохожему электрический фонарик и поет что-то бессвязное.

— Чокнутый, — говорили о нем, пожимая плечами. И добродушно улыбались.

Особо близко к нему никто не подходил, уж очень от него воняло отовсюду: от ног, изо рта — ужасно воняло — от рук, от задницы.

Он спал где придется, лишь бы от ветра укрыться, укутавшись в одно одеяло. Попрошайничал, ругался, говорил всякие гадости про израильтян.

15 сентября 1982, рано утром, в Западный Бейрут вошли израильские танки. Первые танки я заметил, когда они проходили мимо посольства Франции; в том, что израильские солдаты вошли в Западный Бейрут, не было ничего странного, но на первом танке жители Бейрута увидели Чокнутого. На этот раз он ничего не напевал, у него было суровое лицо. И униформа полковника

израильской армии.

Больше я ничего о нем не знаю, но уверен, что дурной запах тоже был уловкой, чтобы никто к нему не приближался, такая военная хитрость.

В это время, с 1970 года до переправы Садата через Суэцкий канал в 1973, Израиля не существовало; до нас доносились только крики, жалобы с оккупированных территорий, неистовые песнопения, и эти звуки особо не тревожили ни лагеря, ни базы. Если кто-то умирал или болел по ту сторону реки Иордан, это был семейный траур, но все чувствовали тревогу, слишком хорошо осознавали ситуацию: понятно, что война с Хусейном нужна была Израилю, чтобы не прекращать оккупации Иордании, а передвижения дипломатов доказывали значимость этих мест, где мы не значили ничего.

Порой ближе к вечеру к лагерному расположению подходил какой-нибудь араб в *галабее*. Вместе с нами он пил чай или кофе, съедал немного риса, негромко прощался и уходил. «Знаешь, почему он остался стоять? — спросил меня как-то Феррадж. — Он не мог сесть. У него вдоль ноги, под галабеей, ружье. Он идет в Израиль. Если успеет, то расстреляет все свои патроны, может быть, этой ночью или под утро сдохнет какой-ни-

будь израильтянин».

В следующих строках я попробую объяснить разницу между базами и лагерями. Очевидно, что эти записки адресованы европейцам, арабы и так знают, в чем дело. В самом деле, на базах и в лагерях менталитет был совершенно разный.

Вплоть до 1971 года базы вдоль Иордана наблюдали за оккупированными территориями и той частью Палестины, которую ООН назвал Израилем.

Эти базы являлись подвижными военными подразделениями, состоявшими из двух-трех десятков палестинских солдат, которые спали в палатках, из вооружения имелись простые ружья, впоследствии один или два автомата.

Базы были разными. Например, развернутые прямо на краю скалы, под которой течет Иордан. Другие базы, в нескольких сотнях метров от этих, служили опорой первым, и тоже выставляли сторожевые дозоры. Вокруг этого второго полукруга имелся третий, а за ним и четвертый. У меня сложилось впечатление, что эти четыре полукружья образовывали своеобразный лабиринт-препятствие. Та, что находилась прямо на берегу, казалась довольно открытой, потому что береговая линия не была слишком изломана, а

самой запутанной казалась та, что вела к дороге из Джераша в Амман, причем, говорили не «дорога», а «асфальт».

За всеми этими сооружениями следила иорданская армия, Она, в свою очередь, получала донесения от населения иорданских деревень, которые находились ближе всего к базам. Следует сразу же сказать, что на всем этом пространстве от «асфальта» до Иордана перемещение было довольно свободным. Женщины туда не допускались: разве что принести-унести письма, и никогда там не прогуливались, оставались сидеть на лужайке напротив караульного помещения.

Представьте себе состояние фидаинов, наблюдающих за этой территорией, их собственной территорией, по которой сновали туда-сюда враги, полагая, что они свободны или усиленно делая вид, что свободны, хотя за каждым поворотом дороги их подстерегали пули. От моста Алленби до моста Дамия — это название мне напоминает певицу шансона Маризу Дамия и ее песню «Злая молитва», в которой жена ушедшего в плаванье моряка просит Деву Марию, чтобы муж лучше утонул, чем был пленен сиренами — напротив иорданских фидаинов стояли израильские солдаты вперемежку с палестинским населением,

это были пленники гарнизонов или израильской администрации, так что из-за Иордана нельзя было выпускать пули наугад, и только лучшие снайперы держали на прицеле оккупированные территории, нет, даже не так: оккупированные-территории.

В наши дни, когда прошло столько времени, выражение утратило свою первоначальную, почти священную, силу, то же самое, что во Франции стало с «Эльзасом-Лотарингией». Дефис подчеркивал сходство, но сейчас, как и тогда, я зачарован этой комедией дружбы-ненависти, и то, и другое зачастую было притворным, зато более или менее широкие пограничные зоны — реальными. Ведь граница есть идеальная линия, которая не является предметом торговли, за исключением случаев взаимной договоренности между двумя народами, а эта граница и проход через нее контролируются *одновременно* обеими сторонами, отсюда и эти соглашения, которые как раз и являются фарсами, где лица — одно напротив другого — либо грозные, либо очень добрые, почти пленительные. И наконец, пограничная межа — или пограничная маржа — это то место, где любой человек в согласии или противоречии с самим собой выражает себя во

всей полноте. Если бы передо мной встал очень трудный выбор: стать кем-то другим, а не собой, я бы сделался альзасцем-лотарингцем. Где немец и француз не тождественны ни тому, ни другому. Переставая быть якобинцем, что бы он сам об этом ни говорил, любой человек, приближаясь к границе, становится Макьявели, не осмеливаясь утверждать, что это место и есть та межа-маржа, где можно быть целым и неразделимым, и, возможно, гуманнее было бы растянуть территориально эту приграничную территорию, разумеется, не уничтожив при этом узловые точки, потому что именно благодаря им возможны края, грани, границы, и я уже вижу здесь эту картину идеального предательства: одна нога сюда, другая туда, третья на север, четвертая на юг и так до бесконечности, этот архитектурный орнамент из ног, делающий любое передвижение, любой переход невозможными.

После оккупации Западного Бейрута Израилем в 1982 появилось множество историй, вот, к примеру, такая: по подземным переходам мальчишки провели группу ливанцев в мастерские, незадолго до этого покинутые палестинцами. Ливанцы нашли там только хорошо сделанные фальшивые доллары и набили карманы, все

они были водителями грузовиков. В те времена патрули не пропускали ливанские грузовики на север, например, в Бейрут. Проезжали только израильские, груженые в Израиле. И тут началась комедия: ливанские шоферы показывали израильскому солдату пачку долларов, солдат говорил решительное «нет», шофер показывал две пачки, солдат лениво прикрывал глаза, быстро совал доллары в карман, отворачивался, чтобы не видеть, как проезжает грузовик, и таким вот образов тысячи фальшивых долларов пресекли границу к радости солдат, шоферов и населения Западного Бейрута, счастливого оттого, что не едят продукты, загруженные в Тель-Авиве. Проехал грузовик. Потом еще десять. Потом все. Фальшивые доллары перекочевали в настоящие карманы настоящих израильских солдат, которые теперь процветают на гражданке или оказались в тюрьме.

В Бейруте меня уверяли, что история эта правдива. Скажем так: она была правдоподобна. В каком-то смысле она оказала благотворное влияние, наступило некоторое умиротворение, каждый был уверен, что облапошил другого, на том и сошлись.

Когда в июне начались бои, многим палестин-

цам, офицерам, унтер-офицерам и солдатам, дезертирам из армии Хусейна, удалось бежать, потому что иорданцы, бывшие братья по оружию, делали вид, что не замечают, кто переходит границы, я никогда не слышал о подобной взаимной учтивости «*на базах*» израильтян и палестинцев, но политика границ вещь такая тонкая, сложная и запутанная, что всякий, кто рискнул бы сунуть туда свой нос, лишился бы и носа, и жизни.

Но — и я уже говорил об этом — в ноябре 1970 еще можно было встретить на базах — на базах, не в лагерях — молодых людей с длинными растрепанными волосами, с пейсами на висках, которые шутили на древнееврейском. Пожилые фидаины были смущены и очарованы подобными двусмысленными шутками, потому что молодые люди насмехались и над Моше Даяном, и над Арафатом. Еще мы знали, что древнееврейский понемногу преподавали в школах. Когда заканчивался пост, эти молодые люди ели здесь так же, как любой араб, они вытирали руки о штаны, как любой еврей в Тель-Авиве.

Бумажная птичка, кораблик, стрелка или самолетик, какие мастерят школьники на уроках, если их осторожно развернуть, вновь превращаются в газетную страницу или лист белой бумаги.

Некую растерянность я чувствовал уже давно, но как же я был поражен, когда понял, что моя жизнь — я хочу сказать, разные случаи из моей жизни, развернутые, расправленные перед моими глазами — были всего-навсего листком белой бумаги, который я, сложив несколько раз, смог превратить в какой-то новый предмет, похожий на гору, пропасть, преступление, происшествие со смертельным исходом, причем, только я один и мог увидеть его в трех измерениях. То, что могло бы показаться подвигом, было всего лишь его видимостью, порой хорошо, иногда плохо сымитированной, а менее внимательные глаза принимали его за сам подвиг, когда замечали на моей руке шрам от сквозной раны, совершенно неопасной, потому что я нанес ее себе сам, но заметившие эту рану уже сами додумывали любовную авантюру: соблазненную женщину, ревнивого и вооруженного до зубов мужа, чье имя я храню в тайне, доказывая тем самым верность и уважение к любимой женщине, ну и, конечно, великодушие, коль скоро не выдаю воображаемого обманутого мужа. Так и моя жизнь состояла из незначительных поступков, постепенно разросшихся до героических деяний. Когда я понял, что моя жизнь входит в некую

полость, она, эта полость, показалась мне ужасной, как пропасть. Когда делают насечки золотых и серебряных узоров на стальных изделиях, на пластине вытравливают кислотой рисунок и инкрустируют туда золотые нити. Во мне не хватало золотых нитей. Меня подбросили в приют, то есть, мое рождение, конечно, отличалось от прочих рождений, но было не ужаснее других; детство на крестьянской ферме, где я пас коров, не отличалось от прочих детств; моя юность вора и проститутки походила на другие юности, когда воруют и продают себя в мечтах и наяву; моя видимая жизнь была притворством. Тюрьмы мне были роднее, чем полные опасностей улицы Амстердама, Парижа, Берлина, Барселоны. Там мне не грозило быть убитым или умереть от голода, их коридоры были самым эротичным и самым умиротворяющим местом, какое я только знал. Несколько месяцев, проведенных в Соединенных Штатах с Черными Пантерами, также станут доказательством неверного толкования моей жизни и моих книг, потому что Пантеры видели меня бунтовщиком, если только между ними и мной не существовало тайного сговора, о котором они сами не подозревали, ведь их движение, скорее, поэтический и театрализованный мятеж,

чем стремление к радикальным переменам, было мечтой, парящей над активной деятельностью белых.

Стоит только допустить эти мысли, они начинают следовать одна за другой: если вся моя жизнь была этой процарапанной, протравленной для чужого узора выемкой, если она была полостью, а ее воспринимали рельефом, если движение черных было иллюзией для Америки и для меня, если я пришел туда со всей своей искренностью и простодушием, и меня сразу приняли, значит, во мне признали *безыскусного притворщика*; и то, что палестинцы предложили мне пожить в Палестине, то есть, внутри вымысла, значит, и они опознали этого *безыскусного притворщика*? А их движения это тоже видимости, где меня могут просто уничтожить, но разве я уже не уничтожен своей не-жизнью в процарапанном для чужого узора углублении? Я размышлял об этом, уверенный, что Америка и Израиль ничем не рисковали, пускаясь на подобного рода обманки: поражения, представленные как победы, отступления, явленные как продвижение вперед, одним словом, это была мечта, парящая над арабским миром, способная уничтожить пассажиров самолета. Соглашаясь отправиться к Пантерам, а

затем к Палестинцам, выполняя свою функцию мечтателя внутри этой мечты, разве не был я очередной, оторванной от действительности, частицей этих Движений? Не был ли я европейцем, сказавшим мечте: «Ты мечта, главное — не разбуди спящего»? Едва стоило мне подумать об этом, как всё и появлялось: дрожащий на Аркольском мосту Бонапарт, Совет пятисот, поставивших его вне закона, упавший в обморок генерал; какой маршал — не Император — обеспечил победу при Аустерлице? Давид, изображающий на короновании сына Мать, отсутствующую в тот день в Париже[65]; может и к коронованию его принудил какой-нибудь необузданный папа? Какие углубления стали выпуклостями в «Мемориале Святой Елены»[66]? Но за этими первыми мыслями последовала такая: то, что знаем мы о людях, знаменитых и безвестных, было просто выдумано, чтобы скрыть пропасти и бездны, которые и есть жизнь. Итак, палестинцы были,

---

[65] Примечания: 65

«Коронование императора Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года» — картина французского художника Жака Луи Давида, созданная по заказу императора. (*Прим. перев.*)

[66] Примечания: 66

«Мемориал Святой Елены или Воспоминания об императору Наполеоне» — дневник, который вел граф Лас-Каз, последовавший за Наполеоном в изгнание на остров Святой Елены. *(Прим. перев.)*

возможно, правы, возводя потемкинские лагеря, лагеря львят, но что скрывали их убогие ружья, вернее, что должны были они изобличить? Событие, благодаря которому мы оказались на виду, — героическое извержение, что-то вроде вулканической лавы, мгновенно поднявшейся из постыдных углублений, и этой огненной массой были и народы, и отдельные люди? *Безыскусный притворщик*, возможно, низость возносит его на ту высоту, когда хребет уже не спрятать, он становится виден любому. И это уже иное уродство.

Не только видеть себя, но трогать и слышать себя, обнюхивать себя — это всё часть того ужаса, какой испытываешь, становясь чудовищем, ужаса и одновременно счастья, что ты им становишься. Быть, наконец, вне мира! Изменить пол — это не только подвергнуть свое тело некой хирургической коррекции, это значит указать целому миру на неизбежное синтаксическое искажение. Где бы вы ни были, вам станут говорить «мадам», «мадемуазель», пропустят вперед, когда вы будете выходить из фиакра, кучер протянет вам руку; «сначала женщины и дети…», услышав эти слова, вы поймете, что вас подберет спасательная шлюпка, когда «Титаник»» и пассажиры-мужчины пойдут ко дну; вы увидите

себя в зеркале с волосами — ваши пальцы даже смогут коснуться их — забранными в шиньон или небрежно распущенными; ваши первые каблуки-шпильки сломаются, и вы останетесь стоять как пентюх — не знаю, как это слово будет в женском роде; еще не привыкшая правая рука отправится туда, в то самое место, пытаясь прикрыть эрекцию, а она уже невозможна, потому что там у вас больше ничего нет… На самом деле, не все удивятся этим переменам: гормональным, хирургическим, поведенческим, но все в глубине души станут приветствовать ваше удачное перевоплощение, то есть ваше мужество: ведь вы решились и проживете в этом перевоплощении до самой смерти. Транссексуалы — или, вернее, транссексуалки, поскольку они заслужили свой женский род — настоящие героини. Это мы благоговеем, а они на «ты» с нашими святыми обоих полов, мучениками и мученицами, преступниками и преступницами, героями и героинями. Ореол — или нимб — над головой героев так же изумляет, как и нимб над головами транссексуалов. Герой, если не умирает от последствий этого самого героизма, до конца дней своих носит на голове зажженную свечу как на солнце, так и при луне. У нас имеются транссексуалы всех габари-

тов. Размеры «мадам Мейян»[67] по сравнению с размерами Мата Хари были весьма скромны. Многие фидаины — герои.

Черный, мускулистый, загадочный, с насечками на теле Мубарак шел рядом со мной, а я его не слышал. Не говоря напрямую, Абу Омар объяснил мне, в чем заключается моя роль здесь: «У вас очень трудная задача: вы не будете делать ничего».

Я понял это так: быть здесь, слушать, молчать, смотреть, соглашаться или делать вид, что не понял; с фидаинами быть стариком, с палестинцами — тем, кто пришел с севера. Каждый был сдержан, как и я. Именно здесь впервые я написал слово «крот», обозначающее мужчину или женщину, внедренного-внедренную в стан врага для разведки; некоторые фидаины, оказавшиеся в Аджлуне, задавали мне вопросы такие прямые, что наводили меня на мысль: может, они думают, я крот? Иногда мне казалось, они этого опасаются, но смущение быстро проходило, потому что если у командиров и возникали какие-то сомнения, они посылали мне фидаинов таких юных и красивых, с такими приятными лицами, что

---

[67] Примечания: 67
Селекционная чайная роза (*Прим. перев.*)

каждый раз я радовался столь верному выбору и принимал его как дань уважения, как подарок, которым хотели сказать: «Любуйся два часа на это лицо и будь счастлив».

Мубарак откровенно переходил к сути дела:

— Ты напишешь книгу, но опубликовать ее тебе будет трудно. Французы не интересуются арабами. Может быть, немного палестинцами, ведь нас обвиняют в геноциде евреев в Южном Ливане. Вообще-то в твоей стране, а еще в Англии, двух самых антисемитских странах в мире, нас одобряют, но открыто в этом не признаются. У тебя почти нет шансов, что тебя прочтут, но имей в виду: все любят стремительные, короткие фразы. Вот тебе образ: болезненный ребенок должен выпить рыбий жир. Он, улыбаясь, выпивает целый пузырек, потому что его чарует мамин голос. Ради нее он ложка за ложкой пьет эту гадость. Читатели пойдут за тобой, если ты станешь их матерью. Говори голосом нежным и непреклонным.

— Это когда «мягко стелет, да жестко спать»?

— То, что ты ничего не понимаешь в арабах, это само собой, но во французах ты не понимаешь тоже.

Он предложил мне написать сценарий, по ко-

торому сам снимет фильм.

— Ты араб или негр?

— Разумеется, я должен был бы иметь соображения на этот счет, но у меня их нет.

За двенадцать лет я был в кино только один раз. Содержание фильма и картинки были сразу же забыты, но осталось воспоминание о вечере, я чувствовал себя туристом в Бангкоке на кушетке у массажиста. Меня приютило кресло-кровать или кровать-кресло: восхитительный провал спинки и легкая приподнятость под локтями. Я с ужасом чувствовал, что попал в сладкую западню. Потушили свет. Мало того, что мое тело погрузилось в постель из пепла — воспоминание школьника, которому рассказывали, что Людовик Святой из смирения пожелал умереть в постели из пепла — я стал чувствовать себя нуворишем, быть может, эмиром, а мой взгляд радовался, когда камера выбиралась из ущелья, карабкалась по отвесной стене, чтобы я из своей пепельной постели увидел гнездо и яйца обыкновенной береговой ласточки. Наверное, это было пиршеством для бедняков, и я отреагировал мгновенно, я поднялся с кресла, сел на ступни лестницы, надеясь, что моя задница, по крайней мере, вновь почувствует шероховатость деревян-

ной скамьи; даже ступеньки были мягкими, и взгляд мой, не выискивая специально, находил детали, единение которых было радостью. Я вышел из кинотеатра. При помощи крупных планов и наездов камеры зрителям покажут смерть палестинцев до достижения полного их (зрителей) блаженства. Причиной поражения палестинцев было отнюдь не стремление фидаинов демонстрировать западному миру свои прекрасные профили.

Мубарак выслушал меня.

— «Мост через реку Квай»[68], что ты об этом думаешь?

— Никто же не присутствовал при победе японцев над англичанами, и к тому же, как вояк можно сравнить со статистами, набранными в Сохо.

— А искусство?

— Не имею никакого понятия об искусстве.

— У нищих бывают радости, каких вы и представить не можете. Умереть от голода ради того, чтобы вы получили выразительную фотографию голодающих. От них есть польза. Они ваше отражение в зеркале в те моменты, когда вы наиболее

---

[68] Примечания: 68

Британо-американский фильм реж. Дэвида Лина (1957). (*Прим. перев.*)

уродливы. Ты никогда не спрашивал себя, что думает о тебе твое отражение, когда ты поворачиваешься к зеркалу спиной?

— Ты хочешь, чтобы я себя возненавидел?

— Ты был в зале и вот зашел за кулисы. Ради этого ты приехал из Парижа. Но ты никогда не станешь актером.

Магнитное устройство, работающее рядом со мной, должно быть, остановилось. Никакое излучение до меня не доходило.

— Я… нужно посмотреть.

Мне стало стыдно или я спешил? Мубарак исчез.

Похоже, любой знаменитый пейзаж хранит отпечатки восторженных взглядов, когда-либо направленных на него: Пирамиды, Альгамбра, Дельфы, пустыня. Привычки и манеры лейтенанта Мубарака казались словно помятыми оттого, что им столько любовались. Возможно, так казалось одному мне, но здесь, на этих целомудренных базах особенно чувствовалось его стремление нравиться, похоже, он мог очаровать кого угодно и что угодно. Если ему нужно было соблазнить молодого или старого араба, он испытывал на них свои возможности. Поскольку ни один фидаин не мог должным образом оценить

то, как обдуманно и сознательно он привлекал внимание к своему телу и различным частям лица — глазам, губам, зубам, волосам — возможно, потому, что каждый обладал теми же сокровищами, но будучи целомудрен и стыдлив, не акцентировал на них внимание, он знал, что лишь я один взволнован — слегка — его присутствием, особенно, когда мы вдвоем шли по лесу. Он догадывался об этом с легко без труда и, садясь на траву, умело подчеркивал линию бедер или, шагая рядом со мной по тропинке, слегка отворачивался, продолжая разговор, расстегивал ширинку, мочился, а снова застегнувшись, протягивал мне сигарету. Палестинцы могли бы, как это звучало по-арабски, «пустить струю» в лесной поросли, но ни один из них не решился бы подать сигарету пальцами, которыми только что вынимал, поддерживал, засовывал обратно свой член.

В Мубараке было так выражено мужское начало — самца из казармы или неблагополучного района — и в то же время это была явная шлюха, я так и не понял, что он делал среди фидаинов, зачем приехал из Судана. Как и многие другие, он учился в Монпелье.

— Когда ты ругал правительство Помпиду, тебе

же на все было плевать?

Он мягко улыбнулся.

— Если я вижу новое лицо, особенно лицо белого, не могу не обратить на себя внимание.

Шрамы племенных насечек всё равно не позволили бы ему остаться незаметным, а еще эта черное лицо, блестящее, как лакированных башмак.

Он исчез на два-три месяца.

Я надеялся, он вновь стал офицером при Нумейри, потому что его стремление очаровывать мешало ему быть бессмысленно беспощадным.

Вот как прошла моя первая встреча с Хамзой. Ирбид на сирийской границе сопротивлялся иорданской армии лучше, чем, к примеру, Амман, а палестинский лагерь на окраине города лучше и дольше, чем другие палестинские лагеря в Иордании. Возможно, здесь помогла география: в приграничный город войска, боеприпасы и продовольствие доставить было проще. Объяснение правдоподобное, но недостаточное. Опасности, которым подвергалось приграничное население после захвата Израилем Голанских высот, способствовали, скорее, эгоизму, а не солидарности. И чтобы сделать этот эгоизм терпимым, на помощь сирийцам с другой стороны весьма своевременно

пришло понятие родины.

«В конечном счете, мы не иорданцы и не палестинцы, мы сирийцы. Ради интересов Родины, которой угрожают ЦАХАЛ и панарабизм[69] — последний явился не только из Дамаска, но из Каира и Багдада — мы должны быть настороже, то есть оставаться нейтральными». Это соображение, не лишенное здравого смысла, укрепляло, вероятно, выбор Хафеза аль-Асада:

— Возродить великую Серию, убавив, прежде всего, спеси у палестинцев.

Как же создается Родина, независимая единица? Жители Фландрии долгое время были независимы, как и бургундские, батавские, французские провинции, наконец, суверенное королевство породило новый тип людей: бельгийцы. Как нечто становится бельгийским? иорданским? палестинским? сирийским после двадцати пяти лет французского мандата и пяти веков османской оккупации?

Что касается жителей Ирбида, причиной их стойкости, помимо собственной храбрости, было расположение оборонительных сооружений, но прежде всего — проницательность палестинско-

---

[69] Примечания: 69

Общественно-политическое движение, направленное на консолидацию арабов Ближнего Востока (*Прим. перев.*)

го руководства, которое знало, точнее и быстрее, чем руководство Аммана или Джераша, если и не час, то точный день наступления черкесов и бедуинов Хусейна. В Ирбиде и его палестинском лагере имелись такие запасы воды, муки и масла, что после вступления войск бедуинов все это еще оставалось. Английский перевод этого приказа: атаковать в четыре часа утра на площади Максим, в Аммане, показывали мне много раз. Как мне рассказывали, приказ пришел из Дворца. Нельзя отрицать храбрость мужчин, женщин, продуманность оборонительной стратегии руководства, но с тех пор, как эти слова стали употреблять в Ирбиде, они перестали иметь отношение к Амману, который сдался быстрее. Отсутствие воображения у командования, растерянность и недисциплинированность населения и всего сопротивления — лишь жалкие слова, впрочем, как и храбрость, и военный гений. Они несут всю эмоциональную нагрузку слов, с помощью которых мы пытаемся объяснить то, что нас трогает, и забываем, что прежние годы, вызывающее наше негодование, придали эти словам вес, ощущаемый нами и поныне. И где бы мы ни были, нам всегда нужны будут слова с неопределенным, переменчивым смыслом.

Палестинцы так и не смогли преодолеть этот парадокс: по мере того как проходят года и века, слова наполняются чувством, сиянием, противоположными смыслами, разнообразными оттенками, как капитал прирастает процентами: слова становятся всё богаче. Как трудно делать революцию, если невозможно взволновать того, ради кого ее делаешь! А если нужно вызвать их волнение словами, наполненными прошлым, причем, прошлым на грани слез, что это за труд!

Множество признаков предупреждали нас о приближении солдат-бедуинов; даже когда известно, что всякое сопротивление в конечном итоге дрогнет и падёт, всё равно нужно сопротивляться, и среди признаков я могу отметить хлынувшие на дороги людские потоки: пешком, на мулах, на грузовиках, измученные, запыленные, страдающие от жажды люди, беженцы из лагерей Аммана, Бакаа, Газа. Растерянность администрации, вернее, того, что от нее осталось, растерянность на таможнях и в полиции, к которой мгновенно присоединились некоторые палестинские и иорданские копы, тогда как другие добровольно вступили в ФАТХ. Некоторые командиры — в особенности Халеб абу Халеб — полагая, что в отеле «Абу Бакр» мне

угрожает опасность, подозвали какого-то молодого человека, и он, улыбаясь, подошел к нам. Если кто-нибудь пятнадцать-двадцать раз видел фильм «Броненосец Потемкин», он знает, с какой надеждой смотришь на приветливое спокойное лицо русского моряка возле броневой башни линкора, его красота словно бросает вызов угрожающей поступи вооруженных солдат, спускающихся по ступеням лестницы.

Разумеется, солдат держал в руках автомат Калашникова, здесь это была такая привычная картина, что самого оружия я не видел, а видел только лицо, одно лишь приветливое лицо фидаина в обрамлении черных волос.

Приветливое, более того, озаренное уверенностью, что сопротивление в Ирбиде это конечная цель его жизни. Двадцать лет, черные волосы, куфия, едва пробивающиеся усы. Он был бледен какой-то матовой бледностью, несмотря на загар и пыль.

— У твоей матери есть свободная комната?

— Моя.

— На эту ночь?

— Этой ночью я сражаюсь. Он будет спать в моей комнате.

— Отведи его. Да защитит его Бог, это наш друг.

Абу Халеб, палестинский поэт, пожал мне руку. Больше я его никогда не видел.

Мы слышали, хотя довольно далеко, грохот тяжелой артиллерии. Наверное, орудия стояли в Джераше, который в 1970 был совсем маленькой деревушкой с глинобитными домами, возле бывшего римского поселения, от которого осталось несколько колонн, одни стояли, другие валялись на земле, но выражения «римское поселение» вполне достаточно. Хамза захотел нести мой рюкзак. Поначалу я не приметил в нем ничего такого, чего бы не видел прежде у других фидаинов: он улыбался, был весел, в мягким голосе чудилась какая-то опасность: непринужденность и даже развязность внезапно сменялась серьезностью. Он не казался пустым болтуном, и этим тоже был похож на других.

— Меня зовут Хамза.

— А меня…

— Я знаю, Халеб мне сказал.

— Твое имя он мне тоже сказал.

Он понял, что я знаю несколько арабских слов на магрибском диалекте и повторил их за мной. Было около полудня, середина месяца рамадан, месяца поста, когда мусульмане едят, пьют, курят, занимаются любовью только после захода

солнца. Как говорил Пророк, месяц поста — от рассвета до заката — Богу даруют в радости, а не в раздражении и недовольстве, и этот пост возмещается ночными празднествами. Покой укутал город Ирбид и его палестинский лагерь, словно снежное покрывало. На мужчинах, женщинах, всех вещах была печать какой-то отрешенности, свидетельствующей о мире и безмятежности, а может это была решимость такая твердая, что малейший отблеск мог бы сокрушить ее.

Скитание, блуждание ислама или исламского общества, перемещающегося в пространстве и во времени по уж и не знаю каким потокам, это повседневное земное скитание, блуждание, кочевничество проецировалось и на скитание-блуждание-кочевничество праздников, молитв, постов и самого месяца рамадан, если только эти блуждания по календарю не были символом некоего космического блуждания, смысл которого нам неведом. Кажущемуся постоянству католицизма Ислам противопоставляет фигуры вечно подвижные, вечно изменчивые на небе и на земле.

Напряженность, заметная возле дороги, исчезала по мере того, как мы входили в город и лагерь.

Мужчины и женщины, какого бы возраста они ни были, шли, зная, куда и зачем. Каждое деяние имело свой вес, свою цену, ее не увеличивали и не уменьшали близость тяжелого вооружения или запасного выхода — или ловушки — каковой для преследуемых палестинцев могла стать сирийская граница. Открыта она или закрыта, этого никто не знал. Думали, что она открыта, а ее закрыли пять минут назад. Или наоборот. Это был октябрь 1971, и враждебность по отношению к палестинцам торговцев, владельцев отелей Ирбида, простых людей на улице была довольно заметна, я это наблюдал сам.

— Я найду такси, и завтра ты будешь в Даръа. А послезавтра в Дамаске.

Хамзу знали многие, а в лагерях, похоже, все. Встречные прохожие здоровались с ним, улыбались, подмигивали. Он отвечал улыбкой.

— Ты какой религии?

— Никакой. Ну, если настаиваешь, то католик. А ты?

— Не знаю. Возможно, мусульманин, но еще не знаю. Сегодня я воюю. Этой ночью я убью одного или двух иорданцев, то есть, других мусульман. Или они меня убьют.

Он сказал это мне, улыбаясь, не то, чтобы он

был очень доволен собой и своим ответом, но глаза его сверкали, а зубы блестели. Звуки ружейной пальбы и разрывов снарядов не затихали ни на минуту и казались просто погодным явлением. Мы шли по улице, вдоль которой стояли великаны с едва пробивающимися усами, с винтовками в руках; длинные, вьющиеся или закрученные в спирали волосы, от светло-каштановых до рыжих — такая прическа называется локонами или буклями — падали им на плечи. Солдаты стояли, прислонившись к стене. Пытаясь в полдень отыскать полоску тени, которая становилась все уже и уже, каждый словно хотел истончиться, как афиша, и вжаться в стену. Хамза здоровался с ними.

— Фидаины из Ас-Саики, — сказал он мне.

Ас-Саика. Название палестинской организации, союзницы сирийских правительственных войск, слово, обозначившее этих мощных вооруженных д'Артаньянов в пятнистой маскировочной одежде, в ботинках на бесшумной подошве прозвучало для меня как дерзкий вызов: «фидаины Пайвы»[70].

Странно, что у меня родилась эта словесная ассоциация вот здесь, на знойной улице. Я услышал

---

[70] Примечания: 70

Маркиза Пайва — куртизанка еврейского происхождения, одна из ярких символических фигур Второй империи. (*Прим. перев.*)

собственный смех, и Хамза спросил меня:

— Ты смеешься? Почему?

Удивленный и его вопросом, и своим смехом, я просто ответил:

— Жарко.

Этот ответ и мне, и Хамзе показался вполне удовлетворительным.

Хамза, чьи волосы были аккуратно подстрижены, почти ничего не говорил мне про солдат, только немного про их смелость. Он знал разницу между смелостью и доблестью, солдаты Ас-Саики доблестно сражались на войне и смело отстаивали право носить длинные вьющиеся волосы. Эти завитые локоны так красиво обрамляли их лица, что я невольно представлял, как по утрам, пока готовится чай, они завивают друг другу волосы щипцами, нагретыми на раскаленных углях.

Я думал так: «Если они должны доказывать свою доблесть в бою, значит, они львы».

Позже, в 1976, при сражении за Тель-Заатар, стало понятно, какие они хищники, страшнее, чем львы. Они это доказали, но на этот раз их жертвами были палестинцы из ФАТХа.

Именно сейчас, в этом месте книги я напомню о смертях Камаля Аднуана, Камаля Насера, Абу Юсефа Неджара, трех видных деятелей ФАТХа.

Камаль Насер, которого я знал, был мне наиболее симпатичен, Камаль Адван несколько меньше, меня смущала его жесткость. Поначалу они изо всех сил старались сохранить анонимность, но со временем становились все менее осторожными. В Бейруте, в отеле «Странд» они назначали встречи своим товарищам и журналистам, я сам неоднократно встречал их по дороге в алжирское посольство, у них никогда не было телохранителей. Они беззаботно шли и курили. Кажется, в шестидесятые у молодых людей началась эта мода на длинные волосы, рассыпанные по плечам, причем, шевелюры становились все более лохматыми. Дозволено было все: волосы длинные, средней длины, челка на лбу, волосы гладкие, черные и маслянистые, мягкие, волосы всклокоченные, каштановые, курчавые или светлые вьющиеся, но эта женственность причесок в каком-то смысле компенсировалась подчеркнуто мужественными манерами и телосложением, ярко выраженной, даже гипертрофированной мускулатурой. Эта мода, достигшая кульминации в Англии, зародилась в Калифорнии, и принесли ее американские солдаты, потерпевшие поражение во Вьетнаме. На Земле начиналась пора весеннего цветения: поражение американцев в Северном

Вьетнаме, длинные волосы, джинсы, так называемые «унисекс», серьга в одном ухе, берберские украшения на шее и запястьях, хождение босиком, африканские стрижки, целующиеся на улице парочки волосатых и бородатых юношей, гашиш и ЛСД, которые употребляли у всех на виду, одна сигарета с травкой, передаваемая по кругу, завитки сигаретного дыма, выпускаемые ртом любовника и, чуть подтаявшие в воздухе, достигающие другого рта, но если на Западе это было весеннее цветение юности, то на Ближнем Востоке уже летнее, почти осеннее, предчувствующее суровую зиму.

Службы ООП поставили двух телохранителей-фидаинов — одного под лестницей, другого возле двери — в домах тех троих, о которых я сказал выше. Вот что мне рассказал Дауд:

— Когда стемнело, два хиппи со светлыми вьющими волосами, говорящие по-английски, держась за руки, смеясь и пошатываясь, подошли к часовым у лестницы Камаля Адвана. Те стали оскорблять педиков, и тогда они очень быстро — сразу видна хорошая подготовка — выхватили револьвер, уложили охранников, поднялись по лестнице, проникли в квартиру Камаля и убили его. Похожие сцены в то же самое время происхо-

дили у Камаля Насера и Абу Юсефа.

Это как раз тот случай, когда Убийство можно назвать актом Искусства, причем оба эти слова должны писаться с заглавных букв, они это заслуживают. Как и всякое выдающееся произведение Искусства, Убийство требует награды, то есть, знака отличия, а то и не одного. Думаю, в данном случае орденами были украшены шесть торсов. Легенда гласит, что для этого деяния были избраны шестеро белокурых юношей, и, возможно, выбор был непрост. В блондинах недостатка не было, напротив, но необходимо было дождаться, пока отрастут волосы, чтобы можно было их завить, они должны были красиво струиться по плечам, а еще нужно было выстричь челку, а не то волосы закрывали бы глаза. Разумеется, нашлось множество комментаторов, утверждающих, будто парочки были обриты наголо и носили парики с длинными волосами до плеч. В любом случае, все соглашались, что необходима была соответствующая подготовка: чтобы ласки двух влюбленных юношей выглядели правдоподобно, они должны были практиковаться, учиться целоваться в губы. Всё должно было быть безупречным: гибкость тел, походка, манеры, простодушный вид, безбородые лица, а главное —

женские голоса, но не писклявые. И только когда всё стало выглядеть убедительно, темной ночью моряки бесшумно высадили их на побережье возле Бейрута. Во время этой подготовительной работы они забыли арабский язык, палестинский или ливанский акцент, главное — список арготических слов, которыми обмениваются, лаская друг друга. Что произошло с тремя руководителями ООП и женой одного из них, мы знаем. Спрятав револьверы, шестеро израильтян — если придерживаться гипотезы о накладных волосах — сняли парики и неторопливой походкой, которую они переняли у фалангистов, достигли берега, откуда лодка с бесшумным мотором доставила их обратно в Хайфу. Не имея перед глазами портретов, я могу лишь представить их, шестерых атлетов, две минуты назад с вьющимися волосами, а теперь обритых наголо, с нескрываемой гордостью показывающих экипажу, как они целовались в губы, чтобы шокировать охранников, которые, наивно поверив, будто видят перед собой арабов-гомиков, издевательски смеялись, и с какой легкостью они убили трех палестинцев. Гордость — оттого, что они были евреями или оттого, что не были остальными? Газеты всего мира написали об этом убийстве, которое никто не

назвал террористическим актом на суверенной территории. Это было произведение Искусства, заслуживающее соответствующего Ордена, и он был пожалован. И дело не в том, что не хватало блондинов, в Израиле было достаточно молодых ашкенази.

А что, если бы органы государственного призрения — пусть и не зная о моей матери-еврейке — не окрестили меня, а оросили мое тело «загробным и вовек непознанным ручьем»[71]?.. Воспитанный в талмудической вере, я стал бы сегодня старым раввином и в слезах и молитвах просовывал влажные листочки между камней Стены плача. Мой сын, шпион Моссада в крупном чине работал бы в израильском посольстве в Париже, а внук пилот, улыбаясь, сбрасывал бы бомбы на Западный Бейрут.

Идиотское размышление, потому что я не писал бы сейчас ни эту книгу, ни эту страницу: я был бы другим, имел бы другие мысли, другую веру и других предков, я искал бы их среди скорняков. А еще у меня были бы длинные пейсы: вот о них я сожалею.

Отряд ушел морем в Израиль. Этой самой но-

---

[71] Примечания: 71

Цитата из стихотворения С. Малларме «Надгробие» дана в переводе Р. Дубровкина. (*Прим. перев.*)

чью они пришли сюда, одетые по последней моде, выследили жилища — возможно, о них сообщили другие наблюдатели, евреи с бельгийскими паспортами — разделились на три группы, весьма правдоподобно изобразили влюбленных гомосексуалистов, сыграли свои роли в жизни, а не в театре, быстро исчезли, вероятно, их отступление прикрывали сообщники, прыгнули в надувную лодку и затемно добрались до Хайфы. С какой стати заговорил я об убийстве, отметив длинные завитые волосы солдат Ас-Саики? Когда Дауду рассказали об этом случае, он не мог скрыть восхищения дерзостью, чистотой стиля, исполнением столь совершенным, что за этим актом Искусства проступал крупный художник, который начинал и завершал линию одним росчерком, если только, как это ни парадоксально, в тени не оставался некий мудрёный механизм, завизировавший то, что произошло в Бейруте. Мне кажется, к восхищению примешивалось что-то вроде изумления: как столь жестокое и стремительное действие стало результатом такого причудливого совмещения: белокурые локоны на плечах живодера. Вы можете даже допустить, что в своих газетах, иерусалимских и не только, Израиль превозносил этот подвиг, а, может, и

продолжает это делать, когда не дает пристать палестинским суднам и пускает их ко дну.

Шести белокурых париков с локонами, немного кармина на губы и подводки на глаза — этого недостаточно, чтобы привести улицы Бейрута в смятенье, о котором никто не подозревал. Затаенный смех травести, которые все равно чувствовали себя мужчинами, был сродни, наверное, ужасу настоящих травести, которые боялись, что их выдадут голоса, нет, не женские, а особенные, необычные, как, впрочем, и жесты, голоса без опоры их пол. Шестеро израильтян не забывали, что они мужчины, достаточно сильные и мускулистые, чтобы сражаться, обученные убивать. Вся необычность этой ситуации проистекала от мягкости и изящества их жестов, которые из жестов убийц-женщин в нужный момент превратятся в жесты убийц-мужчин. Они умели целоваться глубоким поцелуем, слившись языками, наклонив головы, тереться друг о друга членами, но это были простые жесты, они шли от разума. Были вещи гораздо сложнее, и учиться им надо было гораздо дольше, это особая нежность пальцем, которые, чуть приподняв, отбрасывали прядь волос со лба возлюбленного или щелчком сгоняли с его плеча божью коровку… Какими долгими, вероятно,

были эти репетиции на какой-нибудь израильской улице. Поправить складку на шарфе, что-то произнести высоким тоном и внезапно, словно сбросив пестрые лохмотья, вновь стать воином, цель которого — убивать. И пойти убивать на самом деле, а не как в последнем акте драмы под аплодисменты, убивать и оставлять после себя мертвых. Я спрашиваю себя: приятно ли проникнуть в нежную женственность и трудно ли избавиться от нее ради преступного деяния. Но и в этом тоже был героизм. А как Карл V оставил свою империю, свои королевства и моря, чтобы удалиться в монастырь Юсте?…

Нам понадобилось около часа, чтобы дойти до жилища Хамзы. Мы общались с ним на какой-то тарабарщине и начинали уже с ней свыкаться, так что нас связывало нечто вроде особого кода, словно мы сами разработали его в нашей прошлой жизни, казалось, мы понимаем друг друга лучше, чем если бы, действительно, знали смысл произнесенных нами слов, выскользнувших случайно. Улицы становились все более пустынными. Люди ели или отдыхали дома после обеда. Но они бодрствовали: сидели у окон, на террасах, смазывали оружие, готовились.

Двое мужчин лет шестидесяти, сидящие на

корточках возле какого-то склада, пригласили нас подойти и присесть рядом. Вежливо протянули нам руку. У каждого была винтовка Лебеля. Безо всякой издёвки они спросили у Хамзы, кто я такой.

— Это друг, у меня приказ его охранять.

Никто не поинтересовался, откуда я взялся. Я попросил у одного из палестинцев разрешение подержать его оружие. И тот, и другой тут же, не задумываясь, протянули мне свои винтовки, затем, словно спохватившись, оба вынули обойму. Мы все четверо дружно рассмеялись. Я объяснил Хамзе, что название винтовки Лебеля выбрано очень удачно, оно означает наше с ним единство; когда я написал это слово, он прочел его справа налево, затем слева направо — lebel — и протянул мне руку, как делают арабы в знак взаимного согласия. Я взял на мушку ветку, прицелился, не нажимая на спуск, затем вернул сокровище хозяину. Оба палестинца были крестьянами, но эта устаревшая винтовка словно убавила им лет, отвлекла от сбора урожая на полях, вернула в мир крови и смерти. В этом они не подражали никому. В отличие от руководителей, которые все делали на западный манер, даже когда нужно было провести какое-нибудь торжественное мероприятие,

праздничное или трагическое. Памятник жертвам в лагере Бейрута — дерево, кисея, постоянно горящая маленькая лампочка — казался мне невероятно трогательным в своей бедности. Но Альфредо, кубинского врача, послали в Европу, чтобы он нашел там не только средства, а мрамор или достаточно твердый камень, может быть, гранит, для монумента, который должен был стать копией французских памятников погибшим в войне 14–18. Когда мы распрощались с двумя палестинцами, я сказал Хамзе:

— Я хочу есть. А ты?

— Подожди немного.

— Я могу купить консервов.

— Подожди.

Мы вновь зашагали под палящим солнцем. Поскольку палестинский лагерь находился внизу, улица шла под уклон. Дойдя до невысокой белой стены, в которой была прорублена дверь, тоже белая, Хамза вынул из кармана ключ. Я вошел во двор, довольно тесный. Дверь за нами он снова закрыл на ключ. Перед комнатой, которая, как я узнал позже, была комнатой Хамзы, стояла палестинка лет пятидесяти с оружием в руках. Она улыбалась. На ремне через плечо у нее висел такой же автомат, как у Хамзы. Он поздоровался

с матерью по-арабски. Она оставила на лице улыбку, а на плече оружие. Он представил меня по-арабски:

— Это друг.

Кончиками пальцев она дотронулась до моей ладони.

— Это друг, но он христианин.

Она уже убрала свою руку, но улыбку сохранила и смотрела на меня с любопытством.

— Я тебя сразу предупреждаю, это друг, он христианин, но в Бога не верит.

Хамза говорил серьезно, но голосом мягким и спокойным. Оставив на лице улыбку, которая, как мне казалось, была затухающим, едва ощутимым эхом сотрясавшего ее смеха — от него и осталась только эта улыбка — мать взглянула на сына и сказала:

— Ну, раз уж он не верит в Бога, надо его покормить.

Она ушла в свою комнату, Хамза провёл меня в свою. Эта семья, сбежав от бомбежек из Хайфы, нашла убежище в Ирбиде. В 1949 году это был еще лагерь из лоскутных палаток. Теперь это типичные городские трущобы со стенами и крышами из алюминия, листового железа и картона, сравнимые по нищете и убожеству с лагерем Бакаа.

Написав и перечитав этот отрывок, я понимаю: да, и в самом деле, Бакаа, но это лишь одна сторона правды, ведь какое оживление царило здесь в дни, когда горные склоны не заволакивало туманом, настоящий праздник, почти безмолвный, если бы не дети. Присмотревшись утром, я увидел дыры в палатках, кое-как подклеенных при помощи куска ткани, непонятно как здесь оказавшейся, какой-нибудь полоски, оторванной от полы блузки, прибывшей из Лиможа через Бейрут, Ирбид, Амман. Между палатками перемещались неуклюжие силуэты, я догадывался, что люди обуты в башмаки с развязанными шнурками. Полчаса, три четверти часа работы в маленькой санчасти, организованной в Бакаа французской благотворительной организацией Народная Помощь, и лагерь поутру будет иметь приветливый, радостный вид. Лотки с отборными фруктами и овощами, настоящими, не пластмассовыми: красный, розовый, зеленый, желтый, только эти цвета были щедрыми и подлинными, как и сама сущность фруктов и овощей. Вставало солнце, начинали играть дети, они смеялись просто так, безо всякой причины, как смеются дети в каком-нибудь Лиссабоне.

Выше я говорил, что лагерь — это уныло и

печально, всё это так. Но ни один палестинец, засыпая, не видел своей нищеты: прежде, чем потушить свет, он пересчитывал мандарины и баклажаны. Проснувшись, он придумывал, как по-новому продемонстрировать свое богатство, ведь цвета фруктов и овощей так хорошо сочетались: можно было сложить их пирамидкой или вытянуть в ряд. Любое несчастье опровергало себя, самоуничтожалось, самоотрицалось: в этот момент уже не таким жалким выглядел лагерь Бакаа и не такими унылыми — лица. Люди искали любую работу где угодно, понемногу бетон заменил железо.

Хамза показал мне свою кровать, где этой ночью должен был спать я, потому что: «Пойду постреляю. Я сегодня командир». (Если не ошибаюсь, тогда под его началом было десять-двенадцать фидаинов).

Он показал мне дыру в полу у изголовья кровати:

— Если пушки и пулеметы Хусейна станут палить совсем близко, сходи за моей матерью и сестрой. Спуститесь вместе в убежище. Там у нас три винтовки.

Вошла мать и поставила на круглый столик поднос. Две тарелки толстых лепешек, листья

салата, разрезанные на четвертинки томаты, четыре сардины и, кажется, три яйца вкрутую. Хамза и его гость, христианин без Бога, сели есть около трех часов пополудни, в месяц рамадан, когда солнце едва склоняется к горизонту.

Этот ярко-синий столик с черными и желтыми цветами я вижу до сих пор, как и детали окружающего меня пейзажа — скалы, деревья, поля, полотняные палатки издали и вблизи, пихты, черная стоячая или проточная вода, все это останется в моих глазах и в глазах фидаинов. Тревога никогда уже не покинет меня, и даже когда она меня немного отпускает, остается легкая грусть. Даже если меня убьют, тревога никуда не исчезнет, ее будет испытывать кто-то другой, который останется здесь, а после него еще кто-то, и так далее.

Конечно, если только эту местность не затопят. И тогда взор израильского рыбака остановится на озере или плотине.

Ни Хамза, ни его мать больше не увидят Хайфы.

После обеда Хамза повел меня на школьный двор. В классе не было ни одного ученика, все во дворе. Стоящие группами палестинские мальчишки безо всякого страха и без бахвальства

обсуждали приближение огня с иорданской стороны. У каждого через плечо или на поясе висели по две или по четыре гранаты, парное количество, учитель-алжирец, говорящий по-французски, объяснил мне, что этой ночью ни один мальчишка спать не будет: они все ждали момента, когда можно будет вынуть чеку из гранаты и бросить ее в солдат бедуинов.

В этой книге, и не только в этой я много говорил о храбрости и мужестве палестинцев. Конечно, была робость, тревога, страх смерти, конечно, были слабости: порой подкашивались ноги, когда человек видел кучу золота или новеньких банкнот, шуршащих, как струи фонтана. Для того чтобы сопротивляться искушению властью, нужна огромная сила, но я всего лишь раз оказался свидетелем слабости и малодушия.

Выше, когда я писал о сражениях и битвах палестинцев, об их физической силе, я употреблял слове «смелость», когда же речь идет о душевной силе и силе разума, то больше подходит слово «доблесть», здесь и презрение к смерти, и вызов опасности, и преодоление телесной слабости. Но когда палестинцы бросали вызов презрению, что слышалось в словах «терроризм», «террористы», демонстрировали безразличие к мнению других

— что они дьяволы, и все их деяния дьявольщина в глазах остального мира — для этого требовались и смелость, и доблесть.

Обвинять фидаинов в малодушии? Кроме той ночи паники, которую я попытался описать, попытался объяснить — попытался, ведь меня там не было — в моменты самые неопределенные, когда видишь, как смерть — а ее, и в самом деле, видишь — колеблется в нерешительности, сомневается, кого выбрать: вас или вашего врага, всё кажется игрой. Революция становится довольно забавной игрой. Сражаться до самой смерти, когда ты либо убит, либо убил, ради какой-нибудь территории здесь или где-то еще? Проигранная игра, равнозначная проигранной жизни, то есть, смерти, это, в самом деле, серьезно, когда, проигрывая, нужно платить улыбаясь?

Но убивают друг друга ради территории или ради победы?

В миланском Пассаже, на пересечении двух крытых галерей пол выложен мозаикой. Одно, довольно небольшое, место мозаичной композиции истоптано и продавлено. Там изображены гениталии коня[72]. Ни один миланец, из тех,

[72] Примечания: 72

На самом деле это мозаика с изображением быка с Туринского герба. (*Прим. перев.*)

кто парами ходит по галерее, не забывает, встав пяткой в эту ямку в мозаике, покрутиться вокруг своей оси, чтобы в него перешло немного мужской силы этого жеребца. Когда видишь троих или четверых мужчин, соединивших руки крест-накрест, вспоминаешь этот своеобразный менуэт, который танцуют на яйцах жеребца. Ни одной женщине никогда не было дозволено сделать подобный жест. Школьный двор превратился в базарную площадь, где каждый мальчишка выставлял напоказ, словно хвалясь добродетелями, эти чудовищные тестикулы, которые носил на поясе или на плече. Но если что и казалось одновременно непристойным и целомудренным, так это металлическая обнаженность этих атрибутов.

Округлая форма гранат, висевших на поясе или на плече школьников, влекла мои руки. Уже отважные бойцы, уже воины, они говорили только о войне, причем, говорили более торжественно и возвышенно, чем сами фидаины, сделавшие свой выбор — сражаться. Может быть, фидаины мечтали о чем-то другом, более конкретном? О женских бедрах, например? О самых приятных частях тела, от прикосновения к которым мутится разум: волосы, глаза, грудь, живот, ягодицы? Были ли

они рядом в этой смутной чувственности, как в матово-молочном тумане, где каждый фидаин, даже охваченный желанием, оставался ангелом? Оказаться так близко от смерти и не стремиться породить новую жизнь, наслаждаться жизнью и не передать ее, ту, которой обладаешь, но которой через мгновение уже не будет? Всё это не имело никакого отношения к тому, что происходило во дворе, по которому вышагивали взад-вперед юные, мускулистые самцы, не терзаемые, так мне казалось, сексуальным желанием. Иногда в каких-нибудь романтических текстах случается прочитать, что герой обручен со смертью: оргазм, французское, очень мужское слово, но поверженное агонией, смертью, женщиной, войной — женскими понятиями, за которыми остается последнее слово. Между опорными столбами, между скульптурными стенами Триумфальной арки, между широко расставленными ногами фидаина, между вертикальными перекладинами буквы «Н», с которой начинается имя Хамзы (Hamza) прошли, должно быть, батальоны победителей, а за ними их орудия и танки. Мы с Хамзой остались в доме его матери. Последняя фраза, похоже, указывает на то, что главой семьи была мать; вспоминая об их отношениях с сыном,

об этой непрекращающейся ходьбе туда-сюда, я догадываюсь сегодня об их взаимообмене, которого тогда не замечал; вдова с сильным характером, мать, вооруженная точно так же, как и сын, она, глава семьи, улыбаясь, передавала свои полномочия главы семьи Хамзе, который, действуя в интересах ФАТХа, но тайно ведомый матерью, позволял ей царствовать. Когда я думаю о ней, то вспоминаю Черную Деву Монсерратскую, держащую на коленях, являющую своего сына, более сильного, чем она сама, предъявляющую его, заявляющую: именно он центральная фигура, а может, все-таки она?

Это действие — я понял это, когда взял в руку первую пулю и ощутил ее вес и форму — было не обыденным действием, вот как, например, сходить в магазин, но когда я вставил магазин в автоматы Хамзы и его зятя, мужа сестры, то словно впервые поучаствовал в мистерии сопротивления. Пули, которые я вставлял в магазин, этой ночью вылетят из оружия, направленного на солдат-бедуинов. Появился полумесяц, означающий близкий конец месяца рамадана. В белом дворе стало темно. Хамза и его родственник оставили меня одного с обеими женщинами, и причиной такого доверия ко мне было, вероятно,

его доверие к Халебу Абу Халебу, который сказал ему: «Это друг», а может, всё было уже неважно в сравнении с главной целью: защищать Ирбид или, впрочем, это было одно и то же: рисковать жизнью.

Здесь (в Бейруте) мне сказали, что ЦРУ и Моссад, то союзники, то соперники, способны заговорить, убедить, улестить даже пленных фидаинов — и это позволяет предположить, что в ЦРУ, как и в Моссаде, умеют затронуть самые чувствительные струнки, и боец, поначалу молчащий под пытками, готовый умереть под пытками, начинает слушать, а потом и говорить, особенно, когда рассказ ведется тонко и умело, вызывает душевное волнение, трогает фидаина, ь. Так что против этого колдовского зелья, применяемого Израилем, необходимо было выработать противоядие.

Если хронологический порядок божественного родства соответствует человеческому, звание Богоматери, пожалованное Деве, заставляет задуматься, каким чудом или по каким математическим законам мать идет после своего Сына, но перед собственным Отцом. Это звание и эта шкала ценностей кажутся не такими загадочными, когда думаешь о Хамзе. Впрочем, слово «думать» здесь не равноценно слову «размыш-

лять».

Треск минометов и пушек стал ближе, к ним прибавились звуки пулеметных очередей, разрывы зениток гаубиц, одиночные выстрелы фидаинов Ирбида.

Я лежал, одетый, на постели Хамзы. Прислушивался. Звуки боя, резкие и отчетливые, не смолкали, даже доносясь издалека, они оставались такими же пронзительными, но среди этого нагромождения шумов два коротких удара, прозвучавшие, казалось, негромко, но совсем рядом, как будто заставили отступить звуковой хаос. Два, в сущности, мирных звука: кто-то постучал в дверь моей комнаты. В одно мгновение я понял всё: смертоносный огонь извергался где-то вдалеке, а здесь согнутый указательный палец стучал о дерево. Я ничего не ответил, потому что еще не знал, как по-арабски будет «войдите», но главное — и я уже об этом говорил — потому что «увидел», именно «увидел» весь ход событий. Дверь открылась. В комнату проник свет звездного неба, а позади, за этим светом я различил большую тень. Я прикрыл глаза, делая вид, что сплю, но между ресниц видел всё. Обманула ли её моя хитрость? Это вошла мать. Она пришла из ночи, казавшейся теперь оглушительной, или из той ледяной ночи,

которую я повсюду ношу с собой? Обеими руками она держала поднос, осторожно поставила его на синий с желтыми и черными цветами столик, о котором я говорил. Сам столик она приподняла и переставила к изголовью кровати, чтобы мне было удобнее достать, и ее движения были точны, словно движения слепого. Она бесшумно вышла и закрыла дверь. Звездное небо исчезло. Я мог открыть глаза. На подносе стояли чашка кофе по-турецки и стакан воды; я выпил и то, и другое, закрыл глаза, подождал немного, надеясь, что не слишком шумел. Опять два коротких стука в дверь, как и в первый раз; при свете звезд и убывающей луны появилась та же вытянутая тень, на этот раз привычная и знакомая, как будто всю мою жизнь, каждую ночь, перед сном, в один и тот же час эта тень входила ко мне в комнату, или нет, до такой степени привычная и знакомая, что казалось, будто она скорее во мне, чем где-то вне меня, поскольку с самого дня моего рождения по ночам приносила мне в комнату чашку кофе по-турецки. Сквозь ресницы я увидел, как она взяла синий столик и бесшумно поставила его на место, все с такой же безошибочной точностью движений, как будто была слепой от рождения, забрала поднос, вышла и закрыла дверь. Я боялся лишь

одного: что моя вежливость не сравняется с ее учтивостью, а вдруг какое-нибудь едва заметное движение рук или ног выдаст мое притворство. Но все произошло так ловко и осторожно, что стало понятно: мать каждую ночь приносила Хамзе кофе и стакан воды. Бесшумно, только четыре отрывистых стука в дверь, и вдалеке, как на картине Детайля, канонада на фоне звезд.

Поскольку сын этой ночью находился на поле боя, я занимал его место в его комнате и на его постели и, возможно, играл его роль. На одну лишь ночь и на время, пока длилась эта сцена, старик, старше по возрасту, чем она сама, становился сыном матери, потому что «я был, когда ее еще не было». Будучи моложе меня, на время этого родного — родственного? — действа она, оставаясь матерью Хамзы, стала моей матерью. Этой ночью, ставшей навсегда моей собственной, моей личной ночью, дверь моей комнаты открылась и закрылась. Я уснул.

В 1970 и еще в 1984 население королевства Иордании являло собой забавную разнородность. Самой многочисленной и самой угнетенной частью были, и являются до сих пор, палестинцы, за ними более влиятельная, но не такая многочисленная община бедуинов, племена и семейства

солдат, преданных королю Хусейну, и наконец, самые малочисленные, черкесы, почти все они принадлежали к высшему офицерскому составу и генералитету, это были чиновники высокого ранга, послы, советники короля. Над тремя этими народами возвышалось королевское семейство, в котором король, как говорят, прямой потомок Пророка, едва справлялся со всем этим разношерстным хозяйством, его официальными супругами являлись поочередно египтянка, англичанка, палестинка, американка иорданского происхождения, добавьте к этому еще целый выводок детей, в этих дебрях заблудился бы самый искушенный специалист по генеалогии.

Черкесов в королевстве около пятидесяти тысяч. Они повелевают, сами, в свою очередь, подчиняясь королю: это банда, и её главарем является отнюдь не Хусейн.

«Конечно, мы верны королю Хусейну, прямому потомку Пророка, а как же?», — ответил мне как-то глава большого черкесского семейства (черкесами называют и тех, кто обосновался на Ближнем востоке, и тех, кто живет в Советском Союзе). Он показал мне свою деревню в Иордании со множеством водных источников, такие деревни в Европе в Средние века искушенным глазом

сразу подмечали бенедиктинцы, когда подыскивали место для монастыря: рядом должны быть пригодные для обработки земли.

— Мы бежали от Царей, которые хотели обратить нас в христианскую веру, они имеют наглость называть ее православием. Мы очень признательны султану Абдул-Хамиду, он нас принял и подарил много земель. Из России мы бежали не из-за бедности, а наши предки не искали приключений, когда уходили далеко от родных гор, мы сохраняем наши богатства, накопленные там. Наши материальные богатства и наш язык. Я мог бы показать вам седла, расшитые вермелью и золотыми нитями, золотые и серебряные шпоры, золотые стремена, расшитые золотом сапоги.

Он мне так ничего и не показал, но описал всё очень подробно. Его народ был мирным.

— А ваш язык? Он не имеет ничего общего с арабским. Говорят, вы пользуетесь им как тайным языком…

— Тайным?

— Его используют только черкесы, он делает из вас, целого народа, тайных агентов, ведь он не похож ни на один арабский или современный европейский язык.

— Мы просто народ, мирный народ.

— Разве какой-нибудь народ сегодня скажет, что он не мирный?

— Да, быть мирным модно, это правда.

— А в 1980 в моде были приключения, скачки на лошадях, знаменитые черкесские танцы…

— И это правда, мы были тогда в моде.

Какая мирная, безмятежная картина: огонь, оружие, война, кони, танцы, музыка, песни, галантная любовь, трепетное отношение к женщинам, когда ни один мужчина не мог публично коснуться складки передника или волос, причем, особенно неприкасаемой — во всех смыслах — была мать жены, и это возносило ее в моих глазах на такую высоту, что она представала передо мной самой величественной из всех Возлюбленных… Описание было таким точным и выразительным, что мне показалось, будто всё, перечисленное так тщательно, существовало лишь в воображении. А еще такое описание было необходимым. О черкесах дозволено знать только это, это общеизвестно и неоспоримо, как и то, например, что Ришелье был кардиналом. Глава семейства так настойчиво твердил об их предполагаемом богатстве, оставшемся на Кавказе, что у меня сложилось впечатление, будто черкесы перешли под командование Абдул-Хамида ради земель,

которые можно было получить без особого риска, может быть, им хотелось какой-то стабильности, а еще — покорить племена бедуинов.

— Как за такое короткое время вы подчинили себе целый регион, получили власть, заняли крупные посты?

Он мягко улыбнулся, и я заметил, как его усы, хорошо подстриженные, тонкие, седые, подходят его седым, гладким волосам.

— Но ведь мы лучшие.

— Палестинцам вы не дали доказательств своей доброты.

— Дикари! Настоящие дикари, которые хотели заполучить власть.

— Власть у вас, и вы ее сохраняете. Вы пришли из России по своей воле, а палестинцев выгнали из их домов.

— Пусть идут сражаться против Израиля. Вы говорите о них, как какой-нибудь француз из левых. Иордания хочет жить спокойно.

Если бы кто-нибудь назвал черкесов «предателями», они были бы оскорблены до такой степени, что забили бы виновного насмерть. Однако именно это слово я и употребляю. Уйдя из России, черкесы перешли на сторону врага: Османской империи. Когда последний халиф был

изгнан, а сама империя сократилась до границ Турции, они предложили свои услуги Глабб-Паше, а затем Хусейну. Это предательство меня никак не тронуло: они всегда переходили на службу к власти. Отсутствие порядочности в их поступках, вызванных желанием доминировать, не сблизило меня с ними, напротив, я чувствовал разочарование. О черкесах я еще буду говорить.

— А что вы скажете о семье Сурсок?

— Они друзья. Не все, конечно. Есть в этой семье паршивые овцы, но хотя они христиане, они друзья. Они богатые.

— Обогатились они довольно гнусным способом.

— Вы имеете в виду, что они продавали свои деревни еврейским общинам? А какой собственник не делал такого?

Хамза вернулся на рассвете, покрытое пылью лицо, усталые глаза, веселая улыбка. Оружие он спрятал в тайнике у изголовья кровати.

«Поздравляю, братишка, — сказал он, по-военному салютуя дыре в полу. Этой ночью ты хорошо пострелял, первоклассный стрелок». И засмеялся. Двое товарищей, пришедшие с ним, оставались серьезны. Он лег и, кажется, сразу же заснул. Я вошел в комнату его матери, просто

чтобы поздороваться, не собираясь оставаться надолго. Она мне улыбнулась. Она сидела на полу на корточках, месила тесто, чтобы испечь хлеб на ужин. Поднялась, приготовила мне чай. Этой ночью, ночью битвы в Ирбиде, воду не нормировали. Город хорошо оборонялся. Население было явно довольно собой. В отличие от Парижа в 1940, Ирбид выстоял.

«Сирийская граница открыта».

Все в Ирбиде узнали об этом сразу же. Я решил ехать, как только будет транспорт. Два-три часа я прогуливался по еще не тронутым боями улицам. За несколько минут город совершенно переменился: мне показалось, гордость исчезла, когда взошло солнце. По мере того, как оно всходило, на лица возвращалась тревога, все молча всматривались друг в друга, почти неприязненно и недоверчиво; Ирбид из гордого собой, радостного города превратился в город мрачный и скорбный, где начальники сразу приняли начальственный вид. Пронесся слух, что по городу свободно ходят израильские шпионы. И шпионки. Одна молодая женщина, швейцарская журналистка, попросила, чтобы ее проводили к зоне боевых действий, шофер увидел на ней медальон в форме звезды Давида. Она в ответ ста-

ла обвинять шофера. Полиция все же раскрыла правду: журналистка была швейцаркой, христианкой, а шофер провокатором. Его слегка побили, женщину тайком перевели через сирийскую границу, но поползли слухи о других шпионах. Эта шпионская лихорадка была, вероятно, вызвана блокадой Ирбида, приближением бедуинов под командованием черкесов; появился слух, затем стало известно точно: таможенный пост в руках иорданцев. Палестинские руководители суетились. У меня была возможность увидеть, как военные чины сменяются политиками, возрастом и манерами напоминающими европейских. Преисполненные собственной значимости, уверенные в безошибочности отдаваемых приказов, то есть, уверенные в своем интеллекте, в том, что они самые лучшие, самые знающие, самые ловкие переговорщики, они приезжали в штаб на автомобиле с водителем, с плохо завязанным галстуком, но все-таки с галстуком, выскакивали из автомобиля, едва только он подъезжал к тротуару, фидаины выстраивались живой оградой, чтобы те, не сбавляя скорости, могли добраться до самых высоких чинов.

У всякой ли революции в решающий момент найдется неприкосновенный запас седых бород

и волос? В сияющих глазах я мог прочесть, что наконец-то те самые, которые «во цвете лет», будут спасены ими, стариками, которые умеют находить компромисс тогда, когда эти, «во цвете лет», решают воевать.

Возможно, из-за моей отдаленности или, скорее, *чуждости* мусульманскому миру, когда я оказался среди них в месяц рамадан, то есть, посреди пустыни, когда из губ исчезли сигареты, а вместе с ними и улыбки, когда и меня коснулось, меня задело дурное настроение магометанина, ожидающего наступления ночи, мне вспомнились какие-то евангельские притчи, но я истолковал их по-своему. Поскольку католическая церковь тоже была властью, как и библейская мораль, из этих сверхмогущественных сверхдержав я сделал своих врагов. В знаменитом эпизоде с монеткой, показанной Иисусу, Церковь видит следующее: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу», а надо было прочесть нечто другое: «Признай государственную власть». Мальчишка-насмешник — он станет смеяться над несчастной смоковницей — говорил апостолу: «не показывайся сыщикам, все будут молиться, а мой Отец ждать не станет. Сунь монетку солдату и беги». Главное не выдать себя, сделать вид, будто это путешествие

на Восток — самая обычная, банальная поездка, несколько, правда, затянувшаяся, ничего особенного. Я сейчас говорю о своем путешествии в июле 1984. Попытаться найти мать. Осторожно, незаметно. Или омыть тело, хотя бы только ноги, натянуть чистую рубашку, побриться, придать своему путешествию немного торжественности, не просто приехать-уехать, а подражать Иисусу, его хулиганскому словарю… «Я приду нежданно, как вор»… Не из скромности и не из особой чувствительности оделся я в повседневное, но в надежде заговорить судьбу, заклясть грозное Поражение. Я был весьма легковерен, решился бы я пройти под лестницей? Но я верил в неумолимые лестницы, а не в неумолимого Бога.

Недалеко от бюро путешествий какие-то молодые люди в гражданском, без знаков отличия, записывались на поездку в Даръа или Дамаск. Они платили за место в первом же такси, которое должно было туда отправиться. Генерал Хафез аль-Асад только что устроил государственный переворот в Сирии. Танки, пришедшие из Дамаска к иорданской границе, как поговаривали, на помощь палестинцам, воздерживались от перехода границы, которую, впрочем, никто не охранял. Иракская армия продемонстрировала больше

храбрости: она перешла границу утром, впрочем, вечером перешла ее обратно, при этом, непонятно, кто ей там угрожал: сирийцы, иорданцы, палестинцы или неприступные израильтяне? Палестинцы остались одни. Их бросили три арабских государства. Синай, Голаны, Западный берег реки Иордан, оккупированные Израилем, единственные территории, оставшиеся более или менее верными Палестине, являлись территориями Персидского залива, короля Фейсала. То, что палестинские участники сопротивления оставались в тюрьмах, и сам доктор Хабаш являлся заключенным — отнюдь не внушало мне уверенности.

Территория, которую можно было назвать бесспорно, неопровержимо иорданской, уменьшалась час от часа, и это не просто фигура речи, так оно и было. Когда Мафрак пал, меня предупредили. Хамза, который к тому времени уже лег, но успел проснуться, встретил меня улыбкой. Кажется, именно в этот момент я увидел, что улыбка у него только на губах, но не в глазах.

— Тебе нужно уехать утром.

Было около одиннадцати. Я попрощался с матерью и сестрой. Они готовили — одна для сына, другая для мужа — пищу на вечер и наступающую

ночь. И поскольку это часть моих воспоминаний, относящихся именно к 1970 году, здесь я и должен написать: в туалете этого палестинского домика я научился обходиться без бумаги и пользоваться бутылкой с водой. Поскольку я ел и пил в доме, у меня возникли с ним близкие отношения.

Кроме сине-зеленой карточки с закругленными краями, которую носит в кармане каждый фидаин, у Хамзы при себе ничего не было. Оставалось одно место впереди, не рядом с шофером, а возле дверцы. Хамза оставил его за мной. Он хотел оплатить мою поездку до самого Дамаска. Мы попрощались. Если считать точно, мы виделись с ним и разговаривали семь часов. Халеб Абу Халеб доверил меня его заботам накануне около полудня, а на следующий день, около одиннадцати утра, я уезжал от него.

Такси выехало из Ирбида. Белый листок перед глазами мешал мне видеть дорогу: обратная сторона цветной фотографии короля Хусейна, прилепленной четырьмя кусками лейкопластыря на ветровое стекло. Шофер вынул ее из бардачка и приклеил на выпуклую поверхность перед тем, как тронуться в путь. Самоуверенный вид улыбающегося в тонкие усики суверена, которого я видел на просвет, меня раздражал.

«Палестинцы приветствуют победу американцев». Кажется, я тогда подумал, что никто в машине не удивился. Лица шофера видно не было, но под черно-белой куфией блестели черные усы, очки и брови. В этот период сопротивления уже говорили о помощи американцев Хусейну и о том, как это опасно. Одна его — или приписываемая ему — фраза из франкоязычной газеты меня разозлила:

«В этой войне (1967) больше всего пострадал я. Треть моего королевства оккупирована Израилем, и возможно, мне ее никогда не вернут».

Из фразы ясно следовало — это звучало, как нечто, само собой разумеющееся — что монарх является собственником королевства Иордания, у того, кто эту фразу читал, не оставалось никаких сомнений: король бедуинов владеет огромным садом, раскинувшимся от Красного моря до сирийской границы, куда нагло вторглись какие-то хулиганы, палестинцы, в общем, банда мелких воришек, намереваясь поживиться чужими вишнями и апельсинами, пробралась в его владенье, необходимо было их прогнать или надрать задницу.

А палестинцы при каждом удобном случае всем и каждому рассказывали, что видели, как

как Хусейн фотографируется с Голдой Меир.

— И где?

— На яхте Голды.

— Я спрашиваю, где фотография?

— Это секретные сведения.

— Моссад обожает такие грубые шутки. Если бы такая фотография существовала, она бы облетела весь мир.

Баширу Жмайелю, который неосмотрительно поужинал с Шароном и Бегином, два сообщника сделали немыслимую рекламу. Похождения суверена никого не удивляли: его прадеда, эмира Мекки, осыпали золотом англичане, дед был королем Трансиордании, затем королем Иордании, которого на выходе из иерусалимской мечети Эль-Акса убил некий палестинец из семейства Хусейни. Отец короля Хусейна, Талал, враг Глабб-Паши и британцев, умер, как говорят, в полном безумии, в швейцарской клинике.

«Надо же мне было отправиться именно с этим шофером, трусливым, раз он гонится за победой, и при этом довольно отчаянным, если потрясает перед пассажирами фотографией ненавистного монарха», — вероятно, думал я, совершенно упуская из виду, что эта фотография *также* была и охранным свидетельством для всех пассажи-

ров, в том числе, и для меня. Чуть приглушив американскую музыку, оставив её фоном, радио сообщило, что Ирбид только что сдан. Мы прибыли на пограничный пост с иорданской таможней и полицией. Фидаины и население Ирбида «мужественно сопротивлялись», их «храбрость превосходила военную стратегию». Один из пассажиров перевел мне на английский эту похвалу, озвученную черкесским генералом. В смерти нет доблести, а в бегстве бесчестья, Пророк, покидая Мекку, чтобы обмануть преследователей, притворился, будто уходит на юг, но, внезапно свернув с дороги, пошел на Медину, на север. Святая хитрость, ибо она дала название целой эре, которой уже пять тысяч лет: Хиждра, то есть, Бегство.

Фидаины, спрятав оружие в Ирбиде, перешли в Сирию, кто-то ушел на Голанские высоты, которые еще несколько лет оставались ни сирийскими, ни израильскими. Каждый единичный случай бегства, рассмотренный под микроскопом, никак не мог бы повлиять на войну, даже если все эти бегства — пятно на сопротивлении. Печальный факт, над палестинцами насмехались во французских, израильских газетах и вообще в западной прессе. От Ирбида до границы

пассажиры смущенно молчали. Словно все сговорились держать язык за зубами. На таможне не задержали ни одного пассажира, не открыли ни одного чемодана. Мне показалось, что официальные лица — таможенники и полицейские — обращались с нами подчеркнуто вежливо, при виде моего французского паспорта никто не выказал удивления. Шофер вновь завел машину. Оказавшись в нейтральной зоне шириной около пятисот метров, разделяющей две страны, он остановился. Протянув руку к портрету всё еще улыбающегося короля Хусейна, он отлепил его от ветрового стекла, сунул обратно в бардачок, достал оттуда фотографию Арафата, тоже цветную, и приклеил ее тем же лейкопластырем, который отодрал от короля. Я улыбнулся. На его лице, а также на лицах пассажиров не дрогнул ни один мускул. Я еще подумал:

«Наверняка среди пассажиров есть шпик».

Хотя я и не специалист по средневековому и ренессансному искусству, мне известно, что первые *пьета* вырезáлись из узловатого и твердого дерева, которое считалось негниющим; завершив работу над скульптурой скорбящей матери, художник раскрашивал ее, как до сих пор раскрашивают во французских тюрьмах

оловянных солдатиков. Из мраморных блоков ску́льпторы вырезали те же композиции: очень худое обнаженное тело с пронзенными ладонями и ступнями, торс и голова на коленях женщины, у которой видны лишь овал лица и руки, остальное тело искусно — в зависимости от эпохи и художника — задрапировано материей.

Можно сказать, что эти скульптурные группы, прекрасно вырезанные и раскрашенные, заполонили весь христианский мир, наверное, от Каролингов до Микеланджело. Если лицо покойного кажется безмятежным — иногда лишь по нему проходит тень воспоминаний о страданиях на кресте — лицо женщины выражает скорбь, ресницы опущены, взгляд устремлен на мертвого, по обе стороны увядшего рта прорезаны глубокие морщины. То, что женщина — Дева Мария — старше мертвеца, лежащего у нее на коленях, это как раз естественно, но в некоторых скульптурных композициях дева-мать кажется младше своего мертвого сына. Порой эта молодость материнского лица является результатом бесчисленных, долгих, нежных поцелуев, которыми многие поколения верующих покрывали Богоматерь, сглаживая морщины, полируя ее черты из бронзы, меди, серебра, мрамора и сло-

новой кости, добившись за четыре столетия чуда омоложения, даруемого сегодня пластической хирургией.

Такси направилось в сторону Даръа. Приемник, хотя его, кажется, никто не переключал, перестал транслировать поп-музыку; то, что пришло ей на смену, настолько отличалось по ритму и инструментальному тембру, что я поневоле прислушался. Я не сразу узнал эту музыку, но внезапно, даже не успев произнести вслух, подумал: Римский-Корсаков. Точно.

Иордания, оставленная позади, стала страной, которую оберегают, Сирия, куда я теперь направлялся, тоже.

Едва только мы выехали из Иордании, образ Хамзы и его матери меня уже не отпускал. Он возникал в моем сознании довольно странным образом: я видел Хамзу одного, с винтовкой в руке, улыбающегося, взъерошенного, каким он явился мне впервые вместе с Халебом Абу Халебом, но его силуэт вырисовывался не на фоне неба или фасадов домов, он проступал на поверхности большой тени, довольно плотной, удушливой, словно облако сажи, и ее плотные, крупные контуры или, как говорят художники,

валёр[73], повторяли очертания его матери.

А если я вызывал в представлении одну его мать, например, когда она открывала дверь комнаты, ее сын тоже всегда был рядом, огромный, он наблюдал за ней с оружием в руках. В общем, я никак не мог увидеть в воображении одну фигуру: всегда только вдвоем, причем, одна была привычного роста и запечатлена в своей обычной, повседневной деятельности, а другая, гигантская, просто находилась рядом, плотностью и размерами напоминая мифологическую фигуру. Итак, что же это было за явление: эдакая пара-химера, одна фигура человеческая, другая фантастическая. Конечно, эти строки не могут дать четкого представления о том, что произошло, потому что образы не были неподвижны. Сначала Хамза показывался один, его волосы шевелились не из-за ветра и не от того, что он встряхивал головой, а потому, что его мать, вернее, нечто вроде горы, имеющей очертания матери, внезапно возникала за спиной Хамзы, при этом появлялась она ни справа, ни слева, ни сверху, ни снизу, ни из глубины пространства.

В том мире, где всё: люди, животные, растения,

---

[73] Примечания: 73

Оттенок тона, определяющий соотношение света и тени в пределах одного цвета (в живописи и графике). (*Прим. перев.*)

силуэты, территории, язык дышат воздухом ислама, являющаяся мне скульптурная группа была *mater dolorosa*, скорбящая мать, пьета. Мать и сын; не такие, каким изображали их христианские художники, рисовали или ваяли из мрамора и дерева: мертвый сын, лежащий на коленях матери, кажущейся моложе, чем снятый с креста труп — но здесь всегда одна оберегала другого.

Каждая фигура, едва возникшая в сознании, тут же неизбежно призывала другую, и этот образ всегда оберегал другой образ, тот, что сохранял человеческие пропорции. Слишком недолго — в реальном, измеримом времени — я видел Хамзу и его мать, чтобы знать наверняка, именно ли их лица вставали передо мной в течение четырнадцати лет, но я помнил, и думаю, ясно помнил волнение, охватившее меня при виде Хамзы и его вооруженной матери. Каждый был броней для другого, броней слишком слабой, слишком человеческой. В плену какого архетипического образа так долго находились скульпторы и художники, берясь за этот сюжет: раненое материнство, каким предположительно трактует его Евангелие? И самое главное: почему четырнадцать лет именно эта композиция преследовала меня настойчиво, как неразгаданная тайна? По-

чему, наконец, я предпринял это путешествие, чтобы узнать нет, даже не разгадку, а чтобы понять, была ли эта тайна вообще? И что было изначальным: композиция с Девой Марией и ее Божественным Сыном, именуемая «Пьета», или то, что существовало гораздо дальше в глубине веков и не в Европе, Иудее и Палестине, а где-то еще? Может, в Индии, например, или в каждом человеке? И надо ли так остерегаться инцеста, если он уже существовал без ведома Отца, в сумятице мечтаний матери и сына. Всё это не имело бы значения, но здесь есть великая тайна: знаком палестинской революции для меня был не какой-нибудь палестинский герой или победа (при Караме[74], например), а так некстати появившаяся эта пара: Хамза и его мать, именно эта пара была мне нужна, потому что в каком-то смысле я вырезал ее по своей мерке в пространственно-временном, национальном, семейном, родственном континууме, вырезал и так искусно отрезал от всех, к кому она была прикреплена, я

[74] Примечания: 74

Сражение у поселка Караме в Иордании — крупнейшее танковое сражение между израильтянами и арабами между войнами 1967 и 1973 годов. Состоялось в марте 1968 года. Его участниками стали: Армия обороны Израиля и объединённые силы Организации освобождения Палестины (ООП), к которым позже присоединилась иорданская армия. (*Прим. ред.*)

отделил две составляющие, которые мог соединить — мать и одного из ее сыновей — удалив при этом, словно невзначай, двух других сыновей, дочь, зятя, возможно, семью, племя и даже целый народ, ведь я не уверен, что сейчас так же внимателен, как в 1970. Но, возможно, я как раз искал знак Революции, ее печать, как в Коране печать Пророка?

И это не всё. Если бы многократно повторенная композиция, в высшей степени христианская, символ безутешной скорби матери, чей сын — Бог, явилась мне так быстро, со скоростью молнии, как символ палестинского сопротивления — это было бы еще вполне объяснимо, а вдруг всё как раз наоборот: «*мятеж и произошел, чтобы мне была явлена эта композиция*»?

Даръа, которую я не видел с 1973 года, вероятно, так и осталась маленьким приграничным городком на сирийской территории. Я проезжал Даръа в 1970, возвращаясь из Дамаска, на пути в Амман. Две руки, ударяющие по доске в такт ритма, то и дело прерываемого новым ритмом, тоже сымпровизированным — вот что осталось у меня в памяти от Даръа, где ФАТХ купил дом, превращенный в маленький медпункт-госпиталь на восемь коек. Два показавшихся мне огромными

фидаина с непокрытыми головами, но одетые в пятнистые маскировочные костюмы, стояли, облокотившись на два деревянных ящика, поставленных один на другой в коридоре возле двери. Худые и сильные пальцы выбивали на досках какой-то довольно сложный, но веселый ритм. Они разговаривали и смеялись. В гортанных голосах мне слышалась нежность, которая просачивалась сквозь мелкую щебенку звуков. Слоги и особенно согласные словно застревали у них в горле, но потом, падая изо рта, смягчались, возможно, из-за того, что вокруг было темно. Махмуд Хамшари окликнул меня:

— Соседи предлагают нам чай.

Направляясь к нему, я прошел мимо двоих фидаинов, которых увидел в профиль. Они по-прежнему выбивали свои ритмы, всё более сложные, всё более быстрые, на двух новых гробах из мягкой древесины, превратившихся под их длинными худыми пальцами в ударные инструменты. Третий гроб, который я поначалу не увидел, стоял вертикально, открытый, слегка наклоненный к стене. Я обратил внимание на сучки в древесине — кажется, это была ель — и благодаря именно этой детали до конца проникся погребальной атмосферой, которая возникла

из-за этих трех гробов, а еще из-за бодрого ритма, выбиваемого по дереву. Мы пили чай в соседнем доме, и Махмуд сказал мне:

— Я вас позвал сюда, потому что уже принесли тела. Сейчас начнут заколачивать гробы перед похоронами.

И поставил фарфоровую чашку.

Два первых фидаина были такими красивыми, что я даже сам удивился, почему не чувствую к ним никакого влечения, и чем больше я узнавал палестинских солдат, не просто вооруженных, но украшенных оружием, в маскировочной форме, в надвинутых на один глаз красных беретах, тем больше каждый казался не просто отображением моих фантазмов, а их материализацией, явленной мне здесь и сейчас, «*словно они*» были мне дарованы. Возможно, в этом всё и дело: сначала слово «*украшены*», «*украшены оружием*», но ведь оружием пользуются, значит, это инструмент, а не украшение. Фидаины мне не повиновались, они не могли появляться и исчезать по моему желанию, то, что я долгое время принимал за своего рода чистоту, полное отсутствие эротизма, возможно, являлось чем-то вынужденным, ибо каждый солдат был один и ни от кого не зависел. А если короче — но я к этому еще вернусь

— я должен употребить слово проституция. Она отсутствовала, отсутствовало и желание. Одно меня беспокоило: а что, если отсутствие желания объясняется именно «*материализацией*» моих собственных любовных желаний, или, как я уже говорил, «*истинная реальность*» делает напрасной «*мою реальность*», реальность фантазмов. Так было в США с Черными Пантерами.

«Чем больше я узнавал солдат…», этот фрагмент фразы замещает другой, который я написал сначала… «чем глубже я погружался…». Я настоял на этой поправке, чтобы не упустить из виду одну вещь: когда я пишу о палестинцах, срабатывает нечто вроде самоцензуры.

Внезапное появление ватаги смеющихся, радостных, свободных пехотинцев удержало меня от падения в грязь, словно на краю пропасти, это был десант ангелов, заградительный отряд ангелов: я был счастлив, узнав, что буду жить в огромной казарме.

Повиновение моим прежним мечтаниям, которые вдруг вырвались из меня, словно без них во мне чего-то недоставало, было, и в самом деле, повиновением и подчинением: самый юный, самый неискушенный, самый податливый из фидаинов, наверняка расхохотался бы, узнай

он, что его могут желать, что его, возможно, выбрали, чтобы он поиграл в солдата. Разве что в одиночестве, рядом со смертью, когда уже не рискуешь ничем, потому что всё потерял? И то не наверняка. Мне кажется, именно здесь, среди вооруженных палестинцев я осознал контрастность бидонвиля, о которой писал выше.

Я говорил, что произошло там, в Аджлуне? Мы сражались, хотя о сражении никто не знал, оно даже не было названо. Между нами беспорядочно навалены вопросы, ответы, суждения, манеры, грубые или утонченные, разве не было это похоже на баррикады, куда бросают вперемешку булыжники из мостовой и старые матрасы, кирпичи, камни, что-нибудь твердое и рядом что-нибудь, наоборот, мягкое, способное смягчить удар: соломенные тюфяки, подушки, старые кресла, сломанные детские машинки, картонные коробки — вот так и мы громоздили перед собой столько пустяков, чтобы наши баррикады, стены, крепостные валы встали у кого-то поперек дороги, чтобы никогда не появился тот, кого надлежало держать на расстоянии вытянутой руки, Дьявол? а тем временем непрочность баррикад обнаруживалась со всё большей очевидностью.

Те, кого вы называете террористами, сами зна-

ют — и не надо им об этом напоминать — что они, их физические тела и их идеи, будут лишь краткими вспышками молнии над этим миром. Блестящий Сен-Жюст знал о своем блеске, Черные Пантеры о своем сиянии и своем исчезновении, Баадер с товарищами угрожали смертью шаху Ирана; фидаины это тоже трассирующие пули, знающие о том, что их след растает в мгновение ока. Я воскрешаю в памяти эти несколько молниеносно прочерченных судеб, потому как чувствую в них то же веселье, что и в небрежной поспешности похорон Гамаля Абдель Насера, и во всё более сложном, всё более «веселом» ритме, который барабанщики отбивали руками на досках гроба, и в этой почти радостной части литании моцартовского «Реквиема». Словно такая невыносимая боль может проявиться лишь через собственную противоположность и в ней же укрыться; самый веселый смех, ликование способны своим сиянием уничтожить боль, прижечь, как рану, ее причину.

Когда тебе шестнадцать, сооружение баррикады становится своего рода оградой, страховочной мерой; ведь правда, если тебе довелось участвовать — пусть поневоле — в ее возведении, эта картинка остается у тебя в памяти, большую

часть времени блеклая и тусклая, она проступает ярче всякий раз, когда пытаешься поддерживать порядок, каков бы он ни был и как бы ни именовался: Порядок или Закон. Написав это, я тут же вспомнил: через несколько дней после резни в Аммане, убедившись, что бедуины Хусейна одолели фидаинов, один полицейский, по происхождению палестинец, не только не дезертировал из иорданской полиции, когда та была разгромлена, но восстановился в ней. Помню, я увидел его среди копов как раз в день возвращения, он был сама Боль. Будь он чуть помоложе и поумнее, были бы у него шансы стать хорошим копом?

Чуть позже я расскажу об Али, молодом шиите, который хотел, чтобы мои кости, если что случится, похоронили в Палестине. В 1971 он говорил мне по поводу израильских угроз:

— Только не забывай, что много табачных плантаций было куплено тайком израильтянами, до самого устья Литани.

Я пишу это 20 января 1985, когда израильское правительство решило отвести войска от берегов Авали. Возможно, к югу от Сайды до Литани.

Когда я передал слова Али Дауду Талами, одно-

му из руководителей НДФОП[75], он улыбнулся:

— Израилю нет необходимости покупать земли при помощи подставных лиц. Когда он захочет, то просто перейдет границу, аннексирует часть Ливана, организует там израильские поселения или кибуцы.

Али был прав: приграничная местность была охвачена страхом настолько, что земли постоянно покупали и продавали.

Даул был прав: ЦАХАЛу было достаточно забросать бомбами Бейрут под тем предлогом, что оттуда необходимо выгнать палестинцев. Затем отступить раз, другой, давая Европе свидетельства своей доброй воли, продемонстрировать готовность уступать, но остановиться у Литани, сохранить за собой эту территорию, оставить там вооруженные силы между официальной границей государства Израиль и Литани. А затем кое-что подправить в кадастрах в пользу израильтян.

Мне было в чем упрекнуть фидаинов — меня поражал оптимизм всякого революционера, который путает свободу, независимость, возможность быть собой со стремлением к комфорту,

---

[75] Примечания: 75
Народно-Демократический Фронт Освобождения Палестины.

между тем, как мятеж и революция требовали суровости и здравомыслия — несмотря на это, я испытывал к палестинцам дружеские чувства и восхищение (Даръа. Сегодня я вспоминаю, что полковника Лоуренса турецкий паша изнасиловал именно в Даръа, о чем, впрочем, я никогда не думал, хотя бывал там довольно часто). Но сирийцы все время критиковали фидаинов, зачастую довольно резко и грубо. Шофера такси, который вез меня одного в Дамаск, раздражали эти бунтовщики, из-за которых в 1967 потеряли Голаны, а израильские границы приблизились к Дамаску. Я мог бы понять их страхи, но сами доводы сирийцев выдавали трусость лавочников, которые уже капитулировали перед властностью Хафеза аль-Асада.

— Вы знаете лагеря?

— В Сирии их много. Если Хусейну чего и не хватало, так это твердости. Он слишком долго терпел государство в государстве. Здесь, в Сирии, фидаины в Ас-Саике, под командованием Зухейра Мохсена, а сам он под командованием сирийского штаба.

Радио в такси передавало уже не Римского-Корсакова, а Скрябина.

— Во всяком случае, если не хотите проблем в

Дамаске, держите язык за зубами. Цивилизованных палестинцев любят.

Революция — это не просто завоевать или отдать территорию, это возможность дышать полной грудью для народа, который в течение полувека испытывал последствия вот таких типичных рассуждений.

В июле 1984, возвращаясь в Аджлун, где хотел увидеть пятьдесят *дунумов* Абу Хишама (менее пятидесяти гектаров), я вновь проехал по одному из тех двух холмов, откуда фидаины посылали друг другу песни; я искал ручей или горный поток, который слышал той ночью. Ручей оказался на месте, но теперь он протекал в трех трубах и был совершенно неслышен. Этот акведук подвели к грядкам салата и цветной капусты. Всё было вечным, только птицы — новые.

Ручей не говорил теперь ничего, даже ночью.

Куры Аджлуна кудахчут и поют.

В палестинских лагерях теперь все забетонировано, земля, стены.

Дорога из Даръи в Акабу широкая и залита гудроном.

Мой взгляд умел отличить поля ячменя от полей пшеницы, ржи и бобовых. Пейзаж уже не был серо-золотым.

В 1970, 1971, 1972 каждый боец слышал отголоски столкновений в центральном комитете. Забыв о разногласиях между руководителями разных отделов ООП, я, ценивший фидаинов за их собственные качества, а не за членство в той или иной организации, нередко ставил людей в неловкие ситуации, думая при этом, что стираю различия. Одна дамасская газета сообщила о моем недельном пребывании в Сирии и указала называние отеля, ко мне пришли двое молодых людей лет двадцати пяти. Мы вместе пообедали, и я, сам не понимаю, по каким признакам, отметил, как осмотрительно они себя вели, не желая, чтобы их видели другие обедающие, почти все болгары, одни мужчины.

— Лучше, если нас не увидят рядом с тобой, в отеле есть представительство ФАТХа.

Я показал им письмо Арафата с разрешением посетить штабы всех движений.

— В общем, ты в ФАТХе по недосмотру.

Сами они принадлежали НДФОП, руководителем которого был Наиф Хаватме. То, что он лично присутствовал в Аммане во время боев, все члены организации демонстрировали мужество и преданность, а также тактическое мастерство — а Жорж Хабаш находился в это время в Северной

Корее — снискал ему уважение и даже дружбу Арафата.

— Мы не ФАТХ, мы другое движение, наша идеология еще не так популярна, и мы хотим независимости в ООП; хотя нас там меньшинство, наше присутствие довольно весомо. Ты мог бы позвонить нам, предупредить о своем приезде.

Находился ли я в Дамаске или где-то в другом месте, это не имело никакого значения, так я им и сказал. Перед лицом иорданского или израильского врага договоренность достигалась так стремительно, что мне казалось тогда, будто это какая-то восточная игра, которая быстро сворачивается при намеке на малейшую опасность. В спокойные времена дипломатия и политика была всего лишь партией в шашки, может, в шахматы, я их и воспринимал как игру, наблюдая издалека, разумеется.

Позднее я узнаю, что соперничество между одиннадцатью группами, составляющими в ту пору ООП, превратилось, не без помощи агрессивных самцов, в настоящую вражду. Борьба за власть в чистом виде, в данном случае слово «чистый» употреблено как химический термин, то есть, без примесей, в отличие от стремления к власти ради денег, ради того, что могут дать день-

ги. Мне кажется, я научился различать две формы власти: одна, американская, ради богатства и возможности его демонстрировать, против второй, власти по советскому варианту, власти в чистом виде, возможно, мистической, но горделивой, абсолютной власти, которая могла оказаться в руках особы злобной и хитрой.

Однажды несколько руководителей НДФОП, еще молодые в ту пору, предложили отвезти меня на Голанские высоты.

— Но этот горный массив оккупирован Израилем.

— Мы хотим тебя туда отвезти.

— Надо перейти через несколько кордонов сирийской армии, они обычно отказывают, если нет приказа из штаба.

— Не беспокойся ни о чем. Поедем завтра.

Около трех пополудни мы выехали из Дамаска на автомобиле. Всего нас было девять, восемь фидаинов и я. Фидаины принесли куфии и черные очки для всех. Возможно, они руководствовались рассказом По «Украденное письмо»: проход через кордон при свете дня в этих карнавальных одеяниях сделает нас невидимыми, а возможно от такого наглого обмана солдаты умрут со смеху, у них из глаз хлынут потоки слез и замутят

зрение, или зрелище покажется им настолько неуместным, что они примут его за некий фарс, мираж, хмельную гулянку, а возможно, от приступа веселости у них начнутся колики в животе и, согнувшись пополам от боли, они пропустят нас, не в силах произнести ни слова, не то что отдать приказ.

«Это лейтенант Али», — сказал по-арабски один из фидаинов сирийскому солдату, который внимательно рассматривал пропуск с тремя-четырьмя печатями.

«Какая дырявая армия, — вероятно, подумал я. — Кто угодно может здесь пройти, даже Голда Меир».

Мы добрались до фермы, где провели ночь перед тем, как пешком отправиться на склоны Голанских высот, оккупированных Израилем. Мы пили чай, когда из соседней комнаты послышался шум шагов, открываемых дверей, разговор по-арабски с сирийским акцентом. Кто-то за моей спиной открыл дверь и сказал по-французски:

— Добрый вечер, месье. Капитан послал меня узнать, не нужно ли господину французу что-нибудь на ночь.

Я сказал: «Нет, спасибо». Сирийский унтер-офицер уточнил: «Вы уверены?». Я ответил: «Да, у

меня всё в порядке». Офицер: «Значит, я могу идти». Я: «Да». Он: «ОК». По-военному отсалютовав, он вышел, ни на кого не глядя. Все были очень смущены, кроме фермера, его жены и сына.

— Давайте спать, — резко произнес Фарид, командир двадцати трех лет.

Вторжение унтер-офицера явно было ответом на тот фантасмагорический переход сирийского поста, конечно же, меня обманули, но до чего дойдет этот обман? Однако я совершенно не беспокоился. Мне всё казалось забавным — но что если внезапное смущение фидаинов было наигранным, а сирийский унтер-офицер загримированным актером театральной труппы из дамасской консерватории?

Я уснул. Мы отправились пешком ледяным утром, когда солнце еще не поднялось, и через два часа пути оказались на Голанских склонах (на сирийском арабском «Жолан»), в заброшенной черкесской деревушке. На вершине первого отрога я увидел форт, наспех возведенный израильтянами. По-утреннему густой туман скрывал сооружение, когда-то сирийское, построенное, как Эс-Сувайда, из базальта и белого мрамора и, как в Сувайде, главном городе сирийских друзов, белый мрамор чередовался с камнем того же

размера и так же обтесанным, но только черным. Как сказал один из моих спутников, совершенная система радаров тотчас предупреждала гарнизон форта в случае опасности. Всё казалось безмолвным и оцепенелым.

— Надо подняться еще на триста-четыреста метров. Здесь на склоне есть несколько пробковых дубов, я их отметил. Как только услышите шум авиамотора, выбирайте себе дерево. Бегите и прижимайтесь к стволу.

Солнце начинало пригревать.

— Ты устал?

— Нет.

— Давайте остановимся перекусить. Мы неплохо продвинулись вперед. Если идти по одному и на расстоянии друг от друга, то никакого риска. Но надо поесть.

Вокруг была лишь желтоватая трава, несколько деревьев и, разумеется, базальтовые скалы. Мы что-то перехватили наскоро, как диверсионная группа на задании. И тогда сын эмира одной из стран Персидского залива, парень лет восемнадцати на своем французском, выученном в престижном швейцарском колледже, спросил меня:

— Скажи откровенно, что ты о нас думаешь. Мы

настоящие революционеры или интеллектуалы, играющие в революцию?

Наверное, не все члены организации Наифа Хаватме происходили из знатных семейств, но в нашей группе почти все были потомками Али, то есть, благородного происхождения: сын эмира, сын известного палестинского врача, адвокат-специалист по хозяйственному праву, один непрямой потомок Нашашиби, все стояли, открыв рты, кроме сына эмира, которого отец грозился лишить наследства за то, что тот бросил свою швейцарскую школу по двум причинам: романтизм и ностальгия по Средиземноморью. Трудно было избавиться от мысли, что какими бы благородными и отважными ни были мальчишки, если они погибнут, их родители только выгадают от их безвременной гибели в марксистской борьбе. Я ответил:

— Раз уж ты задал этот вопрос, ты имеешь на него право.

На арабский это перевести не получилось. Мне показалось, что по лицам восьмерых моих спутников пробежала какая-то тень, но командир нашего отряда тут же принял решение:

— Нет смысла подниматься дальше, француз всё понял.

Спускаясь с Голанских высот, хотя я и не был уверен, что нахожусь именно там, все прямо на ходу стали сочинять песню, подобную той, о которой я уже говорил, что-то вроде канона, где каждая новая строфа подхватывала предыдущую, еще не завершенную, и сливалась с ней. Теперь они насмехались над Голдой.

Прежде чем распрощаться, то есть перед возвращением в Дамаск, мы остановились на ферме, где провели ночь. Крестьянин вернул мне паспорт и деньги, которые по совету фидаинов я там оставил.

— Нужно помочь крестьянам жать хлеб. Подожди нас, выпей чаю.

Вернувшись, они сказали мне:

— Ну вот. Как объяснял Мао в своей «Маленькой красной книжице», интеллигенция должна помогать крестьянам в их трудах.

— Вы помогали им целых полчаса.

Безо всяких затруднений, без вопросов, не переодеваясь на этот раз, двадцать четыре часа спустя мы перешли сирийский кордон в обратном направлении. Вернувшись в Дамаск, я отправился во Французский институт. Я знал там одного географа, который мне всё объяснил. Он показал несколько штабных карт, проследил по ним путь

от Дамаска, дорогу к ферме между базальтовыми скалами, саму ферму, черкесскую деревушку, отрог горного хребта. Начертил на карте то самое израильское сооружение:

— Они, действительно, отвели тебя на Голаны, но почему?

Мне кажется, я понял: они хотели доказать свою военную доблесть, а еще показать, как они, представители интеллигенции и правильные марксисты, помогают простому народу, причем, гораздо больше, чем ФАТХ, к которому я был ближе. Они наверняка думали, что я всё это опишу, раз уж сам был свидетелем. Они не знали, что географ из Института сказал мне:

— Ты, действительно, был на Голанских высотах, но в нейтральной зоне, где палестинцам разрешено передвигаться в течение двух-трех часов, потому что, стреляя в них, можно задеть сирийских крестьян, которые пасут своих коров и овец. Тем более, это недалеко от горы Друз, туда ходят друзы из Израиля, часто не предупреждая заранее. Конфликты никому не нужны. (Он улыбнулся). Вчера у тебя была просто утренняя прогулка. Утомительная, но не слишком опасная.

Коробка гаванских сигар, купленная в Дамаске

и подаренная начальнику иорданского таможенного поста, помогла мне провести в Иорданию говорящего по-французски фидаина. В Аммане у него жили приятели, члены НДФОП. Мы вместе отправились в представительство ФАТХа. Абу Амар, которого предупредили о моем приходе, обнял меня, а когда я, желая помочь фидаину, спросил, где находится офис Наифа, ответил:

— Не знаю. Пусть поищет в Аммане.

Два дня спустя сын эмира был в Дамаске. 1971 год. Мне явилась другая сторона личности Абу Омара: партийность одержала верх над чувством товарищества и просто учтивостью. Несколько позднее он сам припомнит этот свой ответ. Подписывая мне пропуск от имени Арафата, он, возможно, догадывался, что я воспользуюсь им, чтобы побывать в представительствах и других движений, не только ФАТХа, но думал, что я все же не пойду на это. Не решаясь продемонстрировать мне свое дурное настроение, он обрушил его на весь НДФОП.

Растерянность часто делала его раздражительным, и мне довелось в этом убедиться. Несколько дней спустя в Аммане, на Ашрафии, Абу Омар показывал мне водонапорную башню, места боев, развороченные дома, тайники с оружием, но

отказывался говорить, где стоит артиллерия. Мы обошли лагерь, который прикрывал огнем вход в королевский дворец. Он отошел к какой-то стене, приподнял серое покрывало и, подозвав меня, показал первую «катюшу».

— Они все направлены на дворец.

Он улыбнулся и, как мне показалось, несколько успокоился.

— Вам не стоило мне это показывать…

— Конечно, не стоило. Давайте забудем, — ответил он, для которого потребность *говорить правду* была такой же неодолимой, как и потребность лгать.

Может быть, книга эта вышла из-под моего контроля, я не смог ни обуздать ее, ни смирить. В ней, в ее потоке слишком много беспорядочного и сумбурного, и когда открываются шлюзы, выпуская запертые воспоминания, вероятно, чувствуешь облегчение. Пятнадцать лет спустя, несмотря на мою сдержанность и молчание, это подавленное желание просачивается через трещины. В те времена великой любви я умел хранить тайны, а Абу Омар уже был встревожен.

Почти сразу после моего приезда в Иорданию, когда я сказал ему, почему Махмуд Хамшари меня привез туда, Абу Омар принял решение, которое

меня удивило и даже рассердило. Сама его идея провезти меня через всю Иорданию от Аммана до Ирбида, что в пяти километрах от сирийской границы, и познакомить со всеми движениями, не только ФАТХом, мне очень понравилась. Во время нашей поездки на автомобиле, я расспрашивал его об отношениях крестьян палестинцев и бедуинов, если угодно, иорданцев. По его мнению, они были замечательными. Я понимал, что эта поездка была пропагандистской кампанией, устроить мне беседу с членами организации палестинских женщин означало продемонстрировать, что француз (а значит, и вся Франция) интересуется Палестиной. С чего бы мне отказываться поиграть в эту игру? Мы прибыли в Ирбид. Оказалось, что как раз сейчас там находится поэт Халеб Абу Халеб и, узнав о нашем приезде, он, заинтригованный, сразу же пришел к нам. Он говорил по-французски. Когда я сказал ему, что мы едем в Союз палестинских женщин, а Абу Омар утверждает, будто между двумя народами отношения прекрасные, то пришел в ярость.

Абу Омару:

— Зачем привозить его сюда и рассказывать небылицы?

Мне:

— Всё очень плохо. Иорданцы нас ненавидят. Разумеется, это результат официальной пропаганды, но это так. Народ не доверяет нашим учителям, врачам, нашим чиновникам. Иорданский народ воюет с нами, а вам говорят, что всё прекрасно! Абу Омар лжет. Палестинские женщины всё знают, но при вас говорить об этом не станут.

Бледный, как полотно, Абу Омар не решался перебить Халеба. Я был взволнован и из-за слов Халеба, и из-за того, что Абу Омар скрыл от меня правду, я решил вернуться в Амман, успокоиться и попытаться всё обдумать.

Обратное путешествие было тягостным. Когда мы остановились у заставы иорданцев, Абу Омар, не имевший удостоверения личности, ведь он был фидаином, пусть высокого ранга, но фидаином, посоветовал мне показать мой французский паспорт: он мог бы защитить нас обоих. Я узнал — это меня возмутило и возмущает до сих пор — что когда Халеб вернулся в Дамаск, ему запретили вести передачи на Радио-Дамаск. Мне сказали, что он якобы сам захотел отдохнуть. Слово «сумасшествие» произнесено не было, говорили про нервное, психическое, интеллектуальное переутомление, депрессию. Эти стыдливые фор-

мулировки звучали даже оскорбительнее, чем более жестокие слова. Удивительно, что это сумасшествие — а в тот день я оказался свидетелем самого настоящего припадка — придавало ему такую ясность сознания, он имел смелость (или неосмотрительность) открыть мне, что передо мной, наивным наблюдателем, разыгрывают спектакль, обманчивыми красками пытаются замазать реальность. Халеб хотел, во-первых, сообщить мне об опасности, которой подвергается его народ, и, во-вторых, предупредить меня, чтобы я не стал жертвой обмана.

Помнит ли еще кто-нибудь мою беседу с алжирским офицером, которая в моих воспоминаниях связана с весной 1971 и длинной вереницей бредущих гусениц? Помню начало этого диалога:

— Вы, в сущности, кто?

— Друг палестинцев. Палестинского народа и фидаинов. А вы?

— Алжирский офицер. Сколько, по-вашему, еще продлится эта война между Израилем и арабами?

— Не знаю. Думаю, лет пять.

— Вы можете сказать и все сто пятьдесят.

Сразу после своего приезда я, так сердечно принятый фидаинами, наверное, был не в состоянии

оценить противоборствующие силы, понять разногласия арабского мира. Впрочем, я мог бы гораздо раньше увидеть, что помощь, оказываемая палестинцам государствами Персидского залива или Магрибом, не более чем иллюзия. Она была показной, демонстративной, но довольно незначительной. Постепенно я почувствовал, что изменился, особенно после войны 1973. Еще очарованный, но не убежденный, еще обольщенный, но не ослепленный, я вел себя, скорее, как влюбленный пленник. Я подумал, что безумная любовь живет три года, возможно, пять, дальше наступит любовное пресыщение и усталость, а после ста пятидесяти лет в этом регионе и вообще в мире любые мысли и чувства, едва мелькнув, будут угасать. И на меня обрушились эти сто пятьдесят лет, а я-то наивно рассчитывал на пять, которые собирался прожить от победы к победе. Любовь, поначалу такая сильная, неизбежно должна была ослабнуть. Лица старых палестинок, попытки приукрасить дома, современные безделушки, привезенные из Японии, точно такие же, как у индейцев где-нибудь в Латинской Америке, потоки застывшего цемента, чтобы спрятать убожество почвы, всё это подтверждало, что всякая революция деградирует именно

так: капитулируя перед нашествием комфорта, влекущего за собой скуку и пресыщенность.

Если вернуться к той телевизионной передаче, которую я упомянул в начале книги, то никто — если, конечно, они не сговорились — не видел похорон Насера. Песнопения из Корана, крупные планы кулаков, глаз, общие планы во весь экран, зрелище, совершенно непригодное для наших воспоминаний, если бы им не предшествовал заголовок: «Похороны Раиса Гамаля Абдель Насера». В этом пыльном переплетении рук, ног, мужских юбок, — одни только мужчины, являлись ли они народом? Казалось, все потели, только у палестинской революции не будет никакого выпота. Предсказание Арафата: «они» (а недифференцированное «они» у Арафата означало всё, против чего он боролся), «они» нас фотографируют, снимают, пишут о нас, и благодаря им есть мы. В любой момент они могут перестать это делать: для Запада и для всего остального мира палестинская проблема будет решена, потому что не станет «картинки».

В Европе каждый мог положить конец этим живописным похоронам, просто нажав кнопку своего черно-белого телевизора. А здесь на деревьях гроздьями висели мальчишки и даже

старики, из последних сил пытаясь удержаться на ветках. И когда в сентябре 82 Арафат отправится со своими людьми в Грецию, мы увидим то же самое: погребальная церемония на иностранных суднах, а на ветках деревьев его бурно приветствуют мальчишки. Похоже, все арабы поняли, что смерть Фараона означала смерть Уммы[76].

Народ, который казался мне ближе всего к земле, к глине, на которую походил цветом, тот, чьи ладони и пальцы так чувственно касались вещей, в то же время показался мне и самым непонятным, самым нереальным. Его движения были скорее зачатками движений. Взять хотя бы один жест — тот, который у папы в белом одеянии покажется нелепым и смешным, когда он, выйдя из роскошного салона самолета, после всех воздушных ям и всех своих страхов обретя твердую землю, целует ее — это жест фидаина, точно так же целующего землю Палестины, первый жест по приезде в Израиль, когда о его появлении уже известили аварийные сигналы и сигналы тревоги, электрические, электромагнитные системы, фосфоресцирующее свечение, инфракрасное излучение, позволяющее четко видеть в темноте,

---

[76] Примечания: 76
Умма — религиозная община в исламе. (*Прим. перев.*)

и прочие системы тайной защиты; нет чтобы сосредоточиться, вскинуть на плечо винтовку, держать на прицеле возможного убийцу, — все лучи и все вспышки, все израильские системы слежения направлены на него, словно на папу, целующего землю. Но порой, когда под вечер герои отправлялись к Иордану, я уже видел, как они возвращаются муниципальными советниками, мэрами, депутатами, они уходили, преисполненные отваги, чтобы стать героями, а высшая степень героизма — их гибель возле скал. Они не целовали землю. Они поднимались над Иорданом, как конные статуи.

Фалангисты умеют беспрекословно подчиняться, как сабры[77], у них такая же выправка и такой же взгляд. Сентябрь 1982 года, Бейрут.

Фидаины рассеялись.

Женщины притворяются.

Мне рассказали, что железная дорога Дамаск-Хиджаз, та самая узкоколейка через Даръю, которую так часто взрывал Лоуренс, вновь введена в строй. И будто бы первую поездку из Аммана в Мекку совершила жена английского посла.

При всей скорости моих перемещений — хотя

[77] Примечания: 77

Сабры — термин, обозначающий евреев, которые родились на территории Израиля. (*Прим. перев.*)

это скорость не моя, а самолетов, поездов, кораблей, автомобилей, вертолетов — и способности легко находить деньги на путешествия, внутри меня покоился мертвец, в которого я превратился уже давно. Если что меня и удивляло, так это его, мертвеца, неподвижность внутри меня, несмотря на все воздушные ямы, поспешные отъезды, высокие волны, неровные дороги, неисправные лопасти, всё перемещалось резкими толчками, перемещая и меня, а я был всего лишь пересылаемой бандеролью и при этом неким человеком, носящим мое имя и похороненным в моей могиле, эта бандероль и этот мертвец ели, смотрели, смеялись, насвистывали, любили как придется и где придется. Мне казалось, мир вокруг совершенствовался, а я покоился в себе, достоверно зная, что когда-то был. Возможно, этими воспоминаниями украшают мой труп, ведь то, что я пишу, не нужно никому, только трупу меня, убитого, я в этом убежден, католической Церковью, а язычество станет почитать его память. «Зачем говорить об этой революции?». Она тоже похожа на длинную похоронную процессию, а я издали слежу за шествием. Идти в такой процессии мне доводилось, в 1970, 71, даже в 72, в Иордании. В шестьдесят лет мои руки и ноги вновь сделались

легкими, пальцы способны ухватиться за пучок травы на насыпи, когда лишенное веса тело балансирует на ненадежном камешке, на который оперлась моя нога. Взбираться вверх мне помогала *слабость пучка травы*. Я карабкался так же быстро, как и фидаин, чью протянутую руку я отверг, добираясь до лишенного растительности плато, откуда мы смотрели на Иерихон.

— Давай скорее, это огни Иерихона.

Абу Х..., забравшийся на плоскогорье быстрее всех, показывал мне блуждающие огни за ущельем, по которому протекал Иордан.

— Я здесь родился.

Его волнение удостоилось моего молчания. Позже я узнал, что ночью напротив Аджлуна можно было увидеть только эти огни, огни Наблуса.

Помните Омара, молодого фидаина, который переводил мне на французский что-то вроде пропалестинской лекции на ферме Аджлуна? Сына бывшего османского офицера из семьи Набулси? В Даръе я увидел его вновь. Это было довольно невежливо, но в первую очередь я справился не о его отце, а о Феррайе.

— Теперь он женат, и кажется, уже не такой марксист.

— Его жена палестинка?

— Конечно. Что касается женщин вообще, он интернационалист, а когда надо найти супругу и родить сыновей, тут он, как и все мы, оказывается болезненно патриотичен, потому что араб.

Феррайя, помните, фидаин, мой самый интересный — любимый? — собеседник первой ночью в Аджлуне? Однако увидев Омара, я подумал не о Феррайе, хотя и говорил о нем, а о чернокожем сержанте-палестинце, который принес мне ужин до окончания рамадана, а остатки потом отдал двоим солдатам? Его поступок вызвал во мне чувство неловкости и стыда, от которого я не мог избавиться. Эту сцену я описал Омару.

— Абу Талеб погиб, кажется, его убили иорданцы. Мы и делаем революцию, чтобы взгляды Абу Талеба не передавались дальше.

— А какая связь?

— Он был внуком или правнуком суданского раба. В ФАТХе он стал старшим сержантом; мусульманин, соблюдающий обычаи, он мог есть только с наступлением ночи. Для него, потомка раба, пусть даже он получил унтер-офицерский чин, ты был хозяином. Тебя нужно было обслужить первым. А уже после тебя остатки ужина доставались другим фидаинам.

— Фидаины были для него слугами?

— Что-то в это роде. Они были слугами, потому что он ими командовал. Впрочем, хотя ты об этом не знаешь, это незначительное событие имело последствия. Те два фидаина, которые ели после тебя, поняли твое смущение. Они немного попинали Абу Талеба, а тот увидел в этом расизм.

— В ФАТХе есть расизм?

— В общепринятом понимании — нет. Теоретически, когда мы становимся фидаинами, цвет кожи, социальное происхождение не имеют никакого значения, но какое воспитание мы получили до этого? Мой отец считает себя аристократом, мой брат в Германии тоже…

В этот момент я осознал свою бестактность.

— Как твой отец?

— Для старика неплохо. Продолжает жить в своем собственном мире.

— В каком смысле?

— Когда вы разговаривали в день его рождения, ты, наверное, понял, что он ассоциирует себя со старой доброй Францией, и во владениях султана является ее наследником и представителем, несет светоч мира. Своего мира.

— Он любит Лоти. А о женах господина Мустафы я и не мог бы ничего сказать, я вообще не знал об их существовании, но он упоминал о них так

часто, у меня сложилось впечатление, будто они для него своего рода щит, такой пуленепробиваемый жилет. Разумеется, покушения он не боялся, он боялся показать рану, но так старательно пытался ее утаить, что я сразу увидел.

— Он тоже из его поколения, а главное — морской офицер. Мой отец знал Ататюрка, Инёню, Гитлера, Риббентропа, Франше д'Эспре, Лиоте. Он так и умрет, твердя свои клише, ты же и сам слышал: «города Восточного Средиземноморья», «христианский Запад», «добродетели простых людей», он имел в виду людей простодушных, например, официантов в кафе, а еще «Александрийская школа», «Сабля Ислама», это он про Наполеона, «шелковый путь»…

— В общем, тебе плевать на своего отца.

— Вот именно. Когда ты меня увидел, ты сразу заговорил о Феррайе и Абу Талебе, а не о моем старике. Ну, про Феррайю я знал, но Абу Талеб?

— Что ты знал про Феррайю?

— В тот вечер, когда вы с ним увиделись в первый раз, ты говорил только с ним, только для него. Он мне так сказал.

— Шутил, наверное.

Омар помедлил немного, потом заговорил, глядя мне прямо в глаза:

— Не без этого. А еще он был взволнован. Когда смерть идет по пятам, нужно всё делать очень быстро, чтобы успеть. Всю ночь вы только обменивались взглядами и шутками, но это и была любовь, он будет помнить об этом всегда.

Хотя объяснение Омара казалось довольно упрощенным, то, что в ФАТХе существует расизм, искусно завуалированный, деликатно скрытый, несколько рассеяло чувство неловкости, которое я испытывал, вспоминая о том ужине.

И тут же слово расизм явилось мне в непривычном освещении, поистине *явилось*, безобидное и губительное одновременно, причем, чем безобиднее оно казалось, тем было губительнее. Мадам Ж… до сих пор живет в Париже на авеню Фош. Во время войны в Алжире эта богатая дама решительно и убежденно защищала алжирцев. Террористы трогали ее сердце.

— Самая большая наша ошибка — то, что мы считаем их другими, непохожими на нас, раз у них другие привычки. Ну так и у англичан левостороннее движение в отличие от нас, французов (помню, она никогда не забывала подчеркнуть свою принадлежность к этой стране).

Другая дама, провинциалка, в отличие от предыдущей, шла еще дальше:

— Я еврейка. Я знаю, что такое расизм. Несмотря на официальные постановления Ватикана, христиане по-прежнему считают нас богоубийцами. Христианский мир не простит исламу конкуренции, особенно в Африке. И в Азии тоже. Любой расизм достоин осуждения.

Но истинные дамы, вероятно, это те, кто охотнее всего произносят слово «азиат»… Ко всему прочему это означает, что они читали Монтескье, а это есть проявление аристократизма, и он возносит их к таким высотам духа, что возраст уже не имеет значение, к тому же в слове «азиат» слышится победа над гуннами, Золотой Ордой и даже над колясками рикши. Мадемуазель Б… говорила «азиат».

— Ислам это еще ничего, но еще за пять столетий до Иисуса они принесли нам Будду. Каким варварским словом нам следует их назвать? А расизм? И концепция расизма?

Мадам Ж… замужем за крупным землевладельцем-французом, изгнанным из Алжира. Отец провинциалки, дивизионный генерал, в свое время занимал высокую должность в колониях. Семья мадемуазель Б… до независимости Вьетнама владела тысячами гектаров в Индокитае. Сама мадемуазель была исключительно мила с

выходцами из стран третьего мира, она ставила на одну доску индийского слугу и магараджу, что вполне в демократическом духе.

Эти три дамы не были знакомы друг с другом, однако все они в своем определении расизма забывали одно слово: «презрение» и то, что из него проистекает. Омар, которому я привел эти три примера, сказал мне:

— Ничего удивительного. Здесь (Даръа находится в Сирии, но он имел в виде Иорданию) иорданцы, и бедные, и миллиардеры, используют одно и то же португальское слово *compradores*. В несчастьях арабского мира каждый винит не компрадоров, каковыми являлись мы все, а само слово. Слово стало оскорбительным, и мы отогнали его от себя. Твои французские дамы, словно сговорившись, дали определение расизма, у которого отняли одну важную часть: презрение. Иначе последствия для них были бы другие. Если расист — это тот, кто во всяком порабощенном видит человека второго сорта, которого можно презирать, он будет презирать его все больше и больше, чтобы еще больше эксплуатировать и, следовательно, еще больше презирать и еще больше порабощать, и так до бесконечности.

Омара убили сирийские солдаты в Таль Эль

Заатаре. Последняя фраза, которую он оставил мне, звучала приблизительно так:

— В сущности, эти три не знакомые друг с другом французские дамы, не сговариваясь, высказали одну и ту же мысль, достаточно, впрочем, простую, и сами того не осознавая, оказались повязаны одна с другой: они отказались произносить запретное слово.

Если ты испытываешь удовольствие, никакой высокомерный ответ этого не скроет. Я злился на Мубарака, а он наслаждался моим смущением. Он смеялся гортанным смехом, напоминающим мне смех Самии Сол, которая привлекала внимание к своему «ожерелью Венеры».

— Я тоже знаю французскую литературу. Даже сюрреалистов: Бодлера, Виньи, Мюссе, ну и так далее.

Подобная наглость меня не смущала. Разглядеть гопника под обличьем офицера — это было даже забавно. Я до сих пор думаю, может, и все свои экзамены он сдавал, потому что даже ошибки у него были обаятельными. Наверняка ему были известны какие-то секреты.

— Тебе не кажется, что у палестинцев существует расизм? Ты ведь черный…

— Конечно.

— Что конечно?

— Конечно, существует. Я черный, но чистый, например, вот ногти у меня розовые, а твои черные, ты их никогда не чистишь, вы так и говорите «траур под ногтями», но это другой черный, не как моя физиономия. А про расизм я вот что тебе скажу. Большинство палестинских офицеров белые, свою военную науку они изучали на поле боя. А я учился в Европе, но для них Африка это варварство и дикость. Их послушать, так я должен клыками рвать сырое мясо. Ну, конечно, в Магрибе не так.

— Ты давно мусульманин?

— С рождения, и мне делали обрезание, хочешь взглянуть? Один мой прадед был анимистом. Моя семья разделена на три части: мусульмане, анимисты, христиане. Три трети, которые презирают друг друга.

— Все черные, как ты?

— Почти.

Я рассказал ему про Абу Талеба, тот случай с ужином. Он помедлил немного, потом сказал:

— Ты не думал, почему я ищу с тобой встреч и часто заговариваю?

— Нет.

— Потому что я тебя смущаю. А здесь ты такой

один. У других офицеров я вызываю подозрение, для фидаинов я черномазый.

— Никто тебя не презирает?

— Для них я вообще не существую. Хочешь честно: существование разумом не постичь. Мы осознаем свое существование только через смущение, которое у вас вызываем. Ты из таких. А природу этого смущения ты и сам понимаешь.

— Но Абу Талеб никогда меня не смущал.

— Если он родом из Судана, то наверняка был очень чувствительным. Выказывая тебе предпочтение, он некоторым образом мстил за жестокое обращение белых фидаинов, и ему казалось, что он так тебя благодарит. Но не говори мне больше о цвете кожи. Я знаю, она вас смущает, а еще мои мышцы. Мне нравится смущать, но я предпочитаю, чтобы вслух ни о чем не говорили. Ты рад, что находишься рядом с палестинцами?

— Очень.

— Израильские солдаты молоды. Ты был бы счастлив в ЦАХАЛе? Если бы ты пошел к ним, они были бы добры к тебе.

— Даже если тебе кажется, что я белый, я как ты, предпочитаю, чтобы вслух ни о чем не говорили.

Мы часто подходили совсем близко к какому-то решению, объяснению очень простому и оче-

видному, но так и не принимали его, так порой ночью мы чудом избегаем падения в пропасть, а утром, когда встает солнце, сами удивляемся этому. Однажды в Аммане, возле Бюро Палестинских исследований я видел, как фидаин ладонью подхватил упавший цветок, который какой-то француз в шутку засунул между ухом и пилоткой. Тогда мне открылось, что борьба палестинцев это — помимо всего прочего — защита чего-то воображаемого и несбыточного, когда-нибудь им станет от этого очень больно, я не видел в этом ни слабости, ни силы, просто *тогда* понял, что всё погибнет. Однажды в Непале я увидел, как заворачиваются в сари, и мне была открыта истина, но тогда я смотрел на нее словно через полупрозрачное стекло, зато эта истина сделалась совсем ясной и чистой позже, когда в Карачи в парильне какой-то пакистанец разворачивал очень длинное, очень белое полотнище льняной ткани, и я осознал очевидность, которая прежде лишь слегка задевала меня, не оставляя следов: вот одеяние Христа, о котором мне столько говорили, одеяние без швов.

Прежде я думал лишь о своем одиночестве, но от одиночества Мубарака, если можно так выразиться, у меня перехватило горло. Он так

надменно носил свой цвет кожи и ритуальные шрамы потому, что здесь они были знаком его исключительности, то есть, его одиночества, которое немного притуплялось лишь рядом со мной.

— Ты не представляешь, как они мне осточертели с этой революцией, которая вернет им их домок, садик, цветочные горшки, кладбище, все, что стерли в порошок израильские экскаваторы и землечерпалки.

Я не могу записать свои разговоры с Омаром и Мубараком слово в слово, я пытаюсь лишь с помощью каких-то заметок и воспоминаний передать тембры их голосов или общие очертания силуэтов, но не знаю, говорят ли эти люди с вами, как говорили они со мной.

Еще одно воспоминание: молодая медсестра-арабка служила в крошечном госпитале в лагере Газа. В единственном помещении — палата для больных и она же комната для врача — стояло восемь коек. На одной спал доктор Дитер, на другой санитар-немец, третья была предназначена для внезапно заболевшего или путешественника, оказавшегося в этих краях проездом, поэтому я спал там довольно часто. Иногда Набила занимала кровать рядом со мной.

Как нетрудно догадаться, это были походные койки, больше похожие на носилки. Другие койки, для трех-четырех тяжелораненых, стояли у противоположной стены, а в глубине комнаты высилось что-то вроде монументального алькова, кровать с балдахином, заслоненная четырьмя покрывалами, три были сшиты вместе, образуя три перегородки, с четвертой стороны стена, еще одно покрывало служило навесом. Здесь было принято обращаться друг к другу на «ты» — если, конечно, не говорили по-английски, но когда я был там, Набила, доктор Дитер, санитар-немец, медсестра-немка, Альфредо, все говорили по-французски. Порой добавляли какую-нибудь подробность по-немецки, по-английски или по-арабски. Немка, медсестра Дитера, изучала арабский. Она приехала в Иорданию в 1969. Каждое утро она вставала первой, сразу шла в приемную, всем больным лагеря раздавала безобидные болеутоляющие, сиропы от кашля, мази… Затем появлялся доктор Дитер. С большим трудом ему удалось договориться, чтобы легкораненые фидаины шли после тяжелобольных гражданских.

Мы спали прямо так: разувшись, но в одежде, ложились на раскладушки, накрытые одним или

двумя одеялами. Так спали все, и мужчины, и женщины, кроме медсестры-немки, которая вечером, вымыв посуду, закрыв учебник арабского, желала нам спокойной ночи и проскальзывала в своей альков, в кровать под балдахином. Вопросов никто не задавал, вероятно, потому, что все, кроме меня, догадывались, в чем дело. Я спросил Дитера:

— Ну и к чему этот театр? Что это за монумент?

Он тихо ответил:

— Она молится. Это монахиня, которая имеет право не носить одежду своего ордена. Она надевает ее перед сном и молится.

Этот обычай показался мне довольно странным, я вспомнил по ассоциации поцелуи, которые вождь племени дарил своим именитым соплеменникам.

— Молится.

— Тебя не было здесь десять дней назад. Среди ночи она вдруг испустила ужасный крик. Потом рассказывала нам: она еще не спала, рука ее свесилась с кровати, а кровать низкая, ты знаешь, и вдруг пальцы ее наткнулись на волосатый шар, и он к тому же шевелился. Она и заорала.

— Ей приснилось?

— Это была голова одного больного, он приполз среди ночи на четвереньках…

— Хотел ее изнасиловать?

— Она каждый вечер уносит из медпункта две склянки с 90-процентным спиртом. Поначалу запирала на ключ. Но раненые все равно открывали шкафчик, и утром солдат невозможно было добудиться, все пьяные. Тогда она стала уносить спирт к себе, в свою комнату, она называла это «своей комнатой».

— А после той ночи?

— Теперь каждый вечер из лагеря приходит командир и забирает обе склянки. Он правоверный мусульманин, совсем не пьет.

Эта монахиня не просто усердно исполняла свои обязанности, когда доктор Дитер отправился лечить палестинцев, избитых в лагере Бакаа иорданской полицией, она его сопровождала. Ее оскорбляли, унижали за то, что она заботится о палестинцах, а потом вообще отправили в тюрьму в Аммане. Посол Германии лично добивался ее освобождения, она вернулась в свой монастырь в Мюнхен.

Никто не думал, что движение Сопротивления смертельно ранено, но по некоторым признакам мы догадывались, что оно обескровлено. Это

было понятно по длинным очередям больных без видимых повреждений, которые приходили в госпиталь доказать самим себе: для того, чтобы вновь стать победителем, нужна лишь маленькая таблетка. Иногда бывало достаточно одного совета доктора Дитера:

— Не надо подолгу лежать, лучше ходить.

У них не было никаких симптомов, кроме одного-единственного: упадок духа.

— Я видел точно таких же, когда уезжал из Биафры.

Как-то утром, незадолго до моего отъезда, медсестра-немка, рассмеявшись, сказала мне:

— Ты смотри, что они делают: сначала украли у меня наперсток, наполняли его 90-процентным спиртом, и каждый выпивал по наперстку. Всем одинаково. А утром все в стельку пьяные!

Она снова засмеялась.

— Твой монашеский устав предписывает тебе определенные ткани, цвета?

— Желательное черное, во всяком случае, темные цвета. Обязательно только одно: низкий каблук. И наш Орден прав, на низких каблуках мы похожи на служанок.

— А раньше ты носила туфли на шпильках?

— Конечно.

— Когда?

— Майн Готт! В монастыре, перед Его Высокопреосвященством. Мы играли пьесу, я была Мария Магдалина, каблуки такие высокие, что начала кружиться голова. Я не могла ни говорить, ни шевелиться. Иисус увидел мои страдания и принес стул. К счастью, я поверила, что скоро умру.

О смерти Абу Омара мало что известно, разве что вот это, да и то не наверняка: они вдевятером собирались отправиться морем в Триполи, арендовали лодку. Согласно первой версии, в открытом море, на какой долготе, неизвестно, их атаковало сирийское дозорное судно, их захватили в плен, отправили в тюрьму в Дамаске и там убили; по другой версии, их лодку пробил сирийский снаряд, и той же ночью все они утонули. Или вот еще: сирийцы захватили их в плен и передали фалангистам, те их и расстреляли. Удивляет многое: расхождение в версиях, отсутствие свидетелей, молчание; мне кажется, руководители движения тоже не слишком хотели об этом говорить. Итак, он и еще восемь солдат, всего девять. Настоящее имя Абу Омара — Ханна. В памяти остается имя Сид, а имя Прокаженный забыто навсегда, тем не менее, оно пишется с заглавной

буквы, что вполне достойно его личности. Ведь он позволил Кампеадору проявить величие души, даровав поцелуй прокаженному, оказавшемуся святым Лазарем, оставило свой след в Истории, классическом театре, поэзии, романе, известно современным школьникам, большего и желать нечего. Палестинскую революцию делали безымянные солдаты, и коль скоро мы не можем окликнуть их по имени, то перестаем обсуждать их поступки, забываем лица. Остаются несколько событий, героями которых они являлись. Не исключено, что однажды их деяния припишут кому-то другому. Решение добраться в разгар войны до Бейрута морем, ночью, погибнуть от пуль — красивое завершение жизни какого-нибудь солдата, который жил двадцать лет назад, или другого, который умрет через тридцать. Я познакомился с Абу Омаром так: позвонил ему сообщить, что еду в Амман через Даръа, он дружески поприветствовал меня и назначил встречу назавтра в холле отеля «Джордан». Я пришел, когда он как раз спускался из своего номера.

— Давайте выпьем кофе.

Бар оказался закрыт.

— Совсем забыл, сегодня утром как раз начался рамадан. Куда пойдем пить кофе?

По его удивлению я понял, что он христианин. Палестинец-христианин. Причем, порядок этих слов менять нельзя. Я запомнил его последнюю фразу:

— Когда сирийцы захватили Ливан, мы, палестинцы, стали с ними воевать.

При захвате сирийцами Тель-Заатара, их консультировали, во всяком случае, приглядывали за ними, израильские специалисты. Продвижение сирийской армии в Ливане было замедлено, но не остановлено. Они достигли Сайды. Здесь в последний раз проявляется Абу Омар, возможно, он — и другие руководители, прежде всего, Арафат — раскрыли сирийскую игру.

Вот что потом рассказал мне Мубарак после их последнего долгого разговора:

— Любая революционная деятельность вязнет в рассуждениях о том, зачем быть революционером, а когда все же революционером становятся, раздумывают, чем заниматься. С ним у меня было ощущение, будто я всего лишь временное вместилище его рефлексий. Это одна сторона его личности, возможно, случайная и мимолетная, а еще одна — его дела с Арафатом и другими руко-

водителями ЦКООП[78].

Именно он, как мне рассказывали или, по другим слухам, Абу Мусса посоветовал хорошо принять сирийские танки в Сайде, встретить в центре города и проводить в казармы, где для них уже расчистили двор. Фидаины сердечно приветствовали танки и их экипажи, сирийцы были удивлены, но довольны, их проводили до казарм. А когда тридцать шесть танков выстроились в ряд, а члены экипажей собрались выйти из башен, танки вместе с танкистами взлетели на воздух.

«Блистательное одиночество», одно это выражение прекрасно показывает и характеризует Великобританию, оно же вполне подходит, когда говорят о палестинской революции, 1970–71-72–73 годы и дальше. То, что известно о ней из газет и радио, все эти напыщенные, забавные, циничные, трогательные истории, в сущности, нужны были, чтобы поддержать Израиль, Хусейна, западную демократию, все, что угодно, только не ООП. Она овладела вниманием и мыслями очень немногих читателей, но революция, этот живой организм, развивался сам по себе, несмот-

---

[78] Примечания: 78
Центральный Комитет Организации Освобождения Палестины.

ря на осторожную поддержку Советского Союза, Китая, Алжира с его военным министром Бумедьеном, мнимого содействия арабских государств — если не считать финансовую помощь короля Саудовской Аравии Фейсала, если не считать преданность и самоотверженность врачей всего мира, медсестер, правоведов, юристов, как правило, не имеющих средств, как тут не вспомнить отправку просроченных, выдохшихся лекарств, неэффективных порошков, бесполезных, а то и опасных, ничтожных, громоздких даров, всех этих «целебных средств», которые фармацевты, словно в насмешку, спихивали палестинскому Красному Полумесяцу. И в этом смятении и растерянности революция осталась одна, единое тело с почти невидимыми внутренними органами, тело, которое являло собой не соединение тел палестинцев, а результат определенного стечения обстоятельств. Циркуляция внутри этого тела была медленной, а циркуляция самого тела от сражения к сражению, от военного поражения к военному поражению, которые в европейских газетах иронично именовались «политическими или дипломатическими успехами», было настоящим разрушением тела, его крахом, его поражением от Иордании до Западного берега

реки Иордан, от Сирии до Ливана; тело пошатнулось при сирийском вторжении в Ливан, не было убито в Бейруте и Шатиле, не похоронено в Триполи. Среди стольких врагов, желающих его уничтожить, тело еще стоит. Существует археология Сопротивления, ставшего в тридцатые годы Революцией. Она была молода. Помогать революционерам было довольно просто, стать палестинцем по-прежнему невозможно: одиночество блистательно, потому что это суть характера революции. При помощи арабских стран Америка хочет лишить ее корней.

Выше я говорил о вторжении сирийцев в Ливан в 1976. Кто помнит об этом? А про лагерь Тель-Заатар? Войска Хафеза аль-Асада, мусульманина алавита из Дамаска спустились по склонам горной цепи Антиливан, прошли до Сайды, которую, к счастью, защищал палестинский полковник. План был представлен на рассмотрение в ООП. У Саиды сходилось несколько дорог с севера и востока. Все они были перегорожены, кроме одной, по которой и устремились сирийские танки, прорвались прямо к казарме, здесь остановились, а когда прибыл последний танк, все они одновременно взлетели на воздух. Говорят, их было от тридцати двух до тридцати шести. План защиты

Сайды был передан в ООП Абу Омаром. Но его автором считается полковник Абу Муса. Сегодня он главный у диссидентов ФАТХа, друг Хафеза аль-Асада. Выступает против Арафата.

С Махмудом Хамшари, прибывшим из Дамаска в день государственного переворота, осуществленного Хафезом аль-Асадом, мы поверили, что палестинские танки войдут в Иорданию, чтобы помочь фидаинам; так иракские танки перешли иракскую границу, а на следующий день вернулись обратно. Сегодня Дамаск и Багдад объясняют свое нападение и отступление на следующий же день обязательствами перед Советским Союзом, как Хусейн объясняет борьбу против фидаинов тем, что Израиль оккупировал Иорданию. Еще за несколько дней до этого я задал вопрос другу короля Хусейна:

— В самом деле, король получил угрожающее послание от Голды Мейер.

Тот же вопрос я задал одному дипломату, пребывающему в то время в Аммане:

— Никогда в жизни приказ сражаться с палестинцами не приходил из Вашингтона или Лондона.

Из Аммана в Дамаск через Даръа три-четыре часа пути. За нужными мне документами я от-

правился во Французский институт в Дамаске, где получил все необходимое после того, как меня расспросила, сурово глядя прямо в глаза, целая орава копов, после того, как я пробрался сквозь тесно сомкнутые группы бородатых и усатых всадников на невысоких лошадях. Это были горцы из окрестностей Алеппо, давно уже симпатизирующие Хафезу аль-Асаду. Дом нового Президента республики находился рядом с Французским институтом. Аль-Асад должен был произносить там речь. Директор пригласил меня на обед, и мы долго болтали, пили кофе. Я покинул здание. Всадники, за исключением нескольких, уехали тоже, но я столкнулся с двумя из них, они почему-то пустили своих коней по тротуару, по которому я шел:

— В чем дело? Вы что, с ума сошли?

— О, да вы говорите по-французски, мы тоже. Мы оберегаем коней от машин, они никогда столько не видели. Кони совсем обезумели.

— Откуда вы?

— Из одной деревни довольно далеко от Алеппо, но в том же направлении.

— И вы говорите по-французски?

— Я был унтер-офицером французской армии. Участвовал в восстании против друзов, против

Султана аль-Атраша[79].

— И вы приехали с гор поддержать аль-Асада?

— Конечно. Он же алавит, как и мы. Он, по крайней мере, избавит нас от революционеров.

— Каких революционеров?

— Палестинцев.

Я попался. Нечто вроде ностальгии вынуждало меня сочувствовать этим двум всадникам одного со мной возраста, может, чуть старше. Разбитые плоские стремена находились на уровне моего плеча, лошади невысокие, на всадниках широкие османские шаровары. Один из них спросил, зачем я приехал в Дамаск. По-арабски я сказал как есть: в восемнадцатилетнем возрасте я был солдатом в Сирии и хорошо знаю Алеппо. В одно мгновение они спрыгнули на землю и стиснули меня в объятиях. В Даръа мне довелось однажды общаться с шофером такси, ненавидящим палестинцев, но он хотя бы не соскакивал с лошади, чтобы обнять меня.

Не все сирийцы так открыто ненавидят палестинцев, но ни в Дамаске, ни в Латакии, ни в Хомсе никто никогда не защищал их при мне. Разумеется, Ас-Саика под командованием сирий-

---

[79] Примечания: 79

Султан аль-Атраш — руководитель арабского национально-освободительного восстания 1925–1927 годов в Сирии. (*Прим. ред.*)

ских генералов была вне критики.

Мне было очень, очень хорошо в Сирии, гораздо лучше, чем в Иордании. Еще в 1971 я обратил внимание, что османы весьма любезны. Я мог часами болтать с каким-нибудь старым чистильщиком обуви, который помнил французский. От него, сидящего на маленьком ящичке, я, сидящий на стуле, узнавал историю последних трех десятилетий сирийской политической жизни, то есть, историю государственных переворотов. Суровая Иордания, такая близкая, была далеко, но по ней ходили и в ней жили палестинцы.

Глядя на лица вооруженных крестьян, я сразу понимал, что они крестьяне, коль скоро они владеют табунами лошадей. Все в их поведении свидетельствовало о том, что у себя в горах они хозяева. Они, умудряясь держать в одной руке и лошадиные поводья, и ружье, словно демонстрировали искусство джигитовки, их седые усы и бороды не делали картину более миролюбивой и дружелюбной. Возможно, эти бандиты задавались вопросом, как я умудряюсь жить без коня и оружия. Может, когда напряжение спадало, они смотрели по-другому? Я увидел в них не воинов, а главарей банд, подручных главарей, в ФАТХе таких было предостаточно: юнцы, живущие

ради потасовок, оружия, грабежей. В двадцать лет они скорее, гопники, а не герои. Когда палестинцы подписали соглашения, чтобы жить в Ливане, многие из них приехали на несколько дней из Южного Ливана в Бейрут: обшитые галуном береты, черные кожаные куртки, джинсы, ботинки-«рейнджеры», такие хилые вновь приобретенные усики, что я задавался вопросом, а не лежит ли в походной сумке у каждого солдата карандаш для бровей. Когда они приветствовали меня, их руки оставались вытянуты вдоль тела, и только слегка приподнималась правая кисть ладонью вверх. В 1982 некоторые из них покинули Арафата, чтобы присоединиться к Абу Мусе.

Вот как Абу Муса или Абу Омар подготовили двор казармы: когда стало известно о приближении сирийцев, Абу Омар слегка прикопал проволоку, прикрепленную к детонаторам, которые, в свою очередь, скреплялись с незаметными в песке минами; танков было много, все они более или менее равномерно распределились по площади квадратного двора и одновременно взлетели на воздух: сталь, чугун, золотые браслеты и часы, мышцы, хрящи. Достаточно было нажать на кнопку или разомкнуть предохранитель. Фидаины и их командиры разбежались

по горам.

Я передал эту историю так, как мне ее рассказали. Профессор Абу Омар в Стэнфорде был учеником Киссинджера, он оказался хорошим тактиком. Он все придумал, Абу Мусса осуществил.

Костяшки сложенных пальцев Мубарака — ими бьют, когда кулак сжат — на тыльной стороне раскрытой ладони представляли собой узкие ямочки, почти щелки, чуть бледнее, чем остальная кожа, и мне казалось, эти сиреневые щелки как раз и выдавали его человеческую природу, она будто сочилась из них, трепещущая, словно сердце испуганного кролика, и волновала меня куда больше, чем простые напоминания о таких вечных понятиях, как братство, антирасизм, терпимость. Когда почти случайно или по оплошности, или повинуясь тайной потребности рассказать о себе, я заговорил с ним о своем происхождении и судьбе брошенного ребенка, его и без того сжатые кулаки сжались еще сильнее, щелочки на месте суставов исчезли, остались только бугорки костяшек, очень гладкие, черные, безо всяких следов сиреневого. Может, его так тронули слова *органы опеки*? Я смотрел не на лицо, а на пальцы. Мубарак сказал мне, что

я похож на одного его дальнего родственника, высланного в Джибути. Вот его рассказ:

«Когда молодая негритянка из нашего племени рожает ребенка без отца, всё племя берет младенца на свое иждивение. А если ваши вьетнамские, малагасийские, французские солдаты, особенно мальгаши, смуглые, с гладкими жирными волосами, насиловали наших девушек, племена прогоняли их вместе с незаконнорожденными детьми, а вы наделали столько младенцев, что Франция там и Англия здесь (он имел в виду в Судане) стали создавать проклятые структуры, так называемые органы опеки для этих ублюдков, покрытых двойным, нет, тройным позором: потому что незаконнорожденные, потому что негры и потому что родились от девушек, которых обрюхатили унтер-офицеры, то есть, во всех смыслах сукины дети. Они изучали английский, французский, немецкий и арабский, и я узнал, что у меня есть такой проклятый родственник, сосланный вместе с матерью в Джибути».

Излагая мне историю своего родственника, Мубарак, думаю, и не подозревал, что я обо все догадался: так он пытался поведать о своей собственной судьбе, эти были злоключения его и его матери, разнились лишь какие-то мел-

кие подробности. Он предполагал, что его отец мальгаш, во-первых, из-за своих сальных волос, во-вторых, из-за цвета кожи, красно-коричневой, как воды мадагаскарской реки Бецибука, из-за чего его постоянно дразнили. Что касается бегства родственника, это было его бегство, только в обратном направлении, отсюда его прекрасный французский. Из-за легкомыслия матери Хартум узнал о своем несчастье, он завербовался в суданскую армию, это было своего рода самоубийство. Я излагаю все это, потому что права палестинцев, игроков в карты без карт, защищали орды, казавшиеся западу сборищем маргиналов, лишенных идентичности, без установленных законом юридически-правовых связей с признанным государством, но главное — без принадлежащей им территории, которой принадлежали они сами, территории, где обычно можно найти доказательства пребывания на ней: кладбища, памятники погибшим, истоки фамилий, легенды.

Зачем я сюда приехал? Если есть в этом мире случай — Бог в таком мире отсутствует — моему чувству радости на берегу Иордана я обязан ему. Пресловутый случай привел меня сюда, но разве не каждый палестинец оказался здесь случайно?

Просто у каждого был свой случай. Меня увлекла сюда череда нелепых обстоятельств, нелепых и забавных, значит, остается ликовать по этому поводу. Увижу ли я еще Хамзу? но так ли необходимо *для меня* его увидеть? Мать его, должно быть, уже полупрозрачна, почти невидима, так зачем *мне* пытаться разглядеть в ней нечто такое, чего уже нет? Она и ее сын, их любовь, моя любовь к ним, *разве уже не сказали мне обо мне все, что можно*? Они прожили палестинскую революцию, так что же еще? Она истёрла их, износила. Поскольку автору этого повествования они больше не нужны, если я узнаю, что они умерли, их смерть меня нисколько не тронет. Неудавшееся морское путешествие Абу Амара, несмотря на его трагический финал, меня не взволновало, слишком далеким оно было, о нем всё, что можно, сказано, всё написано. Вот так и физическое исчезновение Ферраджа, Махджуба, Мубарака, Набили, о которых я больше ничего не знаю и никогда не узнаю, только то, что они были, когда я их видел, когда они меня видели, говорили со мной, они слишком далеки, чтобы их можно было услышать, слишком далеки или слишком мертвы, в любом случае, их нет.

Настоящее всегда сурово. Предполагается, что

будущее еще суровей. Прошлое или, вернее, то, чего уже нет, восхитительно, но мы живем в настоящем. Этому миру, живущему в настоящем, палестинская революция дарила нежность, какая обычно присуща прошлому, отдаленности, отсутствию, потому что описать ее можно такими вот эпитетами: благородная, хрупкая, мужественная, героическая, романтическая, торжественная, коварная, лукавая. В Европе привыкли оперировать лишь цифрами. В номере от 31 октября 1985 газеты «Монд» три страницы посвящены финансам. А фидаины даже не подсчитывали своих погибших.

Продолжительность революции имеет важное значение. К главному несчастью: изгнанию из Палестины палестинцев — багажа мало, детей много — добавились и другие: довольно холодный прием ливанцев, сирийцев, иорданцев, нерешительность арабских стран, медливших с военной помощью, которая если и не вынудила бы Израиль отступить, то хотя бы убедила ООН совершить более справедливый раздел в 1947. Нерешительность арабов имела много причин: мятежники представляли собой угрозу богатым состояниям, кроме того, такие страны как Саудовская Аравия, Эмираты, Ливан, Сирия являлись

союзниками Америки и Европы. А Израиль продемонстрировал такую военную и политическую мощь, что к нему необходимо было относиться, как к равному, хотя бы и не признавая это в открытую; ну и, наконец, зачем поддерживать население, которое не являлось государством, а было только провинцией: римской, сирийской, османской, в подчинении у Великобритании.

Между тем, только палестинскому населению оказывали хоть какую-то помощь в лагерях, которые поначалу называли «транзитными лагерями», «лагерями беженцев», за ними надзирала арабская полиция трех стран, которые этих беженцев приняли.

Я не могу объяснить, из чего именно выросло сопротивление, необходимо учитывать, что и сотен лет недостаточно для окончательного уничтожения народа: исток мятежа может быть скрытым и тайным, как исток Амазонки, который находится под землей. Где истоки Палестинской Революции? Какой географ способен их отыскать? но воды, что льются из этого истока, — новые воды и, возможно, живительные воды?

Некоторые читательницы-англичанки по-прежнему любят всё романтическое. Они много читают. Палестинское Сопротивление, похо-

же, имело и такую дополнительную функцию: дать целой планете живой пример рыцарского благородства. В Иорданию приезжают еще и с надеждой встретить Пардайяна[80].

Различные случайности, из которых будет состоять моя жизнь, оставив меня в этот мире, не позволяют мне изменить его, я стану лишь наблюдать, его, описывать, если смогу разгадать, и каждый фрагмент моей жизни окажется всего лишь работой по написанию — выбором слов, зачеркиванием, возможно, чтением задом наперед — каждого из эпизодов, не обязательно достоверных, если судить по фактам, которые зафиксирует мой взгляд, но таких, какие я отбираю сам, интерпретирую и классифицирую. Не будучи ни архивариусом, ни историком, я рассказываю свою жизнь лишь для того, чтобы поведать историю палестинцев.

Необычность моей ситуации видится мне теперь в три четверти, в профиль или со спины, потому что я в моем возрасте и с моим ростом никогда не вижу себя анфас, только со спины или в профиль, а собственные размеры определяю по направлению своих жестов или жестов

---

[80] Примечания: 80
Герой рыцарских романов (*Прим. перев.*)

фидаинов, сигарета перемещалась сверху вниз, зажигалка снизу вверх, и по траектории этих жестов я воссоздаю свой рост и местоположение в группе.

Как наступает африканская пустыня, отвоевывая все больше пространства, так и на весь мир тоже надвигалась своего рода пустыня: «братство ножей», чтобы отвести, изменить траекторию снаряда, несущего смерть, но оставалась эта вспышка, треугольник света на режущей пластинке, на лезвии, и его путь в желобке гильотины, утренние церемониалы, после которых вас уже никогда не отпустит непреодолимое влечение к деревянной вдове. Мне доводилось читать в романах, что некоторые мужчины (готовые принять смерть) могут погибнуть, ослепленные женским взглядом. В Шательро до сих пор есть витрина, где я увидел нож, довольно маленький, перочинный, который раскрывался, медленно, один за другим, показывая свои лезвия, угрожая поочередно всем сторонам света, всем сегментам города, ведь этот предмет поворачивался вокруг себя, бросая вызов северу, западу, югу, востоку, он угрожал улице, на которой я стоял, прилавку пекаря и — несколько мгновений спустя — самому магазину ножей. Каждое лезвие (или то, что

его заменяло) имело определенную функцию, от смертоносного ножа — он мог пронзить грудь или спину и поразить сердце взрослого человека — до штопора, открыть бутылку красного вина в честь победы. Этот предмет с рукояткой из отполированного рога в закрытом виде казался безобидным, открытый, он разбухал так, что ему мог бы позавидовать дикобраз, этот ножик для изготовления поделок, миниатюрный и какой-то провинциальный, этот перочинный нож с сорока семью грозными лезвиями чем-то походил на палестинскую революцию: нечто маленькое, угрожающее всем направлениям — ваши журналисты написали бы «азимутам» —: Израилю, Америке, арабским монархиям; как ножик на витрине, она поворачивалась вокруг себя; её, как и его, никто не собирался покупать; но похоже, сегодня, все лезвия, кроме, пожалуй, зубочистки, заржавели. Зато другое оружие в полном порядке.

Пока она была живой и кровоточащей, новый и стремительный перочинный нож выбрасывал поочередно то смертоносное лезвие, то штопор, если палестинская революция отрезала меня от Европы и от Франции, значит, операция прошла успешно, так пусть она будет окончательной. Но

что станет с самой революцией? Пока она не поддается этому безмятежному довольству ФНО[81]. Возможно, Алжир мечтал расшатать исламский мир, получилось что-то провинциальное. Палестинские руководители, похоже, устали. Более того: им всё надоело. Если в ком-то еще осталось энергия, ее хватает лишь на то, чтобы отслеживать на Бирже рост своих состояний.

Мой последний приезд в Ирбид в июле 1984, узнавание того города, лагеря, дома, матери… все славное прошлое Хамзы было именно прошлым: ни гордости, ни довольства собой, ничего этого не было в голосе, во взгляде матери. Я внимательно всматривался в увядшую кожу со штрихами крошечных, но все же заметных морщинок; подернутый дымкой взгляд, если дымкой можно назвать то, что делало глаз похожим на шарик полупрозрачного стекла, оцарапанный песком, шарик — вернее, два шарика — которые смотрели на меня и не видели; веснушки вперемешку с пигментными пятнами, чешуйки хны, приклеившиеся к чешуйкам перхоти на седых волосах; пришедшая в негодность техника и инструменты, вроде бы японского происхождения,

[81] Примечания: 81
Фронт Национального освобождения. (*Прим. перев.*)

от чего дом казался еще беднее. За прошедшие пятнадцать лет Иорданию наводнила японская техника явно очень плохого качества, судя по тому, как стремительно она приходила в негодность. Радиоприемник, телевизор, электрическая плита, кружевные машинного плетения салфетки, холодильник, кондиционер, привезенные из Токио и Осаки, ломались через три месяца после покупки, и всё это придавало дому вид убогий и заброшенный, тогда как в своем первозданном виде — беленые известью стены и сине-желтый столик в качестве единственного украшения — он выглядел живым и веселым. Взоры молодых людей, которых много в каждом палестинском лагере, загораются не при мысли о завоевании Иерусалима, а после скучных рассказов отцов, отсутствие которых делает их еще древнее, чем их подвиги, отправившихся из Аммана через Амстердам, Осло, Бангкок освобождать Иерусалим. Даже если один-единственный палестинец чувствовал, что ему грозит забвение, он страшился этого забвения для всех. Их уже обошли воины исламского джихада, сунниты и шииты, обошли и украли заголовки арабских и европейских газет. Слово «Палестина» в заголовке уже заставляло покупать газету, потому что люди надеялись

отыскать рассказы о новых подвигах; сегодня же им желают неприятностей. Читатели гордятся героями, но рады их поражению.

Если одно слово лозунга требовало вернуть Палестину, другое, в дополнение к первому, призывало к революции во всем арабском мире, свержению реакционных режимов. Руководители сумели убедить народ в лагерях, что необходимо отказывать себе в пище, чтобы иметь возможность купить оружие. Ну и где оружие? Когда начнутся сражения против президентских или королевских монархий? Куда делись деньги? Эти или подобные вопросы задают в палестинских лагерях так громко, что они перекрывают любой другой шум.

— Революция была молода, мы тоже молоды и быстро и четко высказали все свои цели, прав был Брехт, утверждая, что революционерам помогает хитрость.

Так мне ответил однажды Абу Марван, один из руководителей ООП в Рабате.

Ни Хамза в отдельности, ни его сестра с мужем — в отдельности, ни его мать в отдельности не смогли бы стать символами этой революции: для меня ясно, что нужен был и Хамза, и его мать, и это ночное сражение, и волшебное видение

приближающейся армии… И всё рассеялось.

Когда близкий человек высовывался из окна купе, раньше было принято его провожать и махать платком, но обычай отошел в прошлое — а вместе с ним и лоскут ткани, на смену которому пришел бумажный платок. Теперь поезд позаботится о пассажире, а тот пришлет открытку. Если близкий человек отправлялся куда-то пешком, родные стояли на пороге, пока был виден его силуэт или его тень, но он оставался с ними, а когда узнавали о его смерти или о том, что он подвергается опасности, все сочувствовали друг другу.

Вот что рассказал мне один диссидент из ФАТХа:

— Палестинцы хотели быть цельными, монолитными исторически, географически, политически, они, даже разбросанные по всему свету, образуют неделимый и нерушимый блок в мусульманском мире и в мире вообще, так они сами себя воспринимают. Исторически: они считают себя потомками филистимлян, «народа, пришедшего с моря», то есть, ниоткуда. Географически: ограниченные с двух сторон — с одной стороны морем, с другой пустыней — они долгое время питали отвращение к кочевничеству. Привязанные

к земле, они жили землей. Смирились? Христиане при поздних римлянах, они приняли ислам, похоже, без особого возмущения, как и османское завоевание. Народ восстал против Израиля. И оказался стиснут двумя огромными силами и двумя малыми силами: Америкой и СССР, Израилем и Сирией. Политически: на своей территории палестинский народ хочет быть самим собой, хочет быть независимым. Революция под руководством Арафата и ООП терпит неудачу; Израиль под защитой Америки, благодаря американским евреям, а может, из-за своего местоположения он так хорошо чувствует восточную стратегию Соединенных Штатов. Если палестинцев, которые поначалу безрассудно попали под влияние китайского маоизма, сегодня поддерживает СССР, сами они не могут быть ни для кого опорой, это просто удобный момент и рискованное движение, которыми можно воспользоваться. Остается Сирия. Если Палестина, подобно стране басков во Франции и Испании, была когда-то сирийской провинцией, которая гордилась своей самобытностью, своими традициями и преданиями, своей собственной историей, отказывалась полностью интегрироваться в Сирию, то сегодня единственной надеждой Палестины является как

раз Сирия — и это несомненная заслуга Хафеза аль-Асада, тоже выходца из меньшинства, из династии алавитов — которая может вести переговоры с Израилем и убедить СССР принять эту территориальную и военную поддержку всерьез.

— Хафез аль-Асад — человек, ниспосланный провидением?

— Само это слово и идея уже вышли из моды.

Диссидент вежливо продолжал:

— Горечь и амбиции — вот два слова, которые многое заключают в себе и многое скрывают: горечь питает амбиции, амбиции питают волю к победе. Они, амбиции, почти всегда ведут завоевателя к потерям, к смерти или позору, но завоевание ведь остается. Карточную колоду раздают заново, эту формулировку позаимствовали в арабских летописях ваши востоковеды, а у них и журналисты.

— Ты хочешь сказать, что Асад достаточно амбициозен, чтобы победить Израиль?

— СССР может захотеть поддержать Хафеза, если тот окажется реальным союзником. Он (Хафез аль-Асад) сломает на этом шею, а СССР нет. Может начаться новая игра, уже без него…

— Это дальнейшая война.

— Знаю. А палестинцы устали. Но если для

тебя жизнь это не бесконечная война, а что-то другое…

— Если для спасения самого для них дорогого, своей самобытности, у палестинцев ничего нет, кроме усталости и пассивности, значит, они воспользуются тем, что у них есть: усталостью и пассивностью.

— А израильское оружие!

Мне казалось, большинство палестинских солдат несут ореол знаменитых семейств — сильных мира сего. Чуть церемонные и чопорные, когда приветствовали победу, точнее, подвиги, поскольку победы случались редко, а храбрость в бою являлась рыцарским идеалом, «старомодным», хотя и очень важным, исконным, равно мусульманским, как и христианским. Каждый, будь он плебейского или благородного происхождения, состязался в изысканности, и никто не казался вульгарным и грубым. Близость смерти? Если вспомнить выражение греков «Да будет земля тебе пухом»… можно сказать, что сам фидаин, пока был жив, был пухом для своей земли. Даже если существовала опасность окаменения, ретракции — мертвый язык или пережиток культа чести — это не казалось мне очень уж серьезным: в уважении, почти религиозном почитании, в

признании силы и могущества знатных семейств я вижу лишь фактор, сдерживающий отвагу фидаинов из народа, между тем как им самим и их потомству дозволено любое бесстрашие. Что в современной Европе могло бы показаться фальшивым, существовало здесь и сейчас: несколько знатных палестинских семейств были катализаторами отваги.

«Мне страшно смотреть на сыновей мучеников, которых балуют и нежат. Не всякий мученик умирает героической смертью. Природные добродетели отца — пусть даже он погиб героем — плохо постигаются сыновьями, если воспитание это одобрение, поблажки, снисходительность. Так благородства не привить, так на свет появляется компания наследников, которые воспользуются именем, истреплют его и опозорят».

И все же вокруг меня была радость, пусть не рядом, но вокруг: словно до меня доходили волны счастья, а их источником являлась группа смеющихся израильских летчиков с белокурыми локонами, только что вышедших из кабины самолета:

«Мы, самые настоящие мужчины, мы, евреи, снесли яйца над Западным Бейрутом».

Среди развалин я, наверное, был единственным

существом, способным понять это ощущение легкости и освобождения не только самого бомбардировщика, избавившегося от груза бомб, но и самих бомб, сброшенных с самолета. Только представьте себе досаду и печаль бомб, закопавшихся в какой-нибудь силос, бомб, сброшенных напрасно, одновременно и страшных, и бессмысленных. Нож должен резать. Снаряд попасть в цель. И нож, и снаряд должны породить двоих: убитого и убийцу. ЦАХАЛ стрелял. Возможно, было достаточно одного раза, чтобы люди поняли и замолчали, так сосредоточиваются и прислушиваются к гудению израильской эскадрильи: вот она уже здесь, вот облегчается, сбрасывая свои бомбы, продолжает путь: кривую над морем, прочерченную в синем небе, которая замкнется раскатами переливчатого смеха здесь, на израильской базе.

— Оружие страшное, это правда. Оно убивает. Арабов. Если бы они отказались от жизни в момент оплодотворения, нам не пришлось бы их убивать, когда им исполнится десять или пятнадцать.

И задумчиво добавил:

— Сколько неизрасходованных бомб в силосных ямах!

Затем печально и непринужденно:

— Впрочем, это американские бомбы. В скалах золото, в песке нефть, в жильных породах алмазы, и раз уж нам так нравится опьянение победой, давайте представим себе будущее: сколько в нем еще неизведанного и неразработанного, взвесим свои мозги: сколько еще понадобится еврейских клеточек, чтобы завершить то, чего еще нет даже в виде уравнений, символов, которые только предстоит изобрести, неведомых геометрических форм…

Пробуждение начиналось еще до того, как поднимались веки. Несколько мгновений расслабленности, и появлялся свет, а с ним оживал глаз, который осваивался понемногу, мешая поначалу последние картинки сновидений с видом аджлунских папоротников. Всё в этом мире ожидало моего пробуждения-появления, а утреннее изумление всегда соответствовало ожиданию. “Утешься, ты не искал бы меня, если бы уже не нашел». Причуда Христа, но такая бесценная причуда.

Газеты, то есть, журналисты, описывая палестинцев такими, какими они вовсе не являлись, пользовались готовыми лозунгами. Когда я жил с палестинцами, мое радостное изумление было

вызвано столкновением этих двух очевидностей: они нисколько не походили на портреты, нарисованные журналистами, и противоречили им до такой степени, что их сияние — по сути, само их существование — как раз и было следствием этого несходства. То, что в газете именовалось впадиной, в реальности оказывалась возвышением, и такого вранья было много: от незначительного до самого бесстыдного. Оставаясь с ними, я оставался сам — не знаю, как еще, каким другим способом сказать это — в своих собственных воспоминаниях. Эта, возможно, детская и наивная фраза не означает, что я прожил — и теперь вспоминаю о них — некие предыдущие жизни, она лишь ясно — яснее некуда — свидетельствует о том, что палестинское восстание было одним из самых старых моих воспоминаний. «Коран вечен, предвечен, единосущен с Богом». За исключением этого слова, «Бог», таким же было для меня и их восстание: вечным, предвечным, единосущным со мной. Это достаточно ясно говорит о том, какое значение я придаю воспоминаниям?

Его командирские жесты, резкие и хлесткие, меня и забавляли, и раздражали одновременно, однажды в лагере Бакаа я решил его передразнить:

— «Же-ан! Же-ан, come in!», — поскольку приказы он предпочитал отдавать на английском. Я крикнул: «Же-ан!» И выставил палец, как делал это он. Поскольку никто не засмеялся, я понял, что смешно у меня не получилось. Какое-то время он молчал, задумавшись и, наконец, словно с трудом вынырнув из долгого сна или размышлений, произнес:

— Теперь я буду передразнивать Жана, который передразнивает меня.

Видеть себя в зеркале — дело привычное, главное сообразить, что правая сторона слева, и совсем другое дело увидеть себя вот так, под деревьями, безо всякого зеркала, увидеть, как ты двигаешься, говоришь, как беспощадно тебя изображает голосом, жестами рук, движениями ног, шеи, всего тела, положением ступней какой-то суданец; все, кроме меня, рассмеялись, а самым неприятным мне показалось то, что смех этот был каким-то угодливым. Рассмеялись все, кроме меня, я был слишком восхищен. Он показал, как я спускаюсь и поднимаюсь по земляным уступам. С его помощью я увидел себя: гигантская фигура, вырисовывающаяся на почти черном небе, спускающаяся откуда-то издалека и в то же время совсем близкая, чуть сгорбленная под тяжестью

лет, усталая от этих подъёмов, спусков с холма на холм, мои движения казались какими-то фантастическими, холмы высокими, как облака над Наблусом, этот я прихрамывал к концу дня, и хромота была утрированной, схематичной и, тем не менее, достоверной. Я смотрел на себя впервые не в большом зеркале, а глазами того или тех, кто за мной наблюдает: как я иду не с холма на холм, а со ступеньки на ступеньку, хромая, спускаюсь по лестнице, выдолбленной в камне. Значит, каждый мог меня видеть и воссоздать. А жестокость этого короткого скетча я понял потом.

Чтобы привезти питание, Мубарак часто пользовался Тойотой. Кроме того черного унтерофицера, отдавшего фидаинам остатки моего ужина, был еще один старый египтянин, родившийся, как мне рассказали, в одном племени неподалеку от Феццана. В те времена «Роллинг Стоунз» еще не снискали мировой славы, но были уже достаточно известны, а в Тойоте рядом с приборной доской имелся радиоприемник, который, если мне не изменяет память, работал с кассет. Я смотрел на неподвижный автомобиль, в недрах которого играла музыка, а меня самого видно не было. Босиком, в одних только брюках, Мубарак танцевал, ему, похоже, совсем не было стыдно,

он танцевал, и его движения были гибридом рок-стиля и суданских национальных танцев, а старый негр с курчавой седоватой головой, не глядя на него, изображал, будто играет на гитаре, правая рука оставалась на том месте, где щиплют струны, а левая ходила туда-сюда по воображаемому грифу.

— Прекрасно!

Не произнеся ни слова, Мубарак натянул майку, рубашку, ботинки с мягкими подошвами, покачнулся, чуть не упал или чуть не убил меня, сел в Тойоту, рядом на пассажирское сиденье уселся его приятель, они уехали; глушитель выпустил мне в прямо лицо густое черное облако и громкий звук, словно водитель желал меня оскорбить. Думаю, он так и не простил мне, что я застал его танцующим в Африке. Я сам, раздраженный столь внезапным бегством, видимо, затаил на него обиду, отсюда и мое замечание: «сейчас буду передразнивать Мубарака».

Музыка «Роллинг Стоунз» была реальной, а гитара нет, и ее отсутствие вернуло мне воспоминание о той карточной игре без карт, всё показалось разрозненным и бессвязным.

Черные в белой Америке — это знаки, кото-

рыми пишут историю; это чернила на белой странице, которые придают ей смысл. Даже если они исчезнут, Соединенные Штаты будут для меня лишь ими, а не трагической битвой, что становится ожесточенней год от года.

Наследники по нисходящей линии, нисходящие все ниже в отрицание и отторжение, стремительно погружаются в наркотики и пропадают в них, не в силах себя контролировать; они, эти наследники, сокрушают то, что считалось основанием, фундаментом белой Америки. Перед ними дрожат и шатаются основы, законы, общественные здания, их выражение и проявление. В Чикаго, в Сан-Франциско, где много беременных женщин, все равно ощущается юношеское бессилие — увядшие цветы — в Нью-Йорке, где грязь это знак отказа, ухода от мира, над которым худо-бедно трудились легендарные пионеры, их сыновья и внуки, мира, в котором с этими букетами увядших цветов соединилось — или отделилось от них — черное, вздымающееся буграми движение, суровое, когда необходимо, оно пыталось понять этот мир, тоже отвергнутый, как и они сами, чтобы установить другой — вот отрицание, преобразованное и опровергнутое довольством бытия — партия Черных Пантер

перед лицом этой стремительно надвигавшегося небытия противилась ему и всеми силами, отдавая добровольно свою жизнь, если было нужно, пыталась придать форму чернокожему народу. Если хиппи, украшенные цветами и непонятными узорами, врубались, торчали, вязли, Пантеры отвергали белый мир.

Они создадут, они возведут черный народ на фундаменте белой Америке, которая раскалывалась на куски со своей полицией, церквями, со своими сутенерами и судейскими, а хиппи отращивали шевелюры, и от этого проклюнувшегося стебелька пойдет трещинами американская глыба. У Пантер имелось оружие, но было нечто такое, в чем они сходились с хиппи: ненависть к этому Аду.

Партия Черных Пантер была не отдельным, изолированным организмом, а одной из остроконечных вершин революционного движения. В белой Америке они выделялись черным эпидермисом, курчавыми волосами и, несмотря на своего рода униформу, обязательным элементом которой была черная кожаная куртка, их отличала экстравагантная, но при этом элегантная манера одеваться: на голове разноцветные каскетки, с трудом держащиеся на пружинящей

шевелюре, усы, иногда небрежные бородки, ноги, затянутые в бархатные или атласные брюки синие, розовые, золотистые, скроенные так, что самый близорукий не мог не разглядеть массивное мужское начало. К изначальной своей картинке, когда чернокожих я сравнивал с черными буквами, я могу добавить еще одну: угленосный пласт, а в середине, освобожденная от пустой породы, сияющая Партия Черных Пантер.

Женщины Черных Пантер, в сапогах и мужских брюках, такого же возраста, что и мужчины, изо всех сил старались скрыть свою серьезность.

Вот несколько зарисовок группы, которая не пряталась, а, напротив, выделялась: Черные Пантеры сразу бросались в глаза. Их узнавали по яркости и всклокоченности, о которых я говорил, по умению сойтись с теми, кого притесняют, угнетают, избивают, у кого отнимают, прежде всего, его историю, его легенды, сойтись с теми, кого, впрочем, с недавних пор, отвергал Запад, то есть, христианство, находящееся на последнем издыхании, но по-прежнему смертоносное и тлетворное. Вокруг них, вокруг нас пульсирует евангельская мораль, которая выдыхается, задыхается, но она ведь была. Освободиться от нее черный мир и его самое острое лезвие, Партия

Черных Пантер, стремился как можно быстрее. Он раздирал в клочья ангелов, изнемогающие заповеди с помощью тех же самых принципов, которые были ему навязаны христианскими церквями.

Да, была тогда эта безумная способность воспроизводить себе подобных, их волосы, бороды, жесты, крики походили на заросли папоротника, и вообще эти черные сами напоминали папоротники, древовидные и вообще любые, ни цветов, ни семян, они размножались и продолжались взрывом споровой сумки; да, хаос призывал хаос, ничто не казалось надежным и безопасным: ни правление, ни управление, ни направление, ничто не казалось надежным ни им, мирным или смирившимся черным, ни белым; да, эти огни и их искры могли поглотить того, кто их разжигал, да, господином казался вихрь, а не люди; да, их признания были признаниями безумцев, а коварство — коварством хищников; да, — “ему должно расти, а мне умаляться” (слова Иоанна Крестителя в Евангелии от Иоанна). Я несколько переиначу эту формулировку: «ему должно расти, *чтобы* я мог умаляться». Да, в их жестокости было что-то анархическое, она пахла потом, потому что они редко мылись и ели жирную пищу;

да, Пантеры вторгались на территорию белых и укрывались в гетто, словно пытались отыскать безопасную лачугу, но в те времена всё для них было вызовом, на который они должны были ответить. До 1793 года король=король, а после 21 января король=гильотинированный, принцесса де Ламбаль=голова на острие пики, верховная власть=тирания, и так далее, все знаки, все слова, весь поменявшийся словарь.

Поначалу кажущееся помешательством, движение Черных Пантер сделается общим местом, избитой истиной, даже для белых. Народ=благородство, черный=красивый.

Наверное, я нигде больше не жил среди мертвых, за исключением иорданских баз фидаинов. Разве что меня ввели в заблуждение мифы, в которых мертвые ведут себя по-другому, не так, как здесь. Цвет кожи Пантер имел значение, но не только он. На них делала облаву полиция, и это подтверждало их принадлежность к животному миру. Желая уйти от погони, они умели исхитриться и моментально сделаться невидимыми. Даже интерьерами их офисы напоминали похоронные бюро. И любой прием пищи казался погребальной трапезой. Вероятно, одной из причин была смертельная опасность, реальная

— с трупами — а еще нечто вроде обожествления мертвых, заключенных, всех, через фотографии, фотомонтажи, торжественные стихи: скорбные, но не заунывные. Я уже писал раньше и теперь хочу немного подправить: в каком-то смысле весь американский черный люд принадлежит миру мертвых, это его способ делать всё наоборот, в противоположность белым. Несмотря на взрывы смеха, песни, танцы, всех черных окутывает отчаяние. Привилегированный очевидец таинства, я больше не принадлежал сиянию белых. Когда Дэвид Хиллиард впервые улыбнулся мне, протянул руку и сигарету в машине — за которой следовала полицейская машина — я, причем, по собственной воле, спустился в мир сумрака. Казалось, больше не существовало тепла тел, пота, дыхания. Пантеры худощавы: они перемещаются в атмосфере, в которой белые не могли бы долго существовать.

Покинув богатую виллу одного белого, где состоялась пресс-конференция, Дэвид сказал, что впервые в жизни — а ему было двадцать девять — он оказался в таком доме.

— И как впечатления?

Он засмеялся и сказал:

— Мне было тревожно. Слишком много белых в

одном месте. Я боялся, что меня будут обвинять.

— В чем?

— В том, что я черный.

И снова громко рассмеялся.

Когда Бобби Сил из тюремной камеры заговорил по телевизору, я не понял. Поначалу не понял. Я чувствовал нелепость этого действа: он, обвиненный в убийстве, мог вечером выступить по телевидению. Вот как это происходило: Бобби сидел в тюрьме Сан-Квентин в Сан-Франциско. Директор тюрьмы, наверняка согласовав с судебными органами, разрешил, чтобы чернокожий телеоператор записал на пленку его заявления. Оператором-интервьюером был молодой негр, похоже, простой человек, не из Пантер, в цветной одежде, фосфоресцирующими волосами, бородой и усами, довольно глупый, судя по тому, как он вел разговор, и гениальный как профессионал. Тюремный охранник привел Сила в помещение, где была уже установлена камера, он присутствовал при съемке, но не вмешивался. Бобби говорил, сидя на стуле. Между оператором — с его афро-шевелюрой — и заключенным поначалу возникли разногласия, едва не началась потасовка. Съемка велась в несколько приемов. Пленку с фильмом уложили в коробки. Сначала власти не

могли договориться: нужно показывать фильм по телевизору или нет? Я не знаю этих подробностей. Бобби Сила перевели из Калифорнии в Коннектикут (Нью-Хейвен). Ему по-прежнему грозила смертная казнь, но изменился способ: если в Калифорнии газовая камера, то в Нью-Хейвене электрический стул. Возможно, это и убедило калифорнийские власти разрешить показ фильма по телевидению, кто знает? Бобби Сил находился в камере в Нью-Хейвене, а я видел и слышал его, говорящего из Сан-Франциско. Я был поражен. Отвечая на первый вопрос разноцветного оператора, о еде, Сил припомнил кухню своей матери, жены, то, что он готовил сам, будучи на свободе. Он очень подробно излагал рецепт одного блюда — своего любимого. Рассказывал, как выбирать приправы, сколько времени нужно готовить, как дегустировать: лидер революционного движения говорил, как настоящий повар. Внезапно — здесь очень подходит это слово: внезапно — я понял: Сил обращался не ко мне, а к своему гетто. Непринужденно, по-свойски он заговорил о жене, улыбаясь, признался, что, к сожалению, вынужден довольствоваться мастурбацией — хоть какое-то утешение, но обманчивое. Внезапно — опять внезапно — лицо его и голос стали суро-

выми: всем черным, которые слушали его в гетто, он бросал революционные призывы, резкие и пряные, в отличие от нежных сладких соусов, описанных в начале разговора. Политическое послание было кратким. Бобби победил. Так, что телеканал организовал второй показ.

Заключенный, который желает быть вне закона, потому что его поставили вне закона, не брюзга, а гордец. Если он хочет свободы, он также любит и тюрьму, потому что сумел приспособить свободу к себе. Есть свобода в свободе, а есть свобода в ограничении, если первая дарована, то вторая вырвана у себя самого. Поскольку стремишься к самому простому — аскеза утомительна — то желаешь свободы, дарованной тебе, но любишь — тайно или открыто — заключение, которое заставляет искать в себе самом тюремную свободу. Освобождение из-под стражи это тоже своего рода «изъятие», экстракция. Гетто любимо. Это, конечно, любовь-ненависть. Черные, изъятые из мира белых, сумели мало того, что обустроить свою нищету, так еще и открыть, выявить, воздвигнуть свободу, это ли не повод для гордости.

Когда мне нужно было побриться, Дэвид и Джеронимо отвели меня к парикмахеру из гетто, и

это была чернокожая женщина лет пятидесяти с сиреневыми волосами. Ей прежде не доводилось брить белых. Мужчины — черные, разумеется, — ждавшие своей очереди, заговорили со мной о Бобби Силе, которого слышали накануне. Все они были в возрасте. Кажется, я заметил, что их не так уж и вдохновило его выступление по телевизору: это был просто один из них, он сказал то, что нужно было сказать чернокожим, и чтобы это поняли белые. Он просто хорошо сделал свою работу.

— Вы приехали из Франции, чтобы послушать его или чтобы ему помочь?

— Во всяком случае, вытащить его оттуда это дело чернокожих.

— Нельзя, чтобы он вышел благодаря белым: это была бы еще одна победа над нами.

Я спросил, согласны ли они с тем, что он говорил по телевизору.

— Охранник был белый. Разрешение дали тоже белые. Из тюрьмы он мог сказать только то, что сказал, и мы это «*прекрасно*» поняли.

Итак, выступление Бобби было закодировано, а затем расшифровано.

Хитрость Бобби была сродни хитрости рабов на плантации: на африканские мелодии, впоследствии ставшие джазом, они положили слова

воззвания к побегу и мятежу. Они пели, вечером или утром, выводя гибкие, разнообразные ритмы понятных только им фраз, которые призывали собраться у реки, чтобы переправиться через нее и уйти на север, конечно, они подбирали голоса — женские или мужские — чувственные, пылкие, эротично пылкие, способные «призывать» властно, как разгоряченные самцы: целью было бегство, помощь другим беглым неграм, огонь, война, но этот призыв разносился голосом, в котором черным слышалось обещание брачного обряда.

С юмором и серьезно, передавая людям на свободе рецепты блюд, о которых мечтал в своей камере, или бабушкиного варенья, что сохранила его память, вспоминая жену и свои ночи без женщин, Бобби Сил «призывал»: и слушавшие его черные приняли послание.

Когда вооруженные Черные Пантеры маршировали в Капитолии Сакраменто, намереваясь занять здание Ассамблеи, когда в Мехико их спортсмены, стоя на пьедестале, бросали вызов американскому гимну и флагу, когда их волосы, усы, бороды торчали дерзко и вызывающе, у власти находился президент Джонсон, он отдавал приказы о бомбардировке Вьетнама, а в

Калифорнии группа черных мужчин и женщин — Пантеры — множили свои акции, действия, знаки, благодаря которым ничто уже не будет прежним.

Черные слова на белой американской странице кое-где стерлись и выцвели. Самые красивые исчезли, но именно они — исчезнувшие — составляют стихи — вернее, стихи в стихах. Если белые это страница, то черные это то, что на ней написано, то, что доносит смысл — не страницы или не только страницы. Белое, увеличивающееся в объеме, это основа страницы, грунтовка, поле страницы, а стихи написаны отсутствующими черными — вы скажете, «мертвыми», пусть так — отсутствующими, безымянными черными, их расположение, их компоновка и составляет стихи, чей смысл ускользает от меня, смысл, да, но не их подлинность.

И пусть будет правильно понято отсутствие или невидимость чернокожих: они остаются активными или, скорее, радиоактивными.

Когда зрение, слух, обоняние, вкус, осязание белых натыкались на всклокоченную шевелюру Пантер, их, белых, охватывала паника. Как защититься в метро, автобусе, кабинете, лифте от этой растительности, пружинистых волос, ко-

торые кажутся продолжением шерсти на лобке, эластичных, упругих, как и они сами? Смеясь, Пантеры несли на голове свою наэлектризованную, покрытую густыми волосами сексуальность. Чем могли ответить белые? постановлениями о благопристойном поведении? Да и как доказать факт страшного оскорбления, что дало бы право лишить растительности эти косматые, черные, к тому же, потные лица, где за каждым непослушным волоском, торчащим из черного подбородка, ухаживали, заботились, холили, словно от бороды зависело само выживание.

Драматичный, знакомый сюжет из жизни в гетто Алабамы: стоя на пустой площади, будь то ночью или днем, черный видит, как от тени сикоморы отделяется белый, потом еще один, потом еще и еще. У них светлые, коротко остриженные волосы, при ходьбе они поводят плечами в отличие от черных, которые покачивают бедрами. Они приближаются, якобы небрежно, и окружают его. Он хотел бы убежать, но ноги его не держат, закричать, но изо рта не вылетает ни звука: белые хохочут и уходят, они поставили на «свое» место негра, осмелившегося выйти в одиночку. В Йельском университете, когда в зал вошли семеро Пантер, приглашенных на

конференцию, темой которой был арест Бобби Сила, три тысячи белых в аудитории стали тремя тысячами атакующих. Их круг сомкнулся вокруг Пантер, но вместо кулаков они выставили аргументы, отточенные в Европе, уже подготовленной тысячелетним христианством. Пантеры не принимали никаких правил:

— Вашим аргументам сперва мы противопоставим не противоположные аргументы, а смех и оскорбления. Вы свирепые спорщики, ваши железные богословы сокрушили тела и души. Наши тела и наши души. Мы будем вас оскорблять, и лишь затем станем говорить с вами. Когда вы будете повержены и разбиты, мы спокойно выскажем вам свои доводы. Спокойно и решительно.

Другой черный:

— Это не просто новая теория, якобы «более подлинная», чем предыдущие, но устраняя или просто отодвигая эти предыдущие, новая дарует радость, какую испытываешь, когда умирает слишком долго живший старик. Когда всё шатается, когда шатаются истины, бывшие когда-то непреложными, это смешно: значит, будем смеяться! Революция — самый радостный период жизни.

Всклокоченные волосы, африканские косички, бороды, усы, смех, крики, стальные взгляды, всё это тропическое буйство, которым наслаждались они сами, было словно подтверждением их существования, не позволяющим их опровергнуть.

— Мы решили быть такими, а вы увидите нас такими, какими мы себя покажем. Вы услышите то, что мы позволим вам услышать. Зрение опережает слух. Сначала черный цвет, затем наши украшения, и только потом американский язык, каким мы его переделали для себя, отчасти, чтобы самим забавляться, отчасти, чтобы досадить вам. Всё сказанное здесь пройдет через призму черного.

— Постараемся, чтобы новые истины накрыли собой старые. Вот увидите, как это смешно…

Было бы опрометчиво утверждать, будто Санкт-Паули похорошел, даже когда этот злачный квартал реконструировали. Я не испытывал сильного отвращения, впрочем, вполне возможно, его заслонило другое чувство, а именно, удивление: столы, стулья и пьющие зрители вокруг арены. На самой арене пять наездников — среди них бывает и наездница — верхом на осликах, пять обезумевших от страха, пьяных осликов, их специально поили пивом. Еще одна деталь: арена

покрыта довольно толстым слоем грязи. Пьяные животные пытались избавиться от всадника, как правило, это была немчура. Под раскаты хохота и потоки мозельского — упругие, как струя мочи у подростка — смертельно пьяные ослики сбрасывали наездника в грязь. Думаю все-таки, что отвращение было не таким сильным, как недоумение. Мне хотелось вспомнить этот квартал, но особенно ту часть Гамбурга, которая, если идти от Санкт-Паули, примыкает к памятнику Бисмарка, что возле бывшего полицейского управления. Там и начинались руины. Кариатиды — обнаженные мужские фигуры метров двадцати высотой, кажется, из розового мрамора или гранита — своими поднятыми руками поддерживали лишь небо, или, если хотите, пустоту. Пули и осколки снарядов не оставили ни царапины на бедрах и груди. Двадцатиэтажные здания Бейрута, тоже пережившего бомбежки, казалось, были склеены из картона или фанеры. Глядя на некачественные материалы, использованные при строительстве домов в Бейруте, от которых оставались только стальные прутья, торчащие из бетонных стен, непрочных и недолговечных, я вспоминал о гамбургском розовом мраморе. Вид Бейрута и воспоминания о Берлине и Гамбурге (1947) меня

убедили в двух вещах: израильтяне были такими же хорошими летчиками, что и немцы, а ливанцы строили так, чтобы развалины можно было легко снести. Руины трех городов отнюдь не были одинаковыми и даже не походили одна на другую, то, что от них осталось, доказывало, что зачахли две совершенно не похожие цивилизации, однако, между солдатами ФРГ и израильскими солдатами существовало, казалось, кровное родство: такая же точность бомбометания, вплоть до миллиметра, что свидетельствовало о сходных методах разведывательных служб.

Выше я уже говорил или скажу дальше, что выражение «между собакой и волком», означающее сумерки, указывает не только на время суток, но и еще на кое-что. Серый цвет, как серое настроение, час, когда приближается ночь, неумолимая, как сон или вечность, а в городе это еще и час, который зажигает фонари, и дети хотят продлить его или хотя бы потянуть подольше, чтобы можно было еще поиграть, а их глаза, только что радостные, закрываются, час, где — я специально употребляю именно это союзное слово, потому что здесь час обозначает, скорее, пространство, а не время — где любое живое существо становится собственной тенью, то есть,

не собой, а чем-то другим, час, не позволяющий отличить собаку от волка, час метаморфоз, когда собака станет волком, этого боятся и ждут, час, который, если можно так сказать, приходит издалека, из раннего Средневековья, когда в деревнях на смену собакам вот-вот должны были придти волки, этот период, вероятно, скучный и унылый, который я должен был описать, как отступают назад, чтобы взять разбег, собраться с силами изобразить что-нибудь простое, но даже мысль об этом, высказанная вскользь, словно невзначай, заставляла кричать, почти выть тех, кто слышал меня. Что за мысль? Более всего я страшился абстрактных рассуждений, вот, к примеру, незаметное превращение фидаинов в шиитов или братьев-мусульман. Ни для кого в моем окружении подобный процесс не был само собой разумеющимся, его возможно было бы объяснить, будь трансформация внезапной, очевидной, зримой, но поскольку каждый человек рождался и рос со своими внутренними скрытыми тревогами, в разногласиях с самим собой, вероятно, братья-мусульмане издавна смутно тревожили фидаина. И выражение «между собакой и волком» здесь — здесь и для меня — означало не только сумерки, а любой момент,

возможно, все моменты жизни фидаина, который постоянно находился в этом времени, называемом, по крайней мере, во французской провинции, «между собакой и волком».

Возможно, для нас очарование этого выражения несколько поблекло, ведь мы знаем, что в сельской местности всех волков давно убили, поймав в пресловутые волчьи капканы, ломающие лапы, или просто забив во время так называемых волчьих облав, а само слово «волк», и так не слишком распространенное, сохранило свой корень в двух-трех словах, например, есть собаки-волкодавы, их используют при охоте на волков или для охраны стада, волчанка, тяжелое заболевание, туберкулез кожи, есть еще волчок, и детская игрушка, и отверстие в двери тюремной камеры для наблюдения за заключенными, вот, пожалуй, и все, больше о волках мы не знаем ничего, да и в превращения собаки в волка теперь никто не верит. На Среднем Востоке палестинцу мог угрожать брат, как собаке угрожал волк. Но поскольку еще сегодня, 8 сентября 1985, один из командиров сказал мне, что никакой опасности нет, допустим, и этого отступления тоже не было.

В Соединенных Штатах в среде Черных Пантер

наблюдалось некое явление. Не то чтобы никсоновская полиция пыталась погубить партию изнутри, но ФБР все чаще использовало соперничество между черными мужчинами (самцы) и женщинами (кинозвездами и прочими знаменитостями), чтобы в результате фагоцитоза процесс исчезновения Пантер сделался необратимым, что, похоже, и произошло.

На улицах, но особенно на улочках Бейрута, в этот самый час, о котором я так долго говорил, в 1982, можно было встретить загорелых молодых мужчин, у которых половина лица, та, что над верхней губой, была светлой, и по этой примете узнавали палестинца. Ему представлялось, что, сбрив усы, он сможет пройти незамеченным, но бледность кожного покрова как раз и выдавала свежевыбритую часть. На американской белизне чернокожие казались своего рода знаками, придававшими смысл всему мертвенно-бледному континенту. В Иордании все происходило так, будто мятежи и революции были всего лишь праздниками, более или менее долгими, более или менее кровавыми, но замирающими, когда вся эта активность надоедала.

Из аджлунского четырехугольника я мог бы исчезнуть так, что никто бы и не узнал. Посколь-

ку в этом войске дыры имелись повсюду, никто их не замечал; мы свободно уходили и приходили, по крайней мере, так это все выглядело, и чтобы отличить одного солдата от другого, стража руководствовалась скорее фамильным сходством — лицо или манеры — а не униформой, которую любой неприятель-бедуин мог купить в магазинах американской военной одежды, ведь это были знаменитые пестрые комбинезоны, иначе говоря, камуфляж. Все фидаины, а значит, вообще все — кроме меня, чья седина, возраст, вельветовые брюки не оставляли сомнений, что я принадлежу к поверхностному слою этого движения — были одеты в камуфляж.

Два-три раза уезжая в Дамаск, Бейрут или Париж, я предупреждал командиров, но я знаю: случись мне в один прекрасный день исчезнуть, это никого не обеспокоит и не удивит.

Никто и ничто, никакое писательское мастерство не поможет объяснить, чем были для фидаинов эти установленные для них шесть месяцев в горах Джераша и Аджлуна, особенно первые недели, пока не начались сильные ветра и холода. Я сумел бы рассказать о событиях, восстановить хронологию, описать успехи и ошибки фидаинов, передать атмосферу, цвет неба, земли

и деревьев, но никогда не смогу дать почувствовать это легкое опьянение, пружинящую пыль и шуршанье опавших листьев под ногами, этот блеск глаз, ясность и прозрачность отношений не только между самими фидаинами, но между ними и их командирами. Они были пленниками этого четырехугольника шестьдесят километров в длину на сорок в ширину, их манеры и поступки воскрешали в памяти молодых вельмож со старинных гобеленов. Можно было бы назвать их пленниками, но только с чьих-то слов. Все под деревьями были взволнованными, смеющимися, восхищенными этой жизнью, такой новой для всех, и для меня тоже, но в этом волнении и трепете было что-то до странности незыблемое, настороженное, сдержанное, безопасное, словно кто-то молча приглядывал за нами. Все принадлежали всем. И каждый себе. А может, и нет. Улыбающиеся и суровые. В этой области Иордании, куда они отступили — в зависимости от даты я могу использовать слова убежали или отступили — счастье под деревьями было таким огромным, что в глазах привилегированных сословий арабского мира палестинская революция выглядела обычной фрондой. На территории имелись леса, маленькие иорданские деревушки,

в которых можно было встретить лишь нескольких крестьян, стремительно прятавшихся при виде незнакомцев, какое-то скудное земледелие, хотя если присмотреться к самой земле, она оказывалась тучной и плодородной, но была плохо, поверхностно вспахана, неумело засеяна, и колосья овса или ржи были то слишком разреженными, с просвечивающими проплешинами почвы, то, через пару метров, слишком густыми. Молодые солдаты относились к оружию почти любовно, а смазочный материал казался прозрачным, как вазелин. Всё наводило на мысль, что они влюблены в свою винтовку. Оружие было признаком торжествующей мужественности, и благодаря ему, как ни странно, исчезала агрессивность. За чаем или по вечерам они просили меня рассказать об Америке и небоскребах. Похоже, они были готовы услышать любую нелепицу и не удивлялись, когда я говорил им, что города с поставленными один на другой домами срут стоя. Не в какое-то определенное время, как люди с хорошим здоровьем, а всегда, днем и ночью, из множества задниц одновременно. Они тужились и извергали кучи дерьма, которое растекалось по улицам. Нью-Йоркские небоскребы срут стоя днем и ночью, их кишечники набиты людьми,

тем, кто на нижних этажах, тяжелее всего, на них давят верхние, после долгого запора опорожнение происходит так резко, что когда выходит первое дерьмо, дом чувствует облегчение. А потом опять начинаются колики.

— А это воняет?

— Не очень. У американцев экскременты бледные и без запаха.

— Но раньше, — сказал мне Халеб Абу Халеб, — ты говорил, что когда-то Америка вся была покрыта лесами. И что у них есть очень мощные инструменты, тогда почему же вместо всех этих огромных небоскребов, которые выпускают кучи дерьма, как мясорубки фарш, почему они не вырыли колодцы, где можно было бы жить, тоже огромные, как небоскребы, только под землей. Они оставили бы на земле дубы, а сами спускались бы в дома на лифтах.

— Как шахтеры, только коридоры и комнаты из розового мрамора?

— Ну хотя бы.

— В общем, да здравствует жизнь южно-африканских негров?

— А электрический стул это и вправду стул?

— Скорее, трон. Приговоренный садится на него, а руки кладет на подлокотники.

— А почему ему не дают умереть лежа? Или стоя? Он сидит на троне, а напротив кто?

Революционеры очень часто умирают молодыми, у них нет возможности придумать себе Нью-Йорк. Они переправляются через моря, небеса, сады. Ночью они входят в спальни, убивают или прячутся, натыкаясь на мебель, и самый мирный их жест — это вспышка. Мир внизу, наш мир, ради которого они дадут себя убить, живет повседневной жизнью. Он готовит еду, спит: сверхлюди бодрствуют и перекусывают на ходу. Серьезный вид революционеров это всего лишь игра, они придумывают комбинации, а решение найдут позже. Всё здесь вопрос стиля.

Мубарак, одетый, как всегда, в камуфляжную форму, приходил-уходил. Если его не было в Аджлуне, значит, он был на другой базе, но на какой и что он там делал?

За всю свою жизнь я видел, наверное, всего лишь один кусок радия, это был Абу Касем. Я очень быстро подвергся его излучению, это была *непрерывная бомбардировка частицами*. Своеобразный эротизм, но подавленный эротизм, без разрядки, без эякуляции, вспышки, мгновенное сгорание без взрыва. Какое-то время я верил, или претворялся, будто верю, что он — пода-

рок командиров, что одно его присутствие еще прежде всяких аргументов должно меня убедить в серьезности движения сопротивления. (В те времена мы еще раздумывали, какое выражение предпочесть: освобождение, сопротивление, палестинская революция). Именно он первым подошел поприветствовать меня вместе с другим фидаином, говорящим по-французски. Меня взволновала его красота, причем, не столько красота его лица, взгляда и тела, о котором я мог только догадываться, сколько гармония — все, даже очень несовершенные, компоненты являли в конечном итоге то, чем он и казался: сдержанный порыв.

– *Salam Allah alikoum!*

— *Alikoum Salam*!

— Ты приехал из Франции? Откуда?

Это было очень неожиданно. Я словно попал в бархатный капкан. Впервые кто-то обращался ко мне таким образом. Вместо банального *salam alikoum*, торжественное приветствие: *Salam Allah alikoum.*

— Из Парижа.

— Я видел, как ты идешь, ты немного хромаешь.

— Повредил пятку. Неудачно упал в Англии.

— Холодно в Англии?

Пока я вешал на гвоздь куртку, Абу Кассем исчез. Казалось, его товарищ фидаин удивился не меньше моего.

— А твой приятель где?

— Вышел. Наверно, приспичило.

Мы посмотрели в сторону кустов.

— А что он хочет?

— Да я его не знаю. Встретил его на асфальте (на дороге). Он показал рукой на тебя: «Это француз?». И пришел.

Абу Касем молча появился рядом с нами, едва заметно улыбаясь.

— Это поможет тебе идти.

— Спасибо.

Я взял протянутую мне ветку дерева, с которой он перочинным ножом содрал листья, узлы и даже кору. Он сказал фидаину:

— Переведи. Сколько тебе лет? сколько моему отцу или отцу моего отца? Чтобы сделать во Франции революцию, тебе осталось совсем немного жизни.

Абу Кассем был невыносим. Он с самым серьезным видом разъяснял мне преимущества ленинизма. В семнадцать лет он знал наизусть, только по-арабски, отрывки из работ Ленина.

Он пересказывал мне их по вечерам, с таким благоговением, будто это были суры Корана. Его говорящий по-французски товарищ переводил, а во время передышек, которые давал ему Касем, думал о двух вещах: в памяти отыскать фразу, вернее, наставление Ленина, а в заднем кармане брюк — расческу, чтобы пригладить прядь. В каждом бойце, с гордостью воображающем себя чугунной глыбой, я смог бы почувствовать дрожь человека, который сумерек страшится меньше, чем света.

— А твои начальники?

— Какие начальники?

— Твои. Ты ведь подчиняешься начальникам, почему?

— Всегда кто-то должен командовать. В Советском Союзе подчиняются Косыгину, разве нет? Ты не понимаешь, ты француз. Почему французы предали де Голля?

— Предали?

— Заменили его Помпиду. Де Голлю пришлось вернуться к себе.

— Меня зовут Рашид, — сказал фидаин-переводчик, не дав мне ответить. — Не сердись на Кассема, он слишком молод. В его возрасте верят в преданность, дураки верят лет до сорока или

пятидесяти. Я сначала сам ему все осторожно объясню, по-арабски. Мне уже двадцать три. Спи.

— Сардины, сардины, опять сардины!

Фидаин, дежурный по кухне, принес и открыл банки с тунцом. Для всех бойцов и для Касем тоже любые рыбные консервы назывались сардинами. Кассем, родившийся неподалеку от Мафрака, никогда не видел моря. Мы, внеся каждый свою лепту, попытались описать его, и для начала сказали, что оно синее.

— Синяя вода!

Потом на песке нарисовали рыб, совсем не похожих на тех, что в консервных банках.

— А как они кричат?

Никто не решился изобразить, как кричат рыбы, и я сказал:

— Надо оставить немного для Мубарака.

И тогда только группа заметила его отсутствие. Касем, немного ироничный, немного заинтригованный, сказал мне:

— Ты нам рассказывал о явлениях Марии, жены Иисуса.

— Не жены, матери.

— Это мать? По твоим словам я понял, что она молодая. А когда она говорила, то на каком языке? На языке сардин?

— Когда она является, то понятно, где она, а когда ее нет, она где? Ты знаешь, например, где Мубарак?

Это были последние слова Кассема.

Беседа была легкой, непринужденной, каждый думал о своей собственной гибели за рекой Иордан.

Не мне одному были известны свойства этой радиоактивной глыбы, Абу Кассема. Он улыбался всем, но если любой жест или слово подчеркивали его привлекательность, то мускулистое тело угрожало. Как и многим фидаинам, ему было предназначено уйти за Иордан. И он ушел, внешне спокойный, осознавая свою красоту и славу, которая его осеняет, и славу, которая осенит его смерть. Его красота помогла ему умереть? Чтобы стало понятнее, я задам вопрос по-другому: если фидаин лишен привлекательности — кстати, а есть ли такие вообще? — разве может он, получив приказ отправиться к Иордану, то есть, за смертью, видеть себя не жертвой, а кем-то другим? У него есть выбор? Или он, совершив в Израиле героический поступок, желал бросить вызов всей свой тусклой жизни?

Однажды, когда я был в Сирии, неподалеку от ливанской границы, из дома, мимо которо-

го проезжало мое такси, тут же остановленное сирийскими солдатами, вышел человек в надвинутой на плохо выбритое лицо куфие, мне показалось, я узнал Арафата. Он прошел среди фидаинов, и ни один из них не встал. Значит, это был не он. Но когда его машина проехала совсем рядом с моим такси, я увидел другой его профиль, все-таки это был он, а в газете, которую я как раз держал перед глазами, писали, что он сейчас в Алжире, и я еще подумал: наверное, он так развлекается, показывая в разных местах то один, то другой свой профиль. Так поступают некоторые королевы, они путешествуют по стране, передвигаясь нарочито медленно, чтобы фотографы успевали запечатлеть почтительные приветствия крестьян, которые ради такого случая облачались в старинные одежды, хотя обычно одевались в ближайших универмагах. «Роллс ройс» останавливался возле какого-нибудь ослика, королева выходила, ну и так далее. Арафат исчез, еще не успев сесть в автомобиль, его поглотила толпа. Мне показалось, что вокруг столько людей с золотухой, что я бы совершил преступление, заняв место единственного воина, которому посчастливилось выздороветь.

После блистательного приема в ООН Арафат,

казалось, стал постепенно исчезать, погружаться в забвение. Палестинцы нервничали. Лица, тела, слова были мрачными и угрюмыми. Если что и поддерживало фидаинов и воспрянувший палестинский мир с 1965 по 1974 годы, так это страх оказаться забытыми, отвергнутыми. Возможно, сбылись тревоги Арафата, заставившие его однажды произнести: «Европа, весь мир говорят о нас, фотографируют, и благодаря этому мы существуем, но если фотографы больше не приедут, если радио, телевидение, газеты перестанут говорить о нас, Европа и весь мир подумают: палестинская революция закончилась. Израиль или Америка решили эту проблему, и решили в свою пользу», — а что если эти тревожные опасения были предчувствием? Думаю, представители ООП хотели произвести хорошее впечатление.

«В 1970–71 в Иордании я видел фидаинов, счастливых оттого, что можно без особого риска тащить все подряд: автомобили, фотоаппараты, диски, книги и брюки. Чтобы успокоить совесть, избавить себя от моральных терзаний, они говорили себе и другим: «Я революционер». Они воровали совершенно свободно, потому что некая инстанция превыше всех прочих (революция) защищала их, более того, подстрекала красть,

и возможно, тот, кто не желал грабить, в глазах друзей выглядел бы трусом, а его поведение «нереволюционным»; революция начиналась с присвоения или конфискации имущества богатых. Помнишь, лозунги восстания прямо указывали на трех врагов: Израиль, Америка и правительства арабских стран с полицейским режимом».

Благодаря этому врагу, который здесь поименован третьим, фидаины представали в сияющем ореоле, такими видела их молодежь всего мира. Не отваживаясь на геройство Лейлы Халеб, вынувшей чеку из гранаты в самолете компании «Эль Аль», фидаины допускали недопустимое.

Я, в самом деле, думаю, что среди руководителей движения были хищники, которые не разворачивали самолеты, зато разворачивали в свою сторону денежные потоки Сопротивления, палестинцы, простые люди, называли мне имена, приводили доказательства, они презирали окружение Арафата.

А руководители, как и простые фидаины, чтобы оправдать себя в собственных глазах — и, возможно, успокоить совесть — выражали желание повиноваться высшей инстанции: «Ради победы революции…». Фидаины видели, какие огромные

суммы проходят через руки начальников, их жен и детей…

Сыновей «знаменитых мучеников» холили и лелеяли. Формировались поколения наследников, правопреемников, с детских лет вынашивающих новые соперничества: кланы, города, деревни, семейства, клиентура, союзы. И я задаюсь вопросом: а может, деньги, выделяемые странами Персидского залива, вообще, помощь государств арабской Лиги и давалась руководителям движения, чтобы их искушать, коррумпировать и, в конечном итоге, развратить?

Эти знаменитые семейства с их историческими, возможно, легендарными корнями в Мекке, Медине, Дамаске, резиденции первых Омейядов, Иерусалиме эпохи Тита или галилейской деревни до Иисуса, возводили вокруг Арафата тоже нечто истории, только без точной хронологии. Что же до лучших из них, знаменитые семейства дали революции тех, кого я называю «факелами»: Набилю, Лейлу и многих других, безымянных.

А «ничтожества», которых я не буду именовать по-другому, путешествуют на «Конкордах» из Лондона в Рио, из Лос-Анджелеса в Рим, живут на авеню Фош и Монте Париоли.

Абу Омар вспылил при мне лишь один раз; но

я никогда не забуду эту его вспышку. Розоватое лицо резко побледнело, из улыбчивого сделалось серьезным, из округлого вытянутым. Он так поспешно сдернул очки, что сам с трудом поймал их. Всё из-за того, что я сказал:

— Пусть для вас Бог постулат…

За несколько мгновений гнев его взметнулся вверх, стремительно, как столбик ртути в термометре, опущенном в кипящую воду.

— Бог это не постулат. Это…

— Это что?

— Это Первая Сущность, Предвечная.

— А вторая?

— Революция.

Бог, Первая Суть и Сущность, Вечная, Предвечная был для него Очевидностью. Гневное отвержение слова «постулат», возможно, и в самом деле, невыразительного, но вполне безобидного, утверждение этого Бога и понятий о нем, приступ гнева, всё это было дозволено исламом. Абу Омар давно знал о моем неверии, об отсутствии у меня почтительности по отношению к Нему. Так чем же была вызвана эта вспышка гнева: неудачным выбором слова, которое запятнало бы его, если бы он не возмутился? Но мне кажется, не только об этом говорил его взгляд, его бледность, дро-

жащий голос. А о чем? За яростью виделся страх. Если Бога можно дать или отнять, значит, Он нечто преходящее…

Бывает, что ученик прекрасно помнит, как выполнил указание учителя. Прикрепленной к бечевке губкой он много раз провел по начертанным на черной доске меловым буквам. Он, и в самом деле, стер то, что там было написано, и точно так же, прощаясь, он долго водил рукой, справа налево, потом наоборот; этот жест прощания и жест стирания, сопровождающий слова «пока», был таким решительным и действенным, что лица друзей, ушедших за Иордан, исчезли окончательно.

Как и ученик, вдруг осознавший, что на черной доске вновь проявляется начертанный мелом текст, который он совершенно точно стер несколько раз, фидаин поначалу отказывается признавать лицо стоящего возле дерева улыбающегося «мученика», ведь он стер его своим жестом прощания. Он может притвориться и изобразить радость, скрывая изумление и недоумение, потому что нельзя вернуться невредимым из страны дьявола, если не подписал с ним соглашение. Из Израиля не возвращаются. Я видел этот жест прощания, каким стирают лицо и тело. А на

следующий день лицо и тело вдруг появлялись вновь. И лагерь, не знаю почему, ощетинивался злобой. Абу Касем не вернулся из-за Иордана. Ему было двадцать пять.

Когда мы разговаривали с Абу Омаром, то оба старались избегать малейшего намека на тот мой испуг.

Если в Иордании ему приходилось переводить — с улыбкой и по возможности точно — теологические споры, в которые я вступал по требованию правоверных мусульман, он делал это очень тонко и умно и, я бы сказал, смело. Благодаря ему я довольно быстро понял, из чего состоит будничная жизнь палестинок в лагерях. Древняя память палестинок — это переплетение маленьких памятей, моментальных и мимолетных, соединенных одна с другой, как стежки вышитого узора на старых платьях, в нужный момент они подсказывают, что надо купить ниток, пришить три пуговицы, заштопать подкладку штанов, вернуться в лавку, чтобы купить немного соли, не давать прорваться воспоминаниям о былых несчастьях, и к необходимой памяти: о соли, нитках, пуговицах добавить еще память о мертвых, о воинах, какая бесконечная жизнь! И еще благородно нести свое вдовство рядом с тринадцатью

детьми. Искренней была его печаль, когда он сказал мне однажды:

— Жан, иногда мне страшно до дрожи, в самом деле, у меня дрожит правая рука с тех пор, как я узнал, что Арафат решил отправиться к Франжье. Я дрожу при мысли о том, что придется пожимать руку этому человеку, который называет себя христианином, причем, называет себя им именно сейчас, когда убил семнадцать крестьян в церкви, это была его и их церковь.

Я знаю, что это слова утопающего, вернее, мои слова, вложенные в уста утопающего. Человеку, посвятившему себя палестинской революции, она представлялась адекватным решением сложной проблемы, она была Чистым Искусством, не мечтой, но мыслительной деятельностью — убежденностью, сомнениями, отчаянием. Каждый день, и не по одному разу, ему приходилось принуждать себя выказывать радость, когда какой-нибудь фидаин, безрассудный или порочный, смеясь, рассказывал ему о победе над бедуинами, о своих деяниях, которые впору было бы назвать зверскими или преступными.

— Сколько убитых?

— Как минимум, пятеро. У одного бедуина голова совершенно отделилась от туловища, она

катилась по лестнице Ашрафии со ступеньки на ступеньку и подпрыгивала.

В этот момент фидаины стояли на возвышенностях вблизи Аммана, возле водонапорной башни, и держали на прицеле главные ворота Королевского Дворца.

— Голова прыгала по ступеням лестницы?

Он изображал удовольствие, потому что, как ему думалось, он, интеллектуал, должен был закалиться и приобрести боевой опыт. Разумеется, прыгающую по ступеням голову врага представлять было гораздо веселее, чем какой-нибудь точно так же, на тех же ступенях подпрыгивающий арбуз, ведь ни один арбуз не сочился настоящей кровью. Не особенно огорченный этой веселостью, я спросил его, мог бы он так же от души радоваться моим окровавленным рукам, если бы я одним ударом сабли обезглавил какого-нибудь иорданца, и его голова катилась бы, подпрыгивая, со ступеньки на ступеньку.

— Какой ужас!

Его лицо, особенно взгляд и губы выражали отвращение.

— Но когда это рассказывает фидаин, вам весело.

— Я не привык к убийствам, к рассказам об

убийствах. Пора закаляться.

Мы оба были знакомы, он чуть лучше, с одним командиром, который ослеп на один глаз после взрыва пакета-ловушки.

— А вот скажите, на какой глаз он ослеп?

Абу Омар задумался, пытаясь вспомнить, затем признался:

— Не знаю. Кажется, на левый.

— Вы когда его видели?

— Вчера утром.

— И вы забыли?

— Ну да. Я не очень наблюдательный. А это важно?

— А какой глаз остался у Даяна?

— Вы хотите их поставить рядом? Может, у палестинца остался левый глаз, а у израильтянина правый? Но вы же не станете писать об этом в своей книге? Это, конечно, забавно, но…

— Арафат?

— Арафат мне запретил бы…

— Он понял бы только одно: странные у вас заботы.

— Вам жалко командира?

— Конечно.

— А Даяна?

— Конечно, нет.

Он снова засмеялся несколько натужным смехом, а когда перестал, я с удивлением услышал:

— Прежде всего, нужно дождаться переговоров по SALT.

— А причем здесь Салт?[82]

Салт — это небольшой христианский городок в Иордании, по виду еще османский, бывшая столица Трансиордании, выше я описывал его. Есть в Салте одна римская гробница: с романскими сводами, круглыми каменными опорами, изящными мраморными колоннами, увенчанными капителями с обветшалыми, то есть, отполированными ветром и влагой, скульптурами, они кажутся еще более изящными от соседства с мощными каменными колоннами, которые их словно охраняют, и рядом с ними пытаются сделаться совсем маленькими. Справа горой навалены арбузы, слева баклажаны. Чуть дальше апельсины. Мне сразу же пришла в голову мысль, что эти овощи и фрукты достойны величественной византийской архитектуры. На самом деле, Абу Омар отвечал на вопрос, который я ему задал чуть раньше: «Арафата пригласили в Москву,

---

[82] Примечания: 82

SALT — Strategic Arms Limitation Talks (переговоры по ограничению стратегических вооружений) и Салт (Ас-Салт) — город в Иордании. (*Прим. перев.*)

когда он уезжает?»

Он имел в виду переговоры СССР и Соединенных Штатов по ОСВ. А когда понял, какая произошла путаница со словами, то снова рассмеялся, да так, что ему пришлось приподнять очки, чтобы вытереть рукавом выступившие от смеха слезы; теперь, когда он мертв, я уже не узнаю, что вызвало его смех: то ли прыгающая по лестнице голова бедуина, то ли эта словесная путаница. Мне кажется даже, что в его смехе я уловил резкие нотки подступающей истерики. Как знать, а что если Абу Омар засмеялся над этой путаницей в надежде, что забудется другой его смех, неискренний и притворный, я бы сказал даже, что он шел не от души, а от головы, если бы он не был вызван как раз этим зрелищем: подпрыгивающей на ступеньках отрезанной головой, ее могли бы выставить в той самой романской гробнице; это был уже не смех, а приступ неукротимой икоты.

Словно за фасадом хоть и небольшого, но достаточно прочного сооружения, за этой натужной веселостью, вызванной видом обезглавленного, под притворной жестокостью с приступами детского, порой пронзительного смеха (как у захмелевших англичанок по вечерам в пабах), функционировал живой ум, не позволяющий

ни на мгновение расслабиться и потерять бдительность, а еще этот человек был безгранично предан. Абу Омар растворился в революции, еще за пять лет до своей гибели в море он уже утонул в ней. Я вам говорил, что этот человек был добрым?

Как и другие командиры, он вставал, когда в кабинет Арафата входил какой-нибудь фидаин. Эта учтивость, столь явная, демонстративная и торжественная, вдруг показывалась, как цветочный горшок из кашпо или бесстыдно распахнутая одежда, которую вдруг бросаются застегивать, и фидаин, принесший телеграмму, чашку кофе, пачку сигарет мог понять лишь одно: ты герой, значит, ты мертв и мы воздаем тебе почести, которые должно воздавать мученику, мы носим по тебе траур. Под стульями, где расположились наши задницы, подложена пружина, и как только входит какой-нибудь герой, катапультируемое кресло подбрасывает нас вверх, и мы надеваем траур.

Откуда взялась эта мода? И надолго ли она? Стоило войти фидаину, все командиры лихорадочно подскакивали, и мертвец, принесший газету, видел, как перед ним открывается его могила, а вокруг нее стоят командиры, испытывая гор-

дость за героя и за самих себя, указавших герою путь на тот, другой берег. Абу Омара смешила эта традиция, которую поначалу он воспринимал искренне, а под конец с усталостью и досадой.

Разумеется, поскольку это был военный церемониал, мизинец скользил по шву форменных брюк, а спина выпрямлялась, но почитаемый фидаин был совсем как мы, он был величеством на час, но величеством в могиле. Должен добавить такую деталь: слова «надгробный камень» сперва была написаны, затем стерты, потому что такой камень не просто рельефный — гранит или мрамор — на нем есть гравировка, а на камне, о котором я говорю, нет ни имени, ни даты, слишком глубока под ним могила, она ничья.

Он звучно шлепнул себя по бедру, как будто только что услышал забавную шутку. Сообщил мне иронично и в то же время серьезно:

— Я сегодня утром обуржуазился.

— Как это?

— Ходил к своей тете принимать душ, она палестинка, но монархистка.

— Душ — это не так уж и буржуазно. Хотя и не слишком революционно, конечно. Он есть при любом футбольном стадионе. Вот ванна другое дело…

— Я не решался вам сказать, я мылся в душе горячей водой. Так обуржуазиться это стыдно, — добавил он, смеясь.

— А почему все-таки обуржуазился?

— Я уже четыре месяца не мог выносить своего запаха. Это была моя первая вода. А фидаины кроме дождя и не знают ничего.

Слово «Палестина», как и слово «Франция», являет разную реальность для деревенщин, аристократов, финансистов, фидаинов, сильных мира сего, нуворишей, причем, каждая из вышеперечисленных категорий не подозревает о реальности, в которой живут другие, и никто, похоже, не предполагает, что эти расхождения так сильны. И каждая обладает исключительной энергией, чреватой конфликтами и схватками, а само это слово: «Палестина» станет когда-нибудь термином, обозначающим отнюдь не согласие, а жестокую борьбу между теми, кого следует называть классами.

«Но как красива гора!»... Это не просто всем известное понятие, некая геологическая возвышенность, гора дается альпинисту как испытание, горцу как тембр голоса, Сезанну как-то еще, другим — как знать? но в любом случае каждый будет обладать этим понятием по-своему, в за-

висимости от отношений, сложившихся между горой и им самим, и каждый, говоря о ней, станет говорить лишь о себе. Тетушка Абу Омара принадлежала к зажиточной христианской общине, где ни ванна, ни, тем более, унитаз не считались предметом роскоши, это был знак, подчеркивающий слово «Палестина», для нее это являлось очевидным. Она презирала — причем, глубоко — фидаинов. Если бы убедительная весомость выражения “Your Majesty”, потому что она говорила только по-английски, иногда из снобизма употребляя какие-то слова на местном арабском наречии, порой довольно неприличные, даже пару ругательств из лексикона палестинских извозчиков, она, возможно, и приняла бы фидаинов, но ее благоговение перед Королевой Иордании было упоительнее всяких революций, тем более, когда они являют собой бунты оборванцев. Своего племянника, со дня его вступления в ООП до смерти, она пускала в ванную раз в полгода.

Университетское образование помогало Абу Омару, но реальной пользы от него не было, он не стал спокойнее, напротив, его терзали новые сомнения, делая и эту жизнь, и революцию нереальными.

Есть клопы, которые на ветках деревьях совсем

невидимы. Мне случалось в детстве нечаянно положить руку на зеленое или коричневое насекомое, слившееся цветом с корой. И только запах давал понять, что я раздавил клопа, чьей единственной защитой была эта полная, абсолютная неподвижность, феноменальное слияние с цветом ветки, а последней местью, наверное, вонь, брызнувшая из-под моей ладони.

Уже во второй раз один молодой фидаин рассказал нам этот эпизод: когда на них пошли иорданские танки, он спрятался в госпитале среди больных, желая смешаться с ними, притвориться тяжелораненым, чтобы не попасть в плен, потому что танки шли прямо на госпиталь. Когда они проходили, солдаты стреляли во всех подряд. Погибло тридцать или сорок человек: больные, раненые, санитары, врачи; все были убиты в вестибюле госпиталя, где пытались укрыться. Фидаин рассказал, что при первом же залпе он лег, положив автомат рядом. Он оцепенел и не подавал никаких признаков жизни, как будто на короткое время впал в животную спячку среди запахов свежей крови и смерти. Был ли он искренен?

Старая палестинка рассказывала мне: «Мы были опасными тысячную долю секунды, пре-

красными тысячную тысячной доли секунды, прекрасными и счастливыми, чего еще больше желать? Несколько минут мы оставались в Осло? Такое может быть? Если бы мы заняли Осло на шестнадцать лет, мы бы заморозили весь мир. Мы были благоразумны. И опасны всего лишь несколько секунд».

Когда фидаин очнулся, было уже темно, в первый раз он рассказывал так же. Потом послышался шум. Задыхаясь от тяжести, он понял, что на мгновение уснул под кучей мертвецов. Он решился открыть глаза. Солдаты-бедуины, похоже, не особо интересовались последствием прямого попадания, они спокойно курили. Может, он чувствовал, что стал таким клопом, о котором я только что говорил? Сделался абсолютно неподвижным, несмотря на мучительный зуд и боль в затекших от неудобной позы ногах. Как клоп мимикрирует, слившись с листиком или корой, так и единственной защитой фидаина была попытка притвориться окоченевшим трупом, от которого стремятся отойти подальше, потому что скоро начнет вонять. Может быть, так фидаин казался себе неуязвимым и чувствовал себя в большей безопасности, чем в каком-нибудь укрепленном лагере?

Взяв лежащий рядом автомат, фидаин прицелился и выстрелил в бедуина, тот упал замертво. Его товарищи даже не поняли, откуда стреляли. Находясь под защитой трупов, фидаин убил еще четверых, а солдаты лишь недоуменно озирались.

— Всего пять убитых.

Абу Омар посмотрел на меня, задумчиво нахмурив брови.

— Пять? Вчера он говорил нам, что четыре. — Бывший ученик Киссинджера не мог пройти мимо арифметической ошибки.

Я ответил по-французски:

— Он еще молод. Это его первое приключение, он часто о нем рассказывает. Вполне естественно, что к своей коллекции охотничьих трофеев он добавляет новые подробности и новых солдат, хочет сделать свою историю ярче и убедительнее. Это очень распространено среди рыбаков и охотников, даже у французов. Фидаин прячется за этими деталями, как в своем рассказе он прятался за грудой трупов.

Абу Омар, я это ясно видел, больше сомневался в моих объяснениях, чем в рассказе фидаина, возможно, и в самом деле уснувшего, но с открытыми глазами, пускай, одним глазом, чтобы

прицелиться в темноту. По его словам, он вышел из госпиталя, и никто его не остановил. Именно благодаря той ночи я вспоминаю сейчас про этот день. Абу Омар сделал вид, будто поверил в этот рассказ, и развеселился. Фидаины никогда не были солдафонами, для этого они слишком изящны и радостно-безмятежны. Абу Омар тоже никоим образом не был солдафоном, однако я спрашиваю себя, разве человечек чувствительный, к тому же, интеллектуал, не пытается скрыть свою чувствительность, которая, как он опасается, пристала только женщинам, за напускной жестокостью. Вряд ли мне представится еще возможность использовать здесь это выражение, которое артисты произносят в адрес излишне экспрессивного коллеги: «он переигрывает».

Что остается в памяти людей, что они стирают, что сотрется само, да что угодно: предмет, повод, случай, обстоятельство, ибо трудно назвать что-то или кого-то, оставляющие сияние или отзвук, во всяком случае, некое потрясение памяти, когда вслух или про себя произносят: *поцелуй прокаженному*. Прокаженный в своем капюшоне убегает от Сида. Точно так же, из почтительности, смерть сторонится Антигоны, раненый своего спасителя, самоубийца инструктора по плава-

нию, немецкая овчарка Гитлера, да что я говорю, ладони или одного мизинца Гитлера, который едва касается шерсти животного, но куда пропало само животное, когда осталась лишь эта навечно запечатленная зрением ласка, то есть, лишенное всякой физической опоры величие души, свидетельство, благодаря которому это величие души никуда не исчезнет. Это же касается и палестинской революции, исчезнут нагромождения трупов, раздробленные члены, чтобы сохранились на какое-то, достаточно короткое, время, некоторые детали, парящие, абсурдные, героические, но которые будут вспоминать несколько поколений. О том нищем, в чью руку я положил два дирхема, вы не узнаете ничего, ни его имени, ни его прошлого, ни будущего. О Сиде мы знаем лишь то, что он поцеловал прокаженного — кроме того, что это пережившая нескольких веков трагедия… и кроме — какое уместное здесь слово — кроме этого что еще? Что мы знаем о Гитлере, кроме того, что он приказывал сжигать евреев и гладил немецкую овчарку. Я забыл о том утреннем нищем всё, кроме двух дирхем, и что делает здесь эта немецкая овчарка, кусающая за лодыжки греческого пастуха? Сквозь мой рассказ прорастает другой и хочет появиться на свет. В

двух-трех больницах еще лечат прокаженных, но лечат ли? Специалисты, наверное, вносят в организм вирус, чтобы увековечить грядущих Сидов и чтобы стало известно, во что обошлись этому арабу героизм и христианское человеколюбие: благодаря проказе, которую ему передал другой, он бросил вызов забвению.

Воспоминания II

Я уже признавал, что палестинскую революцию можно изложить в такой формулировке-апокрифе: «*быть опасным тысячную долю секунды*».

Въезжая впервые в Амман со стороны Даръа, я увидел самого себя, как будто в розовом утреннем тумане вхожу в Багдад 800 года при Гарун аль-Рашиде, а еще мне казалось, и невозможно было отделаться от этого ощущения, что я прогуливаюсь в Сент-Уане или по этим кварталам в двадцатые годы нашего века. Поскольку палестинцы находились в Ашрафии, квартале Аммана, расположенном на возвышенности, они все время шутили про эту самую высокую точку города, до которой так трудно добраться, как будто, карабкаясь по снегу на этот Эверест, они ломали ногти и отмораживали кончики пальцев. А стены домов вокруг Ашрафии были из песчаника, они где-то обрушились, где-то обгорели, но кровью заляпаны не были, а в целом выглядели довольно убого, как в пригороде какой-нибудь европейской столицы. Неизменная большая мечеть в универсальном арабо-колониальном

стиле была сооружена из трехсот сорока видов мрамора.

Прожив несколько дней в одном из лагерей, я увидел, что собой представляет обыденная жизнь его обитателей. Наступали праздники? Песни, танцы, стрельба настоящими пулями, чтобы поприветствовать водопроводчиков, которые трудились несколько недель, проводя воду во все постройки лагеря Бакаа. Когда зимой 1970 семье нужна была вода, женщины, девушки, девочки выстраивались в очередь к единственному крану в лагере, где каждая наполняла по два пластмассовых ведра, зеленых, красных, желтых с нарисованным по трафарету силуэтом Микки Мауса — каждый раз разным.

Во всех мусульманских странах, во множестве бедных деревушек вода течет из единственного крана, а девушки и замужние женщины с удовольствием ходят к медному резервуару, здесь они переругиваются, перебрасываются шутками, рассказывают друг другу всякие ужасы. Каждая ставит перед собой пустое или наполненное ведро, оно словно караулит место хозяйки, которая заканчивает свой многословный рассказ о муже, слабеющем к концу ночи, и рассказчица, наконец, смолкнув и уперев руки в бедра, ждет

смеха или негодующих воплей других женщин. Палестинки всегда были молчаливыми, слишком усталыми для праздной болтовни. Этот жест: взяться за ручку ведра и поднять его — был таким точным, таким выверенным, потому что повторялся по три-четыре раза в день все триста шестьдесят пять дней в году. И положение руки было таким, как подобает, потому что рука эта знала вес каждой капли воды. Раз в месяц было дозволено единственное развлечение: когда приезжал из Аммана торговец разной пластмассовой утварью, какой-нибудь иорданец на запряженной двуколке, женщины, а иногда и мужчины — и какое это было счастье — долго и придирчиво выбирали цвет: ярко-зеленый, бутылочный, бурый, алый, гранатово-красный, иссиня-черный, два, три, четыре, пять, десять оттенков синего, и всегда, на каждом ведре рисунок Микки Мауса по трафарету. И шум воды рядом с выстроившимися в линию ведрами. И это всё. Лагерь жил и этим тоже.

Когда я написал выше: «каждая ставит перед собой ведро…», я вовсе не имел в виду, что все женщины ходили к крану, как когда-то к водному источнику, чтобы посмеяться над мужем, я написал это, чтобы понятнее стала серьезность

палестинок, потому что мужчина вернется. Может быть, вернется.

А еще, перечитывая написанное, я вижу, что забыл упомянуть про платок на волосах, он прикрывает их полностью, разве что где-то остаются видны несколько корней.

Второе добавление: у женщин в лагерях нет ни времени, ни желания вышивать эти знаменитые палестинские платья или диванные подушечки, они стали такой редкостью, что знатные дамы приходят в отчаяние. Если мужчина погибает, женщина берет оружие, а не иглу. Прощайте, подушечки, теперь они украшены машинной вышивкой.

Дорога, сегодня покрытая асфальтом, ведущая от Салта к базе фидаинов возле Иордана, шла мимо холма, на вершине которого была выстроена белая вилла. Сам холм в форме усеченного конуса покрыт газоном, наподобие английского, а на этой зеленой поверхности, то есть, по всему склону холма, от виллы к дороге, длинными серебристыми локонами лежали свернутые рулоны колючей проволоки. На пространстве от дороги до защитного ограждения были свалены другие рулоны проволоки. Солдаты-бедуины, часовые без будок стояли, направив оружие на

дорогу, наверняка оно было заряжено, с пулей в стволе. Колючая проволока за ними казалась спадающими на плечи локонами, как у солдат Ас-Саики в Ирбиде, я говорил об этом; другие солдаты тоже находились в боевой готовности и досматривали каждую проезжавшую по дороге машину, повозку, каждого крестьянина или крестьянку. Окружавшая виллу стена с дороги казалась казематом с амбразурами и бойницами, позволяющими держать под обстрелом пулеметов или знаменитых катюш всю дорогу и обширное пространство за нею. Сама вилла за всей этой грудой хлама была не видна. Может, она и была уютной? Там по выходным в целости и сохранности мог отсидеться начальник иорданской полиции. Может, из-за ее близости к базе фидаинов доктор Махджуб принял такие предосторожности? На маленькую базу Малиджуб мы прибыли, когда уже стемнело. Увидев Набилю в комнате, доктор Махджуб словно получил удар камнем прямо в лоб. Мне показалось, он покраснел. Этот тридцатисемилетний мужчина, очень смуглый, с кожей обветренной и обожженной солнцем, широкоплечий, высокий, слегка опирающийся на окованную железом трость, покраснел, вероятно, впервые в жизни.

Набиля была очень красива. В свои пятьдесят она, наверное, красивее, чем раньше. Во время осады Бейрута три летних месяца 1982 она под бомбами исполняла обязанности начальника медицинской службы профилактики в Ливане. Мы все, кроме Набиля, пожали протянутую руку доктора Махджуба, но Набиля предупредила меня заранее, поэтому я был готов к тому, что последовало дальше и не слишком удивился. Она хотела меня успокоить. Мы сели рядом.

— Послушай, ты не можешь знать. Ты ведь француз.

И теперь, четырнадцать лет спустя, я не понимаю ни характера Махджуба, ни его страха перед женщиной. Он принял решение. Как только мы поедим, Набилю проводят обратно в Салт, откуда мы пришли. Наступила непроглядная ночь. Глядя, как она уходила, я видел, как уходят Ифигения, Мата Хари, женщины, отправляющиеся на казнь, когда добрый мужчина, повинуясь приказу, а не чувству сострадания, говорит о казни, как о единственно возможной мере, последнем акте, который надлежит исполнить. Набиля вышла в сопровождении двух вооруженных фидаинов.

Сама врач, но мусульманка, то есть существо этимологически подчиненное, возможно, она

не так сильно, как я, ощущала эту жестокость: нет, не Махджуда, а закона, предписывающего, что одинокая женщина (а кто в данном случае мог говорить, что она одинока?) не должна спать среди солдат, причем, опасности подвергалась не она, а солдаты, которые, лежа подле нее, лежали бы на краю пропасти.

Стала ли Набиля менее одинока в окружении двух вооруженных солдат? Она не была их пленницей, они все трое были пленниками ночи, где нельзя остаться невидимым, потому что взад-вперед ходили караульные, фидаины и бедуины. Часть дороги, проходящая внизу виллы-крепости, была беспощадно освещена и охранялась мужчинами, именовавшимися словом женского рода[83], стало быть, оно принадлежало противоположному полу, и они его быстро распознавали. На этой дороге, охраняемой вооруженными солдатами, за которыми в свою очередь наблюдали (в том числе через прицел винтовки) невидимые палестинские часовые, Набиля была одинока.

— Никто не должен знать, что на базе провела ночь женщина, — произнес Махджуб по-французски и довольно громко, чтобы я его услышал.

---

[83] Примечания: 83

По-французски слово sentinelle (часовой, караульный) женского рода. (*Прим. перев.*)

Два часа спустя фидаины вернулись. Набиля проведет ночь у женщины-дантиста в Салте.

— Эта женщина палестинка?

— Неважно, это женщина, — ответил мне Махджуб. — Завтра утром за ней сходят.

Она вошла без улыбки, но и без видимого раздражения; направилась прямо к Махджубу, который, приветливо улыбаясь, протянул ей руку. Этой приветливости я не видел накануне вечером на суровом смуглом лице, но мне почему-то кажется, если бы я встретил Махджуба вновь, он также бы улыбался, и я вспоминаю его именно таким даже сейчас, когда пишу эту фразу.

— А что, так сложно объяснить молодым фидаинам, что палестинская докторша должна спать здесь, потому что на дорогах ночью опасно?

— Они бы поняли. Народ и палестинская буржуазия приняли бы это. Но если бы узнали бедуины, то сказали бы «бордель». И Набиля это знает.

В 1984 некоторые иорданские племена, живущие возле пустыни, еще вспоминают о нем, несмотря на его имя (Махджуб: скрытый, тайный). Он был врачом. Он сидел в египетских тюрьмах; высокий, красивый, крепкий, если судить по внешнему виду, хотя тело было изму-

чено, с ним была связана одна легенда. Появляясь в пустыне под предлогом лечения больных, он сумел расстроить несколько договоров, которые крупные племена заключали друг с другом, выкручивая руки более слабым, ему удалось добиться того, что последние отвергли власть Хусейна и вступили в тайный сговор с палестинцами. Сомнительные достижения. Слово, данное потомку Пророка, презрение к палестинцами, изгнанным со своих собственных земель, слишком миролюбивым, слишком влюбленным в свои садики. Махджубу грозили большие неприятности, но ему помог случай. Заболел сын вождя племени. Махджуб, блестящий диагност, вылечил юношу, и в благодарность отец спас Махджуба и его людей, которых разыскивала полиция пустыни. Шейх спрятал доктора Махджуба, и он смог добраться до подпольной базы. Это его легенда в общих чертах, возможно, начало легенды: к ней, словно побеги, привиты другие легенды, другие чудеса, которые не были бы возможны без сущей ерунды: нескольких крупинок антибиотика. Военные врачи, преданные монархии, добивались чудесных исцелений в племенах, теперь такое не показалось бы чудом. Пустыня питалась пенициллином.

Мы выехали из Салта в Аджлун, где я оставался с октября 1970 по май 1971. Махджуб, второй палестинец и я спали на земле, в норе, вырытой под деревьями. Хотя окружение было самым что ни на есть революционным, один закон строго соблюдался, хотя и неписаный закон: опущенные глаза, учтивость по отношению к телу других и своему собственному телу, потому что каждый должен был оставаться невидимым для других. Может, именно это называют целомудрием? Во время одной ночной прогулки от поста до поста вокруг Аджлуна Махджуб и заговорил со мной о запрете карточных игр; так заклинают зло, чтобы его отогнать. Как и в случае с Набилей, когда он заставил ее идти ночью, густо населенной врагами, а не самцами, сейчас, заговорив о картах, он будто потерял разум.

— Среди врагов пойдет слух, что с наступлением ночи базы превращаются в притоны. И потом, карточные игры, *не знаю почему*, вызывают ссоры, иногда доходит до поножовщины.

Как восхищали меня манеры и поведение почти всех палестинских мужчин и женщин, так отвратительны казались руководители. Самые ловкие из них сумели обставить свое существование с невероятной помпой, дело было не в

люстрах или мраморе, они всячески стремились усложнить доступ к собственному телу: прежде чем добраться до того, кто с помощью десятка слов и двухминутного размышления мог решить простейшую проблему, надлежало всё рассказать часовым.

— Подожди, сейчас посмотрю.

Часовой не спеша уходил. Затем так же медленно возвращался.

— Иди за мной.

Вы имели возможность убедиться, во что простой фидаин, милый, улыбчивый, ироничный превращался за несколько часов и каким он еще несколько часов будет оставаться. Вчера это был еще мальчишка, бросающий камешками в птиц, он мог сорвать цветок, понюхать его и протянуть мне, но теперь, будучи на службе, он вышагивал передо мной, как ходячий труп, наверное, он скопировал эту походку с рекламы “Джентльмен в Булонском лесу».

Затем я отправлялся к другому руководителю, который желал услышать подробный рассказ о проблеме, разрешить которую не имел никаких полномочий. Он направлял меня к третьему, затем к четвертому и так, передвигаясь, словно фишка, на определенное число клеток, соответ-

ствующее числу выпавших очков, я добирался, наконец, до искомого начальника, который разговаривал по полевому телефону. Что говорил он Незримому?

— Если Богу угодно… но уверяю тебя, завтра и следа не останется от его зубной боли. Если Богу угодно… но тебе нечего бояться, это не заразно… ну, я думаю, что так… конечно. Если Богу угодно.

Начальник клал трубку:

— А, я тебя не ждал. Ты в порядке? Что слышно из Франции, какие новости? О нас пишут в «Фигаро»?

— Я бы хотел…

— Кофе или чай?

(солдату: «Принеси два кофе. Нам нужно о многом поговорить с Жаном»).

— Послушай, мальчишки воруют таблетки из аптеки, для них это просто шалость. Некоторые лекарства очень опасны. Надо поставить часового, чтобы помешать…

— Как помешаешь мальчишкам баловаться?

— Если их много принять, можно даже умереть. Я закрываю на ключ, но они открывают по ночам и даже днем. Поставь туда фидаина.

Начальник брал листок бумаги, писал приказ. Отдавал его часовому. Когда я подходил к аптеке,

у ее дверей уже стоял фидаин. Я потратил почти час, чтобы добраться до начальника, который уделил мне пару минут.

Но самыми опасными были даже не те, кто заставляли проходить сложный маршрут, полный непредвиденных засад, а те, в чьих головах засел катехизис, и его фразы, четкие и тяжеловесные, падали вам под ноги. Самым опасным был, без сомнения, Талами, кажется, он вбил себе в голову идею сделать из меня образцового марксиста-ленинист а. В Коране есть суры, строфы для любого события, так и у Давида имелись цитаты из Ленина на все случаи жизни. Не предупредив, мальчишка надменно произносил фразу на немецком.

— Что это значит?

— Lukács[84]. И что ты можешь мне ответить?

Те, кто были отвратительны, были отвратительны до омерзения. А Махджуб казался мне деликатным, как юная девушка, и еще менее порочным.

После убийств в Сабре и Шатиле в сентябре 1982 некоторые палестинцы попросили меня

---

[84] Примечания: 84

По-видимому, это Дьёрдь Лукач — венгерский философ-неомарксист. (*Прим. ред.*)

написать воспоминания. Эта проблема занимала меня полгода, я сомневался; в самом сердце ООП во время моего пребывания в Вене я видел и других палестинцев, которые надеялись на эту публикацию.

— Просто расскажи, что ты видел, что слышал. Попытайся объяснить, почему так долго оставался с нами. Ты приехал, можно сказать, случайно. Приехал на неделю, но почему тогда оставался два года?

В августе 1983 я начал писать, погрузившись целиком в семидесятые, и хотел довести свои воспоминания как раз о 83 года. Я оказался ввергнут в эти воспоминания, а помогали мне сами действующие лица или свидетели событий, о которых я рассказывал. Мне было радостно оттого, что я не во Франции. Она находилась далеко и уменьшилась в размере. Самый маленький мизинец фидаина занимал места больше, чем вся Европа, а Франция стала далеким воспоминанием моей ранней юности.

Я вовсе не уверен, что когда Базельский Конгресс сделал выбор в пользу Палестины, хотя поначалу рассматривались Аргентина и Уганда, выбор был продиктован религиозными мотивами. В сущности, иудеи именуют свою страну

«Землей Обетованной» из-за одного бродяги, пешком явившегося из Халдеи, и еще одного, пришедшего из Египта, а страна, названная «Святой Землей», знаменита событиями, изложенными в Новом Завете. Евреи должны были бы ненавидеть эту страну, а не любить. Она дала рождение тем, кто стали их злейшими врагами, и, прежде всего — святому Павлу. Если бы не он и не Иисус, кто вспомнил бы об Иерусалиме, Назарете, о плотнике, о Вифлееме, Тверии, все Евангелие говорит только об этих местах.

— Англичанам-протестантам эта страна знакома из Ветхого Завета.

— Вы когда-нибудь видели чучела животных? В Ветхом завете вся география набита соломой, как те чучела. Знают и Историю, и всякие еврейские истории, но природа очень редко играет какую-то роль. Разве что во время изгнаний: там упоминаются Ниневия, Ур, Египет, Синай, но они не так реальны, как Тиверианское озеро и даже Голгофа.

Мустафа, с которым мы встретились в кафе, говорил мне о своей ненависти к Англии так яростно, что я задавался вопросом, может, он таким образом выражает свое разочарование добропорядочного юноши, который не осмели-

вается коснуться золотых монет в ящиках, хотя крышки ящиков открыты. Столько богатств прошло перед глазами офицеров турецкой армии! Их отказ, вероятно, был следствием высокой морали. И каждый раз при встрече со мной Мустафа изъяснялся таким старомодным языком, что Османская Империя уступала место сказочным, счастливым краям, омытым кровью и спермой, похожим на те, о каких рассказывали романисты; впрочем, одна подробность казалась мне довольно правдоподобной: прекрасные рабыни были огромными женщинами с бедрами и грудями, сводящими с ума калифов, но поверхность кожи, которую надлежало покрыть драгоценностями, была столь велика, что приходилось снимать украшения с избранницы предыдущей ночи, чтобы украсить плоть нынешней.

— Они должны были звенеть, — сказал мне Мустафа.

Когда я, смеясь, передал это последнее высказывание Омару, тот ответил:

— Видишь, шелест золота из английских сундуков остался у них в ушах, и избавиться от него можно, лишь проткнув барабанные перепонки.

Когда я увидел, как сирийцы тайно играют в карты, игра восхитила меня, и Барабанные Па-

лочки, и Мечи, и вообще вся игра целиком. Здесь, в Дамаске, у них имелся свой способ складывать колоду, складывать вдоль, так что карта, брошенная на выпуклость, образованную местом сгиба, была слегка неустойчивой, она кренилась на бок, как лодка на берегу, и брошенные таким образом карты были то «битой» самкой — пусть и с изображением «валета червей» — то «бьющим» ее самцом — с изображением «трефовой дамы». И эта манера сгибать карты казалась мне — даже сейчас, когда я это описываю — некой эротической игрой, такая колода отличалась от почтенной новенькой карточной колоды, которую приносят для бриджа.

Это *не знаю почему*, приведенное в качестве причины, заставляет меня задуматься, не было ли присутствие Набили опасным для самого Махджуба (судя по выражению лица, он был настолько сбит с толку, что не мог соображать), не менее опасным, чем карточная игра. Если это так, то я не вижу связи, хотя она, вероятно, существует, между этой очень красивой женщиной и игрой в карты, нет-нет, между ними не было никакой связи, разве что такая (впрочем, для меня это настолько личное, что даже говорить я могу лишь в полутьме): Манон Леско, отправля-

ясь в Гавр, чтобы воссоединиться там с шевалье де Грие, оставила в Париже любимого брата, который зарабатывал на жизнь карточным шулерством.

Всё: само место, Манон, Махджуб, Шулер, Дама, Короли, Валеты, Мечи, всё и все существуют во мне и только во мне, поскольку сам Махджуб был словно защищен от всякой грязи. Каждый был порождением другого, или же каждый был двойником и дублером одновременно и себя, и других карточных фигур, одна Набиля оставалась яркой и светлой, не тускнея. Душевное смятение, которое, вероятно, могут объяснить мусульманские теологи, продолжает терзать меня: если Бог настолько одинок (недаром его называют просто Он), может ли Он допустить случайность? Или то, что называют случайностью, тоже задумано Богом, а результат карточной игры — божественная подпись?

Однажды вечером, когда мы были одни, Махджуб улыбнулся, как всегда ласково, почти нежно, и протянул мне сигарету «житан». Сигареты светлого табака, поставляемые Эмиратами, он презирал.

— Я был влюблен безумной любовью, в одну восьмилетнюю девочку.

Я не верю, что он специально выбрал момент, чтобы сказать это. Может, просто воспользовался случаем?

— Чтобы посмотреть на нее, я делал крюк во много километров. Я не сделал ей ничего плохого, а вот она мне делала.

— Как это?

— Например, отказывалась брать мои подарки. Капризничала. Мне кажется, она понимала свою власть. И делая мне больно, она так играла.

— В восемь лет?

— Иногда она вела себя, как сорокалетняя женщина. Ее деревня была довольно далеко от Каира, она знала, как долго мне нужно ехать, чтобы посмотреть на нее, просто посмотреть.

— И сколько это длилось?

— Ей исполнилось девять, потом десять, одиннадцать; в двенадцать она была уже женщиной. И меня больше не интересовала.

— Вы были спасены.

— Нет, мне было больно, когда я ее любил, но я был так счастлив.

Воцарилась тишина, как будто мы оказались отделены друг от друга огромным расстоянием. Или не очень огромным, хотя вряд ли, я чувствовал, какое пространство лежит между нами.

— Не грустите, — сказал он мне, отходя от пригорка, где мы с ним сидели.

Я остался докурить сигарету. И все спрашивал себя, почему, ну почему именно сегодня он сделал мне такое признание.

— Жан, я забыл название той церкви, но, по-моему, это была не Нотр-Дам-де-Флер.

Ливанская газета, которая выходила на французском, «Орьен ле Жур», иронизировала по поводу моего пребывания в ФАТХе, на берегу Иордана, где жил Иоанн Креститель, но единственным комментарием были слова Ферраджа, он сказал однажды:

— Главное, ты с нами.

Единственная вещь, как мне думалось, занимает мысли фидаина: как завершится праздник. Потому что палестинская революция на восточных берегах Иордана — да, это был праздник.

Праздник, который длился девять месяцев. Если кто-нибудь познал свободу в Париже в мае 1968, пусть к этим ощущениям он прибавит элегантность, учтивость всех по отношению к каждому, а главное, пусть сравнивает, ведь фидаины были вооружены. В марте Махджуб был уже там, а я и не слышал, как он появился. Он был настолько величественным, что при нем я

невольно понижал голос, потому что само его присутствие было безмолвием. Вероятно, эта мораль в духе Сен-Жюста придавала ему такое очарование и притягательность и, когда я говорю о нем, то уверен, что пишу дополнительную страницу в Житии Святых.

— Вы уже видели почки на деревьях?

— В этом году они запоздали, но теперь уже появились. Они еще липкие, и когда я трясу ветки, на меня сыплется пыльца. Скоро появятся листья и раскроются цветы на миндальном дереве.

— Чем жарче солнце, тем веселее фидаины; март и апрель — два довольно простых месяца, если все будет в порядке, если мы до них дотянем, считай, революция победила.

— Эти маленькие базы под деревьями вдоль дороги в Аджлун, мне они показались какими-то несерьезными.

— Вы не правы. Они выстоят. Тактика меня не касается, но руководители им доверяют.

— Вы совсем как Наиф Хаватме.

— Почему?

— Он любит эпитет «научный», научная тактика, научный социализм…

Он засмеялся. Но когда к нам подошел какой-то руководитель, быстро заговорил с ним по-араб-

ски. Тот несколько раз указал рукой на меня. Затем быстро отошел, не попрощавшись.

— Он хочет, чтобы я вам сказал, что он новый военный руководитель сектора. Вы уже два раза с ним столкнулись, не выказав почтительности.

— И что?

Махджуб улыбнулся.

— Он учился в военной академии в Санхерсте. И хотел бы, чтобы вы, даже вы, знали, кто главный военный начальник на этой территории. Ему известно, что у вас имеется подписанное Арафатом разрешение свободно передвигаться, так он хочет, что вы спрашивали согласие и у него тоже. Да ладно, не думайте о нем больше, делайте, как вам удобно. Фидаины потихоньку возвращаются к жизни, нагуливают жирок, снова начинают петь и насвистывать.

За два года во время наших многочисленных встреч Махджуб не раз выказывал растерянность, почтительную услужливость, осторожность и осмотрительность, если речь шла о дерзких замыслах, но когда своими длинными ногами он межевал территорию, устанавливая границы участков, всякий намек на женское начало казался кощунственным. Он был одним из самых любимых командиров. Если подумать, его наивные

суждения, свидетельствующие о традиционной морали, были решительны и категоричны, словно лезвие соломонова суд, разрезающее пополам младенца. Он входил, и все были им очарованы, он выходил, и все пребывали в смятении; от этого деликатного, с виду неуверенного в себе человека исходило ощущение безопасности. Христианские священники в Южной Америке, воспитанные согласно самой что ни на есть традиционной морали, живут в полном согласии с местными партизанами, и не будь Махджун мусульманином, он был бы одним из них.

Он нагромоздил ворох аргументов, убеждая меня, будто карточные игры источают благоухание притона, который втягивают носами старые рантье, пребывающие в домах или под навесами. Еще немного, и он смог бы меня убедить, что карточные игры вредят здоровью. Будучи врачом, он знал толк в гигиене.

Впрочем, однажды он стал меня уверять, будто все командиры играют в карты.

— И что?

— Я уже привык.

Возьмем первый образ: рука. Рука высоко поднята, сжатая ладонь обращена к небу, вот она переворачивается, и онемевшие пальцы, затек-

шие оттого, что долго были стиснуты в кулак, внезапно раскрываются, и рука напоминает теперь распластанную птицу, уносимую порывом ветра, из опрокинутой ладони на мраморный стол высыпаются игральные кости. В литературе вы найдете множество описаний орла, что парит над ничего не подозревающим ягненком, который спокойно щиплет травку; или же орел кружит над Дельфами, и из его клюва падает камень Омфал, отметив «пуп» земли, центр Вселенной; или в своих когтях орел переносит изумленного и слегка захмелевшего Ганимеда на Олимп и опускает на облачную перину. Описывая эти картины, я думаю о том, что последние из них замыслил Бог богов, рука играющего в кости взмывает очень высоко — как у пианиста, приступающего к сложному пассажу — и там, высоко, она зависает на мгновение, раскрывается и бросает на столик кафе жребий, кубики с числами на гранях. Упав, они издают ужасный шум, навязчивый, как барабанная дробь. Пальцы игрока слабеют и распластываются на столе, теперь заговорила судьба. Вероятно, карты исполняли роль игральных костей. Известно, как ловко играющие скрывают от соперника свои карты. «Бог не играет в кости со Вселенной», эта написанная

по-французски фраза ничего особенного не означает, ведь если Бог Есть, то, по определению, Бог Есть Во Всём, стало быть, в игре в кости, как и во всём прочем. Случай именуется Провиденьем. Когда Коран объявляет азартные игры греховными, запрет представляется паллиативом, временной мерой, отвлекающим маневром, дабы не дать игрокам задуматься над вопросом, который витает надо всем этим: если Бог определяет результат партии, значит, это он меня выбрал, а почему меня? Нетрудно понять, что это вызывало во мне тревогу. Или вместо Него свое слово сказал случай, то есть, случай оказался проворнее Бога? А может, Бог выбрал меня случайно?

О разыгрываемых суммах Махджуб не сказал ни слова, но, насколько мне известно, некоторые из них тридцатикратно превышали жалованье играющих. Хитрецы и пройдохи, не доверяющие его простодушному виду, при нем офицеры, вероятно, раскладывали не карты, а фасолины.

Он казался одновременно и чем-то встревоженным, и очень простодушным. Возможно, чтобы быть святым — святым этого места и этой эпохи — ему не хватало стигматов и Воскрешения? Но он еще не умер. Он живет в Каире.

У него отсутствовала вера, но он выказывал

восхищение, мирское и светское, красотой и добротой мира. Это простодушие не приносило ему счастья — так, по крайней мере, казалось — но давало ему право на переживания столь живые и непосредственные, что казались спонтанными.

— Посмотрите на эти почки, у них такой нежный желтый цвет. Какими здоровыми будут листья!

Но мне казалось, что подобными фразами он хотел сбить меня с толку, в ясный солнечный день вокруг него сгущался мрак.

Если порой дети невежественных крестьян пытаются скрыть свое происхождение изысканным лексиконом, точно также легкомысленность выдавала отпрысков богатых семейств, даже если те занимались революционной деятельностью.

Никто, казалось, не догадывался, как самые тривиальные политические интриги привели к этой разорительной роскоши, ведь благодаря золоту самые грубые манеры казались очаровательными. Погрузившись как можно дальше в глубину веков, мы может наблюдать всевозможные альянсы с крестоносцами, новых королей, младших отпрысков мелкопоместного дворянства, ставших бандитами с большой дороги, присвоение наследства, грабеж, узаконенный фальшивы-

ми восковыми печатями, позолоченными или цвета бычьей крови. А сами Крестоносцы? все эти суверенитеты, сюзеренитеты, уделы, браки с дочерьми потомков Пророка, наследия византийской роскоши, рабство при османах, я еще опускаю всякие, довольно значительные, подробности, опускаю, как бесконечно следовали один за другим низость и надменность, отвага и неизбежное пресмыкательство от Кловиса до Вейгана, от Пророка до Хусейна. Возраст, а главное, стабильность, с какой накапливались все социальные достижения в течение многих и многих веков, конечно же, добавили лоска этим Влиятельным Семействам и дети, верные славной традиции, продолжают заключать брачные союзы с феодальными семьями Ливана, Сирии, Иордании, Кувейта, до сих пор устраивая безумно дорогие бракосочетания. Какое из этих слов подходит им более всего: сожаление, раскаяние или покаяние, какое состояние длится дольше?

Эту книгу никогда не переведут на арабский, ее никогда не прочтут французы и вообще ни один европеец, так зачем же, зная это, я все-таки ее пишу, кому адресую?

Вот почему изящное сооружение XVIII века, дворец в Стамбуле, где есть все, от библиотеки

до сераля, держит закрытыми свои двери и окна, и высшие должностные лица всех стран, бывших некогда османской империей, настаивают, чтобы все входы и выходы оставались заперты. Документы, существующие на всех языках, не доступны никому. Но даже будучи под замком, они наводят страх на влиятельные греческие, иллирийские, болгарские, еврейские, сирийские, черногорские и даже французские семейства. На палестинские тоже. Выражение «над миром простиралась ночь» следует понимать так: каждая вещь в определенный момент оказалась настолько тесно соединена с другими, что на несколько мгновений я осознал, что вот это и есть так называемое единство мира; но почти сразу же почувствовал явственный разлом между вещами и живыми существами. По легкому щелчку пальцев, под утешительную, облегчающую страдания насмешку, османская империя просто растворилась. Все, что от нее осталось, этот еле слышный крик старой женщины, собирающей останки последнего султана Мехмеда IV, пронзительная жалоба этого фурункула — евнуха — утешающего Тень Бога на земле, халифа правоверных на палубе несущегося по волнам британского крейсера, возможно, этот крик был

моим собственным криком, который я и сам не слышал, но его слышали палестинцы, и им казалось, что он вырывается не только изо рта, но из всего моего существа во время моего годичного — и даже больше — пребывания на их земле. Держать библиотеку сераля запертой: если хотя бы ненамного приоткрыть архивы, Стамбул и всю Турцию окутает зловоние. В этих книгах, исписанных теми же буквами, что и предвечный Коран, заперты и находятся на вечном хранении коварство, разврат, доносы, проституция самых знатных османских семейств. Великий визирь обладал всемогуществом, плата за которое порой взималась обоими яичками, вот почему столько приказов отдавалось на ухо шепотом: это чтобы скрыть характерное, разоблачающее сопрано; вот почему даже в наши дни бас или баритон предпочитают другим тембрам голоса, они считаются более импозантными, внушительными, доказательством истинной мужественности; вот откуда и дерзость некоторых турецких чиновников, когда они обращаются по радио к доносчикам, которые находятся на содержании государства: «Дорогие агенты». В какой семье, и не только османской, среди предков нет одного, хотя бы одного-единственного евнуха, любовницы эмира

или султана? Но все закрыто на ключ и чуме не вырваться на свободу.

То, что целый народ считает преступным другой народ, некогда подвергавший его гонениям, это как раз понятно, но то, что гонимый народ всячески подчеркивает свое сходство с народом-гонителем, в этом я вижу некий вызов, немилосердный вызов остальному миру. А возможно, в этом есть доблесть, достичь которую так непросто, или же какое-то тайное знание, секретное слово, подсказанное природой, слишком милосердной на этот раз.

Итак, величественный вызов или малодушие?

Одна палестинка, похоже, с горечью, сказала мне прошлой ночью, что самые древние палестинские семейства, из тех, что имеют доказательства принадлежности к роду Пророка, сохраняют свое влияние в этой Революции.

Принадлежать к благородному палестинскому семейству, соперничающему с кланом Хусейни, одна из ветвей которого дала миру Ясира Арафата, это ведь тяжкий груз для потомков? Некоторые члены семьи Набили, которых извиняла лояльность к прямому потомку пророка (королю Хусейну), становились королевскими чиновниками. А она сама? Она была, без сомнения,

самой красивой девушкой королевства, это еще до открытой войны с Хусейном, когда военные базы фидаинов угрожали только Израилю. Это были откровенные забавы сильных мира сего, знатные семейства воевали друг против друга, ссорились или делили власть, а именно ресурсы страны, под равнодушным взглядом османов. Они еще могли позволить своим детям бунтовать, но только не против привилегий — должен заметить, что ни одно семейство *сеидов*, потомков Пророка, налогов не платило. Имелись еще богатые семейства плебейского происхождения, если у них были в наличии должности, земли, деньги (еще надо сказать, что ни один наследник не отказался от наследства, каким бы сомнительным ни было его происхождение, пусть даже оно получено в результате преступных деяний); потомки возмущались, когда *их* крестьяне, став воинами, погибали от рук чужих, евреев или бедуинов Хусейна. Но если говорить о чувствах этих потомков, следует отделять благородство, унаследованное от предков, от того, что появлялось на свет, когда в результате мятежей и восстаний рождалось новое дворянство, приобретенное военной службой. Волею обстоятельств, которые так часто насмехаются над человеком,

мне довелось встретить одного араба, не слишком богатого, но имеющего, тем не менее, в доме сторожа, так он укорял другого араба такими словами:

— Тебе не стыдно так разговаривать с моим сторожем? Я его хозяин. Если он тебе что-то сделал, я буду его ругать, а не ты. Ведь ты не его хозяин.

Знатные семейства бывали оскорблены, когда евреи ранили их крестьян, возможно, из чувства патриотизма, сострадания, или предвидя грядущие неприятности, но главным образом из-за того, что чужак осмелился коснуться их собственности.

Все эти семейства также, а порой и в большей степени, являлись потомками Мухаммеда, что было необходимым условием принадлежности к знати, и в Марокко мне довелось увидеть два генеалогических древа одного главы семьи. Одно из них восходило к Мохаммеду, чье имя в верхней части дворянской грамоты было выведено золотыми буквами или припудрено золотом, а другое к Ибрагиму, имя которого, написанное фиолетовыми чернилами, тоже было припудрено золотом; когда в Палестину вторглись жестокие крестоносцы, эти мусульманские семейства уже давно жили там. Для палестинской знати Лузи-

ньяны были жалкими бандитами из Пуату, а их женщины — шлюхами, ввязавшимися вслед за ними в эту авантюру; арабские принцессы сравнивали их с потаскухами из борделей, которые уезжают за принцами пустыни, спят вповалку в одной палатке, на золоченых поясах носят привязанные кастрюли, чашки, чайники.

Набиля не знала, кто такие Лузиньяны, и, конечно же, не знала о легенде, в которой повествуется о странном исчезновении под видом крылатого змея. Возможно, в «Химерах» говорится о жене Ги де Лузиньяна? Эта банда франков, ставшая королевской династией Иерусалима и Кипра, в течение двух столетий была связана корыстными и любовными интересами с мусульманской знатью и их дочерьми. В зависимости от того, были ли они блондинами или брюнетами, палестинцы уверяли с улыбкой, что ведут свое происхождение от Али, Фатимы, Фридриха II Гогенштауфена, Ги де Лузиньяна, и это так прекрасно вписывалось в легенду, то есть, в Историю, что было бы глупо от этого отказываться. В Палестине и в Ливане линии родов идут от нормандцев к сыновьям Саладина, перемешиваясь с еврейской и персидской кровью, и это продолжается непрерывно, безостановочно. Набиля родилась в мусульман-

ской семье. В июле 1984, оказавшись в Аммане, я не пошел к дому ее родителей в центре города, но надеюсь, что он стоит по-прежнему, старый, очень красивый, с большим садом. Именно там в сентябре 1970, я и познакомился с Набилей.

Она, работавшая врачом в вашингтонской клинике, услышав по американскому радио о резне, села в самолет, добралась до миссии Красного Креста и остается там по сию пору.

Приступая к этой части своей книги, я пытался узнать, удалось ли этим семьям уцелеть, находясь на важных должностях в палестинском сопротивлении. Вот что сказала мне Лейла, дочь мадам Шахид:

— Все эти главы общин уже не те, что прежде, никакого авторитета, никакого величия. Когда Арафат назначает кого-то на важный пост, он выбирает из знатных, даже знаменитых семейств, чтобы показать преемственность борьбы против захватчиков, это как преемственность истории, которая тоже, словно пунктирами, отмечена сражениями и подвигами знаменитых и старинных семейств. Ничего другого Арафат от них и не требует. Да он бы и не позволил им ничего другого.

Был такой номер в мюзик-холле, кажется, довольно известный: окутанная кринолином,

спускавшимся до самого пола, закрывающим лодыжки и даже ступни, танцовщица перемещалась из глубины сцены такими маленькими шажками, ни на миллиметр не приподнимая коленями юбку, что казалось, будто она скользит по гладкой, отполированной поверхности, зрители даже задавались вопросом, может, она катится на роликовых коньках, скрытых под длинной юбкой. Приблизившись к краю сцены под крики «браво», она улыбалась, кланялась, приподнимала юбку и в самом деле демонстрировала роликовые коньки, о наличии которых и так догадывались зрители, представляя их в воображении и опасаясь увидеть. Немецкое телевидение показало нам Миттерана на похоронах Садата: телохранители сжимали его так плотно четырьмя компактными группами, а сам он казался таким скованным и деревянным в своем футляре-кольчуге, что охранники словно не защищали его, а несли по воздуху, он перемещался, не шагая, будто на ногах его были роликовые коньки или доска на колесиках, и это была просто детская игра, в которую, наверное, президент Французской Республики тоже когда-то играл, но игра в каком-то смысле другого, более сложного уровня: не стремительные, беспорядочные, эле-

гантные — да, я должен написать это слово — движения мальчишек, а торжественная, нарочитая медлительность высшего должностного лица. На похоронах первого разряда можно увидеть порой лошадей, укутанных в черную, спадающую до земли ткань, тянущих ящик с королевскими останками. Похожий на уставшую кобылу, французский Президент на своих роликах переместился на крупный план. Но эта картинка карнавального шествия открывала мне доступ — причем, это я входил в нее, а не она в меня — к другой картинке: задрапированные люстрином полые цилиндры кукол-марионеток, куда вставляет руку кукловод, чтобы заставить двигаться воле эти маленькие существа на миниатюрной сцене, разговаривающие неестественными громоподобными голосами; президент показался мне такой куклой, чья нижняя часть — бесполая — была скрыта люстриновой оболочкой, а сам Миттеран, негнущийся, одеревенелый на голову возвышался над своими телохранителями или полицейскими, которые несли его; он, приводимый в движение охраной, из нее и добывал свою власть; наверное, грубые полицейские голоса перекрывала барабанная дробь, потому что я их не слышал, но сам этот образ президента

на роликах, направляемого полицией, больше, чем какая-нибудь теория, демонстрировал, что сила главенствует над правом, и зная это — ведь сам видел по телевизору — я успокоился. Сила предшествовала праву и осуществляла его благодаря задрапированному люстрином полому цилиндру. Мертвого Абу Омара, повешенного, расстрелянного или утонувшего, который все еще шевелится благодаря моей руке кукловода и говорит моим голосом, я заставляю произносить то, с чем он, вероятно, не согласился бы, но делаю это со спокойной совестью, зная прекрасно, что лицемерие читателя стоит моего. Через эти слова, которые я заставляю его говорить, Абу Омар *оживает*.

Дауд Талами работал в Центре палестинских исследований в Бейруте. Из его письма, присланного мне в Париж, я узнал, что в 1972 году Хамзу отправили в лагерь Зарка, должно быть, недалеко от того места, где, приземлились три самолета Швейцарских авиалиний. Он написал, что ему это стало известно со слов поэта Халеба Абу Халеба. После резни в Аджлуне и Ирбиде солдаты иорданской армии пытали Хамзу, требуя признаться, что он является командиром группы фидаинов. Все ноги его были изранены. Если са-

ми пытки представить невозможно, недоставало воображения, то о злобе и ненависти бедуинов, черкесов, порочности короля мне было хорошо известно со слов палестинцев.

Кем были эти тюремщики Хамзы? Каким пыткам они его подвергали? Я вспоминаю Хамзу и его семью, отношение между матерью и сыном, вполне вероятно, мною придуманные, и этого достаточно, чтобы оберегать и хранить эту сдвоенную жизнь, ставшую необходимой, как некий живой организм, чье разрушение и гибель я не могу допустить; я не был уверен до конца, что присутствие его во мне поддерживало мою верность сопротивлению, хотя и догадывался, что так оно и есть; бытие Хамзы и его матери — вернее, их связь мать-сын и сын-командир — проникнув в меня, зажило самостоятельной жизнью, став эдаким независимым органом-захватчиком, фибромой, пускающей все новые и новые побеги, оно казалось того же порядка, что животная и растительная жизнь тропиков; меня вовсе не пугало, что эта пара во мне проживала свою судьбу, ведь она символизировала сопротивление, во всяком случае, то, каким оно сформировалось в моих рассуждениях и мыслях о нем.

Символ, хотя и не знаю, чего именно, эта пара,

виденная мною в течение одного вечера и половины дня, сосредоточивала и концентрировала в себе, только в себе одной, все сопротивление, оставаясь при этом этой особой парой: Хамза-Его Мать. В тот самый момент, когда я читал письмо Дауда, оба компонента этой пары подвергались пыткам, каждый своим. Монархия укреплялась благодаря американскому вооружению, так что поддельные королевские короны, нависающие над улицами, проспектами и площадями Аммана, поначалу вырезанные из алюминиевых пластинок, таких тонких, что казались двухмерными, превращались теперь в посеребренный, иногда позолоченный металл и становились куполами, увенчанными пятиконечной звездой, а король, тонкий и плоский, как еще не исписанная страница, приобретал вес, плотность, третье, а возможно, и четвертое измерение, и превращался в страницу с письменами и смыслом.

Открытая мной скобка вскоре закроется. Модель поведения некоторых воинов-палестинцев порой напоминает материнскую. Один командир, в подчинении у которого было два десятка фидаинов, ложился спать последним, проверив, розданы ли одеяла, тепло ли будет солдатам ночью; другой переходил от группы к группе

до самого Иордана, раздавал фидаинам письма. Это, действительно, материнские — не женские — поступки, когда своих солдат с едва пробивающимся пушком над губами, еще не усы, а просто щепотка мягких волосинок между ртом и носом, командиры считают любимыми сыновьями, а не подчиненными, как представляется Западу. Назвать мать мужественной можно было бы по смыслу ее поступков. Хамза был ею воспитан, можно допустить, что мужчина, и только мужчина знает, что подходит именно мужчине; а женщины в лагерях являли столь сильные качества полководца, что этому слову следовало бы обзавестись женским родом. Когда американская мужественная (имеется в виду половая принадлежность) молодежь бомбила Ханой и Северный Вьетнам, женское воображение не желало представить самое страшное. Слишком много нежности или слишком выраженная нежность, казалось, свидетельствовали о почти любовном союзе между двумя юнцами в этих запретных для женщин горах, и что в том странного, если лишенная растительности кожа вздрагивала от прикосновения кожи шероховатой и щетинистой, когда на севере и на юге само пространство щетинилось стальной арматурой,

колючками и заграждениями, готовыми выстрелить пушками. Уж поверьте, здесь подстерегала смерть, это была единственная инстанция, отменяющая все остальные. Какой вынести приговор внезапно вспыхнувшему желанию, которое принимали, как принимают соборование? Что произошло в Зарка? Как там живет Хамза, если он еще там живет? Даже если ты готов вообразить самые страшные пытки, одного лишь воображения недостаточно, чтобы представить шабаш истязателей и истязаемых. А эти пыточные инструменты с их изысканной формой, какую роль играют они в этом действе унижения тела и духа, когда и то, и другое терзают, раздирая на части, до предела, до чувственного наслаждения? А человеческий разум, сам, один, способен изобрести формы? Нам кажется, мы интуитивно понимает, где в освободительных войнах наслаждение, зачастую сексуальное наслаждение, а где обнаженное страдание. Подозрения есть, но точно ничего не известно, бывает, что и ошибаешься. Говорить ничего не надо, ведь мы ничего не знаем об их тесной связи, их сообщничестве: палачей, порой слишком нежных, и подвергаемых пыткам жертв, чьи стоны и жалобы зачастую искусно пропеты.

В восьмидесятые годы в Европе резко увеличилось количество телевизионной рекламы, и, не решаясь в открытую насмехаться над Востоком и арабским миром, создатели этих картинок иронизировали над исламскими, персидскими или египетскими легендами; вот, к примеру: идет по пустыне караван четырех- или пятигорбых верблюдов, когда верблюд испражняется, один из горбов исчезает, а испражняется он гигантской пачкой «Кэмела»; а еще четыре шейха взлетали на четырех коврах, торопясь на погребение, это была бешеная погоня над городами и минаретами, а самый неумелый и неловкий шейх выигрывал в лотерею ковер, на котором прилетел. Левитация, которую так несложно изобразить в кино, может быть забавной и издевательской, видя ее по телевизору, я был слишком взволнован, чтобы пытаться отыскать причину этого волнения. А что если все сказочные фантазии были проекцией — это слово здесь необходимо — того, что мы не осмеливаемся увидеть в самих себе? Больше всего меня смущала эта мощь пары мать-Хамза, созвучной в моем представлении паре Пьета-Распятый. Это беспокойство, этот восхитительный прорыв флегмоны подвигнули меня совершить последнее путешествие Париж-Амман, я полагал,

что это путешествие в пустыню, то есть, пустынное пространство, лишенное всякой жизни, бесконечное, порождающее миражи и видения, от джиннов до Отца Шарля де Фуко, иссушающее глотки и дух, а еще это последнее путешествие я предпринял, чтобы повиноваться реальности, которая, как мне представлялась, существовала вне меня, а сам я находился во власти давнего, еще детского сновидения, преследовавшего меня с пятилетнего возраста; если только мне не захотелось, с приближением смерти, написать последнюю книгу о путешествии. Первое путешествие, в отличие от этого, я совершил, унесенный лучами взглядов двух фидаинов, которые стучали по крышкам деревянных еловых гробов, приготовленных для двух новых покойников; лучи уносили меня, а я продолжал путешествие, фидаины, бредущие в направлении черной ямы, сменяли друг друга до полного моего — не их — изнеможения, а я, как те самые шейхи, парил на ковре-самолете, меня уносили их взгляды, их ноги, их лица. Как тот, присевший на корточки шейх, я, в конце концов, выбился из сил, и сегодня спрашиваю себя о том своем первом пребывании в Палестине: может, мне только показалось, что я путешествовал, а на самом деле, я не продвинулся

ни на миллиметр? Потому что мне кажется, будто во время первого моего путешествия из Парижа в Бейрут не произошло ничего удивительного или неожиданного, кроме, разве что, того едва ощутимого удивления, когда Махмуд Хамшари проводил меня в Даръа. Я почувствовал раздражение, когда молодой львенок принял меня почти торжественно — стойка смирно, приветствие на английском, горизонтально вытянутая ладонь на уровне бровей — демонстрируя первый памятник жертвам в еще никому не известном лагере Шатилы; тогда никто не ожидал, что сегодня они будут соперничать славой с Орадуром: какая из двух деревень более знаменита? Но всё мое пребывание там длиною более полутора лет было, если можно так выразиться, освещено лучами, струящимися из глаз тех двух фидаинов, что выстукивали всё новые ритмы по крышкам гробов; в течение всего этого путешествия каждый раз, когда меня одолевала усталость, какой-нибудь двадцатилетний фидаин начинал развешивать белье, выслушивал меня, и я слушал его всю ночь, он возвышался надо мной, как минарет, улыбался, когда мы ели сардины из одной банки, и из глаз его тоже струились лучи, как и у тех двух фидаинов, стучавших по крышкам гробов в

Даръа; эти лучи, а вовсе не самолеты, переносили меня, и возможно, я и счастлив-то был именно от того, что меня перенесли в казарму?

Пестрая бахрома: молодые чернокожие всех оттенков спектра — от бунтарей до обывателей. Их много и они чрезмерны во всех своих проявлениях: длинные волосы, бархатные штаны всевозможных цветов, малиновые, светло-сиреневые, лиловые, вишневые; кожаные сапоги с позолотой, усы и бороды, дикая — а на самом деле тщательно ухоженная — растительность усов и бород, усыпанные блестками кофты, шелковая кепка, из-под которой выбивались две-три пряди, нарочито четко проступающие формы члена в промежности, насмешливые слова и фразы, призванные ослепить белых и оскорбить их, они сами были пестрой бахромой Пантер, у которых позаимствовали дерзость и манеру выражаться, но не было у них ни мужества, ни истинной суровой преданности чернокожему народу. Между моими первоначальными представлениями о Пантерах, основанными лишь на информации из прессы, и в которые я впоследствии внес некоторые коррективы, и реальностью, существовала такая огромная разница, что я довольно быстро осознал: эти юные сполохи были всего

лишь бахромой. Я научился находить различие между Пантерами и этими хвастунами: последние в течение рабочего дня были конторскими служащими, а по его окончанию становились шутами. Однако если бы кто-нибудь из них случайно или, напротив, из юношеской бравады, оказался в «белом» квартале и увидел бы, как от смоковницы на площади отделяются несколько силуэтов, его разум, ноги, все его тело охватил бы ужас, который можно было бы описать одной фразой Дэвида: «Слишком много деревьев". Хотя до Пантер им было далеко, мне еще дальше, потому что они были одержимы навязчивыми идеями и фантазмами, которые я познаю лишь в их ироничной интерпретации.

Будь Пантеры всего лишь бандой молодых чернокожих, присваивающих собственность белых, ворами, которые мечтают «только» об автомобилях, женщинах, барах, наркотиках, стремился бы я быть с ними? Читая Маркса, задумываясь о свободном предпринимательстве, они так и не избавились от жажды исключительности, — а-социальные, а-политичные, но такие искренние в своих покушениях и искушениях создать общество, идеализм и реальность которого они предвидели без особой радости, их терзали эти са-

мые частички «а-», живя рядом с ними, я замечал, как мне казалось, некое тревожное напряжение: и неприятие всякой маргинальности, и властный призыв к ней, к ее исступлению и неистовству.

Революционеры рискуют затеряться в таком множестве зеркал. Бывают, однако, моменты губительные, разрушительные, еще чуть-чуть — и фашизм, они внезапно подступают, затем отступают, потом возвращаются вновь, обрушиваясь с каким-то невиданным прежде остервенением. Они не то, чтобы предшественники, они предвестники, а сами чернокожие подростки оказываются во власти даже не идей, а безумной сексуальности. А может, и не столько сексуальности, сколько мыслей о смерти, которые как раз и прорываются через эти грабежи и насилие. Настоящие Черные Пантеры в какой-то момент стали такими же. Насилие там было именно насилием, в самом первоначальном значении этого слова, и все-таки, как реакция на жестокость белых, она приобретала еще и другой смысл. Проявления насилия: дерзкая демонстрация оружия, убийства копов, ограбления банков, Пантеры вынуждены были явить себя миру через проломы и бреши, через кровь. Они пришли в мир, вызывая ужас и восхищение. Еще в начале семидесятых отряд Пантер

был напряженным и крепким, как мужской член — коррекции они предпочитали эрекцию. Если эти сексуальные образы возвращаются, значит, они снова настоятельно необходимы, и главная функция их организации — эректильная — представляется достаточно очевидной. И дело не в том, что она состояла в основном из людей молодых, с хорошей потенцией, готовых изливать семя днем и ночью, а скорее, в том, что даже если сами идеи казались умозрительными, все равно это было, по сути, изнасилованием старой, вылинявшей, обесцвеченной, но еще такой вязкой викторианской морали, которая здесь, в Америке, являлась — со столетним опозданием — проекцией морали, зародившейся в Англии, в Лондоне, в Сент-Джеймсском Дворце. В каком-то смысле сама Организация была Джеком-Потрошителем.

Нет? Нет, потому что этот союз оплодотворял. Каждое их высказывание вызывало взрыв смеха. Черный прекрасен, потому что несет свободу. Даже если акции Пантер происходили днем, над ними сиял ореол сумерек.

Но было еще вот что: их появление в гетто несло свет, рассеивающий наркотическую одурь. Когда черные наотмашь хлестали белых ругательствами и оскорблениями, на их лицах появлялись

улыбки, хоть на несколько секунд позволяющие забыть «ломку».

Они засмеются, когда я скажу Дэвиду, который непременно хотел, чтобы мне, слегшему с гриппом, вызвали доктора:

— Ты для меня как мать.

Они станут забавляться, нарочно путая пол, застав грамматику на месте преступления, вменив ей сексизм, но заботились о том, чтобы в штанах рельефно выделялись пенис и яйца.

Эта нарочитая, подчеркнутая рельефность была своего рода выражением власти. Естественная — а по мнению белых чрезмерная — мужественность черных казалась эксгибиционизмом, который был откликом на другой эксгибиционизм: когда на вечеринках в честь Пантер демонстрировались белые груди. Период стыдливости, скорее викторианской, нежели социалистической, был благополучно преодолен. Даже знаменитая теория, взывающая к временам эротическим, порнографическим, похабным, допускающая самые нелепые соития, чреватые рождением протуберанцев, оставалась целомудренной, поскольку вписывалась в стереотипы и использовалась против демона: Никсона или белого империализма. Могло ли выражение

«похотливая гадюка», то есть, половой член, служить для классификации какому-нибудь зоологу? Наконец, брюки были скроены по почти флорентийской моде, а доктрину стали излагать хвастливым тоном. Можно предположить, впрочем, это само собой разумеется, от углубленной гравюры на металле чернокожие перешли к трехмерной скульптуре.

С Дэвидом Хиллиардом я познакомился после студенческой конференции в университете Коннектикута. Тогда чернокожие студенты пригласили нас к себе в кампус. Я пришел сразу после Дэвида. Он уже сидел среди черных юношей и девушек и разговаривал с ними. Меня поразил этот немой вопрос на всех черных лицах. Лицах чернокожих молодых людей из буржуазных семей, которые внимательно слушали бывшего дальнобойщика, чуть старше их по возрасту. Патриарх, который разговаривал со своими потомками и объяснял им причины борьбы и смысл тактики. Это были взаимоотношения, основанные на политике, и все-таки не один лишь политический интерес подпитывал эту связь, была в ней некая эротическая составляющая, тонкая и в то же время очень крепкая. Настолько крепкая, настолько очевидная, хотя и не бросающаяся в глаза, что я

не испытывал желания к кому-то одному: я чувствовал влечение ко всей группе в целом, и сам факт существования этой группы подпитывал мое влечение.

Что вообще означало мое — белое — присутствие среди них? И вот еще: в течение двух месяцев я был как будто сыном Дэвида. Мой отец был черным и к тому же на тридцать лет младше меня. Мое абсолютное незнание американских проблем, а возможно, слабость и простодушие заставляли меня искать в Дэвиде некий ориентир, но сам он вел себя по отношению ко мне очень тактично, словно эта слабость делала меня особо дорогим и близким его сердцу.

Если трудно говорить о физической привлекательности и эротизме группы революционеров, еще труднее выразить гадливость и физическое отвращение, которые испытываешь по отношению к юношам или девушкам, лишенным изящества и обаяния. Такое существует и порой это совершенно невыносимо. У фидаинов такое отвращение вызывал у меня Аднан (его убили израильтяне). А его, наверное, отталкивал мой гомосексуализм.

Вероятно, сексуальность, еще до того, как ее осознают, самый распространенный феномен в

живой природе. Наверное, следует еще доказать, что это непосредственная, а возможно, и единственная причина, заставляющая стремиться к власти и могуществу, но демонстрирование могущества, пусть неосознанное, встречается даже в растительном мире. Есть еще одна, возможно, не столь универсальная функция: более или менее осознанная потребность каждого мужчины явить образ себя, передать его, продлить как можно надольше, и после смерти тоже, так, чтобы он, этот образ, являл могущество, излучал сияние мягкое, мощное и нежное: образ, отделенный от самого мужчины, от группы людей, от деяния, чтобы нельзя было сказать, будто он один из. Перед нами единственный экземпляр, он беспримерный, потому что не может служить никому примером, он образ, а не образец. Что-то вроде ироничного предписания: «Что бы вы ни делали, вы не разрушите моей единичности, моей исключительности». Эта функция настолько распространена и, возможно, настолько связана со смертью, что хотела бы осуществиться, реализовать себя при жизни того, кто ее жаждет: жаждет, поскольку застыл в образе себя самого, но и отвергает ее, желая заполучить этот образ при жизни. Молодой человек, которого фотогра-

фируют, приводит в порядок одежду, в порядок или в беспорядок, во всяком случае, как-то поправляет ее, принимает какую-то позу, возможно, эта картинка станет для него последней.

Дело здесь не в паре забавных историй, впору говорить о распространении одного или тысячи образов, об их функции и свойствах. Мифомания, грезы, мания величия — все эти слова используют, когда человеку не удается явить образ самого себя, образ, которому следовало бы жить собственной жизнью, подпитываться деяниями человека при его жизни и чудесами — или знамениями — после его смерти, но невозможно объяснить социальную функцию этих образов, попытки сформировать образы, так, чтобы они стали исключительными, то есть, единственными в своем роде, обособленными один от другого и, в то же самое время, существующими в согласии друг с другом, поскольку все вместе создают память и историю. Вероятно, нет человека, который не желал бы стать легендой в том или ином масштабе. Стать героем, давшим свое имя месту или событию, оставившим свой след, то есть, исключительным, незаурядным, по-настоящему могущественным, и его могущество не во власти, а в силе убеждения.

От Древней Греции до Черных Пантер история основана на потребности отделить от себя — если угодно, отослать в будущее — легендарные образы, способные воздействовать долго, очень долго, даже после смерти: эллинизм обретет истинную мощь лишь после гибели Афин, Христос осыпает бранью Петра, который хотел бы — кажется, хотел — помешать ему воплотить свой образ, и с самого начала жизни в обществе Христос делает все возможное, чтобы его заметили, выделили из всех прочих; Сен-Жюст, осужденный Фукье-Тревилем, мог бы бежать, но… «Я презираю прах, из которого состою и который говорит с вами. Его можно преследовать, его можно убить, но никому не вырвать у меня той независимой жизни, что дана мне в веках и на небесах…»

Когда человек формирует свой образ, который хочет оставить, которым хочет подменить себя, он ищет, ошибается, делает наброски, чертит каких-то нежизнеспособных монстров, эти образы ему следовало бы уничтожить, если бы они не разрушились сами собой: в конечном итоге тот образ, что останется после его смерти, должен быть действенным — образ Сократа, Христа, Саладина, Сен-Жюста… Тем, кого я называю, удалась дерзкая попытка спроецировать в окружающий

мир и в будущее образ — причем, неважно, соответствующий им или нет, ведь они сумели оторвать от себя этот четкий образ — единственный в своем роде, действенный не потому, что станет источником для подражания, а потому, что станет источником деяний, направленных против него, хотя кажется, будто они совершаются для него и во имя его, но главным образом, потому, что это единственное послание из прошлого, которое удалось переправить в наше настоящее. Всевозможные интерпретации историков ничего здесь не изменят: образы они захотят подменить другими, так называемыми архетипическими образами. Более подлинными? Ни более подлинными, ни менее подлинными они не станут, потому что пришли из прошлого. Одинокого легендарного героя, чей образ — истинный или нет — дошел до нас и нас завораживает, историки захотят уничтожить, устранить и подменить его разного рода толкованиями, фактами, которые мы сможем воспринять и усвоить, если это будет просто, понятно, легко постижимо.

Возможно, театр в своей нынешней, мирской, форме исчезнет — он уже в опасности — театральность неизменна, если это потребность предлагать не знаки, а полноценные, емкие обра-

зы, скрывающие реальность, которая, возможно, не что иное, как отсутствие бытия. Пустота. Чтобы воплотить свой окончательный, не подлежащий дальнейшей корректировке образ, который он хочет направить в будущее, столь же призрачное, как и его настоящее, любой человек способен на окончательные, не подлежащие дальнейшей корректировке поступки, которые опрокинут его в небытие.

Феррадж по всем своим параметрам соответствовал понятиям идеальный мужчина и идеальный воин. Когда мы с ним познакомились, ему было двадцать три. Его тело, лицо и живой ум пленили меня с первой ночи, что я провел среди фидаинов до самого рассвета, и только для того, чтобы увидеть его вновь, я вернулся туда, к стоянке под деревьями. Он выходил из укрытия вместе с другим фидаином, еще моложе, чем он сам. Смутившись при виде меня, он понял, что его выдали два жеста, скрыть которые он не мог: он подтягивал брюки и одергивал свитер, на первый взгляд, в этих жестах не было ничего особенного: просто поправить одежду, но их лица были весьма красноречивы, раскрасневшееся лицо Феррайи и лицо того, другого фидаина, тоже покрасневшее, но торжествующее. Что обрушилось

на Феррайя, этого благодарного и благодушного воина, обрушилось стремительно, как ястреб, превратив его в одно желание к этому мальчику? И где была здесь порочность? В самом Феррадже, в затаенном взгляде мальчишки на небо, в котором взметалось и кружилось готовое обрушиться желание? Или во мне, который все это видел или, может, мне показалось, что видел?

Какова была моя роль здесь, под этими золотистыми листьями?

Вот она, моя единственная и очень важная миссия: я был поводом собраться вечером фидаинам, усталым, но веселым. Кажется, первая встреча, была организована Ферраджем, которому я пожаловался, что седые волосы колют мне шею.

— Раз уж фидаин умеет делать все, садись сюда на камень, я превращу тебя в хиппи.

Он сказал это одной изящной фразой, в которой два французских слова: «садись» и «камень» перемежались словами на английском и на литературном арабском.

И мы сразу оказались с ним центром притяжения группы из десятка фидаинов. Они курили свои всегдашние сигареты светлого табака и не отрывали взгляда от пальцев Феррадж в колечках ножниц, которые порхали вокруг моей головы.

Работа явно производила на них впечатление. Я спросил у Феррайя, составив фразу в той же манере:

— А почему ты сказал, что превратишь меня в хиппи?

— Да потому что раз в месяц волосы падают тебе на плечи.

Все засмеялись. В самом деле, мои плечи и даже колени были усыпаны седыми прядями. Первые звезды, поначалу робкие, целыми охапками вспыхивали на сиреневатом небе, и все вокруг было таким красивым, что не находилось слов, чтобы описать это. А Иордания это ведь Ближний Восток! Пряди моих волос падали на ботинки.

Если вернуться к отношениям Хамзы и Его Матери: они являли собой некую неразрывность двух существ? он и она подчинялись общему закону всех палестинцев или же любимый сын и мать-вдова являются одним целым? Теперь, выносив в себе и вскормив эту пару, я не могу прогнать мысль об инцесте.

Искалеченные, погибшие палестинцы и фидаины были не самой главной причиной моей ненависти к Хусейну, черкесам и бедуинам. Мне было достаточно почерневших от пыток ног Хамзы, ран на его ногах, которых я никогда не видел,

при этом я понимал, что эти ноги принадлежат не мне, а палестинской общине.

Всегда наступает момент, когда понимаешь: пора, но пока еще не пришло время спрашивать себя о существовании в этом мире палестинского сопротивления и его отклика в моей душе, об этих революциях, коих все мы являемся зрителями, утонувшими по уши в бархатном кресле театральной ложи. И как наблюдать, кроме как из ложи, за этими революциями, если они, прежде всего — войны за освобождение? От кого мы будем освобождаться?

Махджуб всё рассказал мне о восьмилетней девочке, в которую он был влюблен? Кажется, он говорил мне о муслине, о материи и цвете платьев, из-под которых выглядывали только пальцы ног. Что стало с ней? Он вспоминал о ребенке. Она умерла? Он жил с мертвой, пряча труп? Следовать за Махджубом, возможно, означало следовать за похоронной процессией. Маленькая возлюбленная была холодна, но это все-таки была женщина? Он говорил мне об этом метафорически?

Если сейчас Тель-Заатар, «холм тимьяна», похож на луг, на котором могли бы пастись нормандские молочные коровы, когда-то это был

самый многонаселенный палестинский лагерь в Бейруте. Там жил Али с другими членами ФАТХа. Он никогда не летал на самолете. Когда случались авиакатастрофы, он пел, смеялся и танцевал.

Вот территория, и ее экспроприация-депривация вызывает страх. Вся Палестина и каждый палестинец чувствовали, как «бездна разверзлась под ногами». Надо было вновь обретать нацию и здоровье.

— Ты отправляешься через час?

— Да.

— На самолете?

— Да.

— А если твой самолет упадет?

В газетах часто писали о самолетах, разбившихся о горы, упавших в море, исчезнувших на Северном полюсе, когда раненые пассажиры ели мертвецов. Али было двадцать лет и он говорил по-французски.

— Не будем сейчас об этом. Если авария неизбежна…

— Но нам нужны твои кости.

Никто не знал заранее, где будет хоронить своих мертвых, потому что в Палестине кладбищ не хватало так же, как и пахотных земель.

— Как тебя зовут?

— Али.

— Нет. Имя, которое дал тебе дед?

Сегодня один из командиров ФАТХа сказал мне:

— Али похоронен с другими убитыми в Тель-Заатаре. Отдельных могил мало. Там мы хоронили целыми казармами. Солдат не имеет права одному занимать целую могилу, даже если она вырыта совсем неглубоко. Мы утаптывали мертвых, чтобы их поместилось четверо, и все головой к Мекке. Но почему ты меня об этом спрашиваешь? Траур по одному? Зачем говорить о нем в твоей книге? Ты часто виделся с ним?

— Три раза.

— И только. Ты не можешь носить траур по одному-единственному фидаину. Я принесу тебе книгу записей, там тысячи имен, тебе придется заказать несколько километров крепа.

Палестина это уже была не территория, а возраст, потому что юность и Палестина — синонимы.

Али в 1970:

— Почему ты соглашаешься со мной разговаривать? Обычно пожилые — ты уж меня прости — разговаривают только друг с другом. А нам отдают приказы. Они знают такие вещи, которые

молодые начинают понимать, только когда у них разыграется ревматизм. Раньше, когда старики становились мудрыми, они надевали чалму, ее нужно было заслужить. Посмотри хорошенько вокруг.

— Командиры не расспрашивают тебя?

— Никогда. Они все знают. Всегда.

Согласиться на территорию, пусть самую крошечную, где палестинцы имели бы свое правительство, столицу, свои мечети, церкви, кладбища, мэрии, памятники мученикам-борцам за свободу, ипподромы, аэродромы, где подразделение солдат дважды в день демонстрировало бы главам иностранных государств различные виды оружия, — это было святотатством столь серьезным, что даже думать об этом было смертным грехом, предательством дела революции. Али, а все фидаины были похожи на него, мог принять лишь революцию грандиозную, подобную сполоху фейерверка, пожару, перескакивающему с банка на банк, с театра на театр, с тюрьмы на дворец правосудия, и оставляющему целыми и невредимыми лишь нефтяные скважины, принадлежащие арабскому народу.

— Тебе шестьдесят лет, ты не совсем сгорбленный старик, просто уже слабый. Каждый

мусульманин должен затаить дыхание перед стариком и обуздать силу. Здесь никто не осмелится тебя прикончить. Мне двадцать, я могу убивать и меня могут убить. Если бы тебе сейчас было двадцать, ты бы тоже был с нами. Физически с нами. Может, с автоматом? Хочешь знать, убивал ли я? Я и сам не знаю, но я прицеливался и стрелял, я хотел убить. Ты слабый и не можешь прицелиться, потому что зрение плохое, но если у тебя достаточно сил, чтобы нажать на курок, ты сделаешь это? Ты пришел сюда, но у тебя есть защита — возраст, ты мог бы отказаться от такой защиты?

Вряд ли мой ответ представлял какой-то интерес, пришлось промолчать. Годы и немощь стали моим иммунитетом, о чем мне и напомнил Али.

— Я говорю тебе это, потому что знаю: я готов принять смерть не ради молодых, а ради страдающих ревматизмом стариков. Или ради трехмесячных младенцев, которые и не узнают ничего ни о моей жизни, ни о моей смерти.

Передавая слова погибшего молодого человека — если он умер в Тель-Заатаре, значит, это было в 1976, выходит, ему было двадцать шесть — теперь, когда кости его и плоть давно уже сгнили, перемешавшись с останками еще по крайней

мере троих фидаинов, я не чувствую никакого волнения. Али уже даже не голос, вернее, это очень слабый голос, уже почти не слышный за моим.

— В Тель-Заатаре начальники — он так и сказал: «начальники», а не командиры — всегда разговаривают друг с другом очень тихо, а с нами очень громко, как будто мы не способны их понять. Они любят говорить о высоких материях, очень часто о Спинозе, несмотря на его происхождение. А еще о Ленине. И о законах Хаммурапи. Мы, простые фидаины, молчим, чтобы расслышать приказы начальников: приготовить чай с мятой или кофе по-турецки.

— Что ты сделаешь с моими костями? Куда их бросишь? Ведь у вас нет кладбища.

— Очистить их от мыса и хрящей будет просто, ведь у тебя нет ни жира, ни мышц, потом разложим в пакеты, унесем в сумках и бросим в Иордан (невесело смеется).

Снова улыбается, и с улыбкой шутит, мы оба ценим эту шутку:

— А когда война закончится, может, получится выловить их в Мертвом море, хотя вряд ли.

Мне было запрещено любить Али. Красота его

тела, его лица, его кожи волновали меня, но что делать с идеологией, товарищ?

Он знал, что я люблю его, но с его стороны не чувствовалось никакого пренебрежения или высокомерия; подчеркнутая доброжелательность, никакого притворства. Между тем он знал, что я люблю молодых людей.

Однажды ночью, когда я спал в палатке, меня разбудили громкие голоса и смех: фидаины жадно ели, пили и курили, шел рамадан, днем им приходилось поститься. Мне тоже захотелось пить и курить. Увидев меня, такого сонного, Абу Хасан рассмеялся и задал мне вопрос, который и вызвал такое оживление.

— Что говорят в Париже о сексуальной свободе?

— Не знаю.

— А Брижит Бардо?

— Я не знаю.

Наверное, я зевал, когда говорил это.

— А сам что ты об этом думаешь?

— Я педераст.

Он перевел. Все засмеялись. Абу Хасан невозмутимо сказал мне:

— Значит, для тебя проблем нет.

Я уснул опять. Этот вопрос занимал солдат

недолго, с минуты на минуту ждали, кого назначат идти к Иордану. Я был влюблен в Али? В Ферраджа? Не знаю, у меня не было времени помечтать о них. А фидаин, который находился здесь, рядом, заслонял тень того, кто уже ушел.

Любой парикмахер знает, что такое вихор: непокорная прядь волос, которая торчит, не поддаваясь расческе. Представьте себе шевелюру, целиком состоящую из таких вихров, непокорных прядей, а внизу борода, тоже сплошные вихры, не вьются, не курчавятся, просто торчат в разные стороны. Это уже весело, а если добавить еще проборы, проведенные как попало, в разные стороны, вы увидите смеющуюся физиономию человека, уверенного, что это Бог таким его создал, то есть, по своему подобию, и, чтобы почтить Бога, нужно смеяться. Когда видишь подобное существо, обросшее волосами, на память приходит человекообразная обезьяна. Манерами он напоминал благовоспитанную англичанку, особенно, когда ел, разумеется, руками. Иногда подстригал усы, которые завивались так, что едва не лезли в рот, но он не был готов избавиться ни от единого волоска в бровях, шевелюре или бороде; процедура по легкому прореживанию усов таила еще одну неожиданность: его улыбка.

Из этих смеющихся зарослей показывались то черные глаза, серьезные, но вдруг вспыхнувшие неожиданным весельем, то розовые губы, растянутые в улыбке, обнажившей зубы или язык, который пытался за ними спрятаться, а вот каким было его тело, это оставалось тайной. Бог, создавший столько мужчин, должно быть, очень веселился, сотворив этот экземпляр с гладким, совершенно лишенным растительности торсом. Я думаю, никто не догадывался, каким он был под одеждой.

— Кто этот боец, который ест и наблюдает за мной?

Я сидел за одним столом с фидаинами, на нем были расставлены огромные блюда и все в них копались.

Едва я задал свой вопрос, перед глазами поплыли воспоминания: эта шевелюра и всклокоченная черная борода так близко от моего лица. Меня сжимают руки, это мусульманин-сириец обнимает меня в палатке и говорит со мной на теологические темы. Он рассказал мне, как бежал из Аджлуна в Ирбид, а вслед стреляли из пулемета, не попали ни разу. Мы разделили с ним обед: курицу и фрукты. Потом он уехал.

Огонь пришел с неба.

В разделенном надвое Бейруте каждая половина функционировала сообразно своим законам: одна отчаянно хотела есть, другая трясла животами и ягодицами на вощеном паркете. Эти обе половинки соединялись в не-знаю-каком месте, образуя единый Бейрут, но это было где-то вне; органическая связь между бидонвилем и дворцом просматривалась весьма явно: осведомители и шлюхи. Поскольку это соседство, нищета и бабло, было само собой разумеющимся, боги оставались довольны. Никто никого не забывал, и дворец не забудет трущобу, и наоборот. Счастья не было ни там, ни там, только оргазм, этот надрыв, который возникал при виде золотого слитка или несчастья других. Кто может еще удивляться, что хрупкая рыба-пилот управляет акулой, что птица, вцепившаяся в холку буйвола, избавляет его от клещей, что в брюхе у щуки сидит другая щука, чуть поменьше, а в ней другая, и так далее, все меньше и меньше размером, и это не голод, не обжорство, это отнюдь не жестокость, просто робкие попытки приблизиться. Возможно, эту очевидность и обнаружил Абу Омар, а обнаружив, хохотал во все горло, чтобы скрыть слезы и приступ тошноты, когда какой-то фидаин рассказывал ему, как со ступеньки на ступеньку,

подпрыгивая, катилась по лестнице отрезанная голова с открытыми глазами. Неужели Абу Омар полагал, будто в революцию вступают, как въезжают верхом на лошади в золоченый кованый портал, ведущий в богатое поместье?

Однажды в Петре на улице, в огромной анфиладе высеченных в базальте римских портиков, я увидел двух всадников, жениха и невесту или совсем недавних новобрачных. Меня они не заметили, я был для них старик на изможденной кляче, и постепенно их идиллия заслонила собой эти скалы, тысячелетние скульптуры, весь этот сброд Бейрута, революции. Когда тень и свет помедлили на мгновение, прежде чем соединиться, застыв неподвижно на прямой и в то же время изогнутой линии горизонта, этой сумеречной линии, подобной поцелую в опущенные веки, молодой человек и американка слезли с лошади. Должно быть, я испытал то, что чувствовали палестинцы, когда в 1910 году услышали первых венгров и поляков, потому что надписи на указательных столбах между Бейрутом и Баабдой были на древнееврейском.

Местному наречию должна была бы соответствовать какая-нибудь нитеобразная арабская письменность с ее петельками и узелками.

«Запасные детали» — такое выражение использовали ливанцы для обозначения древнееврейских букв. Когда я ехал из Дамаска в Бейрут, указатели на перекрестках дорог причиняли такую же боль, как готические буквы в оккупированном немецкой армией Париже. Дорожные надписи, вызывающие воспоминания о Розеттском камне, тоже были выполнены на трех языках, но на английском, арабском, идише. Символами были обозначены: право, лево, центр города, вокзал, север, штаб. Буквы почти не прочитывались. Нарисованные, а не написанные, даже нет, не так: вырезанные, а не нарисованные, эти древнееврейские буквы вызывали дискомфорт, какой, например, вы бы почувствовали, увидев мирное стадо динозавров. Мало того, что эта письменность принадлежала врагу, она, помимо всего прочего, походила на вооруженного часового, угрожающего ливанскому народу; помню, в детстве мне приходилось видеть эти буквы, хотя я и не знал их смысла, они были вырезаны на двух продолговатых камнях, прижимались одна к другой краями и назывались скрижалями закона. Вырезанные буквы, чьи углубления и выпуклости были подчеркнуты светом и тенью, казались рельефными. Квадратные, с прямыми углами,

они читались справа налево и вытягивались в горизонтальную прерывистую линию. Одна или две буквы были увенчаны завитком, похожим на хохолок венценосного журавля; три тонких пестика с тремя рыльцами наверху словно поджидали пчел, готовых припудрить этот мир многотысячелетней пыльцой, а эти завитки над буквой, которая произносится похоже на французскую «ш», не добавляли легкомысленности ни словам, ни приказам, но являли собой циничное торжество ЦАХАЛ'а, а за тремя кончиками завитка проступала глуповатая величавость павлина или гусыни в ожидании самца.

Иногда кажется, будто верхушки стеблей бамбука раскачиваются, они и вправду раскачиваются, а еще раскачивается Эйфелева башня, а стебли этих букв не качались, зато укачивало того, кто смотрел на них. Эти устремленные вверх буквы не только были буквами из детства, они, хотя и явленные миру на вершине горы, поднимались из глубокой и мрачной пещеры, в которой томились в заточении Бог, Моисей, Авраам, Скрижали, Тора; они явились сюда, на этот перекресток, из доисторического периода и, плохо представляя себе, кто такой Фрейд, мы все ощутили чрезмерность этого гнета, благодаря

которому за две тысячи лет и произошло «возвращение вытесненного». Но главной компонентой нашего изумления и нашего разочарования была эта прерывистая территория, потому что расстояние между буквами сгущалось в неподдающееся измерению пространство и невероятно насыщенное время, ведь само это пространство было нагромождением множества пластов времени; оно казалось таким огромным между буквой и буквой, что могло бы называться мораторием, отсрочкой, ведь невозможно измерить пространство — да и пространство ли это? — отделяющее труп от глаза живого человека, который на него смотрит. В этом неизмеримом пространстве, разделяющем древнееврейские буквы, рождались на свет и расселялись по свету многие поколения. А еще в этом пространстве сильнее, чем разрыв пуль и грохот снарядов, нас разрывала тишина.

Аджлун, эта любимая вотчина, обретенный покой, принадлежал мне. Там любая пташка знала мое имя, дороги вели меня сами, а колючие кусты, впивающиеся в других, со мной были учтивы и любезны. Я, конечно, утрирую, но это показывает, как были связаны человек и место. Здесь, в Аджлуне, совсем рядом я слышал гул войны, отголоски измен, видел, как набухают

огнем черные облака, но несмотря на все эти угрозы, а может, как раз благодаря им склоны холмов казались преисполненными умиротворения ложбинами. В жестах, манерах, властности фидаинов мне, несмотря на поражение, виделась эйфория, которая возбуждает и делает любезными звезд, едва минуют их первые успехи. Также я полагал, хотя и не был так уверен, что мятеж, набегающий волнами на любого человека — или целый народ — который испытывает гнев, эта утрата безмятежности и светлого покоя — тоже своего рода безмятежность, только более сложно устроенная, более высокого уровня.

Говоря о красоте и изяществе вооруженных солдат, которые выглядели, словно актеры зеленого театра, я хотел, чтобы четче было видно, что происходит в душе каждого фидаина. Не понимая до конца природу этого сияния революции, каждый фидаин знал, что на него смотрят и его видят. Причем, смотрят издалека, когда происходит неизбежная деформация оптики. Сияние защищало солдат, но беспокоило политические режимы арабских стран.

Этот вопрос может исходить от любой нации, проявившей себя в истории, любого религиозного или политического движения: чего же не достава-

ло Ближнему Востоку, арабскому миру, нациям, что такое, настоятельно необходимое арабскому миру, привело к возникновению палестинского сопротивления? С 1967 года прошло двадцать лет, стало быть, оно еще слишком молодо для движения, претендующего на основательность и глубину, и еще не скоро хотя бы тонким слоем покроет поверхность территории. Сопротивление проросло и пустило ростки, потому что им было достаточно кислорода. Когда узнаешь, какое значение придавали номеру страницы европейской газеты, на которой появлялась информация, то понимаешь, чего бы мы лишились, прекратись вдруг это сопротивление. Прежде всего, похоже, в том интересе к сопротивлению таилось потаенное, глубоко спрятанное раздражение Израилем. Ничего плохого о нем не говорилось — за сорок лет европейцы научились молчать, поняв, что еврейский эпидермис чрезвычайно чувствителен и остро на все реагирует; если дикобраз был эмблемой Людовика XII, то он должен был стать эмблемой и Бегина тоже. Мир захотел вздохнуть, и по примеру Франции, где во второй половине XIX века появился человек, которому суждено будет довести температуру французской прозы до кипения, он возжелал подростковых бунтов

палестинцев, этих «логичных бунтов», презирающих всякие преграды и барьеры на пути к поэзии. Одна шестнадцатилетняя австрийка, буквально украв у меня из-под носа эпитет, точнее всего определяющий жестокость Черных Пантер, осмелилась произнести в моем — и их — присутствии совершенно серьезно: «Черные Пантеры нежные».

И теперь, вспоминая о ней, воскрешая в памяти полное решимости лицо, тембр ее голоса, я говорю: «Палестинцы нежные». Я решаюсь повторить это прилагательное, ведь мне нужно одним словом назвать причину, побудившую меня остаться с ними. Почему я пришел? Это совсем другая история, более темная, скрытая во мне, но я попытаюсь все же её раскрыть, несмотря на громоздкую и в то же время какую-то воздушную тайну, которая словно играет со мной, то появляясь, то исчезая.

Кто не познал наслаждения предательством, тот ничего не знает о наслаждении.

Думаю о Хамзе, я вспоминаю его веселость. Возможно, это борьба сделала его таким? Еще я обратил внимание на его щедрые жесты. Они не были размашистыми и величавыми, как у французов-южан или ливанцев, но даже при

небольшом размахе все равно казались широкими и щедрыми. Дальние или близкие пушечные выстрелы делали его еще веселее. Он был больше, чем героем, он был мальчишкой.

Думаю, в иные времена меня бы привели в замешательство такие слова, как герой, мученик, борьба, революция, освобождение, сопротивление, мужество, наверное, еще какие-то. Слов родина и братство я избегал, они по-прежнему вызывают у меня отвращение. Но палестинцам удалось сокрушить мой словарь. Принимая это, я осознаю, что такие-то слова малосодержательны, а за другими не стоит вообще ничего.

Я привыкал к фидаинам, будучи уверен, что они желают более справедливой жизни, как они еще говорили, «жаждут справедливости», но было и другое, в чем они не признавались даже себе: их вели не столько призрачные или обоснованные надежды, сколько приказы, более властные и настоятельные, чем все их книги, страсть к борьбе, противостояние врагу лицом к лицу, а за всем этим стремление к уничтожению себя, к доблестной смерти, когда победа невозможна. Произнося слово победа, все понимали: победа придет, когда враг будет разгромлен, а высшая справедливость наступит гораздо позже,

и только в официальных декларациях. Победа или смерть: этим выражением заканчивались все письма Арафата, личные и не только.

Революция как спелеология или восхождение по непоруганным горным склонам Юнгфрау.

— Я сомневаюсь.

— В чем?

Одиночка, возможно, и не знающий о кубинской революции, доктор Альфредо мне ответил:

— Продолжать эту революцию или да здравствует скалолазание.

Мне понравилась эта лаконичность. Вот уже две недели я видел, как он растерян, возможно, разочарован молчанием Арафата. Когда президент ООП спросил о его национальности, Альфредо сказал одно лишь слово:

— Палестинец.

Ответ не оценили. По внезапно возникшей тишине в зале для приемов Арафата я тоже понял, что президент не одобряет, когда этим словом бахвалятся. Палестинец слишком гордился своим народом, и не мог допустить, чтобы кто-то, пусть даже лучшей друг, назвался его частью.

— Ты же видел. Он не признает во мне палестинца. Тут или злиться, или бороться до конца.

Фидаины были сверхлюдьми лишь в том

смысле, что коллективные интересы ставили превыше собственных желаний, были готовы победить или погибнуть, но при этом каждый из них оставался человеком одиноким, со своими колебаниями, особыми стремлениями и, возможно, именно в такие мгновения их подстерегало — но *почти* всегда преодолевалось — искушение предательством.

Когда я представлял богатства, скопленные многими палестинскими командирами, все эти нагромождения мебели, ковров, одежды, то невольно задумывался: чем это, в сущности, отличается от иллюстрированного журнала с фотографиями замков, диванов, кресел, в которых так удобно мечтать. Перелистывать такие журналы — предательство? Перелистывать — как шагать по такой трехмерной квартире, просто это требует меньше усилий. А если ходить по такой квартире несколько дней в году? Неужели это более преступно, чем считать себя фидаином несколько часов в жизни, когда носишь их костюм и куфию; чем это развлечение европейца отличается от развлечения воина в каком-нибудь замке, если этот замок так и остается на глянцевой бумаге? Быть фидаином, не познав проклятий и несчастий фидаина, значит притво-

ряться фидаином.

Иметь эти богатства, похитить деньги, чтобы не поддаться искушению предать, остаться с революцией — со всеми её опасностями и ответственностью? Горе тому, кто отвергнул искушение предать, или горе тому, кто выбрал богатство?

Вспоминается Абу Омар, его смущение, когда он смеялся, вспоминая об отрубленной голове иорданского солдата, этот неестественный натужный смех, непохожий на обычный смех Абу Омара, например, когда я спутал S.A.L.T.[85] с городом Сальт или когда он объяснял мне довольно неожиданное возрастание значимости ФАТХа.

— В 1964 году ФАТХ был всего лишь хилым ручейком. Арафат, в ту пору инженер, решил стать профессиональным революционером и ушел из прежней профессии. Сражение при Караме признали победой и сами палестинцы, и весь арабский мир. После этого личный состав ФАТХа увеличился в пять-шесть раз. Появились и другие организации, конкурирующие, порой враждебные. Лагеря перестали быть просто лагерями

[85] Примечания: 85

SALT — Strategic Arms Limitation Talks (переговоры по ограничению стратегических вооружений) и Салт (Ас-Салт) — город в Иордании.

беженцев, они превратились в тренировочные. Особенно ФАТХ разросся в Иордании, где ему благоволили многие чиновники Королевства, и нас (Абу Омар часто это повторял) поддерживали все жители оккупированных территорий, палестинские студенты и преподаватели, а еще в Европе, Америке и в Австралии. Вы знаете, что у нас есть студенты, которые учатся в Мельбурне. Сейчас король провозгласил себя первым из фидаинов. А в те времена он был последним. Сегодня ФАТХ это широкое интернациональное море, а тогда, в 1964, был слабым ручейком.

Но тот ручеек тек свободно, а море бороздят американский и советский флота. Мы наносили удары, где и когда обстоятельства это позволяли. Мы брали на себя ответственность только за саму Организацию. Никто, ни простые фидаины, ни руководители, не беспокоились о великих, о США, СССР, Великобритании или Франции. Я собирался прибавить сюда и Китай, но нет, после 1948 года Китай стал прислушиваться к другим, да и сам осознал некоторые вещи, понял, что это за движение: возвращение на территории, откуда нас изгнали.

Кроме Арафата и некоторых командиров почти никто не был способен разумно и решительно

руководить людьми, направлять эти народные волнения. Возможно, пик волнений уже пройден, напряжение спало, о многих движениях за независимость в мире уже и не вспоминают. Нам повезло, что мы обнаружили трех наших главных врагов, вот они по значимости: реакционные арабские режимы, Америка, Израиль.

— Израиль вы поставили на последнее место?

— Я же знаю, что вы, хотя сейчас и ничего не записываете, все равно делаете пометки. Значит, я обращаюсь к человеку, который напишет книгу, поэтому предпочитаю правду. То, что я сейчас говорю, то, что вы видите своими глазами, можете сверить с комментариями, которые прочтете во французской прессе или услышите во Французском Институте в Дамаске. Реакционные арабские правительства, особенно страны Персидского залива во всю глотку клеймят Израиль, но даже не из-за агрессии против арабской территории, а, как правило, из-за какой-то ерунды вроде ритуалов богослужения, но все они верные союзники Америки. А что Америка? Она, действительно поддерживает Израиль или просто пользуется им, чтобы продвинуться в регионе, а главное, продолжать контролировать нефтяные скважины Персидского залива? В каком-то

смысле, Израиль бережет наши силы. Факты вы знаете: рассеянные по миру евреи, изгнанные римлянами с земли, обещанной Богом Аврааму, но завоеванной Иисусом Навином, после двух тысяч лет скитания и страданий требуют эту Обетованную землю — нашу Палестину — и, не дожидаясь, пока Бог выполнит свое обещание, изгоняет оттуда ее жителей, мусульман и христиан. Вот что произошло в общих чертах, ну а то, что происходит сейчас, вы видите сами.

Мы с ним надолго замолчали, и все это время в голове у меня крутилась мысль: «Кто жил в Палестине, кто ее оккупировал после разрушения Храма Титом, кто приговорил иудеев к изгнанию? Оставшиеся ханаане? Или уцелевшие иудеи, обращенные в христианство, а около 650 года в ислам?»

Я столько внимания уделяю рассказам Абу Омара и Мустафы потому, что всегда, когда мне доводилось бывать на Ближнем Востоке, в Иордании, Сирии, Ливане, я убеждался, что палестинцы не только защищают свои права на этой земле, но ищут истоки, а одна палестинка мне даже сказала:

— Настоящие евреи это мы. Которые остались после семидесятого года и затем обратились в

ислам. А преследованиям нас подвергали наши родственники, у которых не было родины.

Между тем Абу Омар продолжал:

— Психология евреев, сформированная, возможно, их скитаниями по западным странам, где они познали и богатство, и власть, и презрение христиан, а еще много учились и обрели научное мышление — так об Эйнштейне я думаю как о немецком ученом иудейского вероисповедания — но не смогли преодолеть свои страхи и то, что можно назвать *горькими воспоминаниями и тоской по гетто,* эта самая психология объясняет, почему они жаловались на палестинцев и только потом в открытую восставали. Израиль, ставший нашим собственным рекламным агентом, как вы выражаетесь, для нас это было как нельзя кстати. Как это звучит! Если бы нечто подобное имелось у тамилов, где были бы сейчас батавы? У Израиля такое стремление к пропаганде, что он с древнейших времен был сам себе лучшим рекламным агентом. После Франции, разумеется. А еще после Церкви. И это шло нам на пользу. Правда, не будь мы столь бдительны, наше движение может недоосуществиться. Если такого слова нет, давайте его изобретем, пусть будет. У Арафата имелось одно серьезное опасение,

да и сейчас есть, он высказал мне его однажды: «Вот уже несколько месяцев наша революция в моде. Мы обязаны этим Израилю. Газеты, фотографии, телевидение… Операторы со всего мира приезжают на нас посмотреть и представить в романтическом ореоле. Предположим, все это начнет раздражать. Если палестинскую революцию перестанут показывать и рассказывать о ней, её просто не будет».

— Значит, цель Арафата, помимо всех прочих, разумеется, провоцировать зрелищные события, чтобы засуетился рой фотографов, плакальщиц, певцов. Хор в греческой трагедии.

— Вы всё шутите, впрочем, я не против. И я немного улыбнусь, хоть мы и шутим о революции.

— Высшее искусство!

— Да, высшее искусство. Теперь давай опять серьезно. Я уже говорил, что революция из-за этой экзальтированной риторики — картинок на экране, метафор и гипербол в повседневном языке — рискует *недоосуществиться*. Наши сражения вот-вот превратятся в *позы*, пусть выразительные и героические, но *постановочные.* А наша игра закончится, забудется и…

Он на мгновение остановился, улыбнулся и

закончил вполне ожидаемо:

— … отправится в мусорные корзины Истории.

— Но ведь вы устраиваете революцию, чтобы возвратить свои территории?

— Где мне, вероятно, никогда не доведется жить. Я хочу только сказать, что хотя главная цель революции возвращение территорий, на этом она не остановится. Позвольте еще несколько слов об Израиле. Он слишком преувеличивает свою боль и угрозы, которые якобы исходят от нашего присутствия у него под боком, от наших воплей и криков, усиленных громкоговорителями и усилителями — усиленных усилителями — это я хорошо сказал — звуковыми колонками, расставленными по всей так называемой «диаспоре». Продолжим позже, я расскажу вам, почему нам так повезло иметь врагом Америку. Например, послезавтра, если захотите вернуться в Аджлун. Приезжайте, Ферраджа там больше нет, — добавил он, улыбаясь. Только держите поближе свой французский паспорт, когда увидите иорданский пост.

Это была даже не Хамра, не элегантная улочка в Бейруте, а обыкновенная торговая улица с двумя рядами машин, припаркованных перед каждым магазином, но внезапно произошло вторжение.

Сначала появился автомобиль, очень дорогой, но старинной модели, с двумя усатыми мужчинами на передних сиденьях и тремя сзади. Он встал на правой стороне, а пятеро мужчин остались сидеть в салоне. Затем другой автомобиль, последняя модель Кадиллака шириной чуть ли не с саму улицу встал ни слева, ни справа, а прямо посередине. Из него вышли три женщины, две в арабских одеяниях, но без хиджаба, и одна европейка; водитель остался сидеть за рулем, а другой пассажир, мужчина лет сорока с черными усами и бородой, коренастый и, вероятно, вооруженный отправился вслед за женщинами. Последней вышла еще одна женщина, высокая, очень красивая, в черном платье в пол, с вуалью или вуалеткой, падающей на глаза. Она улыбалась, ведь все принцессы улыбаются толпе, а толпа с благодарностью принимала это подаяние. Она вошла в магазин, на витрине которого я прежде видел гравюру — черное на золотом или золотое на черном — со стихами из Корана. Усатый и бородатый мужчина заслонил дверь своим корпусом. Я не видел, что делала в магазине принцесса. Она вышла очень быстро, а свита выстроила что-то вроде ограждения, чтобы довести ее до Кадиллака, куда она села первой.

Какая-то пожилая женщина замешкалась и посторонилась не сразу, силач схватил ее за руку и оттолкнул так резко, что она буквально влетела в группу любопытных на тротуаре. Никто не возмутился, но никто и не улыбнулся. Водитель первого автомобиля, в котором, очевидно, сидели полицейские или слуги, получил от силача приказ по-арабски вернуться в посольство. Он так и сказал: посольство, и Кадиллак последовал за ним. Движение на улице возобновилось.

— Кто это был?

Ничего особенного: жест телохранителя, отбросившего пожилую женщину в толпу зевак, был колебанием волны, дошедшей из Абу-Даби сюда, на эту обыкновенную улочку Бейрута.

Вот вкратце рассказ Мустафы:

— Разумеется, наше семейство ведет происхождение с еще до-исламских времен, а обращение произошло где-то в 670–700 годы вашей эры. Население занималось сельским хозяйством и коммерцией.

— А что за коммерция?

— Если всматриваться совсем уж вглубь времен, то красители для шерсти, хна, торговля чечевицей… Люди жили землей и морем. О том, что было где-то с 700 по 1450 годы, я почти ничего

и не знаю. А потом османы не особо пытались сделать империю однородной. Если бы несколько знатных семейств не воевали друг с другом, в Палестине был бы мир.

— А как становятся знатным семейством?

— Надо быть потомком Али или ловко заставить всех поверить, что вы потомки. Вы полагаете, будто фальшивая геральдика существует только в Европе? Аналоги ваших герцогов де Леви, потомков Девы Марии, такого натворили в исламе. Наши знатные семейства тоже воевали друг с другом ради собственного удовольствия, наши крестьяне…

— Рабы.

— Вы ошибаетесь. Бог, который избрал Пророка — «Я избрал одного из вас…» — помимо всего прочего, сделал это и для того, чтобы человек упразднил рабство. Это совершил Мухаммед. Он стал эдаким Венским конгрессом. Но на самом деле крестьяне, рабы они или нет, работали на феодалов, которые были моими предками, ну, или предполагаемыми предками…

— То есть, вы не уверены в своей легитимности?

— О, господин Жене, вам-то говорить мне о легитимности! Кто осмелился бы здесь утверждать,

что мать была верна мужу? После 1453 года значительная часть Юго-Восточной Европы, Малая Азия, ближний Восток, а также Палестина были частью огромной Османской империи. Турки сделали Палестину своей колонией.

— А европейские королевства?

— Оставьте своих Мелюзину, Буйона, Лузиньяна, Фулька Анжуйского, они слишком вас занимают. Авантюристы. Вспомните, однако, что история Мелюзины зародилась, скорее всего, в сказках «Тысячи и одной ночи», помните, где змея человеческим голосом расспрашивает о Пророке, а ведь Пророк будет проповедовать ислам лишь две сотни лет спустя. А змея говорила — на арабском языке, разумеется, причем, на прекрасном арабском — еще до рождения ваших Лузиньянов.

«Османские чиновники жили очень скромно — налоги взимались два раза в год, если я не ошибаюсь — они со своими солдатами-христианами не слишком нас беспокоили. Турки грабили, но они осмелились оставить нас свободными. У нас, знатных семейств, имелись дома в Иерусалиме, Хевроне, Акре, дворцы на Босфоре и вороватые управляющие, которых мы периодически приказывали повесить, чтобы поддержать местный

обычай. А пока управляющих не повесили, они занимались выращиванием тутовых деревьев и разведеньем шелковичных червей».

В его доме был только один этаж, поднятый на несколько ступенек; мне еще показалось, что это пространство, выстланное белыми мраморными плитами, было одним помещением, зато огромным: одновременно гостиная, столовая и кухня. Мустафа жил, вероятно, и живет до сих пор, по османским обычаям, курил кальян, презирал всё, что в нем было арабского — особенно своего сына Омара, ученого фидаина. Читал только тюркских поэтов, Джелаладдина Руми, и всё.

— И вот после стольких лет у народа, который думал, что земля, где он живет и трудится уже двенадцать веков, — его собственная земля, ее отбирают, буквально тащат из-под ног, как вытаскивают ковер из-под кресел, стараясь их не уронить. Простите мой французский, в арабском я гораздо увереннее. Мог ли наш палестинский народ знать в XIV, XV, XVI веках, я имею в виду, *ваших* веках, ведь вы колонизировали сначала Пространство, затем и Время, к тому же, вы сказали, что пишете книгу, обращенную к христианам, так вот, мог ли наш народ знать, что люди, говорящие по-русски, по-немецки,

по-польски, по-хорватски, на балтийских языках, по-сербски, по-венгерски..., создадут здесь движение «Ховевей Цион[86]»; что Сион станет для жителей Киева, Москвы, Кельна, Парижа, Одессы, Будапешта, Кракова, Варшавы, Лондона не только мистическим, но и географическим центром страны их мечты? Ни наши крестьяне, ни мы, их хозяева, не подозревали, что замысел постепенно становится реальностью, нам казалось, что в наших снах мы видим совсем другое. Хрящи превращались в кости, процесс убыстрялся, всё шло к нашему уничтожению, а мы и не догадывались. И только в 1917 году мы поняли, что замысел осуществляется и обретает плоть, а питательным раствором была эта гниющая субстанция: рухнувшая Империя.

«Эти вновь прибывшие, все эти мужчины и женщины разных национальностей и цветов кожи, уязвленные оттого, что им пришлось покинуть свои дождливые, заснеженные Карпаты, поначалу нас удивляли и казались капризными. Евреи из Европы мечтали о Сионе, а здесь им

[86] Примечания: 86

«Ховевей Цион», буквально «любящие Сион», также *палестинофилы* — созданная в 80-годы XIX века организация, которая объединяла разрозненные до этого еврейские сионистские кружки и группы. (*Прим. перев.*)

никто не сказал, что Аль-Кудс там назывался Сионом! Оливковые рощи на холмах, Храм Соломона, Песнь Песней, поля пшеницы, пятикилограммовые грозди винограда круглый год, — это были мечтания скрипачей и планы банкиров. Палестинцы и не догадывались, что их прессы для маслин, их пахотные поля были предметом мечтаний, а вокруг них и их страны расставляют силки. Юный Али, о котором вы мне говорили, сказал вам однажды, что сионисты потихоньку скупили табачные плантации вдоль нынешней границы Израиля до самой Литани, так вот, он в принципе не ошибался. Наши кадастры в Варшаве велись лучше, чем в Иерусалиме. Еврейские скрипачи сделались меткими стрелками, их скрипки были цыганскими, а автоматы стали израильскими. Мои близкие по-прежнему не подозревали, что за ними, оказывается, следят вот уже две тысячи лет — а то что означала бы угроза «Если я забуду тебя, Иерусалим…»? — и что уже две тысячи лет их жизнь, которой они были обязаны лишь вскормившей их земле, так они считали, эта жизнь была им дана взаймы славянскими вербовщиками, только и дождавшимися подходящего момента, чтобы выйти на охоту с криком, грохотом, охотничьими рогами.

Палестинцы никогда не думали о европейских евреях, истерзанных погромами, и тут на их земле появились первые несчастные под видом крестьян, мнивших себя социалистами, больше подкованных в теологии, чем в сельском хозяйстве; но ведь Палестинцам не являлась во сне эта Земля Обетованная. Только потом они понемногу начали осознавать, что были всего лишь персонажами из сновидений, и вот будильник внезапно и резко вырвал их из сна, лишив одновременно и существования, и бытия.

«Это попятное движение, подобное погружению в глубокие пласты самых давних поколений польских, украинских, мадьярских евреев, мешало палестинцам быть реальными до конца, они сделались, скорее, народом из сновидений, то есть, народом-тенью, а не народом из плоти и крови и, возможно, каждый израильтянин, сражаясь с ними, верил, что сражается с несуществующей армией. А фидаины были такими настоящими, и я подозревал, что их восстание стало необходимым, чтобы доказать самим себе и евреям-сионистам: они, тоже являясь палестинцами, — существа, обладающие и плотью, и духом, и не рассеются, подобно призракам, при пробуждении спящих ашкеназов. Мне показалось, что дистанция, раз-

деляющая этих строптивых людей, бесконечна, и увеличивалась по мере того, как мы, палестинцы, все больше хотели стать свободными, независимыми от сновидений или пробуждений евреев, и эта дистанция между людьми из снов и реальными фидаинами свидетельствовала о появлении в этом мире совершенно нового явления, способного исказить Ближний Восток, навредить мусульманским народам, их правительствам, особенно прозападным, для которых арабский мир должен остаться народом-тенью. Нашей свободы стало больше, когда увеличилось расстояние между тенями, какими мы были, и сволочами, какими становились. Мы все увеличивали и увеличивали это расстояние, в нем и была заключена наша свобода, все богатство нашей свободы. Оно казалось вместилищем наших богатств. Выходит, истинная опасность, о которой мы не знали, таилась в сновидении, принесенном северным ветром.

— В прошлом ваша семья оказывала услуги константинопольским калифам?

— Конечно.

Вошел его шурин. Мусульманин Мустафа сначала был женат на немке, затем на черкешенке. У его родственника, высокопоставленного чинов-

ника, хорошо говорившего по-французски, была очень белая кожа и светлые волосы. Хотя кожа самого Мустафы тоже была не слишком темной, я увидел разницу; меня уже не сильно удивляло, почему европейцы так защищают советских диссидентов и гораздо менее рьяно — черных американцев, если только последние не являлись выходцами с социальной периферии: танцорами, певцами, спортсменами, джазистами. Присутствие шурина, возможно, смягчило жесткие замечания Мустафы относительно европейцев.

— Мы, конечно, прежде всего — мусульмане, они тоже; потом, вы ведь знаете, я из Сирии, а Империя признает и Сирию, и Палестину. Это как ваш Прованс и Нарбонская Галлия стали римскими провинциями. Своеобразие Палестины уважали. А что османы? Империя, этот тяжелый пятидесятитонный груз — вы думаете, удобно перевозить его по горной дороге? — оставила грекам их своеобразие, как и римлянам, сербам, словенцам, сирийцам, ливанцам, палестинцам, албанцам. Тяжким преступлением Османской империи было то, что они не навязали арабам свою кухню. А главная их вина — это корпус христианских наемников…

Продолжать дальше он не решился. Все эти чер-

кесы, главным образом из России, водворились в Империи, как те христианские наемники, о которых он говорил. А его шурин с фарфоровыми глазами все это слушал.

— А Израиль?

— До конца прошлого века мы и не помнили, кто мы такие есть. Израильское вторжение вернуло нам душу. Ваша реакция на это слово показывает, что вы сомневаетесь в существовании души, но наша собственная душа нас встряхнула так, что поначалу мы ощетинились против нее, а не против захватчиков. Я говорю о нашей принадлежности к народу Палестины. Вас не покоробит, если я приведу пример с кормилицей? В младенчестве нам нужны были ее груди, полные молока, мы ее любили, как вы любите какую-нибудь голландскую корову, мы могли ее продать или сдать в аренду. Когда нас от нее отнимают, мы вспоминаем не молоко, а ее имя, черные пятнышки на шкуре, ее рога. Мы ее защищаем. Палестинские крестьяне считали нас очень жестокими, они нас кормили. Израиль хочет избавиться от Палестины, как будто ее и не было, даже имя этой страны стереть…

— А сам Израиль? — настаивал я. — Как польские евреи представляли себе Палестину? Когда

земля была плоской, как называли Палестину в Крыму? А жители как были одеты? Когда они начинали свой поход, они понимали, что это начало вторжения?

— Если бы вместо того, чтобы отправляться в Иерусалим, Израиль создал свое государство где-нибудь на Сицилии или в Бретани, мы бы весело посмеялись, и думаю, подружились бы с Израилем. И тогда не было бы у него такой ненависти к арабам, как сейчас, у них эта ненависть сильнее, чем гордость за принадлежность к еврейскому народу. Представьте себе Бретань, Брест, Кемпер, застроенные кибуцами, и все говорят на иврите. А бретонские беженцы спасались бы в Уэльсе, Ирландии, испанской Галисии. Вот бы вы посмеялись. Если нет уверенности, что палестинцы прямые потомки хананеев и филистимлян, то еще менее очевидно, что мисс Голда Меир праправнучка Моисея, Давида, Соломона.

Рассказ Мустафы показался мне и неубедительным, и скучноватым. Когда мы вновь увиделись, на этот раз наедине, я попросил его вернуться к этому сну Норвегии об израильтянах.

— То, что я рассказал, никогда не было записано. Мне их сон не снился, и я не знал, что сам кому-то снюсь. Что за мной наблюдают. Откуда-то

издалека, из чьего-то времени и пространства. Наверное, картинки из сна были размытыми. А мы, палестинцы, думали, что это человеческое море нахлынуло на нас из сна. Что рассказывали об Иерусалиме те, кто уезжал оттуда, чтобы вернуться в свою Уппсалу, Будапешт, Варшаву? А на каком языке говорили они в Иерусалиме, если никто из них не знал ни арабского, ни греческого, ни латыни?

— Коперник писал по-латыни.

— Он не был евреем. Какие рассказы передавались на балтийских берегах? Помните эти старинные карты XIV века с картинками: монстры, невиданные звери. Путешественники и торговцы сочиняли всякие небылицы про народы, которых никогда не существовало, про мифических животных, сказочные растения.

— Может, так мечтали о завоеваниях других земель?

— А зачем еще нужны мечты и сны?

— О военных завоеваниях?

— Когда ты слаб и жалок, завоевания — только мечты. Просто представьте себе, две тысячи лет за мной наблюдали, и за моей территорией тоже, а мы ничего не знали, глаз был запрятан глубоко в снегу. Одно поколение сменялось другим,

а стратегия оставалась все такой же, переплетались нити, расставлялись ловушки, которые терпеливо дожидались меня.

— Такое характерно для слабых народов. Они ничего знать не хотят о заморских хищниках.

— Ваши рассуждения никого не утешат. Мечтания и сновидения никогда не кончаются. Иногда я задаюсь вопросом: а что если единственная функция нашего мозга как органа — это видеть во сне нашу жизнь. Месье, вы мне как-то сказали, да и не только вы, что быть с фидаинами — это счастье. Я ничего не знаю про ЦАХАЛ, о котором так много говорят, о духе, о демократических порядках в этой армии, о ее солдатах и командирах, скажите, вы были бы счастливы в ЦАХАЛе, как здесь?

— Если бы я был евреем…

Четыре палестинки, потом к ним присоединилась пятая, сидели на корточках на пустыре в Джабаль аль-Хусейн. Это была совсем новая земля, то есть, я хочу сказать, полученная недавно, буквально накануне, и пустырем она стала тоже недавно, сгорев от напалма. Смеясь, женщины предложили мне сесть рядом с ними.

Индейцы в Андских Кордильерах садятся на пятки, опершись ладонями о землю для равно-

весия, готовые вскочить с места и побежать, мгновенно распрямившись, как сжатая пружина; тот, кто идет днем и ночью с палкой в руке, ждут момента, чтобы присесть на корточки, марокканцы, берберы, арабы, а еще османы. Семейство Принцев пустыни — одни мужчины — приехали засвидетельствовать свое почтение Хусейну, недавно избежавшему смерти (август 1972). В Аммане, в отеле Джордан я сидел напротив них: прадед, дед, отец, сын и семеро внуков. Они устроились на черных диванах, какое-то время сидели молча и неподвижно. Пять минут спустя отец уже сидел на одной, сложенной под ягодицей, ноге, другая свешивалась с дивана. Через какое-то время все семейство уже сидело на скрещенных ногах, как сидят на краю пропасти фигурки на японских гравюрах. Они курили и сплевывали на ковер; мы видели уже, что иранцы принимают такую же позу, Хомейни, например, и индусы тоже сидят на одной ягодице, и японцы. И эти разные позы во время отдыха, означающие порой готовность мгновенно вскочить и бежать, порой усталость и расслабленность напоминали гирлянды из людей, пораженных молнией в эпицентре землетрясения. Такое сравнение меня позабавило. Я отметил его для себя, потому что

оно напомнило мне разговор с одним молодым американцем:

— Почему ты ездишь по всему миру?

— Я хочу смастерить стул, которого никто никогда не делал, а для этого мне нужно увидеть все стулья, какие только есть на свете, и потом придумать такой, какого еще нет.

Старшая из женщин, несмотря на улыбчивость, казалась самой властной.

— Мы в моем доме.

Остальные одобрительно улыбнулись.

— В каком доме?

— Ты его не видишь?

Вытянутым вперед пальцем в кольцах она указала мне четыре небольших кучки остывшего пепла, и вокруг каждой из них — четыре почерневших камня.

Кто тремя часами ранее отдал приказ двум говорящим по-французски фидаинам отвести меня на маленькую, нетронутую войной виллу посреди сада, недалеко от Джабаль аль-Хусейн?

— Ты там встретишься с одной очень известной женщиной, она глава ассоциации палестинских женщин в Аммане. Будь вежливым, с ней нужно обращаться осторожно.

— Она такая чувствительная?

— Она оказывает услуги.

Вахадат и Джабаль аль-Хусейн это два лагеря в Аммане, разрушенных солдатами-бедуинами. В гостиной на низком столике лежала колода карт, словно дожидаясь, когда я вскрою ее и раздам. Женщина вошла, пожала всем руки, села сама, предложив последовать ее примеру, взяла в руки колоду карт, улыбнулась нам, и улыбка словно сокрушила это от природы округлое лицо. К несчастью, изображения Доры Маар опошлены слишком частым употреблением, и я не рискну сравнить ее лицо с лицом этой дамы, главы ассоциации палестинских женщин. Видимо, вся ее кровь отхлынула к ногам, потому что лицо внезапно сделалось мертвенно-бледным. И тотчас же, неотрывно глядя на меня, она стала стегать меня резкими, как удары хлыста, фразами, буквально вбивая свои идеи о палестинском сопротивлении.

— У нас есть наши права. Двести сорок вторая резолюция ООН не оставляет никаких сомнений, и я не позволю ни Израилю, ни Иордании диктовать свои резолюции ООН или чинить нам препятствия.

Я поднялся.

— Ну, ваша глупость общеизвестна. Оставай-

тесь при своих иллюзиях.

Женщина, знавшая французский, в отличие от фидаинов, поняла слово «глупость».

— Я говорю правду.

— Если руководители ФАТХа вас выбрали, значит, они такие же идиоты, как вы.

Двое фидаинов принялись утешать плачущую председательницу. Они вышли вместе со мной, но были так оскорблены, что провожать меня не стали.

— То, что ты сделал, это ужасно, нам с таким трудом удалось уговорить ее принять этот пост.

Избавившись от них, я почувствовал облегчение; и теперь мне было приятно видеть этих старух, с улыбкой встречающих невзгоды, сидящих перед потухшими углями. Потому что очаг — это все-таки очаг, угли, которые я видел, были символами сгоревших здесь домов: четыре почерневших от дыма камня. На них не было хиджабов, только простые косынки, прикрывающие седые, закрашенные хной пряди. Они смеялись безнадежным отчаянным смехом, но выглядели элегантно и достойно. Их слова переводил один палестинский командир, довольно бодрый, такой же старый, как и они, но мне казалось, я их понимаю еще до того, как прозвучит перевод.

Они оголяли свое одиночество до костей.

— Ты откуда?

— Надо сделать ему чай!

— Это далеко — Франция?

— Там сквозняки есть?

Они с каким-то воодушевлением принялись мне рассказывать, как солдаты-бедуины все сожгли, а самолеты еще и сбросили напалмовые бомбы.

— Вот там печка, ты видишь печку?

Костлявым коричневым пальцем она указывала мне на четыре почерневших камня и горстку пепла. Потом протянула чашку синего, очень тонкого фарфора.

— Мне говорили, она из Китая. Посмотри, ни трещинки. Она упала прямо в пепел: синее на сером, красиво.

Эта нищета, ироничная, можно сказать, изысканная, так шла этим старухам. Небо тоже было синим. Солнце палило, и даже потухший очаг дымился. Кроме невредимой чашки после обстрела и пожара нашелся еще чайник, совершенно черный и помятый, но, похоже, таким он был и раньше. Они настойчиво предлагали приготовить мне чай.

— Ночь будет холодной.

— Мы не одиноки, у нас у всех есть родственники. Много родственников. Ночью мы будем ходить к кому-нибудь из них. А дни проводить здесь, в нашем доме. В нашем возрасте приятно возвращаться к своему очагу.

У каждой из этих старух был свой дом.

— А Хусейн останется?

— Ты что, с ума сошел?

Со смехом они принялись расспрашивать, не хочу ли я увезти его с собой, чтобы показывать французам живьем.

— Небось, они такого человека никогда и не видели!

— До того, как сюда приехать, ты знал, что революция — она такая?

Слово было произнесено впервые. Возможно, глава ассоциации палестинских женщин, до сих пор рыдающая в одиночестве, как раз раскладывала пасьянс? Знала ли она, что в пятидесяти метрах от ее сада палестинские женщины тоже раскладывают свой простой пасьянс с безнадежной, отчаянной веселостью? Солнце продолжало свой путь по небу. Тень, которую отбрасывала на землю вытянутая рука или палец, становилась всё прозрачней и тоньше. На какую землю? Иорданскую, такова была политическая фикция,

порожденная волей Англии, Франции, Турции, Америки.

— Хусейн бросал зажигательные бомбы. В моего мужа попало почти сразу.

— Где он?

— Там!

Она протянула было руку, но то ли стараясь бережнее расходовать жизненные силы, то ли просто устав вот уже три дня повторять одни и те же движения, слишком размашистые для ее возраста, так и не завершила жест.

— Он там. За стеной. Мы тут все скребли, чтобы вырыть могилу, хоть неглубокую, но это же скала. Через неделю ему вроде найдут место на кладбище, ФАТХ обещал. Мой старый муж сгорел от напалма. Сначала волосы, глаза. Огонь остановился вовремя. Теперь мой муж чистый, как обглоданный рыбий хребет.

У них у всех были гладкие, лишенные растительности лица. Они делали эпиляцию? Как молодые арабские женщины до сих пор делают эпиляцию на лобке? Под черной юбкой другая черная юбка, под ней еще одна, и только муж знает или знал, сколько их там всего, и откуда она вообще появилась: наследство или подарок? Я мог лишь представить в воображении эти худые,

никогда не мытые тела, потому что водопроводы давно сгинули. Тела цвета земли, не знавшие желания, изнуренные заботами о куске хлеба, измученные войной и постоянным ожиданием опасности. Яркий макияж, как у семидесятилетних женщин из знатных семейств, здесь был неуместен.

Кладбище, о котором они мне говорили, вероятно, будет передвижным, похожим на то, о чем думал Али, когда хотел — если я умру — раздать мои кости нескольким фидаинам, пока они не найдут какое-нибудь кладбище, где их можно было бы зарыть, перед тем, как бросить в Мертвое море. Наверное, это будет разборное кладбище, единственное в своем роде, несколько могил, так и не вырытых в песке, где тела брошены шакалам, похожее на памятники погибшим, которые нужно было быстро разобрать, демонтировать под солнцем, ветром или дождем, иногда глубокой ночью, чтобы перенести его составные части: гирлянды из золоченой бумаги, золотые буквы надписи в память о мучениках, цитаты из Корана, наивные стихи, пару электрических лампочек на батарейках. Могилы, гробницы, кладбища, памятники, все должно было быть разборным, мобильным, приспособленным для

кочевой жизни.

— Бедуины умеют прицеливаться. Они палили напалмом из базуки.

Лет семьдесят назад, году в 1910 — предположим, я был бы в сознательном возрасте — невозможно представить, чтобы какая-нибудь светская женщина произнесла эти слова: «Бабло есть?», «на издыхании», «с ума сошел». А тут слово «базука» так свободно и непринужденно вышло из беззубого рта старой палестинки, и еще три раза слово «напалм» из другого такого же рта. Современный словарь военной лексики так подходил этим старухам. Меня куда больше удивило, что они еще не сообщили о «новейших военных технологиях», поставляемых нам Пентагоном.

Одно из преимуществ пожилого возраста и эмиграции — то, что можно безбоязненно врать, потому что свидетели мертвы или труднодоступны. Если в 1918 году европейские столицы заполонили русские князья, работавшие шоферами такси, то лагеря беженцев будут полны семьями, оставившими в Палестине счастье, но какое?

У этих пятерых старух, имен которых я так никогда и не узнал, была своя земля, и ничего ни на ней, ни под нею. Они находились в том месте,

где не было пространства и, едва ступив, можно было оступиться. Была ли твердой земля под их десятью голыми ступнями? Там, дальше к Хеврону, где оставались друзья и семья, — пожалуй, нет, а здесь, действительно, земля была твердой и прочной, каждый становился на ней легким и невесомым, и перемещался в арабском языке, как в слоях воздуха.

Палестинцы сделались невыносимы. Они открывали для себя мобильность, и это не только движение, ходьба, бег; колода, где вместо игральных карт были идеи, тасовалась и заново раздавалась каждый день, чтобы начать новую игру или новую партию прежней игры.

Когда Феррай был в хорошем настроении, он представал эдаким весельчаком, разговаривая со мной, засовывал руки в карманы, высунув наружу оба больших пальца, широко расставлял ноги и выпячивал грудь, ему казалось, так он выглядит высокомерным и надменным, как Джеймс Дин, которого однажды видел в кино. Я спросил у него, почему он стал атеистом.

— Чтобы ответить, я должен встать в правильную позу. Погоди-ка. Вот. Готово. Атеистом? Я вынужден им быть, если хочу, чтобы нефть Персидского залива опять принадлежала народу. Ты

ведь понял, я вижу по твоим глазам.

— Вообще ничего не понял.

— Меня это не удивляет. Помпиду у власти, французы какие-то заторможенные. Слушай, полторы тысячи лет назад Мухаммед сделал одну большую глупость. Эмиры, короли, даже самый ничтожный, самый жалкий шериф своим нынешним положением обязаны происхождению. Они себя называют, и даже могут это доказать при помощи всяких фальшивых бумаг, потомками Али и Фатимы и, следовательно, Пророка — мир ему и благословение. Если мы, палестинцы, сумеем убедить арабов, что Мухаммед был жуликом, то и Пророк развалится на мелкие кусочки. И у его потомков, королей, эмиров шерифов, всякой знати не будет никакой власти.

— Коран напечатан в миллионах экземпляров, его цитируют даже по телевизору во всем исламском мире. Твое предсказание о гибели ислама осуществится лет, может, через тысячу.

— Значит, не будем терять времени.

Он снова засунул руки в карманы, расставил ноги, зажег сигарету и стал похож на обаятельного хулигана из голливудского кино.

— Еще о чем-нибудь хочешь меня спросить?

На встречу с Абу Омаром в офис ООП я пришел

вовремя, рассказал ему о своей аудиенции у главы ассоциации палестинских женщин, о карточной колоде на столе, о резолюциях ООН, о правах палестинцев, об утешительных словах фидаинов и, наконец, о своем внезапном отъезде.

— Какая жалость, что меня не было с вами, так редко удается повеселиться. У себя в комитете мы все время обсуждаем, как бы избавиться от этой болтливой и ленивой мещанки.

Он перестал смеяться и принялся протирать очки, которые от малейшего его волнения запотевали, так что я не раз задавался вопросом: коль скоро мир представлялся ему расплывчатым и затуманенным, была ли для него революция делом срочным и неотложным или можно было обойтись операцией на глазах. Он протер стекла, и в тот момент я подумал: «Он, конечно, смеется от радости, что его не оказалось тогда в гостиной у той женщины».

Порой бомбардировки щадили предметы. Двенадцать лет спустя один палестинский друг рассказывал мне о своем доме в Бейруте, где сгорели все ценные книги и деловые бумаги на этажерках. Книги, стоявшие вертикально на полках, пеплом осыпались на пол, а поверх, на это мягкое ложе, осторожно погрузившись в него

и оставшись поэтому целой и невредимой, упала чашка тончайшего китайского фарфора, как та, другая, в лагере Джабаль аль-Хусейн. Подмигивание кого кому?

— Поговорим немного о том, как нашему народу помогают преступления никсоновских американцев. Мы знали, что нас могут победить, сломать. Победа Вьетнама вселила в нас надежду. По телевизору показывали, как американский посол в Сайгоне сворачивает в восемь слоев флаг посольства, бежит к вертолету, который приземлился на газоне в саду, бросает туда свернутый флаг, сам поднимается на борт и летит за море, спасается на авианосце. Когда фидаины видели это, они так смеялись. Может, именно радость народов стран Третьего мира, узнавших, как США преклоняет колени перед Сайгоном, и дала им безумную надежду. Теперь от палестинцев они требуют, чтобы мы стали авангардом революции.

Но мы знали, как бывают упрямы правительства, вернее, режимы, которые используют в своих интересах то одну партию, то другую. Соединенные Штаты сейчас под Никсоном. Мы все равно не можем использовать их хитрости. Не станем же мы бомбить Нью-Йорк…

— Они тоже не осмелятся заявиться сюда со своими бомбами…

— Кто знает. Все же думаю, вы ошибаетесь. Если мы окажемся слишком близко к Советскому Союзу…

— Он вас и защитит.

— На этот раз с уверенностью могу вам ответить: нет. Советские — наши союзники. Они могут пользоваться нами, а мы ими нет[87].

— В начале разговора вы сказали «помогают преступления».

— Между нами и Израилем идет война за выживание, раньше это была локальная война. И поражения казались полным и окончательным крахом. Война между нами и бедуинами могла восприниматься как шаг назад. Друг другу противостояли два племени, практически два клана, а один великий вождь племени, Насер, буквально принудил нас примириться. Что и сделали Арафт с Хусейном. Вы же всегда против всяких вождей, но признаете, по крайней мере, что они умеют целоваться на публике. Не думаю, что Америка очень уж любит королей, которые из Вашинг-

---

[87] Примечания: 87

Это было записано в 1972. Похоже, Абу Омар видел, как в 1982 году пылал Бейрут, и ни одна страна, ни арабская, ни какая другая не пришла на помощь.

тона видятся какими-то колдунами из большой хижины, поэтому Хусейн простодушно назвал себя президентом. Израиль боится, что многие иорданцы окажутся на стороне ООП. Израиль почувствовал опасность, а именно появление иордано-палестинской или палестино-иорданской республики, вы же помните все эти дебаты, какое имя дать республике, назвать-то ее назвали, но она так и не появилась. При помощи Англии Израиль убедил Америку помогать Хусейну, вот вам и триумф короля. Каирские соглашения, тайные договоренности между Хусейном и Голдой, особенно вторжения сионистов в Ливан и сюда, к нам, даже в Амман. И не забудьте, что в начале первого тысячелетия мы были византийцами и все в большей или меньшей степени раскольниками.

— А ваши предки?

— Вероятнее всего, они были христианами-монофизитами[88]. В моей семье ни в чем нельзя быть уверенным, а уж когда дело касается религии… Чего у нас только не было. Итак, я все

[88] Примечания: 88

Монофизи́тство (от др. — греч. μόνος — «только один, единственный» + φύσις — «природа, естество»), христологическая доктрина в христианстве, постулирующая наличие только одной, единственной Божественной природы (естества) в Иисусе Христе и отвергающая Его подлинное человечество. (*Прим. перев.*)

о том же, вторжение американцев превратило нас в одну из воюющих сторон, сначала в масштабах Ближнего востока. Вскоре нам пришлось бы примерить на себя политический, а то и территориальный статус Филиппин, Формозы, Израиля, Южного Вьетнама, Южной Кореи, Гватемалы, Гондураса, Санто-Доминго, ну и в таком роде. Спящие революции чреваты резким пробуждением. Когда от ООН требуется занять определенную позицию, она нас проклинает, а мятежник именуется врагом Соединенных Штатов. Ну и Советский Союз тут как тут.

Американская помощь Хусейну помогла нам выйти из тени, а то бы до сих пор вели межплеменные войны луками и веслами, ну, или почти. Приток оружия для Хусейна в Амман зимой 1970 заставил нас примкнуть к многочисленному семейству врагов международного капитализма. А результат вы сами могли наблюдать, когда приехали к нам. Это нас с одной стороны воодушевило, с другой — поставило под угрозу. Наши лица оказались слишком ярко освещены. Сейчас наша главная опасность — передозировка звездности. Если мы будем слишком часто появляться на публике, особенно в ярких нарядах, то превратимся в комедиантов революции.

(Фрагмент этой беседы я хранил с 1972 года. Абу Омар хотел еще поговорить со мной о революции с точки зрения ее воздействия на эмиров и королей).

Абу Омар говорил со мной об Арафате, прославляя учителя, и об ООП, но мне слишком часто доводилось видеть бои, которые разгорались и угасали, а фидаины так и оставались в неведении, в кого или во что они стреляют. Пулемет, винтовка, двадцать винтовок начинали стрелять здесь и сейчас, хотя прицеливались в мишень три дня назад, а о стрельбе принимали решение позавчера, в двухстах километрах отсюда. Пули свистели, когда приказ стрелять *там* был уже забыт, а копии приказа сданы в архив, при этом люди, стрелявшие по призракам, до самой своей смерти так и не узнают, какой опасности подвергались три дня назад. То есть, можно сказать, что три дня назад в двухстах километрах отсюда винтовки уже были вскинуты на плечо. Послушать некоторых руководителей движения, так фидаины селились в апартаментах отелей «Хилтон» в Европе и Африке, но понемногу уже начинали болтать о базах, хотя, конечно, меньше, чем сегодня. Были командиры, которых фидаины ненавидели, называли «слугами двух господ». Ка-

кова бы ни была власть, она всегда превращается в золото, а золото в силу, разве не так?

Вероятно, итальянская армия состояла из молодых рекрутов, но много ли среди них было «солдат второго года»[89]? Между народным ополчением и генеральским званием Бонапарта прошло пять лет. Можно допустить, что солдаты, принимавшие участие в битве при Флёрюсе и при Жемаппе, сражались и при Арколе. Энтузиазм, поначалу бывший для нации защитой, сделал из солдат завоевателей во имя свободы народов. Все шли пешком, кроме офицеров. О грабежах в Италии могли бы поведать архивы семейства Мюратов и их богатство. Не только у генералов победа стояла у истоков карьеры, каждый солдат знал, как угодить прохвосту, который всегда является вторым «я» героя, утолить его голод, но маршальский жезл всегда будет эффективнее, особенно когда он в руках маршала Ланна. Французская революция, особенно ее рейнская армия, была беременна дворянством Империи. Возможно, своим дворянством князь из Московии обязан ранению коня, на котором сидел маршал, мечтающий о княжеском титуле?

---

[89] Примечания: 89

Аллюзия на известное стихотворение В. Гюго “O soldats de l’an deux!”. Имеется в виду второй год революционного календаря. (*Прим. перев.*)

А почему не конь маршала Нея? Мечты о парче и бархате осуществились при Наполеоне III, который появился — он сам и его двор — в результате весьма малозначительной революции февраля 1848 года. Славу этой Империи составляют крупные универсальные магазины. С 1962 по 1985 годы власть, администрация, полиция, магистратура Алжира — это все еще Фронт Национального Освобождения. Бродяги, пылающие алжирские поселки, опасности, альянсы-пасьянсы — я имею в виду алжирских дипломатов — это своего рода «первородный бред», благодаря этим альянсам-пасьянсам и появились на свет иерусалимские и кипрские цари, возможно, и тут не обошлось без змеи.

Фидаины предавались мечтаниям, не имея возможности жить в мире роскоши и славы, о котором не имели представления, они о нем мечтали. Один фидаин, показывая мне фотографию какого-то королевского дворца, сказал:

— И все это для одного человека.

Фраза подразумевала: «Я прозябаю в этих трущобах, а этот проклятый король…»

Еще одно высказывание, уже от другого фидаина, который, ткнув пальцем в фотографию королевы, произнес:

— Её-то я бы отымел…

А третий фидаин, процитировав отрывок из Корана, когда Бог говорил: «Я избрал одного из вас…», заявил мне:

— Он выбрал Пророком Мухаммеда, ну почему Мухаммеда, а не меня?

В этом мире вполне себе филистерских мечтаний фидаин представлял себя героем? Похоже, усталость, пыль, скука действовали на него, как некогда гашиш или опиум, и он воображал, как принимает участие в грабежах, делит богатую добычу, получает одно за другим воинские звания, наконец, присутствует на собственном торжественном погребении с национальными почестями и на открытии своего памятника.

Какие мечты побуждают приносить себя в жертву? Да самые обыкновенные и заурядные:

— Хотел бы, чтобы он тебе что-нибудь подарил, например, дворец?

— Есть только одно истинное счастье: счастье дарить. Дворец? Он испытал бы слишком большое счастье. Я бы не принял.

— Но ты же делаешь революцию для других.

Он засмеялся и ответил:

— Никто и не принимает. Ты же сам видишь.

Ему было двадцать три года, нетрудно понять,

какая неразбериха царила у него в голове, если в моей, которая в три раза старше, я сам не мог навести порядок. Он мечтал о разрушении золотых тронов, а еще представлял, что скажет, когда с ним об этом заговорят.

Несколько дней назад я с любопытством и тоской смотрел, как один палестинский поэт, имя которого никак не могу вспомнить, разговаривает с представителем ООП в Рабате. Если в 1971 году у всех фидаинов и командиров были длинные ноги, впалые щеки, ввалившиеся животы, теперь животы были круглыми и толстыми: пуговицы на двух гульфиках, казалось, обнюхивали друг друга, как две собачонки, уткнувшиеся одна в другую носами. Разговор вели именно брюхо с брюхом, а лица находились далеко одно от другого.

Основной пищей иорданских крестьян были ячмень и рожь, а еще оливы и бобовые. Когда, еще не до конца проснувшись, я вышел из палатки, где мы спали — три десятка солдат и я — то увидел, как фидаины, стоя вдоль дороги с автоматами на взводе, хохочут, наблюдая забавное зрелище, которое обнаружили, выбравшись из спальных мешков, еще теплые от эротических сновидений. Солдатам было от четырнадцати

до двадцати. Перед ними простиралось поле почти созревшего ячменя и ржи — половина на половину — и среди колосьев, ломая их и жуя, метались обезумевшие от страха или ошалевшие от неожиданного счастья козы. Пастушок лет десяти наугад хлестал их по спинам, тщетно пытаясь выгнать с поля животных. Собаки у него не было, да и козы это не бараны. Удары были сильными, стадо перетекало в другой конец поля, как перья в пуховой перине, если ее взбивать с одной стороны, причем, где окажется комок пуха, предугадать невозможно, в общем, животные никак не желали покидать свой желто-зеленый рай. Желтый и зеленый — это были цвета поля, но я часто встречал их в этой части Иордании. В просвете между темно-зелеными кронами двух пальм или двух других деревьев, окрашенных осенней желтизной, или между бледно-зелеными полотенцами на натянутой веревке, небо везде было синим, но по-разному синим, в Аджлуне я приобрел эту привычку смотреть на него, почти читать его при свете этих трех цветов, два из которых были базовыми, а один смешением желтого и синего. Конечно, я находился во власти символики — элементарной, но неотвязной. Солдаты, сами немногим старше того пастушка,

веселились, наблюдая козий триумф. Возможно, они всецело были на стороне животным, потому что те выходили победителями из этого противостояния, но главное — было так забавно видеть пучки колосьев, свисающие, как бородки, с козьих морд, и размеренно двигающееся челюсти. А под этой бородкой — шар гортани, который то опускался, то поднимался при каждом глотательном движении. Козы, в отличие от баранов ловкие и проворные, являли собой буйство свободы, мятежа, анархизма, какими они хотели быть, какими себя видели, и хотя козы и козлята смешно срыгивали после каждого пучка колосьев, а может, просто потому, что в этой местности было так мало развлечений, фидаины нисколько не сочувствовали пастуху, у которого на лице ясно читались раздражение, а то и тревога — как должен ощущать себя истинный Пастырь Народов, ведущий огромную массу к одной цели, учитывая при этом прихоти каждого индивида! Это были те самые фидаины, которые несколькими днями ранее привели меня к иорданской крестьянке и слушали ее с таким почтением, разоренное поле было ее полем, а пастух один из немногих друзей палестинцев. Урожай этого мальчишки пропал из-за животных, но еще из-за его собственной

неумелости. Насмешки фидаинов не производили никакого впечатления на коз, зато приводили в уныние маленького крестьянина. Рожденные иногда в пустыне, иногда в каком-нибудь городе Персидского залива, фидаины знали только оружие, могли процитировать наизусть по-арабски лозунги Маркса или Ленина, изредка Мао, но они не видели никакой связи между ячменной или ржаной лепешкой, которую запивали чаем три раза в день, и сломанными колосьями, пропавшим урожаем, претерпевшим такой же ущерб, как если бы поле побило семичасовым градом. Когда я сказал командиру, что надо бы помочь маленькому пастуху, он захохотал громче, чем все его дети-солдаты вместе взятые. И я четко увидел, какая глубокая пропасть разделяет бродягу, каким я тогда был, и защитника порядка, каким мог бы я стать, поддайся искушению порядка и комфорта. Время от времени мне придется осаживать себя, бороться с соблазном просить за кого-то или за что-то, нет, не за устройство жизни, к которому я привык во Франции, ответ был бы слишком очевиден, эта нация слишком прозаична, но мои просьбы и ходатайства, вызванные, казалось бы, возмущением и протестом, могли быть завуалированными призывами к

конформизму.

Этот ограниченный четырьмя изгородями хаос, это противостояние поля ржи и козьего народа показывает, возможно, как хищнически вели себя палестинцы на южно-ливанских границах. Очевидно, что гнев шиитов был вызван не ребячеством фидаинов. Почему я сказал «гнев шиитов»? Так пишут в газетах, там почему-то никогда не говорят про гнев владельцев больших цитрусовых или табачных плантаций на юге Ливана. Об этом я подробнее расскажу в следующем томе.

Вероятно, слишком сильное обаяние делает очень красивых женщин совершенно невыносимыми, они кажутся приторными. Мужчины гораздо лучше — и дольше — способны выдерживать интенсивность этой притягательной силы, держась в некотором отдалении и время от времени улавливая исходящие от нее сполохи. Но когда процесс вершится у нас на глазах — украшая женщину манящим, соблазнительный орнаментом — мы рискуем уподобиться служанке Мольера, на которой поэт, как рассказывают, испытывал колдовскую силу своих новых комедий. Она знала, что все эти находки будут гениальными, поскольку предназначены они отсутствующей пока публике, которая, в парче и

драгоценных камнях, появится в нужный момент в свете люстр, а она так и останется служанкой с тряпками в руках: нужно снять грим с лица хозяина и приготовить ему ванну.

— Отодвиньте ее как минимум метра на три. Она останется на насыпи, но на склоне, это ее защитит, и орудийный расчет ляжет, так он тоже окажется в безопасности и будет дальше вести огонь. Тогда фидаины смогут действовать с большей точностью, а устанут меньше. Дерево не будет мешать стволу пулемета, станет удобнее отвечать на встречный огонь. Вот, это что касается первого. А второй пулемет пусть обстреливает продольным огнем правую сторону долины и даже вон ту изгородь вдоль дороги, за ней могут прятаться бедуины.

Лейтенант Мубарак, суданец, стоял рядом со мной, среди фидаинов, как будто проводил инспекторский смотр. Он завораживал меня, его присутствие одновременно и тяготило, и умиротворяло. Казалось, едва взглянув, он заметил все недостатки диспозиции: ни одной ровной поверхности, плохо защищенным орудийным расчетам в случае опасности пришлось бы действовать вслепую. Прирожденный воин, он модифицировал линию обороны, и я понял, прежде всего, по

цвету кожи, а еще по умению применять военные хитрости, что он плоть от плоти пробудившейся Африки. Я ему сказал об этом.

— Это все Сандхерст[90]. Я просто использую на практике уроки школы классической артиллерии. А Бонапарта я изучал перед церковью Сен-Рош[91].

Вероятно, чтобы позабавиться, он сказал мне однажды:

— Посмотри на меня. Я ведь вызываю ужас. Потому что англичанин. Я африканец, но Африка тоже остров, как и Англия, с тех пор, как ваш Лессепс[92], играя бицепсами и трицепсами, разделил двух сиамских близнецов — нас и Азию. Благодаря этому пройдохе Африка от вас ускользнула и теперь плывет себе. Посмотри на меня, видишь

---

[90] Примечания: 90

Военное училище сухопутных войск (расположенное близ одноименной деревни). (*Прим. перев.*)

[91] Примечания: 91

В 1795 году, во время вооруженного выступления роялистов, церковь Сен-Рош оказалась местом жестокой схватки мятежников с войсками Конвента, которыми командовал молодой генерал Наполеон Бонапарт. Будущий император приказал стрелять по роялистам прямой наводкой из пушек — следы канонады до сих пор видны на фасаде храма. (*Прим. перев.*)

[92] Примечания: 92

Лессепс, Фердинанд-Мари, виконт де (1805–1894) — французский дипломат, руководитель строительства Суэцкого канала. (*Прим. перев.*)

паруса за спиной?

Офицер, в данной ситуации он с ходу понимал расстановку сил.

— Это война, мы сражаемся, мы побеждаем. В этом весь человек.

Внезапно он явился передо мной таким настоящим, цельным, без этих своих пустячков и безделок; не то, чтобы они придавали ему женственности, напротив, они казались мужественными до мальчишества, и, тем не менее, представлялись какими-то дополнительными игрушечными деталями, как будто их достали из дамской сумочки. Без этих деталек играть нужно было не в соблазнителя и кокотку, а в охотника и дичь. Даже не взгляд его, а форма носа, мускулатура шеи указывали, откуда придет опасность. Фидаины быстро его поняли. Перестав быть мальчишками, влюбленными в пастуха с его козочками, они подчинялись как солдаты. Эта новая диспозиция была устроена умно. Даже я, ничего не понимающий в системе защиты, почувствовал радость, это было облегчение оттого, что слабые места оказались прикрыты. Видимо, прежде я смутно ощущал их уязвимость. Преимуществом этой новой диспозиции являлось то, что теперь пулеметы были задействованы на полную

мощность. С этого дня я стал смотреть на Мубарака по-другому. Он сидел на траве возле первого пулемета, и теперь, когда я думаю о нем, вижу его именно таким. Командиру наводчиков он указал точно, вплоть до полукруга, место обстрела, когда враг окажется напротив. Он опрокинулся на спину, немного покурил, прикрыл глаза. Рядом со мной вытянулся на траве африканец. Цвет кожи, обнаженный торс, мышцы, черты его лица, несмотря на племенные насечки… мне казалось, что все это, родом из Африки, там и было вылеплено, высечено и окончательно обработано ради битвы, непосредственной борьбы, военной хитрости или бегства.

Мимо нас на муле проехал муж той крестьянки, которой принадлежало поле.

— Урожай у него не очень хороший. Он потребует возмещения убытков, и ФАТХ заплатит. Будь я человеком порядочным, то подсказал бы ему, что сумму ущерба можно умножать на десять. Кувейт раскошелится.

— Ты думаешь?

— Да, но он тоже так думает, поэтому я и пальцем не пошевелю.

Мне кажется, я должен описать внешность Мубарака; хотя волосы у него были совершенно

гладкими, его называли Курчавым Мубараком. В двадцать пять лет он был чемпионом по легкой атлетике в своей суданской школе кадровых офицеров. Мои воспоминания порой многоцветны: в нем преобладала берлинская лазурь. Его руки, шея, плечи были мускулистыми; какой-нибудь мясник из Ла Виллетт, упаковав его и протягивая вам, сказал бы: «Он весит больше, чем кажется». Его усы, никакие не вьющиеся, были довольно скудными, он носил бакенбарды, как король Марокко. Он был гибким и мускулистым, эта глыба костей и мяса вдруг рождала мысли кристальной мелодичности, которая завораживала меня и убаюкивала.

— Территория — это ком земли, которую нужно очистить от сорняков, прополоть свою родину или свой сад или сквер или железнодорожную насыпь это значить сделать работу путевого обходчика или инженера дорожной службы, которым мало платят. Палестинцы даже не подозревают, что их ждет и какую работу нужно будет проделать, чтобы вырвать с корнем пырей, посеянный Израилем. Фидаины — хозяева мира, потому что разыгрывают смертельную карту.

Я услышал высокие звуки: в его смехе на басовых нотах гнездились колибри.

— Фидаины встревожены?

— Они счастливы. Ты же мне сам сказал. Или ты сошел с ума? Палестинцы счастливы, потому что знают толк в разрушении. Восстание придает сил восставшим, но убивает остальных. Они живут полной жизнью, потому что ломают всё вокруг. Они кайфуют. Сначала от энтузиазма, который действует на них, как наркотик, от героизма и патриотизма, которые их опьяняют, потому что самолеты часто взрываются на лету. Думаешь, я говорю с тобой, как какой-то необразованный негр? Ну и фиг с ним, если бы однажды они должны были, как говорится, обустроить вновь обретенную территорию! А сейчас они живут мечтой, палестинской мечтой. Надолго ли? Наверное, до того дня, когда… когда… Жан, как правильнее сказать: когда или пока?

— Пусть тебя это не волнует. Смелее.

Я услышал еще несколько колибри.

— Они живут палестинской мечтой до того дня, пока Советский Союз не ткнет пальцем в какую-нибудь гору на глобусе и сделает ее модной и знаменитой. Революция будет по-прежнему палестинской, но называться будет, например, кардильерской революцией. Быть движущей силой восстания, пусть локального, в какой-нибудь

крошечной провинции, всё лучше, чем возделывать свой садик.

— Почему?

— Ну, прежде всего, потому что восстание — это величина постоянная, это нечто бесконечное, и надо верить в вечное повторение. Включиться в палестинское движение значит принадлежать бессмертному Дьяволу, который испокон веков сражался с Богом и будет сражаться. Палестинское движение, как и любое движение, неизбежно привязано к определенному времени, но закреплять свои победы в каком-то нелепом пространстве оно не должно.

— Для фидаинов возможно, если они играют за себя, тогда да, а для палестинцев? ведь они помнят, что лагеря когда-то были палестинскими деревнями?

— Глупости идеологов, амбиции так называемых руководителей.

— Ты пришел с палестинцами. В Джераше ты наорал на меня. Ты прощал мне, что я поддерживаю политику Помпиду, а сегодня ты изображаешь художника.

Он улыбнулся и стал еще обаятельней:

— Так значит, ты признаешь!

— Что?

— Что (он помедлил и торжественно повторил: «что») я — падкий на всякую дешевку негр. Скажи-ка, ведь для белого ты не совсем идиот, что́ больше всего бесит весь мир, особенно арабский мир? То, что мечта палестинцев упорна, как и их существование. Для королей и эмиров революция стала чем-то вроде насыщения атмосферы углекислым газом. Они, все эти короли, эмиры, белые европейцы вынуждены дышать углекислым газом, а для палестинцев это кислород. Они в нем существуют. Если бы они так и оставались куколками в коконах, их еще можно было бы выносить. А они прорвали кокон и взлетели. И бросают бомбы.

Мубарак насмехался. Наклонившись, он стал подбирать под изгородью лесные орехи молочной спелости.

— Не люблю арабов.

— Ты прекрасно говоришь на их языке.

— Я негр, меня заставляли, но я анимист. Мой единственный учитель и покровитель, которого я признаю, это еврей Спиноза. Главный мой упрек арабам — это опьянение: вином, гашишем, песнями, танцами, Богом, любовью, но когда они просыпаются, опьянение рассеивается. Начинается похмелье. Палестинцы еще не проснулись.

Они все пьяны. Поэты.

Внезапно он резко перешел на другую тему:

— Когда делаешь политический выбор, он должен быть очевидным, а если выбор революционный, вернее, революционное головокружение, пусть все и будет как будто в тумане. Главное, не пытайся понять, негры не рассуждают, они танцуют.

— Ты много рассуждаешь…

— А как ты меня представляешь? На меня давит груз пороков. Если признаться под пытками, когда сил больше нет, чтобы обмануть палача, такое признание ничего не стоит, это никакое не признание, скажешь и то, чего нет. Твой дар наблюдателя (тут его голос стал еще более мелодичным, нет, не слащавым и приторным, напротив, чистым и прозрачным, но ласкающим, и я был уверен, что сейчас последует что-то обидное) довольно посредственный, ты дал мне прозвище, которое подходит миллионам мужчин и женщин: Курчавый Мубарак, а волосы у меня совершенно гладкие, хотя и жирные.

— Курчавые будут владеть миром.

— Ну, это совсем не факт. И потом, что за судьба! Владеть миром, потому что у тебя борода и волосы, как пружинки.

— Послушай, как-то я путешествовал по Бразилии, из столицы в Каролину, это город, он стоит на слиянии Токантинса и Амазонки, летел на маленьком самолете, мест на двадцать-двадцать пять. Мы летели над горами, и самолет то и дело пикировал в воздушные ямы. В самолете одни белые, в основном плантаторы, торговец животными с детенышами тигра размером с кошку, крошечными пантерами несколько месяцев от роду, какие-то копы в штатском, один врач.

Поскольку воссоздать событие по тому, что именуется *разговорным языком*, не представляется возможным, мне лучше записать этот рассказ. Итак: солнце хлестало по обивке самолета, а мы проваливались в воздушную яму глубиной тысяча или две тысячи метров, а может, и метров двадцать, я не знаю. Страх, но не тот, что вызван игрой воображения, а немой страх каждого органа: печени, почек, кишечника, сердца, легких, крови, гипофиза, желудка, они, как молчаливые существа, подвешенные над землей, ожидали очередной посадки, чтобы возродиться и продолжать жить, это был страх всего тела. Плантаторы, у каждого из которых имелось не менее пяти тысяч гектаров земли, что-то сказали мне без улыбки, ведь они желали походить на

своих предков-португальцев, что так и остались бледными, бросив вызов тропикам и экватору. У каждого были тонкие усики, бесстрастные, вытянутые лица, как у Мишеля Лейриса, а то, что они мне сказали, казалось очень банальным.

— Кто это?

Пожав плечами, я ответил:

— Кто знает?

Это я Мубараку.

— Они не проявили никакого любопытства ни к моей особе, ни к цели путешествия, но каждый раз, когда самолет проваливался в воздушную яму, я боялся за них. Ты пойми, на земле их гектары, на которых трудились чернокожие, внушили бы мне неприязнь к ним, но в небе, в самолете, по которому хлестало солнце, каждый из них было всего лишь мешком с органами, скрюченными в сумраке тела, и это единственный раз, когда люди были мне братьями. Если бы вдруг самолет упал, а мне почему-то была бы оставлена жизнь, я мы молился за упокой их душ. Вот что сказал мне самый белый, самый суровый и самый богатый плантатор:

— Это европейцы, а я-то чувствую себя американцем с ног до головы, американцем с ног Америки до головы Америки: ее ноги, ее оси-

ная талия, ее плечи и ее голова. Мы ничего не имеем против негров, и я, как и все другие, пью калифорнийское шампанское, когда Король Пеле забивает гол, и устраиваю вечеринку, если благодаря его голам Бразилия выигрывает мировой кубок. Вы меня понимаете, *сеньор*? У меня не слишком хороший французский, но вы же меня понимаете, я учился в Китае.

— На Формозе?

— В Красном Китае. В те самые времена. Я уважаю Пеле, вы-то меня понимаете, а вот те, что сидят за нами, не понимают. Они немцы и, вероятно, евреи, но негров мы должны остерегаться. Они нас захватили.

— Черные захватили белых?

— Да, *сеньор*. И уже давно. Отправляйтесь в Северную Каролину, негры там селятся на берегу реки, а американцы на холме. А если поедете на северо-восток Бразилии, в Баию, то убедитесь, что это Африка.

Как это всегда бывает в Бразилии, приземление оказалось довольно жестким. Самолет позволил себе лишь короткую промежуточную посадку, чтобы высадить трех немцев и выгрузить почту. Мы снова взлетели.

— Должен вам сказать, — снова заговорил

бразилец, — о наших природных богатствах слишком много болтают: дикие животные сидят в клетках, деревья ценных пород вырубают на корню, а еще наш каучук, скала Рио, пляж Копакабаны, наши змеи; на самом же деле, прибыль из всего этого извлекают несколько американцев, они живут этим. А нас задавят негры и мулаты.

Мы кружили над квадратной грядкой капусты; по мере того, как самолет снижался по спирали, я видел, что кочаны увеличиваются в размерах, стебли вытягиваются, и вот капуста превращается в рощу королевских пальм.

Мне рассказывали, что на полях этой провинции Бразилии выращивается много марихуаны, дающей несколько урожаев в год. Но я ничего не заметил, мое внимание было поглощено уникальными королевскими пальмами и грифами урубу. Огромные черные птицы садились на банановые листья так легко и невесомо, что листья даже не дрожали, когда же они взлетали, широко раскинув крылья, усилие было таким мощным, что ствол дерева гнулся. Думаю, даже бомбардировщик B52, отрываясь от земли, меньше беспокоил окружающее пространство. Когда мне пришлось вернуться в столицу, друзьям пришла в голову мысль отвести меня на

берег Токантинса, познакомить с одним индейцем; он был очень красив, двадцати семи лет, с миндалевидными глазами и гладкими волосами. Он весьма любезно поприветствовал нас и представил *своей семье*: жене, негритянке, и четверым мальчишкам с курчавыми волосами. Я не в состоянии передать печаль его голоса, могу лишь повторить слова, которые звучали, будто он зачитывал свидетельство о смерти:

— Посмотрите на цвет их кожи и волосы. Я живу среди чужаков, а ведь это моя семья. Я хожу рыбачить, чтобы их накормить. Когда я родился, мое племя насчитывало пятьсот мужчин. Сейчас пятьдесят. Я не чувствую, что старею, но вижу, как умираю живым, умираю не от старости, с морщинами и седыми волосами, а просто занимаю все меньше и меньше места в семье, которую сам создал, я становлюсь тоньше, мои очертания стираются, вокруг меня индейцы производят на свет негров. Еще живой, я наблюдаю агонию «моего племени».

В хриплом смехе Мубарака пробудился выводок колибри.

— Ты хочешь сказать, что моя мать питалась мясом индейцев? Тогда у меня волосы должны были бы закручиваться, как пружинки, а они

мягкие. О, хорошо же ты меня знаешь! Когда я смеюсь, колибри не поют. Будь у тебя хороший слух, ты бы сказал, что они вздыхают. Ты мне рассказывал о палестинском сержанте, черном, который велел подать ужин тебе одному, а потом позволил фидаинам обкусывать кости и вылизывать соус с твоей тарелки, думаешь, я не видел, какая нас подстерегает опасность? Потому-то мы до сих пор и прислушиваемся к сторонникам рабства, сами того не желая. В тот вечер сержант просто хотел отделаться от тебя, от тебя, вскормленного не объедками, а равенством.

— Поясни.

— Если мы все делаем для того, чтобы рабство продолжалось, значит, ни эпоха, ни пространство, в которых мы живем, еще не достигли запредельного цинизма. Негры! Ты и не представляешь, как они почитают нотную азбуку, где половинная нота с точкой — абсолютная величина.

— Ты груб.

— И вульгарен. Я себя знаю. Я смотрю на себя и слушаю себя. Я показывал тебе свое завещание?

— Никогда. В твоем возрасте завещаний не составляют.

— Хочешь посмотреть?

Он сунул руку в карман.

— Нет.

— Взгляни.

Из-за подкладки брюк цвета хаки он вынул клочок бумаги размером с ноготь.

— Можешь читать по-арабски?

— Плохо. Вижу, что есть дата и подпись.

— Перевожу: хватит одного савана. Гроба не надо, сэкономьте четыре доски. Когда я умру, хочу поскорее сгнить.

Он сложил свое крошечное завещание.

— Где ты его хранишь?

— Рядом с левым яичком, в общем, завещание возле члена, членовещание. Слушай, тогда, в бразильском самолете, ты и правда любил этих португальцев?

— Слово любить слишком сильное. Самолет, ныряющий в воздушную яму, был единственной нашей вселенной. Вы там, внизу, были для нас или выжившими или мертвыми. Гораздо менее реальными, чем воздушный винт. Кроме этой вселенной ничего у нас не было. Исчезло всё, что меня отталкивало от этих плантатором, у которых землю обрабатывали негры: в этой стальной машине они стали такими понятными, как я сам.

— Но ты собирался молиться за них?

— Единственная услуга, какую я мог им оказать. Ты бы подумал о том же самом.

Я больше не слышу, что он мне ответил. Огромную фиолетовую мускулистую массу еще можно было разглядеть, но расслышать — уже нет, теперь это был голос копошащихся где-то далеко муравьев.

Поймите, я пытаюсь повторить то, что сказал человек двадцати пяти лет, умерший, к тому же, уже давно, лет двенадцать назад. Читатели скажут, что я еле ворочаю «ослиной челюстью», старой и заржавленной, но каждое воспоминание подлинно. Порыв свежего ветра возвращает скоротечной жизни ее минувшее мгновение, безвозвратно минувшее. Каждое воспоминание, почти как капля духов, придает ушедшему в прошлое мгновению не то чтобы прежнюю свежесть тех самых времен, но иную свежесть, я хочу сказать, оно заставляет прожить другую жизнь. Книга воспоминаний столь же мало правдива, как и роман. Я не смогу воскресить Мубарака. То, что он говорил мне в тот день и в другие дни, никогда воссоздано не будет. Совершенно очевидно, что бразильское путешествие я описать смог, но как ответить мертвому? только красивыми

словами или молчанием.

Так, наверное, бывает со всеми словами, но прежде всего, с теми, что означают жертвенность, особенно самопожертвование, самоотречение, самоотверженность. Начертать их в знак почтения тому, кто отважился прожить их, эти слова, и ради них умереть, деяние неблаговидное, а памятники погибшим на войне изобилуют этими приношениями, за которыми нет боли.

Говорят, парашютисты видят, как на них надвигается земной шар с нарастающей по мере их падения скоростью, и чтобы записать слова, которые я только что произнес, мне следует быть особо внимательным, не пытаться утаить ни наивности, ни притворства, свойственных молитвам, это хуже, чем почести и выражения признательности. Написать слово «жертвоприношение» — это нечто совсем иное, ведь принести что-то в жертву, тем более, если это «что-то» твоя жизнь, означает увидеть, как мир исчезает с такой же скоростью, с какой земля надвигается на парашютиста, которого сейчас лишит жизни. Тот, кто жертвует своей единственной жизнью, должен иметь право на могильную плиту тишины и небытия, которая укроет его и поразит своей нереальностью любого, кто произнесет имя или

напомнит о подвиге, ставшем причиной этой окончательной немоты.

Вспомнился вопрос Мубарака:

— Слушай, Жан, ведь экипаж — это коляска для пассажиров, да? И в то же время это военные в танке, например. Вот почему так?

Две недели спустя после изменения Мубараком диспозиции враги, то есть, бедуины и черкесы, напали ни спереди, ни с правого фланга, откуда можно вести продольный огонь, а сзади.

Многие фидаины были убиты, другие попали в плен к бедуиным и отправлены в лагерь Зарка в пустыне, а сириец-мусульманин с черной всклокоченной шевелюрой и такой же бородой убежал ночью и спасся. Я узнал об этом, вернувшись из Бейрута.

Двенадцать лет спустя, в июле 1984, я возвратился в Аджлун. Крестьянское хозяйство было на том же месте, но владельцы поменялись. Было непросто объяснить им, каким образом я оказался здесь в 1971. Думаю, бывшие хозяева, пожилые мужчина и женщина, друзья палестинцев, бросили все, чтобы спастись, уйдя с фидаинами, а может, их убили и даже пытали их же соседи. Где они похоронены? На своей земле? Далеко? А возможно, во времена нашего с ними

знакомства они были шпионами, хитрыми, как тот израильтянин, что симулировал безумие в Бейруте, где потом появился в униформе полковника ЦАХАЛа.

В Бейруте Мубарак ударился в загул, не зная, вероятно, о трагедии в Аджлуне.

Зимой во Франции иней на стеклах восхищает ребенка, разглядывающего белые причудливые папоротники, наблюдающего за их медленным, но неминуемым исчезновением под воздействием комнатного тепла и его собственного дыхания; проворство фидаинов, стремительно скрывшихся среди бела дня в зарослях кустарников на склоне, меня ошеломило, а еще помню хитрую белку, которая только что сидела во мху, а ее глазки то шарили вокруг, то останавливались на мне, и вот она уже раскачивается на ветке, выбрав самую шаткую, и ей там очень удобно. Всё радовало глаз. Само животное, его стремительность, хвост, дерево, камни, и я был всему этому причастен. Может, фидаины разыграли меня? И только теперь мне захотелось бы стать деревом, чтобы посмотреть со стороны, какими они были со мной? Кто был я среди них?

Четвертая стена сцены опустится, и действующие лица станут просто лицами; поскольку актер

стоит передо мной, я уже не вижу его спины. На экране актриса несет сумку, но что в ней? Что под платком или за ним? Фидаины, их командиры, их поступки, палестинская революция, всё стало зрелищем, я увидел фидаинов именно тогда, *когда я их увидел*, а выйдя из так называемого угла рассматривания, угла между поверхностью фиксации и глазом, они пропадали. Наверное, самым удачным словом было бы «испарились». Куда они ушли? Когда вернутся? Откуда? Что им там делать? Они были возникающими-исчезающими призраками, от этого их существование казалось более убедительным и вещественным, чем у вещей, которые никуда не денутся и никогда не испарятся; точнее, существование фидаинов было таким основательным, что делало возможным подобные мгновенные, если можно так сказать, учтивые исчезновения, дабы не утомлять меня настойчивым присутствием. Этим стремительным, многократно повторяющимся вибрациям не могла сопротивляться шестидесятилетняя нервная система. Когда слова «палестинская революция» произносят вслух, на меня словно надвигается недолговечная, но плотная тьма, в которой перемещаются светящиеся и красочные образы, со злостью изгоняя один другой. Так, на-

пример, Феррай появился на свет в двадцать три года, сидя на траве, и улыбаясь, спросил, марксист ли я, и весь вечер его существование прочитывалось во мне так явно, что один его товарищ, Абу Насер, раздраженный нашим единым — моим и Феррайя — кровообращением, процедил сквозь зубы, указывая на нас:

— Я сразу понял, что эта парочка поладит.

Это согласие, о котором мы никогда не говорили ни между собой, ни с другими, было тайной только для нас.

Оно было очевидно всем, но особенно раздражало Абу Насера: он словно был отторгнут от нас этим согласием. В тот вечер, разговаривая со всеми, я разговаривал только с Феррайем, впрочем, его это не покорило, а лишь развлекло, мне казалось, он говорил для меня одного, а ему просто нравилось дразнить товарищей. Феррай исчез, потому что я покинул базу. Это было первое исчезновение Феррайя, а тем, кто пришел на его место, явив четкое и резкое изображение, оказался его противник, Абу Насер.

Сейчас мне кажется, будто я — камера-обскура, где демонстрируют диапозитивы без субтитров. Если сказать, что мои дни среди воинов состояли из внезапных исчезновений — это не будет

ложью, но и к этим исчезновениям, и к этим появлениям, я могу добавить лишь одно прилагательное: вибрирующие.

Для вас, для меня Израиль, в котором я никогда не был, представлялся чем-то вроде стрельбища, где иногда то там, то здесь попадались банки, вычислительные машины, гранд-отели, где ели кошерную еду, и всюду ловушки, обстрелянные автобусы с детьми, по улицам снуют танки, которыми управляют близорукие безусые юные философы с глазами цвета незабудок, в очках с бифокальными стеклами, в рубашках в сиреневый цветочек и с короткими рукавами, слишком широкими для их худых волосатых рук, — именно так выглядели пехотинцы ЦАХАЛа, которых я увидел на въезде в Бейрут, на дороге, ведущей во дворец Баабды 15 сентября 1982.

На рекламных афишах и плакатах, призывающих туристов посетить Израиль, — деревья в пустыне, предмет особой гордости. С шекспировской изобретательностью Земля Израильская захватывает территорию лесами. Один из них заканчивался возле деревни Маалул под Назаретом. Дома палестинцев заминировали, а затем взорвали, как это было принято в те времена. А лес продолжал наступать. Выцарапываясь

из-под корней деревьев, из земли прорастали фундаменты и погреба. На каждую годовщину того, что именуется праздником Освобождения, Израиль приезжает посмотреть, как растут деревья, каждое из которых носит имя посадившего его человека. Бывшие жители деревни или их потомки палестинцы, все арабы-мусульмане, тоже приезжают на пикник. Первые, что были когда-то последними, смеются, опьянев. Последние, которые были первыми, рассказывают, кем они были. Всего лишь на несколько часов, меньше, чем длится Обон, день поминовения усопших в Японии, они, как могут, вновь взывают к жизни умершую деревню. Рассказывая молодым, они уточняют одну подробность, другую, уверенные, что делятся воспоминаниями, а на самом деле всё приукрашивают, они выдумывают эту деревню, такую радостную, счастливую, такую далекую от нынешней их печали, что от этого все становится еще печальнее, но понемногу, по мере того, как эта новая воображаемая деревня обретает жизнь, их печаль уходит. Все они, молодые и старые, неуклюже принимаются танцевать танцы прежних времен. С собой они принесли баночки с акварелью, и на земле, на деревьях, на растянутой холстине палаток они рисуют

прежнюю реальность и сегодняшние фантазии. Этот праздник возрождения для палестинцев из деревни Маалул — праздник для мертвых. На один день появляется деревня, всего лишь воображаемая — но очень яркая — репродукция усопшей деревни Маалул, что была сначала просто предана, а затем предана огню, так, наверное, Нью-Йорк пожелал сделаться копией города Йорк. Если кто-то хотел войти в дом, он обходил кругом дерево с нарисованной на стволе дверью, чтобы подняться на второй этаж, молодые палестинцы в джинсах карабкались по веткам; здесь два слова оказывались особенно необходимы: возрождение, которое на один день обретало особый смысл, и ностальгия, болезненное возвращение, которое не подразумевало борьбу за настоящее возвращение, но разве это не похоже на то, как в Бретани и в кельтских городках возле ручьев, в зарослях кустарников вдруг появлялся волшебный народец фей, изгнанных римлянами, а затем христианским духовенством. Каждый год феи приходят на праздник, и многие живые напуганы этими песнями, из которых им понятны несколько слов, иногда фраза целиком, смехом, шутками посреди деревни, выстроенной из всего понемножку. Так вполне реальное Государство

Израиль оказывается продублировано некой призрачной реальностью. Мне рассказала об этом однажды мадемуазель Шахид. Молодой палестинец по имени Мишель Хлеифи снял фильм об этой деревне и об этом празднестве.

Чтобы оскорбить молодых фидаинов, недостаточно сравнить похороны мусульманских лидеров с матчем регби, где мяч — это гроб, возможно, пустой, но как им сказать, что сама их борьба была смертельным праздником, заставляющим дрожать западную публику?

— Эти идиоты подожгут всю планету.

Эта игра — вырядиться поджигателями планеты — была игрой мальчишек, у которых отняли все игрушки. Забавно раздавить жестяной истребитель длиной десять сантиметров, расплющить ударом каблука, чтобы осколки разлетелись по аллее и попали в пруд, но куда забавнее пустить под откос скорый поезд, уничтожить настоящий авиалайнер, наконец, совершить то, что совершают эти дети в защитных очках с радостными лицами, признающие, как это здорово из танка Меркава стрелять по двадцативосьмиэтажным зданиям в Бейруте, смотреть, как эти здания складываются пополам, словно от приступа смеха, и, наконец, убедиться, что цемент, железные

балки, балконы, облицовочные плиты, всё, что составляло конструкцию и возвышалось надменно и горделиво, было низкого качества. Здание становилось белым облаком, чуть окрашенным серым ближе к фундаменту, и близорукие лица светились восторгом.

«Едва только в мозгу зарождалась мысль о стрельбе, а снаряд еще находился в стволе орудия, здание уже теряло устойчивость, кренилось, у него болел живот; а ведь наши глаза так долго слепли над комментариями к какому-то значку, над диакритической точкой, обнаруженной при помощи лупы в священном тексте».

Говорить о палестинском сопротивлении, как об игре или празднике, вовсе не значит относиться к нему легкомысленно. Палестинцам отказано в их домах, в земле, в паспортах, в нации, во всем! Но смех и блеск глаз?

Неужели это последнее замечание правдиво или хотя бы правдоподобно: «пусть молодые фидаины докажут, что у них есть чувство юмора, когда они развинчивают Запад на куски»?

Куклы-марионетки, которые дергаются на ниточках или повинуются пальцам кукольника под шелковыми одеяниями, вероятно, единственные, кому удается этот спектакль: сумеречный,

гнетущий, мрачный. Название спектакля звучит как предостережение: Театр теней. Именно эти персонажи и призывают смерть, эти картонные, деревянные персонажи, немые тряпичные куколки-принцессы или куколки-феи, надетые на десять пальцев, марионетки шевелятся и жестикулируют, скрывая в себе пальцы из плоти и крови, увенчанные не наперстком-капюшоном, а другим нарядом, они призывают смерть и самих мертвых, целую империю мертвецов, и это не будет казаться странным, ведь немота преодолевает все, именно в них, в этих персонажей кукольного театра, превращаются все мертвые, когда их окликают по имени. Эти марионетки на веревочках или надетые на палец, чьи изломанные силуэты — а может, это такой танец? — напоминают конфигурации скелетов на кладбище Кампосанто в Пизе, эти персонажи, крошечные, как куклы, найденные в кенотафах фараонов, оказываются так далеко, что голос, рассказывающий какую-нибудь историю, не может преодолеть расстояние до них, разве только и голос, и эта история не принадлежат самим куклам.

Но они так безразличны к рассказу и голосам, что ты понимаешь: всё-таки это не их голоса и не

их история, а может, вообще всё, что скажут о нас после смерти, фальшиво не только по смыслу, но и сам звук фальшив. Пожалуй, из всех событий, указывающих нам на ничтожность смерти, именно куклы являют тому самое ясное подтверждение. Между приглушенным или зычным голосом кукольника и неуклюжими движениями марионетки на ниточке никогда не будет слаженности. Даже голые, без оборок, мои десять пальцев живут — танцуют — своей жизнью, независимой от меня. А что будет после моего последнего вздоха? Все эти написанные мною прежде строки были нужны, чтобы объяснить: я измерил расстояние — хотя это очень неточное слово, как, в самом деле, измерить расстояние, если оно всего лишь переживание? — отделяющее того Абу Омара, каким он был, героя моего рассказа, от него, утонувшего.

— Арабы-феодалы бывают разные, — сказал он мне в сентябре 1972. — Есть эмиры, владельцы нефтяных месторождений, все они друзья Америки, а часто Израиля. У нас трудное положение. Притворяться, будто отказываешься от религии и собственности, делать вид, что изобретаешь новую мораль, значит вызвать гнев народа. Мусульманская религия и собственность — и земля,

и недра — помогли нам освободиться: от англичан, от французов, от итальянцев, от испанцев, от голландцев, и даже от самих американцев. Мы, я имею в виду мы, арабы, когда в вашем присутствии говорим об арабскости и арабизме…

— Это два разных слова. Я не отрицаю арабизм, это означает принадлежность к определенной религиозной и лингвистической общности. Но когда вы говорите об «арабскости», чем мне вам ответить? Немецкость, французскость? А в Израиле, выходит, еврейство?

— Тогда у нас с вами был бы совсем другой разговор. В данном случае «мы» означает мы с вами, *мы оба*, вы и я, но если «мы» это арабы, то вы не принадлежите этому «мы», мы, арабы, предоставили или просто оставили верховную власть сильным мира сего, которые, не обратившись за советом ни к народу, ни к Корану, поступили на службу империализму. Потоки нефти давно уже превратились в тысячедолларовые купюры или слитки золота, то есть, в денежные средства, и хранятся в надежном месте в погребах и подвалах Соединенных Штатов. В чем же наша тактика? Мы не предпринимаем решительных действий против наших правителей не потому, что они мусульмане, а как раз потому, что они таковыми

не являются. И никогда ими не были. Бог для них даже не слово. И уж конечно, не имя. Они знают только Золото, и ничего больше.

— Так как же действовать?

— Осторожно. У них есть оружие и преданная охрана, которой хорошо платят. Своими высочайшими именами они подписывали договоры с нашими бывшими колонизаторами.

Я не смогу к этому привыкнуть. Каждый раз, когда я вспоминаю, или мне кажется, что вспоминаю, слова Абу Омара, хотя я его не вижу, он здесь. Может, это говорит тень? Возможно, я сделал из него куклу-марионетку, и теперь, пользуясь приемами кукловодов или цирковых чревовещателей, заставляю шевелиться вялые губы. А как иначе разговорить утопленника или расстрелянного? Этим утром мне стала известна последняя версия его гибели. Их шлюпку, в которой они вдевятером плыли из Бейрута в Триполи, заметило сирийское сторожевое судно. Захватив их и отвезя на берег, сирийские военные передали его и восьмерых командиров, чьих имен я не знаю, катаибам, которые их и убили. Слово катаибы звучит странно: это члены ливанской фалангистской партии, основанной христианином Пьером Жмайелем. Явить вам Абу Омара в

виде куклы-марионетки это так по-театральному, мертвые, о которых рассказывают, сделались такими вот куклами, а тот, кто рассказывает — кукольником. Последние мысли Абу Омара об эмирах были приблизительно такими: «Стоит только упомянуть их богатства, оказывается, мы незаконно вторгаемся в их частную жизнь, когда мы о нем не говорим вовсе, им кажется, это их унижает, и они правы, потому что они сами существуют постольку, поскольку существуют их богатства. «Я мусульманин, ты тоже, разве мусульманин может обвинить другого мусульманина?» Вот типичный аргумент, когда речь идет об отношениях эмир-фидаин».

Нищие мусульмане боятся сурового Бога, который покровительствует эмирам.

— Вы видели, Жан, сколько трудящихся поглощают эмиры? Куда там ваша компания Дассо. Ни одного ужина без пары-тройки хорошо пропеченных шиитов.

В последнюю нашу встречу он повел меня на обед на виллу из тесаного камня в Джабаль Аммане.

— Нас пригласил один человек, его зовут Шахрут. Он палестинец. Бывший мэр Рамаллы. Очень гордится, когда его называют беженцем.

Абу Омара пригласили как человека, близкого к Ясеру Арафату, но главное — потому, что он бывший профессор, ученик Киссенджера. На кухне хозяйничал швейцарец, накормили нас очень вкусно.

— Кто все эти люди в вашей гостиной? — спросил я.

— Посланники короля Хусейна. Он хочет, чтобы я вошел в его новое правительство. Да никогда в жизни. Лучше возьму оружие и пойду сражаться с иорданцами.

Через три месяца он уже был министром транспорта у короля Хусейна. И оставался на этом посту три года. Он согласился на это по договоренности с ООП? Может, он служил посредником между организацией и Хусейном, а через короля — с Америкой?

Все эти особы, которых я воскрешаю в памяти и тем самым возвращаю к жизни, напрягая слух: что они мне скажут? — по-прежнему мертвы. Литературная иллюзия не напрасна, то есть, не совсем напрасна, даже если читатель знает всё это лучше меня, книга ведь тоже под маскарадным костюмом слов стремится показать причины, одежды, пусть даже траурные, скелет и будущий прах от скелета. Автор тоже мертв, как

и те, о ком он говорит.

Осуществление предсказания или, вернее, неожиданное пророчество и его неожиданное — последующее — осуществление есть рельефный эквивалент той полости, которую нам явил кукольный спектакль. Видению смерти во всей своей неотвратимости противостоит иллюзия движения, и чем больше голос кукольника стремится к похожести, тем более безмолвной кажется эта иллюзия; именно это так долго мешало мне говорить о Хамзе, ведь, по словам многих командиров, он умер в пустыне, этой квинтэссенции безмолвия. Мне не только дозволено, мне велено говорить о Хамзе в имперфекте сослагательного наклонения, ему так к лицу это траурное покрывало. Официальный цвет траура у мусульман — белый. Но предоставить ему свой голос?

Как его пытали, если ноги после пыток почернели? Слишком много неизвестного, и любая выдумка здесь неуместна. Мне говорили, что полиция Хусейна и бедуинов — мастера своего дела, что вовсе меня не удивило, ведь я знал, что иорданцы — наверняка я сейчас вызову гнев палестинцев — люди невероятно нежные, значит, их полиция была спиртовой настойкой

свирепости и жестокости. И нет здесь никакого парадокса.

Из первичной популяции дистиллировалась популяция вторичная и захватила власть: это и была полиция. Если только нет более простого и правдоподобного объяснения: нежность и жестокость прекрасно уживались в одном и том же человеке, а возможно, жестокость, сама от себя устав, усмирилась, притворившись нежностью и даже добродушием, чтобы позднее показать свои клыки.

Кроме этих почерневших от пыток ног, я ничего не знал о том, как расправились с Хамзой. Дауд мне написал только: «Он так и не заговорил, бедуины требовали, чтобы он им рассказал, как сражался против них. Он все отрицал».

О его похоронах, о могиле, о произнесенных или невысказанных молитвах я ничего не знаю. Невозможно, нельзя превратить его в немую куклу, но забыть Хамзу, живого или мертвого, нельзя тоже. Запрятать его в глубине себя? Но как?

Говоря об Али, заставляя его произносить французские слова, которых он, вероятно, и не знал, а, возможно, это я не могу воссоздать их интонацию? я позволил ему превратиться в марионетку, так почему же я хочу отодвинуть Али от Хамзы и

на какое расстояние?

Слова, знаки, группы слов, группы слов и знаков, в которые преобразуются событие или явление, никогда не заменят самого события или явления. Я должен высказать эту изначальную истину, такова моя оборонительная позиция. Будь дело в обыкновенной морали, мне было бы все равно, солгать или нет, однако именно *мои глаза* увидели, именно *мои уши* услышали то, что я, как мне представлялось, описал. Я с самого начала не ставил цели информировать читателя о том, что есть в действительности палестинская революция, иначе выбрал бы другую форму рассказа. Само построение, устройство, компоновка повествования не то чтобы сознательно способствуют *искажению* фактов, просто всё сделано таким образом, будто я являлся свидетелем, возможно, привилегированным, а то и главным распорядителем. То, что я излагаю, я тоже, вероятно, пережил, но все-таки пережил по-другому, потому что хотя мое неуместное существование оказалось включено в целостность палестинской жизни, остались, тем не менее, некие оттиски, признаки, отзвуки моей предыдущей жизни, и временами ее — предыдущей жизни — события были столь яркими, что порой

приходилось стряхивать их с себя, как сон: я жил в этом сне, хозяином которого становлюсь только сейчас, восстанавливаю его картинки и собираю их воедино. И порой спрашиваю себя, а что если я прожил эту жизнь так, что мне придется выстраивать ее эпизоды согласно хаосу, свойственному образам из сновидений.

Столько слов, чтобы сказать всего лишь: *это моя палестинская революция*, изложенная в том порядке, который я выбрал сам. Наряду с моей существует и другая, а возможно, и другие.

Пытаться осмыслить эту революцию, вероятно, то же самое, что при пробуждении пробовать восстановить логику бессвязных картинок сновидения. Бесполезно придумывать заранее, как лучше переправиться через реку, когда паводком снесет мост. Если в состоянии полудремоты я начинаю размышлять о революции, она представляется мне именно так: хвост запертого в клетке тигра описывает размашистую кривую и устало опускается на спину хищника, по-прежнему сидящего в клетке.

— В конце концов, палестинцы собираются отобрать у евреев территорию, называемую сегодня Израилем, или еще сражаются, чтобы сохранить свою самобытность, свою непохожесть

на другие арабские народы?

— Мне кажется, скорее второе. Это поколение не будет жить в Палестине. В Израиле никогда не воцарится мир, а Палестина так и останется символическим гербом в семейных архивах, который чистят до блеска, чтобы предъявить на свадьбах или похоронах. «Мы палестинцы» произнести будет куда приятнее, чем «мы иорданцы».

— Почему же?

— Раз я палестинец, значит, у меня мифические корни. Я потомок филистимлян. Иорданцем я стал по мановению британской администрации.

— Вы сказал *это* поколение. А последующие?

— Историки утверждают, что хотя революция обошлась без Наполеона, всё же именно он сделал Европу Европой. Арабам был бы нужен человек…

— Ниспосланный провидением?

— Который объединит арабские народы по их доброй воле или насильно.

— Вы так думаете?

— Да.

— Вы ждете такого мессию?

— Не говорите мне о Мессии. Я атеист и вам это прекрасно известно. Каддафи так и не удовлетворил свои тайные или явные амбиции.

— Вы с ним знакомы?

— Да. Порядочный человек. Но у него было самое обычное воспитание, начиная с детства и до того, как он взял власть над сануситами. Он не изменился. После смерти Насера, которому удавалось его усмирять, он счел себя его преемником. Он не знал, что Садат — это расцвет буржуазии Нила.

— Насера вы тоже знали?

— Этот куда более хищный. Он-то ничей не преемник. Если Каддафи был по-женски вспыльчивым, Насер казался каким-то… погасшим. Он, если можно так выразиться, споткнулся об июнь 1967[93]. Вы сейчас пожмете плечами, эти события завершились благодаря де Голлю. Но мы однажды продолжим историю «казуз белли[94]».

— А что означает «обычное воспитание»?

— Верить в добро и зло — причем, пишите оба этих слова с прописных букв. Каддафи наивен. Оттуда и все его поражения. И еще как наивен! Захотел сойтись с Садатом!

---

[93] Примечания: 93

Имеется в виду «шестидневная война» (5–10 июня 1967 г.) между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой. (*Прим. перев.*)

[94] Примечания: 94

Casus belli — повод к войне (*лат.*)

Такой разговор состоялся у меня в 1982 году в Бейруте с одним очень влиятельным деятелем палестинского сопротивления. Неделей раньше он встречался с Асадом. Думаю, он воспринимал его как объединителя арабских народов. Это был диссидент ООП.

— У нас в лагерях есть добрые феи.

— Добрые феи? И что это значит? Это как — добрые феи?

— Это человек, который творит добро. Человек из Холиленда хочет творить добро.

— Ничего не понял из того, что вы сказали.

— Потому что вы француз.

Когда в 1984 я прибыл в аэропорт Аммана, меня принял директор Всемирного банка и его жена-американка, вернее, иорданка, как она на поправила несколько раз. Она сама себя поправляет.

— Мы только что с прощального коктейля, который давала жена посла Алжира. Вы читали ее книгу?

— Нет.

— А ведь о ней много говорили.

— Откуда вы знаете?

— Она показывала мне альбом с вырезками из прессы.

— А причем здесь добрые феи?

— Она одна из них. Часть своих гонораров она отдала беднякам королевства. Хотите познакомиться с королем?

— Нет.

— У нас есть еще одна добрая фея. Она святая. Все в Америке так ее и называют: «Святая».

— А что она делает, чтобы быть святой? Очень интересно.

— Она помогает людям из лагеря Бакаа. Каждое утро наблюдает за каменщиками и столярами, которые строят дома.

— Там строят дома?

— Да. Всемирный банк, который представляет здесь мой муж, ссужает деньги правительству, а государство дает их молодым семьям.

— А что такое Всемирный банк?

— Это благотворительная финансовая организация. Мы говорим «World Bank». Неужели вам не рассказывали?

— Ссужает деньги? И под какие проценты?

— Девять с половиной. Он дает сумму, эквивалентную ста пятидесяти тысячам французских франков. Иногда больше, но редко. Погашается за восемнадцать лет. На эти деньги нужно купить землю и построить хотя бы двухэтажный дом.

— Как же погасить такую сумму?

— Банк находит работу.

— И берет часть ежемесячной платы?

— Разумеется, но, по крайней мере, у главы семьи есть гарантированная работа на восемнадцать лет и собственное жилье.

— А если он захочет уйти раньше?

— Пусть уходит, но тогда он теряет право на дом. По крайней мере, не сможет купить его по твердой цене.

— А если он член профсоюза или какой-нибудь политической партии?

— Поймите меня правильно, король Хусейн и королева Нур, которых я прекрасно знаю, не могут терпеть рядом с собой людей, которые выступают против них, тем более, ссужать им деньги.

— Понятно, Мадам, а святая, что делает она?

— Она делает добро. Две недели назад у нас тут был один американский писатель, который пишет о ей книгу.

— И она согласна?

— Конечно.

— Тогда я знаю: в этом-то и есть святость.

— Ничего не понимаю, что вы говорите.

Так вот почему на лицах бывших фидаинов я

видел эту грусть: велико было искушение продать себя или сдать напрокат на восемнадцать лет. Америка держала на крючке Иорданию и этим тоже.

— Всемирный банк ссужает под такие-то проценты, мы ссужаем по новой за такие-то. На эти деньги ты должен купить землю от ста до ста пятидесяти квадратных метров в двадцати километрах от Аммана. Дом должен быть не выше трех этажей. Архитекторы составляют планы, ты выбираешь тот, который тебе нравится. И еще: ты должен всё вернуть за восемнадцать лет, но на эти восемнадцать лет мы нанимаем тебя на работу.

— Я буду собственником?

— Разумеется. Через восемнадцать лет, когда всё оплатишь.

— Но я же могу состоять в…

— В ООП? Нет. Израиль этого не потерпит. Всемирный банк тоже[95].

Начиная с 1970 года, особенно после сентября Палестину заполонило огромное количество арабской литературы, словно намереваясь поглотить ее. Сначала маленькими тиражами были

---

[95] Примечания: 95
Так было в 1984.

напечатаны разного рода практические издания. Некоторые на дорогой бумаге, белой или блестящей, где за восторженными словами и картинами Палестины не было видно ни народа, ни фидаинов. Бледно-тусклый мрак, снежная ночь скрывали всё, а снег не переставал падать, и всё, в самом деле, всё, ограда на лугу, фидаин в поту или в крови, рожающая женщина, пихтовый лес, лагеря, консервные банки, всё было покрыто толстым слоем слов, всегда одних и тех же, за которыми, в конечном итоге, исчезало всё, что имеет хоть какое-то отношение к настоящей Палестине: невеста, дикая молодая кобылица, вдова, беременная женщина, нетронутая девственница, королева арабского мира, буква *алиф*, буква *Ба,* начинающие суру Аль-Фатиху, сонм других слов, других образов, других поэм, и всегда Палестина была женщиной. Гиперболы нужны для того, чтобы дать представление о борьбе, но я спрашиваю себя, а что, если задача была совсем другая: сделать эту борьбу нереальной до такой степени, чтобы она стала поводом для стихотворения. Впрочем, происходили странные вещи, эти стихотворения, написанные и опубликованные в Марокко, в Алжире, Тунисе, Мавритании, наверное, относило ветром к палестинцам, а

потом они снова падали на страну, в которой были написаны. Я не имею в виду добровольцев, которые отправлялись автостопом, в одиночку или группами, чье количество нельзя было сравнить с количеством поэтов, но поневоле мне думалось: что если арабский мир все-таки не смог противостоять искушению превратить борьбу в стихотворение. Преимуществ множество: сэкономить силы и не утруждать себя необходимостью добираться до поля сражения, избежать ранений или смерти, доказать другим и самому себе, что слова тебе подчиняются, сделать нереальной палестинскую борьбу и тем самым оправдать нежелание покидать Университет Туниса: ради нереальной борьбы не стоит двигаться с места.

Многие из этих изданий были напечатаны на такой роскошной бумаге, что я думаю, а не поставляет ли ее ООП? А может, каждый поэт получает зарплату за свой талант? В 1972 мне говорил об этом Дауд Тальхами:

— Многие арабы хотят, чтобы их напечатали в «Афэр Палистиньен». При этом запрашивают бешеные суммы[96].

Еще стоит заметить, что стихотворений этих

---

[96] Примечания: 96
Уже в 1982.

стало больше, когда бедуины разгромили Сопротивление. О его возрождении говорили куда с меньшим восторгом, чем о позоре, павшем на Хусейна. У арабских поэтов слезы на глазах появлялись быстрее, чем на губах у командиров — военные приказы. Поэтической продукции становилось все меньше. Эти наблюдения мне приходится записывать на каком-то счете ввиду нехватки японской бумаги высшего качества.

Сказать или написать, что мир был размежеван и каким именно образом — это еще не само межевание. Написать, что палестинцы познавали географию, когда перемещались из одного аэродрома в другой — это не террористический акт. Поскольку революция не завершена, имею ли я не только право, но и возможность описать хотя бы ее часть? Сейчас она выдохлась, но может окрепнуть в любой момент. Какой-нибудь пастух-кочевник в Египте или монгольской степи, возможно, потомок XVIII фараоновской династии. Он пасет своих баранов и хранит тайну своего царства, не открывая ее никому. Однажды он вновь обретет трон и руку своей сестры.

— Скажи-ка мне, Жан, в какие времена после смерти Пророка это пресловутое единство арабских стран, действительно, было единством? При

омейядах? Но ты ведь знаешь про борьбу между Али и Маувией, и что началось после смерти Мухаммеда. При Аббасидах? Омейядский халифат был весьма могущественным в Испании. Между берберами и арабами всегда велись войны, даром, что и те, и другие мусульмане. Османы? Два десятка нынешних арабских государств? Единство арабских народов — всего лишь мечта. Три индо-европейских государства мечтали о нем, оно так и не осуществилось, но о нем мечтали, пока эти мечты не лопнули в 1789.

Возьмем Францию, ты мне говорил о лингвистическом единстве арабского мира, так вот, возьмем Францию, лингвистическое единство установилось уже давно в результате определенного процесса, но разве под этим единством, под этой залакированной однообразной поверхностью ты не замечаешь бурления? Бретань, Корсика, Эльзас, Фландрия… Я напоминаю тебе господина Оме[97], правда?

Это опять лейтенант Мубарак, наш разговор в Бейруте, в гостиной отеля Странд. На сей раз черный парень был облачен в пятнистую маскировочную одежду от Пьера Кардена. Лейтенант

---

[97] Примечания: 97

Персонаж романа Г. Флобера «Госпожа Бовари». Амбициозный авантюрист. (*Прим. перев.*)

был один. Он как раз собирался уходить. Поздоровался со мной и спросил, как я поживаю. Видимо, Аджлун был давно забыт. Я увидел Камаля Насера, дружески поприветствовал, не зная о том, что несколько недель спустя он будет убит длинноволосыми израильтянами, прибывшими, как мне рассказывают, морем из Хайфы в Бейрут.

— Тебе надо добавить это в книгу: кому-то кажется, что такого не может быть, но у нас в стране имеются племена, которые знают — так и напиши: «знают» от слова «знать», а не «верят» от слова «верить» — что Израиль поедает своих мертвецов. Поэтому у них такие крупные и тяжелые фрукты, от которых ломятся ветки.

— А при чем здесь это?

— Хорошее удобрение. Качественное питание… много белков.

Его брат полковник находился в оппозиции к Нумейри. Должно быть, сейчас в Хартуме он при власти[98].

Мубарака, ощущавшего собственное бытие лишь через мое смущение — как он объяснил мне, потому что он черный — можно было бы сравнить с какой-нибудь волнующей местно-

---

[98] Примечания: 98
1985 год.

стью: вроде бы там нет ничего пугающего, но и сто лет спустя оно способно вызвать то же смятение у настороженного человека. Написав чуть выше: «если я умру, значит, ничто не умерло», теперь я обязуюсь быть понятным. Изумление перед васильком или скалой, ласка огрубелой ладонью, миллион переживаний и чувств, из которых я состою; я исчезну, а они нет: их испытают другие люди, благодаря им эти переживания останутся. Я всё больше и больше верю: я существую, чтобы стать доказательством того, что живы лишь беспрерывные чувства и переживания, сменяющие друг друга в этом мире. Блаженство моей руки в мальчишеской шевелюре познает другая рука, она уже его познает, и когда я умру, это блаженство останется и будет длиться. «Я» могу умереть, но то, что позволило жить этому «я», что сделало возможным счастье бытия, сохранит это счастье бытия и после моей смерти.

Году в 1972 Махмуд Хамшари привел меня к итальянскому писателю Альберто Моравиа, чтобы я встретился в его доме с палестинским литератором Ваилем Зуайтером, который год спустя был убит.

Странно, но Италия, некогда такая легкая, вдруг показалась мне тяжеловесной и грузной, словно

бродячая жизнь фидаина. Итак, я вернулся туда в мае 1972, проехав всю Турцию, ее европейскую и азиатскую части, Сирию и Иорданию. На следующих нескольких страницах я немного расскажу о Турции.

«*Странная отдаленность*», скорее, холодное осуждение, не позволяющее мне сблизиться с другими. Не меньше пяти лет, проведенные вдали от них, будто женщина-мусульманка, прячущая за вуалью взор скорее живой, нежели глубокий, я искал во взглядах других тончайшую шелковую нить, которая должна была бы нас всех связать, обозначив непрерывность бытия, нить, которую улавливают оба взгляда, погруженные один в другой, но без влечения. Эти пять лет я жил в невидимой будке часового, откуда можно говорить и видеть кого угодно, потому что я сам был отколовшимся обломком остального мира. Я не мог больше погрузиться в кого бы то ни было. Египетские пирамиды обладали значимостью, силой, величием, основательностью пустыни и ее глубиной, равной глубине пригоршни песка; ботинок, шнурок на ботинке обозначали то, что обозначали, ничего другого, разве что приобретенная в детстве привычка до сих пор мешала мне обуть пирамиды иди пустыню, любовать-

ся розовым утренним сиянием вокруг моих ботинок. Самые красивые мальчики обладали значимостью, силой, величием, а еще властью над другими, но не надо мной. Вернее, я ее не замечал. Полностью погруженное в мой биологический вид, мое индивидуальное существование все больше сжималось в площади и объеме. Мир вокруг начинал наполняться индивидами — чуть было не написал неликвидами — обособленными или разрозненными, обособленными, значит, способными вступать в отношении.

Было уже темно, я лежал. Думал об этих пяти годах — приблизительно пяти, ибо как с точностью измерить время, которое имело, возможно, начало и конец, но чье течение не было обозначено ни одним происшествием, как и пространство, по которому я шел, не имело ни единой неровности? Добавим к этому, что начало этого пятилетнего периода не было хронометрировано, точнее сказать, его *не было* вовсе, потому что не имелось исходной точки, исходного события, уловимого каким-либо органом чувств, хотя эта неподтвержденность и стала для меня в определенном смысле решающей. Вспоминая об этих пяти годах, я сожалел о них с такой тоской, что решил отыскать и вновь обрести это прежнее состояние

в его целостности, однако едва приняв это решение, я увидел вокруг себя рассеянный свет, то, что свет настоящий, для меня было настолько очевидно, что я отбросил одеяло, чтобы убедиться: не проник ли он в мою комнату через слуховое окошко над дверью. Я вновь сунул голову под одеяло — свет был там. Затем он стал гаснуть, медленно и, как мне до сих пор кажется, очень нежно. Я бы даже сказал, это был не свет, а свечение. Я понял, что эти несколько секунд во мне что-то фосфоресцировало, мне даже показалось, это была моя кожа, она светилась, как пергамент абажура, когда лампа зажжена. Увидев подобное, кто не испытал бы стыд, гордость, страх, но я поспешил успокоить себя: *миндалевидный византийский нимб*, здесь слово «нимб» было моим. Стамбул завалило снегом. По недосмотру гражданских властей какие-то хиппи фланировали вокруг мечетей, возле Голубой мечети. На ногах у них ничего не было, на головах тоже, если не считать головным убором крупные хлопья снега на красивых длинных белокурых волосах. Под снегом или укрывшись от него, в одиночку или парами, они все равно казались одинокими, каждый был настолько отрешен и погружен в себя, что я не сомневался: они трени-

руются, чтобы однажды пойти по воде, но пока они погружались в нее до подбородка. Если это когда-нибудь осуществится, скептики все равно улыбнутся, потому что, несмотря на все волшебные зрелища, ислам очень непонятная религия, впрочем, как и иудаизм. Где-нибудь в Европе и Северной Америке в тюрьмы ворвется сквозняк и поставит под угрозу эту тайную ночную жизнь, так давно всем привычную, для называния которой нужны слова: вздыхать, стонать, кричать, скорбеть, хрипеть, плакать, харкать, мечтать в уединении, гордо и надменно. Молодые и старые арестанты внезапно откажутся от вечернего супа, забаррикадируются в своих мастерских, где самое взрослое занятие это изготовление колючей проволоки и рождественских елочек из темно-зеленой, сумеречно-зеленой пластмассы; они разожгут огонь из всех предметов, способных гореть и корчиться на раскаленных углях в клубах копоти и дыма; языки пламени выплеснутся из слуховых окошек, с треском лопнут стекла. Заключенным казалось, будто они участвуют в эдаком вселенском буйстве, но мне не удавалось превратить этот выплеск в нечто политическое, как им бы этого хотелось, ибо я не мог покончить со своим бродяжничеством, ведь время,

проведенное мною среди палестинцев, было всего лишь этапом, остановкой в пути, садом, где восстанавливают силы перед тем, как отправиться дальше, где я, перемещаясь, постигал, что земля, вероятно, круглая. Я не верил в Бога. Идея случайности, нечаянная, необязательная комбинация фактов и даже событий, небесных тел, живых существ, эта *идея* казалась мне изящнее и забавнее идеи Единого Бога. Тяжесть веры может раздавить, а случай дарует легкость и радость. Делает веселым, любознательным и улыбчивым. Самый набожный из французских поэтов Клодель не был готов принять это окончательно, он сказал лучше: «*ликование случайности*». Какое грандиозное богохульство! Если бы не случайность, улыбающаяся радостная Япония была бы там, где она есть и такой, какая она есть, без своих несметных выхлопов вулканов?

Золотой Рог, Петра, Галата, Собор Святой Софии, церковь Святой Ирины, Голубая мечеть, Красный султан, Стамбул, миллион раз запечатленные знаменитыми путешественниками и не менее знаменитыми мечтателями, кишат людьми и пылают куполами. То, что именуется глубинами, в действительности не имеет никакого отношении ни к глубине, ни к источникам, питающим

города, это муаровый шарф, развевающийся над ними: улочки игорных домов, черные рынки, фальшивые калеки, фальшивые археологи, бордели, еще влажная каменная кладка тысячелетних крепостных стен — предмет мечтаний буржуазии, которая еще застегнута на все пуговицы, но на пляже сидит в коротких шортиках, обливаясь потом. Мертвенно-бледные, огромного роста проститутки были такими же нереальными, как те картежники в Аджлуне. Бордели в Турции — заведения весьма целомудренные. Клиенты с сутенерами, сгрудившись в центральной, жарко натопленной комнате, дрочат, не отрывая взгляда от игорного стола, просчитывают комбинации, неукоснительное следование которым приводит к ошибке, к потере ставки. Если игроки встают, они перекрывают приток воздуха, это и есть глубины, которые ведать не ведают ни о каких мятежах и сквозняках.

Струи слюны по-прежнему пачкают Стамбул. Лишенные Ататюрком османского платья, турки мочатся стоя: западный прогресс, введенный железным правилом. Город не казался унылым благодаря этим стремительным тугим дугам слюны и мочи, горячим и прозрачным, а истекали эти изогнутые кривые изо ртов с усиками над

верхней губой и из расстегнутой — освобожденной от пуговиц или молнии — ширинки.

Сам не знаю, может, это было проявлением атавизма, но странствия всегда приводили меня прямиком в самые многолюдные и бедные кварталы, не тот ли это компас, благодаря которому я оказался однажды у фидаинов?

Однажды в Галате, возле самой Башни, я увидел вот что: парень продавал апельсины прямо посреди улицы, на тротуаре под навесом. Фрукты были выложены оранжевой пирамидой — широкой у основания и одним-единственным апельсином на верхушке. Такие пирамиды овощей и фруктов можно увидеть по всему Востоку. Торговцы умеют ловко вытащить один или несколько фруктов, выбранных хитрым покупателем, из нижнего или какого-нибудь среднего ряда, тут же искусно заменив их другим фруктом, который заполняет пустоту, не нарушив целостности конструкции. Мальчишка улыбался, расхваливая свой товар, мне кажется, на турецком языке последнее слово имеет несколько значений. Язык у него был подвешен хорошо. Я собрался уже миновать его прилавок, успев заметил этот тройной жест-призыв: рука быстро опустилась от глаз до подбородка, затем от подбородка к

промежности, потом очень-очень быстро опять взметнулась вверх к пряди черных волос, глаза сверкали, он явно хотел нет, не очаровать, но смутить улицу. Что-то меня остановило. Я чуть попятился, чтобы посмотреть, не показалось ли мне. Над апельсином, венчающим пирамиду, был еще один, такой же, но он парил в пустоте, сантиметрах в тридцати от последнего. Так он и завис. Один, неподвижный в неподвижном воздухе, несмотря на всю уличную суету. Я упоминал уже об этом, когда писал про хиппи, в этой стране практика левитации дело вполне обыденное, но для западного разума, даже если разум этот принадлежит телу, внезапно озаренному в ночи внутренним огнем, безвредно ли созерцать этот апельсин, не повинующийся закону Ньютона, не желающий падать? А возможно, он и падал, просто в растерянности остановился и застыл на полпути? Наверное, удивление легко читалось на моем лице. Молодой продавец улыбнулся еще шире, продемонстрировав еще больше зубов, и согнутым пальцем слегка щелкнул по зависшему в воздухе или, наоборот, воспарившему апельсину. Он качнулся справа налево. Мы обменялись улыбками. Сгрудившиеся вокруг нас турки рассмеялись. Апельсин был подвешен на

прозрачной нейлоновой леске, незаметно свисающей с навеса над пирамидой.

— Красиво.

Молодой продавец улыбнулся мне, словно отвесил пощечину.

— Американо?

— Но.

— Дейч?

— Но.

— Фран…

— … сэ. Йес.

На своей тарабарщине он объяснил мне, что сотворил маленькое чудо. Мой любимый суфий по-прежнему аль-Халладж[99], жалкий паяц, аль-Хусейн аль-Халладж, который был сожжен за свое «Я есмь Бог», но суфием, которого я боготворю, остается Бистами[100]. Этой лунной ночью Башня отбрасывала тень, а юные турки, верили они, что старцев оплодотворяют через рот?

Когда в рассказах, сказках и легендах кто-то мечтает о власти, появляются слова король,

---

[99] Примечания: 99

Мансур аль-Халладж — исламский богослов и мистик из южного Ирана. (*Прим. ред.*)

[100] Примечания: 100

Абу Язид Бистами — персидский суфий, живший в IX веке. (*Прим. ред.*)

принц, принцесса, герой-победитель или жертва, слова тиран, диктатор; понятно, что они понадобились, дабы возместить убогость мечтателя, рассказчика, а каждый читатель или слушатель поглощает слова с быстротой, не оставляющей сомнений: он настороже, он ждал их, как затаившийся в зарослях человек с волнением поджидает, когда пройдет по дороге самая прекрасная и самая обнаженная из всех прекрасных и обнаженных юных девушек, да нет, пожалуй, с еще большим волнением, потому что случись ему выбирать: идти ли за прекрасной обнаженной девушкой или идти по дороге, ведущей к власти, он покинул бы девушку под дождем или снегом, причем, любое обстоятельство послужило бы ему оправданием, ведь бесполезно идти вслед за мертвой. Выходит, лучше возвратиться к матери, жениться на ней, чтобы стать царем Фив. Полные распрей и раздора любовные отношения герцога Виндзорского и госпожи Симпсон не опровергают этих моих соображений.

Выбрать правильный мотив и певца с долгим дыханием. Когда зажигаешь две положенных одна на другую спички, они, сгорев, сплавляются в единый уголек, и его нельзя разъединить, они получили одно бессмертие на двоих, так певец

и воспетое им могущество станут одним целым, если никому не придет в голову дотронуться до этого странного и прекрасного уголька.

Старик, бредущий из страны в страну, изгнанный из одной страны, потому что чувствует, как его влекут следующие — так Моцарт-ребенок говорил, приезжая на новое место: королевство, оставшееся позади — отвергая покой, какой дарует собственность, пусть даже самая скромная, изумился падению в самого себя, прислушался к себе, увидел себя живым. Под собственностью следует понимать какое-то количество вещей, или мебели, или земли, или даже людей, которыми собственник мог бы пользоваться, распоряжаться, наслаждаться или же злоупотреблять. Дом это здание, в которой живут, перемещаются, передвигаются. Потребность избавиться от любого имущества — вот главный принцип путешественника, выходит, надо верить в дьявола, а потом в Бога, когда после долгого-долгого промежутка времени, когда странник считал, что избавился от вещей и какой бы то ни было собственности, внезапно в него проникнет, поглотив его — можно сколько угодно задаваться вопросом: через какое отверстие — проникнет желание иметь дом, постоянное место жительства, обнесенный оградой

сад, и все это происходит за одну ночь, и вот он уже обременен домом. Сперва это был простой дом, но он носил его в себе, как целомудренно выражаются Отцы Церкви, говоря о деве Марии и младенце: в *своем лоне*, и это было где-то вне его, в той части тела, которой не существует, если можно так выразиться, во внепространственном месте. Одновременно и в себе, и вокруг. Поскольку его отчий дом так никогда и не был выстроен, это был не он, а какой-то другой дом, в котором поселился старик, в котором он перемещался по свету, откуда из распахнуто окна смотрел на море, и далеко в море на остров Кипр. Охваченный безумием, он шептал странные слова: «И отсюда, среди бела дня, с безопасного расстояния я буду наблюдать за морским сражением».

Сражение состоялось, только гораздо позднее, когда весь этот морок рассеялся: дом, окно, сад, море, побережье Кипра; это была греко-турецкая война за Кипр.

Богу, который из ничего создал Небо и Землю, удалось и другое чудо. Святой Елизавете Венгерской, вынужденной в связи со своим высочайшим положением жить в роскоши королевского двора, Бог сделал подарок, соорудил для нее одной, подходящую только ей, ей одной

впору, невидимую монастырскую келью, невидимую для глаз ее мужа, придворных, министров, дам ее свиты, ее собственную тайную келью, которая перемещалась вместе с самой королевой-святой, и лишь четыре глаза могли видеть ее внутренние стены: два глаза королевы, два глаза Бога, и эти четыре глаза соединялись в один. Циклоп опускал свое единственное веко. Демон, разрушающий мой разум, выстроил мне дом в райских краях, далекое, но доступное взору синее море, остров в ожидании морского сражения, сад с цветущими деревьями, безмолвие. Ситуация понятная и забавная. Я по-прежнему отказывался от реальной собственности, но вынужден был мысленно созерцать ту, что была во мне, ее коридоры, комнаты, зеркала, мебель. И это было еще не все, потому что вокруг дома был сад, яблоки на яблонях, и я не мог поднести их к губам, потому что всё и так давно уже было во мне. Я находился в опасности, мог умереть от несварения желудка, подавиться зернышками, а может, даже располнеть во время этой якобы голодовки. Я ждал морского сражения, которое состоится у меня на глазах, оно будет таким жестоким, что в первые же секунды я буду восхищен и подавлен. Так где же была *эта безводная пустыня в безводной*

пустыне, о которой говорил поэт-суфий?

Эта ситуация рассмешила меня, и мой безумный смех меня рассмешил. Мне стало лучше. Нести в себе свой дом вместе с мебелью было довольно унизительно для человека, проснувшегося ночью от собственного свечения.

Скромное чудо, светящийся человек, светлячок размером с человеческое тело, чье свечение оказалось кратким, как всегда у светлячка, подвигло меня к размышлению — ибо я был склонен размышлять — над чудом апельсина, воспарившего на нейлоновой леске логики безо всякого таинства; мне казалось, вот-вот появится рациональное объяснение этому необъяснимому свечению, этой беременности домом, садом, небом и морем.

Унижение многое мне объяснило про *мой* дом, *мои* вещи, *мой* свет, *мое* внутреннее убранство. Что означало последнее выражение: интерьер моего дома или неопределенное, непонятное место, предназначение которого — скрыть полное небытие: *мою внутреннюю жизнь*, именуемую порой с такой же определенностью: *мой тайный сад*?

Этот дом внутри меня превратил меня даже не в улитку, которая, и в самом деле, укрывается в

своей раковине, а в нечто еще меньшее. Если я меньше улитки, объединяющей в себе оба пола, необходимых для размножения, то сколько их у меня?

Поскольку происходило это в Турции, поскольку я носил в себе и за собой мой дом, и при этом находился недалеко от Эфеса, где восьмидесятилетняя Дева Мария жила в маленьком домике, вознесенная на небо ангелами, вознесенная мертвой в своем доме из тесаного камня, чего же мне было опасаться?

— Ничего подобного ты не знал, — сказал я однажды Ферраджу, поведав ему о своем чуде, столь же удивительном для меня, как *mi'raj*[101] для Мухаммеда.

— Как-то в июне, 26 июня 1970 года на первой ступеньке эскалатора в аэропорту Кувейта я тоже поднялся очень высоко, даже не пошевелив ногой.

— Ты же поднялся не в небо.

— Туда не поднимаются из Кувейта.

В той же Турции мне было видение. Уже с давних пор я вел войну против самого себя и стремления иметь какую-то собственность, так

---

[101] Примечания: 101

Исра и Миражд — ночное путешествие пророка Мухаммеда в Иерусалим и его вознесение на небеса. (*Прим. ред.*)

что все мое имущество ограничивалось единственным комплектом одежды, той, что была на мне, ни карандашей, ни документов, они были сломаны, разорваны и выброшены, и теперь мир вещей сводился к нулю, к пустоте, и устремлялся в эту пустоту. Он дал о себе знать дребезжанием кастрюль и скрежетом кранов, потому что я не получил ни дома, ни сада, а лишь полностью оборудованную кухню «под ключ», с засоренными согласно калмыцкой, хеттской и турецкой традициям кранами. Когда я принес жертву демону, то есть, построил дом одному юному арабу, предметы, видимо, утоленные и усмиренные, перестали мучить меня. Из Антиохии я отправился в Алеппо, оттуда в Дамаск, затем в Даръа и Амман. И вот, наконец, Аджлун.

Эти размышления о доме во мне, на земле внутри меня, возможно, были навеяны предложением Махджуба, которому я показал дом, освещенный солнцем:

— Посмотри, какой красивый, там, на скале!

— Если он вам нравится, ООП снимет его для вас на шесть месяцев.

Он сразу же стал серым и грязным.

Смутное видение дома в солнечном свете

словно запустило во мне процесс приобретения имущества. Я стал его хозяином в тот момент, как увидел, и комнаты распланировал также по своему усмотрению, я смог обставить их мебелью согласно собственному вкусу, разбить сад, где построю беседки, обвитые виноградом и вьюнками, синими и белыми. Наконец, и это самое главное, я буду ходить из одной комнаты в другую или сидеть в кресле, глядя на море в ожидании морского сражения, которое всё никак не начиналось, и собственником этого сражения тоже буду я, ведь она, эта панорама, должна будет стать частью декорации, словно пристройкой моего дома. Рожденные в песках фидаины не видели ничего более покойного и безмятежного. Этот покой, ведомый одним лишь богачам, был, выходит, их собственностью. Фидаины должны были им насладиться, только очень быстро, не теряя ни секунды, осознавая, что этот покой — прерогатива их врага, был также эманацией врага, значит, необходимо с ним бороться. А насладиться было нужно, чтобы узнать его, понять его недостатки, чтобы успешнее атаковать. Как богачи, они лежали, развалившись на оттоманках и креслах времен Второй империи, как богачи, они знали, что эта роскошь и этот покой будут вечно, если

только революционеры, несмотря на сопротивление солдат и полицейских, не захватят дома вместе с прекрасными бельведерами, откуда можно любоваться на морское сражение и погибших, убаюканных безмятежным волнами, или на рабов в поле, которые надрываются от тяжелого труда так эстетично, что обитатели дома, опершись на балюстраду, чувствуют умиротворение; и на несколько мгновений фидаины, развалившиеся в креслах или попирающие ковры, были хозяевами этих мест и в то же время революционерами, которые их оттуда изгонят, и в этом имелось особое наслаждение.

Коль скоро я был еще в Турции, можно ли было, находясь неподалеку от Тарсуса, не съездить посмотреть этот город? Я не слишком рассчитывал отыскать семью, которая носила бы фамилию Саулович или Леви Бенсаул. Если и попадался какой-нибудь старый еврейский квартал, я видел такие же блочные параллелепипеды, как в Сен-Дени-сюр-Сен. Свое разочарование я высказал спутнику, молодому турку.

— А сюда приезжала Клеопатра, — ответил он мне по-немецки.

— Когда?

— Два года назад, когда снимали «Антония и

Клеопатру» с Лиз Тейлор.

В Антиохии в отелях не было свободных мест. В последнем, в самом дорогом, я сидел в холле, дожидаясь кофе по-турецки. Араб в длинном балахоне с капюшоном, который называется галабея, попытался заговорить со мной на нескольких языках: английском, испанском, греческом, турецком… На очень плохом английском я ответил, что ни один из этих языков не знаю, а он, обратившись к управляющему по-арабски, сказал ему, что я француз и говорю только на родном языке.

— Если разговор не слишком трудный, я могу объясниться по-арабски.

Мы находились в той части Турции, что неподалеку от нынешней Сирии, в Вилайете Антиохия, где говорят и по-турецки, и по-арабски. Мой сосед саудовец оказался торговцем зерном и изюмом. Он сказал мне, что в его комнате две кровати, но он занимает только одну. Если я хочу, то могу спать во второй. Вещей у меня с собой почти не было, я предложил сразу же оплатить комнату за два дня. Саудовец рассердился. Он был рад поговорить с французом, способным произнести несколько слов по-арабски. Он пригласил меня в Эр-Рияд.

— А что вы собираетесь делать в Антиохии?

Поначалу мой вопрос его рассмешил, и он ответил:

— Вы едете в Алжир, чтобы посмотреть на бывшую французскую колонию? В детстве я немного учил турецкий, когда Османская империя оккупировала то, что сегодня называется Королевством Саудовская Аравия. Но так получилось, что у меня есть родственники-арабы из моего племени. Я очень рад снова их повидать.

— Они сюда эмигрировали?

Он рассмеялся еще громче:

— Да нет! Просто наше племя в свое время разделилось на пять частей. Мы были кочевниками, как и все. Многие остались в Аравии, кто-то перебрался в Трансиорданию — Иордании тогда еще не было — третьи остались в Ираке, четвертые в Сирии, а кто-то из моих родственников обосновался в Александреттском санджаке, который в 1937 году возвратили Турции. Мои родственники владели большими вишневыми садами, чтобы их сохранить, они выучили турецкий.

В самой Антиохии, насколько я помню, не нашлось ничего особо примечательного, кроме пещерной церкви Святого Петра. Большую часть времени я проводил с саудовским торговцем.

Как-то утром с притворной печалью он стал мне рассказывать о том, какой холодный — по его словам — прием оказал Никсону Чжоу Эньлай. Он узнал об этом от своих родственников, которые позвонили ему из Эр-Рияда. Я, едва одетый, находился у себя в комнате, когда он получил сообщение о встрече, которое воспринял равнодушно, как если бы ему заказали партию грецких орехов. Во всяком случае, это его никак не обеспокоило.

— Даже если Советский Союз займет место Китая, палестинцы уже поняли, что великие державы будут ими только пользоваться, никчемный подарок, бесплатное ожерелье из искусственного жемчуга, которое любезно добавляют к крупной покупке.

Судя по его изысканным манерам, морщинкам у висков и на лбу, по тому, с каким трудом он поднимался со своего молитвенного коврика, передо мной был мужчина лет шестидесяти, я еще подумал, что он достаточно опытен, чтобы осознавать последствия политических уступок.

— Сколько вам лет?

— Тридцать семь, — ответил он.

Я так и не решаюсь порвать его визитную карточку, на которой выпуклые золотые буквы

имени образуют две надписи: на арабском и на английском.

Позже, в Бейруте, Абу Омар рассказал мне о приеме Никсона и Киссинджера. Всем летописям или же их отсутствию, еще более красноречивому в сравнении с рельефными выразительными летописями Запада, как пространства безмолвия, изношенные до такой степени, что сквозь них просвечивает пустота, Абу Омар предпочитал их политическое проявление, имеющее отношение к палестинцам.

— Мы уже превзошли маоизм. Мне долго казалось, что это такой фейерверк, за которым скрывается нечто, а теперь я знаю, что это за «нечто».

— И что же?

— Отрицание СССР. Во всяком случае, поначалу. А потом?

Все эти подробности: всем очевидное ослабление Пекина, пришедшая ему на смену Москва — не вызвали во мне никакого беспокойства, напротив, я обнаружил в себе то, что, очевидно, мучило меня уже давно: острый внутренний конфликт, именно с этого момента во мне зародилось осознание кораблекрушения, и вода, в которой я тонул, была черным черна. С тех пор

мне будет казаться, что всё происходит под водой, под набегающими на меня волнами. Отчаявшаяся, как упавший в море человек, не умеющий плавать, палестинская революция будет барахтаться, совершая бессмысленные телодвижения, наверное, такие делал Абу Омар, когда тонул. Москва, как и Пекин, как и Вашингтон не держатся за призраки. Красная Испания оказалась никому не нужна, восставшая Греция тоже. Все, что последует в дальнейшем, будет не столько восстанием, сколько крушением, хотя надежда на освещенный выход останется незыблема.

В 1970, 1971, начале 1972 фидаины, еще очарованные Насером, даже после его смерти, были уверены, что действуют ради и во имя арабского мира, во имя Корана, как его толковали (некоторые из «Братьев Мусульман» участвовали в сопротивлении, другие, вероятно, наблюдали за ним извне). Палестинцы не подозревали, что весь мир обеспокоен этим сумасбродством. Благосклонные поначалу к борьбе фидаинов, стремящихся вернуть свои территории, многие выступили против них, даже когда Бегин назвал эти территории Иудеи и Самарии *неотъемлемой частью* (так выражались журналисты, дипломаты и Бегин) Земли Израильской.

Угон самолетов стал их славой и их проклятием. Я был в Бейруте, когда по распоряжению Жоржа Хабаша три самолета сели в пустыне Зарка. Я словно вновь вижу осунувшиеся от потрясения лица трех командиров НФОП, эти же сияющие лица, когда я сказал, что захват трех самолетов, один за другим посаженных в линию в пустыне под солнцем, вызвал восхищение молодых европейцев. Во всяком случае, — мысленно добавил я, — молодых европейцев, вскормленных комиксами.

Фидаины на базах, которые не следует путать с лагерями вокруг Аммана, в центре, по всей Иордании, контролировали Гор-эль-Сафи, овраг, прибрежные отвесные скалы Иордана, Израиль, весь регион Аджлуна и вообще Иорданию целиком. Хотя все мечтали о бушующем потоке, который подхватит арабские народы, никто не знал, что палестинцы отправятся из Иордании в Сирию, из Сирии в Ливан, в Тунис, в Йемен, в Судан, в Алжир через Кипр и Грецию. Никто не знал, что из великой депрессии, которая могла бы их поглотить, они выплывут, освободятся, чтобы, возможно, обрести друг друга.

Это опять Абу Омар:

— Со времен Мухаммеда Али Египетского араб-

ский мир, за которым вы наблюдаете из Парижа, отнюдь не угнетен и не сгорблен. Мухаммед Али восстал против Османской империи и против англичан. Восстание друзов в 1925 году, которое ваш генерал Гуро подавил в Сирии, война в Алжире, марокканские восстания, тунисская революция, прогнавшая французов и итальянцев, военный переворот в Ираке 1958 года под руководством генерала Касема[102] против англичан и компании «Ирак петролиум», Насер и Каддафи положили конец правлению династии Сануситов[103]. Весь наш мир пришел в движение, желая стряхнуть с себя всех этих паразитов, но ни одна война, ни одно восстание не достигли размаха палестинской революции.

«Чрезмерное богатство убивает, тем более того, кто не смог его завоевать. Многоцветье радужных оболочек: карие, серо-голубые, светло-зеленые, цвета черной смородины, садового вьюнка и бутылочного стекла; сумятица акцентов, смешение приветствий, различные диалекты арабского

[102] Примечания: 102

Абдель Керим Касем — иракский государственный и военный деятель, премьер-министр и министр обороны Ирака в 1958–1963 годах, бригадный генерал. (*Прим. ред.*)

[103] Примечания: 103

Сануситы, Сенуситы — династия, правившая в Восточном Судане и Ливии в 1837–1969 годах. (*Прим. ред.*)

языка навязали западному миру энергию, что таилась под толщей песка. Популяция, олицетворяющая торжество овуляции, несчастье жить в крайней нужде, отороченной золотом, подъем арабизма, превратившегося в арабоманию, вплоть до панарабизма, где вместо оружия — оглушительные трубы, заставляющие позабыть о самих палестинцах, особенно о палестинцах, разве что они предстанут некой туманностью, облачком славы или золота, парящим надо всем арабским миром, над нефтью, над эмирами, которых проклинают и которых оправдывают. А если бы слава, то есть, смерть палестинцев витала бы над ними туманностью, предположим, меди, думаешь, эмиры дали бы им хоть копейку?»

Это я в апреле 1984 передаю слова Рашида, сидящего на деревянном стуле возле двери отеля «Салахеддин» в Аммане.

Чрезмерное богатство убивает, тем более того, кто не смог его завоевать, в этой фразе высмеивают эмиров, единственных *завоевателей* нефти.

А еще здесь имеются в виду нищие арабы, у которых истощается мозговое вещество, когда они думают об этом богатстве, ставшем причиной их несчастья.

Имея некоторое представление о том, что про-

исходит в бедной Мавритании, я захотел узнать у палестинцев, есть ли здесь проституция, возможно, скрытая, но в лагерях беженцев что-то есть наверняка. Ответы оказались одинаковыми, хотя никто ни с кем не договаривался. Они меня удивили.

— Нет. В лагерях Иордании точно нет. В Ливане до всей этой резни, возможно, что-то и было. Не думаю, что в Бейруте имелась хоть какая-нибудь организованная сеть. Сразу бы раскрыли. Отдельные случаи вне лагерей — возможно.

— Странно.

— Нет. Палестинки не славятся своей красотой. Палестинцы — да.

Возможно, это последнее наблюдение было адресовано именно мне?

— Хотя во Франции была эпоха белого террора, нельзя сказать, что само слово «террор» в вашем французском языке какое-то особенно страшное. Джек Потрошитель в Лондоне, банда Бонно в Париже сеяли ужас, но слово «террорист» скалит свои железные зубы, демонстрирует челюсть и красную глотку монстра. У шиитов, если верить утренним газетам, как раз и имеется эта чудовищная челюсть, которую Израиль хочет сокрушить своим ядовитым хвостом, я имею в виду хвост его

армии, спасшейся из Ливана. Израиль борется не с противником, не с врагом, а с террористом, ведь терроризм равнодушно сеет смерть, и его нужно уничтожать повсюду, где бы с ним ни встретился. Израиль носит войну в своем сердце, даже на уровне словаря, аннексировав — еще до Голанских высот — слово холокост и слово геноцид, начало и конец известной нам главы. Вторжение в Ливан не превратило Израиль в захватчика и грабителя, разрушения и бойня в Бейруте не превратили Америку в вооруженного террориста, сбрасывающего днем и ночью в течение трех месяцев многотонные бомбы на столицу с двумя миллионами жителей, нет, это всего лишь разгневанный хозяин жестоко наказал строптивого соседа. В этом смысле слова — ужасная вещь, а Израиль, как никто, умеет манипулировать знаками. Приговор не обязательно предшествует казни, но когда казнь свершается раньше приговора, получается, что она оправдана, ведь приговор все равно будет. Убивая одного шиита и одного палестинца, Израиль уверен, что избавил мир от двух террористов.

Раздосадованные заносчивостью — так они это называли — палестинцев, навлекших на них ответный удар Израиля, южно-ливанские шииты

встретили израильских танкистов дождем ароматного белого риса, драже, розовых лепестков, цветов жасмина; сегодня, 24 февраля 1985 года, именно шииты, придя на смену ослабевшим, изнуренным палестинцам, гонят израильских солдат до самой границы.

Возможно, вы помните сирийца Абу Гамаля, правоверного мусульманина, который обнял меня в палатке в Аджлуне, но отказался произносить: «*Я тебя уважаю, потому что ты не веришь в Бога*», сегодня я понимаю, что он был прав. Это была тактическая хитрость, не воспринимаемая, разумеется, как военная хитрость, это было важнее любой правоты, любых доводов рассудка, основание соотносить себя с исламом, и не для того, чтобы отыскать союзника в древней вере, а для того, чтобы отыскать его в верности верховному Закону земли, которая на протяжении стольких веков вынашивала и обдумывала Закон. Отправиться так далеко вглубь веков было равносильному погружению в самого себя на безумную глубину, до самой смерти, чтобы отыскать силы сражаться.

Затем… Но зачем думать про какое-то затем? Надо было бороться.

Перед моими глазами возникает множество

образов, не знаю, почему я выбрал именно тот, что опишу сейчас в последний раз: оконное стекло застилает пар, поднявшийся от бака для кипячения белья, но постепенно этот осевший пар рассеивается, и стекло оказывается прозрачным, ясно виден пейзаж, а комната простирается, возможно, до бесконечности. Другой образ: рука, держащая губку, опускается и поднимается, стирая с черной доски начертанное мелом. Вот на этом я и остановлюсь. Прощания фидаинов — тех, кто уходят прямо сейчас, с теми, кто уйдут позднее — похожи на эти движения; сначала они обнимаются. Те, кто остаются, неподвижно стоят на тропинке, фидаины, избранные, чтобы отправиться за Иордан, уходят, оборачиваясь и улыбаясь, те и другие машут рукой перед своим лицом — вверх вниз, справа налево — жест прощания, то есть стирания. Как надпись мелом на доске, как пар на стекле, лица тех и других стираются и рассеиваются, а пейзаж, очищенный от слез, становится ясным и прозрачным. Принесенные в жертву фидаины оказались самыми решительными. Устав делать этот детский жест рукой «бай-бай», они решительно повернулись спиной к своим товарищам.

Не думаю, чтобы Абу Жамаль чего-то опасался,

это было некое предвидение, я почувствовал это по его нерешительности, когда ему нужно было мне ответить да или нет, и все-таки нет: он одержит победу, если не отречется от своей веры, напротив, он должен искать ее, погрузившись как можно глубже в самого себя и в века, сформировавшие эту веру. Восхитительная уловка, подсказанная самим Богом.

Затмение — какое богатое слово. Лена, затмившее солнце, делает его еще более заметным, но и любое событие, человек или образ, заслоненные другими событиями, людьми, образами или другими вещами, появляются вновь словно возрожденными, исчезновение, пусть самое краткое, сделало свою работу: очистило и отшлифовало. Вьетнам затмил Японию, которая прежде затмила Европу, Америку, всё. Нельзя затмевать что попало. Колдовские чары глагола «затмевать» позволяют разглядеть старинную китайскую, индийскую, арабскую, иранскую, японскую картинку: дракон, пожирающий солнце, то самое, которое затмевает луна. И так далее, вплоть до выражения «затмить себя самого», то есть, исчезнуть, пропасть, сойти на нет, и есть здесь некий двойной смысл: просто *исчезнуть самому* или *меня затмит чужое сияние, засло-*

нит чужая тень. Никакая идея фикс не сможет зафиксировать смысл этого глагола, который беспрерывно изнашивается. Начнем с Востока, мы увидим беспорядки и волнения молодежи, которую затмевают те, кто идут следом, которые затмевают себя в какой-то момент Истории, чтобы появиться вновь иными и новыми. В 1966 антивоенная организация Дзэнгакурен в Японии, хунвейбины в Китае, студенческие волнения в Беркли, Черные Пантеры, май 1968 в Париже, палестинцы; эти опоясавшие землю живые кольца были антитезой прочим кругосветным путешествиям, позволим себе еще сравнение: это были сдвиги земной коры. Возможно, образ пожирающего солнце дракона — это отражение закона, управляющего звездами и гравитацией. Едва успеваешь подумать, что тюрьма полая, она испещрена ячейками и сотами, и в каждой из них человек живет согласно времени и ритму, не согласованному со временем и ритмом небесных тел. В центре каждой ячейки — песня, состоящая из одной ноты или вообще без звука. Тюрьмы полые. Лукавое, чуть боязливое слово «затмение» позволяет любому предмету стать звездой, затмевающей другую звезду.

И ложь тоже множится, повторяется и отража-

ется до бесконечности, а за ложью скрывается лжец или ему кажется, что он скрывается, он таится и его затмевает новая ложь, он погружается в бесконечность бегства, и если бы Имам оставался скрыт, кем бы он был, он бы опасался, что все увидят … что?

— Ты скрываешь свою принадлежность к религии и культу алавитов, ты таишься из опасения, как бы ни обнаружили твою чуждость, как бы ни догадались, что ты не алавит, но тогда кто, может, иудей?

14 сентября 1982 французские, американские, итальянские корабли отплыли из Бейрута около одиннадцати утра. Я смотрел, как они исчезают в синеве воды и неба, с гражданами этих стран на борту. Они были частью сил устрашения, которые десятью днями ранее помогли эвакуировать из Бейрута Арафата и фидаинов, несмотря на присутствие израильтян.

В порту Бейрута французы наблюдали за посадкой на борт палестинцев, которая превратилась в странную церемонию, я говорю «странную», потому что посадка походила на погребение, и все эти люди, словно распыленный, измельченный в порошок символ, были достойны погребальной мессы под оглушительную музыку, но француз-

ские солдаты наблюдали еще и за израильскими патрулями, фалангистами, они разминировали проход к музею, по этой единственной улочке танки «Меркава[104]» из Восточного Бейрута могли добраться до Западного. И вот уже несколько дней спустя, с одиннадцати утра до часу дня французские, итальянские, американские корабли отплывали с солдатами на борту.

— Почему они отплывают так скоро?

Мы все, стоя на террасе дома мадам Шахид, задавались этим вопросом, передавали друг другу бинокль и, естественно, не верили своим глазам. Во вторник 14 сентября корабли уносили подальше от ливанских берегов силы устрашения, и в тот же самый день в половине пятого убийство Башира Жмайеля в Восточном Бейруте затмило все прочие новости, в том числе и отплытие кораблей; в одиннадцать вечера израильские танки и пехота входили в Западный Бейрут, и это, в свою очередь, затмило смерть Башира; на следующий день, то есть, в среду, началась трехдневная бомбардировка лагерей палестинских беженцев Сабра, Шатила, Бурдж-аль-Бараджне, гражданское население истязали и убивали, и это

[104] Примечания: 104
Меркава — основная модель израильского танка. (*Прим. ред.*)

стремительное затмение стерло образ Израиля. Теперь мы ждем, когда из-под всех этих наслоений — новое злодеяние затмевало предыдущее — вновь появится первое, но ярче и отчетливей: предательство Францией гражданского населения, разминировав проход в Восточном Бейруте, солдаты исчезли.

В лагерях Сабра, Шатила и Бурдж-аль-Бараджне было убито от двух до трех тысяч человек, в основном палестинцы и ливанцы, но были там несколько сирийцев, несколько евреек, вышедших замуж за ливанцев.

Умирая с широко раскрытыми глазами, они успели увидеть перед гибелью: всё, что их окружало — мужчины, стулья, звезды, фалангисты — изменяется до неузнаваемости, бьется в конвульсиях, подергивается дымкой. Они знали, что сейчас исчезнут, потому что те, кого они считали своими жертвами, хотят, чтобы они исчезли. Умирающие видели, чувствовали, знали, что их гибель была гибелью мира. Пресловутое *После меня хоть потоп* было полнейшей нелепостью, ведь *после меня* это всего лишь смерть. Смерть, воспринятая именно так, — феномен, разрушающий мир. Мир понемногу теряет свою яркость, затуманивается, рассеивается, нако-

нец, исчезает, умирает прямо перед глазами, не желающими смотреть, как мир перестает существовать. Что это значит? Расширившийся зрачок еще различает блеск лезвия и просверк штыка, приближающуюся вспышку света, но очень медленно этот свет меркнет, затуманивается, исчезает, и нож, рука, рукоятка, униформа, взгляд, смех, лицо фалангиста перестают быть.

Когда могильщики стали опускать на веревках гроб, сперва отвесно, затем горизонтально, рядом со мной хор грянул прощальную песню: «Твоим дыханьем, твоею кровью…». В 1973 голоса вибрировали, как трубы. Мне уже приходилось бывать на подобных похоронах, но сегодня, когда я слышу слово «палестинец», меня пробирает дрожь, я могу воскресить его в памяти, лишь вспомнив эту картину: могила, словно тень, расстеленная у ног солдата. Этот зрительный образ здесь именно для читателя, потому что только через него я могу выразить погребальный озноб, который охватывает меня при звуках слова «па-ле-сти…». Палестинец уходил в направлении Иордана, доедая последний кусок швейцарского сыра.

Стильный кабинет, под абажуром четыре лампы в форме свечей, на ровной поверхности письменного стола несколько листков бумаги,

мраморный камин, каминные часы на столбиках, зеркало до потолка, которое могло бы украсить собой салон Мюрата: французам этого достаточно. Их вождь может говорить им Бог знает что.

Уступить дорогу простым грубоватым словам это довольно тривиальная вежливость, слова благородные это умеют. Любые слова, благородные или простые, отходят в сторону, отступая перед настырным просторечием. Но в нише ночи, ложбине постели между двумя влюбленными рождается иной язык: почти без слов, а если и есть слова, то они означают совсем противоположное. Ночь наступает там, где рождается такой ночной язык между двумя влюбленными, они укрываются в ней, они — беженцы ночи, они наедине пусть даже среди тысячи или ста тысяч других, и от влажности этой встречи перехватывает дыхание. Они не изобретают новые слова, они достаточно бесстыдны, чтобы проделывать всё у всех на глазах, но вещам, предметам, образам, своим половым признакам, а что для двоих влюбленных не является половым признаком? они придают смысл, непонятный нам, потому что освещенный по-иному. Сотня или две сотни фидаинов, собранных вместе, учтивы и любезны друг с другом. Победители или побежденные, они

войско. В мгновение ока, и даже быстрее, чем в мгновение, из двух фидаинов толпа делает двух любовников. Их стремительная и незримая для других встреча, их манера общения прямо у нас на глазах делает из этих двоих одно целое. Я по-прежнему говорю о желании, даже если кажется, будто я ухожу от темы, просто слово «любовники» означает совсем не то, что это же самое слово на предыдущей странице. Видеть рядом BI и BII (это два фидаина, которые беспечно курсируют между границами, один суннит, другой шиит, и оба они палестинцы) — это видеть и слышать двух серьезных целомудренных любовников. Каждое из сказанных им слов может обозначать взрывы, траншеи, дистанционное управление, лиц, названных по денежным единицам: Стерлинг А, Флорин Е, Экю К, Марк П, и всё это ведомо только им двоим. Конечно, целомудренные, но они ведут себя, как заговорщики, и смех одного заполняет пустоту другого, которому сейчас грустно.

С ними я заговорил об Амале[105].

— Ты прав, — сказал мне BII, — не только Амаль, но и многие шииты рассматривают религию со всё более фундаменталистских позиций — по

[105] Примечания: 105

Амаль — ливанская политическая партия, связанная с шиитской общиной Ливана. (*Прим. ред.*)

мнению какой-нибудь мусульманки-шиитки Коран, особенно в тех сурах, где говорится о судебной власти, чрезмерно суров, когда всех волнует грудь Лиз Тейлор — а между тем мы пользуется автоматами, бомбами, взрывчаткой, и прицеливаемся мы стоя, на коленях или лежа совсем так же, как прицеливаются христиане.

BI прошептал мне на ухо, но довольно громко:

— Все шииты служат Моссаду.

BII расхохотался:

— Это правда. Моссад очень силен, ведь сведения, которые я ему поставляю, идут от суннитов вроде тебя.

— Вот так мы без конца и ругаемся, так что никто ни о чем не подозревает. Мы с ним будем вместе только в смерти.

Во времена моего детства так разговаривали актеры, изображавшие в кино парней из Иностранного легиона.

Поскольку аэропорт Бейрута открыт, я не полечу в Аден. Вот каким теоретически должно было быть мое последнее путешествие: Париж, Каир, Дамаск, Бейрут, Амман, Аден, Париж; вот каким оно стало на самом деле: Париж, Рабат, Амман, Бейрут, Афины, Рур, Париж.

Когда я позвонил Хамзе, меня поразила мяг-

кость его голоса, и отчаяние, которое в нем слышалось.

— Ведь ты вернешься когда-нибудь в свою страну?

— Какую страну?

— Иорданию.

— Это не моя страна. Жан, мне плохо. У меня волосы уже седые на висках. И раны очень болят.

— Это же было давно…

— Нет, Жан. Они у меня болят, как в первый раз тогда в тюрьме в Аммане.

— А твой сын?

— Да, Жан.

— Он вернется в свою страну?

— Да, Жан.

И в его голосе еще сильнее зазвучало отчаяние.

— Какую страну?

И тут впервые за весь наш разговор я услышал радость.

— Палестину.

Это последнее слово меня успокоило. Наш диалог худо-бедно шел на арабском, и последнее слово Хамза произнес по-арабски «*Flestine*», и в этом выпадении гласного «а»: «Ф'лестина» мне почудилась эдакая арготическая фамильярность.

Любовь, разве не она вас возбуждает и приводит в оцепенение? Тревожит? Что с ним стало? Что стало с ней, с ними? Словно выбрав удобный момент, в голову приходит вопрос: или огромная усталость, так что нет сил даже думать, и просто предаешься мечтам, или время наслаждения. А они? какие невзгоды и страдания довелось перенести им? Я так долго и так мучительно пытался отыскать следы — отголоски и отпечатки: пятна на осунувшемся, недоверчивом лице, седые волосы, отметины хны на увядшем кожном покрове.

Израиль был той стеной, на которую накатывались палестинские волны и о которую разбивались? Что если эта книга была всего лишь воспоминанием-заклинанием, позволившим моему силуэту возвратиться и стать одним силуэтом из многих, и не в то время, которое хотят они, а в то, на которое соглашаюсь я? Может быть, мне нужен был этот рассказ в прошедшем времени, чтобы осознать место и время, уготованные теням, притаившимся в моей памяти, и теперь, благодаря написанному тексту, я чуть лучше вижу борьбу в ее целостности, ее наступления и отступления, проявления воли и капризы, алчность, самопожертвование, ведь я замечал, да и то редко, только часть механизма, и никогда

— циферблат. Я не стал понимать лучше. Я просто вижу другое, то, что нельзя было передать словами, обозначающими непосредственные события. Они были, и ничего страшного, если позволишь себе тон не то, чтобы циничный, но несколько развязный. Я оставляю на воде недолговечные следы, они уже сглаживаются и исчезают, а солдаты хотят, чтобы память о них была высечена в мраморе. Книга, которую я решил написать в середине 1983 года, невесомей едва заметного румянца фидаина, спасающегося из Аджлуна. Как можно понять тайфун, если находишься в самом его центре, что ты должен думать, если видишь в воде пух из подушки?

Никто на краю могильной ямы не знал, что мои ботинки промокли, и с кладбища я уйду с бронхитом.

Трудно не заметить, что ведется метафизическая война между иудейской моралью и ценностями — последнее слово воспринимается и в денежном смысле тоже, потому что да, некоторые палестинцы разбогатели — и ценностями ФАТХа и других составляющих ООП, где всё имеет привкус денег; между иудейскими ценностями и живительной революцией.

Именно здесь, завершая эту книгу, я хочу

осмыслить до конца одну из самых запоминающихся наших встреч с лейтенантом Мубараком. Однажды вечером, еще в Салте я с изумлением увидел, как мир раскололся надвое. Он предстал передо мной в человеческом обличье как раз в то мгновение, когда делится на две половины, это мгновение, которое кажется кратким, когда лезвие ножа остро заточено, на этот раз оказалось долгим, потому что лейтенант Мубарак шагал передо мной в свете заходящего солнца; он и был этим самым ножом, вернее, рукояткой ножа, разрезающего мир надвое; левая его часть была светом, ведь он шел с юга на север, а правая тьмой. Поскольку солнце заходило за иорданские горы, льющиеся с неба еще видимые глазу красные и розовые отсветы заката освещали левый профиль лейтенанта, лицо и тело, а правая сторона была уже в тени, мне казалось, что эта сумрачная линия, проходя через него, затеняла восточную часть ландшафта — то есть, пустыни. Шагая передо мной, лейтенант, отделяя свет от тени, был спроецированным на наши дни отражением того самого папы, который мнил себя ножом, разрезающим мир на две половины: Португалию и Испанию. Мубарак, черный лицом и, вероятно, всей поверхностью кожи, обтяги-

вающий его мышцы и хрящи, с наступлением темноты сделался скорее архангелом, нежели человеком. Его хромота почти исчезла, словно он парил над этой дорогой.

Неужели в лагере отвага соразмерна правоте? Коль скоро это следствие чего-то очень понятного — возможно, радости духа, которое ощущает тело, подвергающееся опасности, и еще множества сложных причин: соперничество банды молодых самцов, болезненно-чувствительный патриотизм, ревность влюбленного, наследие каких-нибудь давних шаек мародеров, почти неприкрытая страсть к грабежам и даже убийствам, настолько чудовищная и непреодолимая, что грабитель подвергается смертельной опасности еще до самого грабежа, а истязатель готов принять и ад, и веселье, зная, что ему предназначено и то, и другое, — было бы несправедливо отказать Израилю в этом опьянении: отвагой, грабежом и истязаниями.

Коль скоро слово «воспоминание» стоит в заголовке этой книги, следует шутки ради включиться в игру по правилам мемуарной литературы и вытащить на свет несколько фактов. В возрасте восемнадцати лет мне довелось оказаться в Дамаске, чуть позже восстания друзов. Город был

разорен, причем, разорен французской армией, и это не слишком меня удивило, ведь эта армия, в состав которой вот уже несколько недель входил и я, контролировала его и сжимала в тисках, но оставляла нетронутой экзотику, а, возможно, даже множила ее, впервые в жизни я увидел столицу-пленницу молодых солдат. Экзотика, свобода, армия — эти слова определяли Дамаск. Свобода, потому что совсем недавно я вышел из суровой исправительной тюрьмы, где провел почти четыре года. Дисциплина была очень жесткой — там я был заключенным колонии, а здесь колонистом, это было почти синонимом победителя, завоевателя, я, возможно, и сам не осознавая, был янычаром. Разумеется, я совершенно не разбирался в строительных работах, а меня послали на возведение бетонированного оборонительного сооружения. Когда я туда прибыл, на холме, который возвышался над городом, то есть угрожал Дамаску, уже был заложен фундамент. Тунисские пехотинцы разбирались во всем этом не лучше моего, но в глазах какого-то далекого незримого капитана я должен был выполнить обязательства перед Францией: стать ответственным за этот форт и успешную работу солдат, которые, ко всему прочему, все

были старше меня. Какая разница, если они мне и повиновались, так это не мне лично, а *некоему представлению о Франции*. Когда едешь из Бейрута на поезде, перед тем, как войти в Дамаск, на том месте, где, как говорят, остановился Пророк («Я не войду в этот город, потому что в рай нельзя войти дважды»), — видишь, как река Барада с ее множеством рукавов и искусственных каналов, прорытых еще римлянами и расположенных на разных уровнях, орошает этот рай, абрикосовые сады справа по ходу поезда, а слева перед самой пустыней я увидел холм, а на его вершине нижнюю часть каменной кладки, которую французские офицеры называли форт Андреа. Два других рукава Барады[106], расположенные выше, чем три правые, обвивали этот холм двойным кольцом, как раз перед самым въездом в Дамаск. Как это встречается в озерных поселениях, зеленые домики были возведены на сваях, а по берегам каналов и рукавов реки молодые черкесы угощались стаканчиками раки.

Возвращаясь из центра Дамаска, из мечети Омейядов или с базара Аль-Хамидия, я должен был проходить через курдский квартал. В форте

---

[106] Примечания: 106
Барада — река в Сирии. (*Прим. ред.*)

Андреа тунисские солдаты, как и я служившие в инженерных войсках, много работали: наша кожа до самых глубоких слоев была изъедена цементом. В самом центре форта должна была возвышаться шестиугольная орудийная башня для какого-то морского орудия, пушки, калибр которой я забыл. По мере того, как поднимался форт Андреа, возрастали и мои познания в строительном деле. В маленьких мечетях во время и после наших карточных игр мне рассказывали про генерала Гуро, на котором лежала ответственность за разрушение города и так называемое *восстановление мира*, сейчас нечто подобное мы рассказываем про генерала Шарона. Орудийная башня обретала надлежащий вид, и сегодня мне кажется, с самого начала работ по облицовке она ожидала церемонии вступления в брак с пушечным стволом. Не разделяя ее нетерпения, безразличный к предстоящему бракосочетанию, я все ночи напролет играл в карты и понемногу учил арабский. Только сейчас я понимаю свою роль в этих ночных играх. Если в Аджлуне карточные игры запрещались Мубараком, то здесь запрет исходил от французской армии, сирийцы вынуждены были прятаться, а мне позволялось сесть за игру; но имея лишь денежное содер-

жание, положенное призывнику, я и не мог бы играть по-крупному, мне особо нечего было положить на сукно. Около двух или трех часов ночи каждый игрок очищал свое место кожурой фисташек. В форт я возвращался поздно или, вернее сказать, рано. Гуляка, возвращающийся под утро из казино, засыпающий на ходу, это я в 1929 году в Дамаске, так продолжалось около года. Если представить, что какой-нибудь патруль, привлеченный светом свечей, вдруг привязался бы к сирийским игрокам, присутствие французского солдата, возможно, отвело бы опасность.

Капитан инженерных войск пришел посмотреть на орудийную башню, освобожденную от деревянной обшивки, и нашел ее прекрасной, как Господь свое творение. Он предложил мне четверть кварты рома, налив из фляги, подвешенной на портупее. Ром был теплым: его нагрело солнце и горячее бедро офицера. Он выпил тоже, пролив немного рома и слюны на свою голубую офицерскую униформу, сдвинул к затылку фуражку, в три ряда обшитую золотой тесьмой, заткнул флягу пробкой, пробормотал что-то одобрительное, вроде: «Хорошая работа, заслуживаете ордена или Военного креста с пальмовой ветвью».

Эти пальмовые ветви хранят тайну Военного

креста. Он любезно сообщил мне новость: через неделю солдаты морской пехоты доставят орудие. И по поводу этого бракосочетания весь личный состав должен быть в боевой готовности, обувь и оружие начищены, ноги тщательно отмыты. Наконец, настал торжественный день. Нам объявили, что на холм поднимаются мулы, тянущие орудийную установку, на которой — и это было главной интригой для меня и тунисских саперов — громоздился ствол орудия. Явившийся первым капитан сказал нам:

— Ствол в пути.

Пушка, пусть даже помещенная на спину мула, оставалась существом благородным, а мы были всего-навсего саперами, прокладывающими пути сообщения в помощь артиллерии, что мы могли еще, разве что выполнить приказ:

— На… караул!

Против этой современной пушки, далекого потомка первых старинных бомбард, которые совершенствовались в течение последних восьми веков, мы выступили с нашими винтовками Лебеля. И вот орудие с демонтированным стволом торжественно вступает в форт на спинах двух мулов между двумя шеренгами мирных, но вооруженных солдат. Мне кажется, я все еще

чувствую трепет наслаждения, пронзивший орудийную башню, когда в нее вошел ствол. За дело взялись наводчики. Поскольку никто не имел представления о том, что творится в голове морского офицера, сошедшего на берег, и о том, что вообще здесь происходит, мы тем более не поняли, почему капитан-лейтенант поздравил меня с хорошей работой. Я не мог протянуть ему правую руку, лежащую на прикладе винтовки, и он просто ткнул в меня кулаком в белой перчатке. Снятую с другой руки перчатку он мял пальцами. Я услышал:

— Чтобы почтить память французского полковника Андреа, павшего на поле боя, чтобы поблагодарить за прекрасную работу вас, мой капитан, а также молодого французского сапера и местных жителей, мы произведем выстрел из этой пушки, но только один.

Существуют ли книги, хотя бы одна книга, хотя бы одна-единственная страница про то, как в ночи, во тьме паук плетет свою паутину? Я не уверен, что какие-то наблюдатели специально прячутся в темноте, чтобы как следует разглядеть работу паука. А может, и такое бывает. Есть одна итальянская книга о южной Италии и Сицилии, там какая-то Ариана или Ариадна уцепилась за

нитку паутины. Но в полдень, на ярком сирийском солнце, неужели кому-нибудь довелось наблюдать, как нитка слюны превращается в это кружево морщин, как паутина становится континентом и главное, где, в каком месте эта необорванная нить явилась на свет?

Идея произвести выстрел пришла в голову офицера не просто так. Это было обдуманное безрассудство: на своих спинах мулы привезли ящик со снарядами.

Одно это слово: снаряд — могло привести нас в растерянность. Ничего себе! Здесь, рядом с нами? Значит, война так близко, а слава буквально под рукой?

— Артиллеристы, один выстрел.

Тут мы слегка протрезвели, потому что он добавил обычным, будничным тоном, хотя нет, все-таки немного торжественно:

— Холостым, конечно.

Впрочем, торжественность оказалась несколько смазана, потому что слово «конечно» потонуло в радостном хохоте. Эти мореплаватели такие мальчишки.

— Холостым.

Что и было исполнено; звук оказался глухим, зато нас окутал запах пороха. Я вновь открыл глаза.

Очень медленно, осторожно, чтобы не вспугнуть меня, поберечь, чтобы я не поверил собственным глазам, передо мной возникла паутина. Орудийная башня медленно пошла трещинами, мне кажется, даже задрожала, и рассыпалась, вот это совершенно точно, превратилась в кучу строительного мусора, может, последние мгновения жизни напомнили благородной пушке морскую качку, как на ее родном миноносце в бушующем море; а еще это немного было похоже на качающийся вагон, когда тирольские контролеры при повороте поезда пытаются устоять на ногах, и только качка напоминает о том, что в Австрии имелся порт, Триест, и еще моря, все Моря.

Пушка погрузилась в армированный бетон. Военный госпиталь, который сирийцы немного переделали, недавно мне опять довелось его увидеть, был местом довольно спокойным. Врачи вылечили меня от желтухи, которая приключилась из-за стыда. Меня отправили обратно во Францию, оплатив месяц больничного, но с военной карьерой было покончено. Никогда после смерти мне не суждено будет превратиться в статую на бронзовом коне, моя бронзовая фигура не будет вырисовываться в лунном свете. Однако благодаря этому гротескному, но монументально-

му кораблекрушению я стал другом палестинцев. Позже я объясню, почему.

Палестинская революция — единственная причина, побудившая меня писать эту книгу, но объяснить, отчего я оказался так вовлечен в логику этой очевидно безумной войны, я могу, лишь вспоминая о том, что мне дорого: какую-нибудь из моих тюрем, островок мха, несколько стеблей травы, может быть, полевые цветы, пробивающиеся сквозь бетонное покрытие дороги или гранитную плиту или — но это будет единственной роскошью, на которую я согласен — пара цветков шиповника на колючем сухом кусте.

Пусть тюрьма была прочной, гранитные блоки скреплены самым твердым цементом, а еще железными штырями, но неожиданные трещины, образовавшиеся из-за дождевой воды, какого-нибудь семечка, единственного солнечного луча — и вот уже стебелек травы раздробил гранитные блоки, добро свершилось, я хочу сказать, тюрьма разрушена.

ПАЛЕСТИНА ПОБЕДИТ далеко от *Израиль будет жить,* так же далеко, как нож для подрезания зеленой изгороди далек от зеленой почки, и неожиданное везение меня пугает так же, как и военное поражение.

Франция, где в возрасте шести-восьми лет я чувствовал себя чужаком, хотя Дирекция государственных больничных учреждений делала все, что положено делать для раковых больных в больницах всего мира, Франция жила вокруг меня. И даже когда я находился далеко, ей все равно казалось, что она удерживает меня в себе. Она вращалась вокруг меня, как ее империя, окрашенная розовым на плоскости планисферы, вращалась вокруг земного шара, и звалась она заморской империей, а я мог бы совершить кругосветное путешествие без паспорта и в деревянных сабо. Горделивая и надменная империя, изо всех прочих империй интересующаяся разве что Индией, Франция почти беспрепятственно, без кровопролития — здесь просится это последнее выражение, оставшееся со времен феодальных войн — захвачена несколькими батальонами красивых белокурых воинов. Возможно, всего этого было чересчур: красоты, «белокурости», юности, и Франция просто легла. Ничком. Я был там. И она, охваченная ужасом, стала спасаться бегством прямо на моих глазах, они видели это: множество спин, бегущих спин, и сразу несколько солнц — июньское солнце, южное солнце, немецкая звезда. И все это воинство спин и солнц

бежало как вы думаете, куда? В сторону солнца. В этом разоренном храме поселились мхи и лишайники, иногда доброта, иногда еще более странные вещи, эдакая счастливая мешанина всего со всем, без социальных различий. Я был от всего этого далеко. Охваченный гордыней, унаследованной от бывших властелинов мира, я смотрел на эти метаморфозы с ликованием и в то же время с затаенной грустью: ведь сам был далеко. Подобные сцены уже случались: дама с украшениями на пальцах, запястьях, шее, в ушах заботилась о своих несчастных непослушных детях; в том же вагоне второго класса некий господин с несколькими орденами на груди, в широкополой шляпе почтительно ухаживал за бедным, изможденным, раненым и грязным стариком; молодая женщина с ногтями, выкрашенными зеленым лаком, помогала нищенке тащить четыре картонных чемодана, и надо был видеть, как аккуратно и неумело она, узелок за узелком распутывала тесемки, чтобы вынуть из чемодана заштопанные серые носки. Но как этот слабый народ заботится о своем языке, где: бербер равно варвар, курильщик гашиша убийца, андалузец вандал, апач бандит-апаш, англичанин, марокканец, негодяй, лягушатник, макаронник,

бош, фриц, брат, черномазый, бико. Потому что гордые своими колониями гордые французы сделались своими собственными рабочими-иммигрантами. Отсюда и эта монотонная серость, и лишь изредка — грация. Мох, лишайник, трава, какие-то кусты шиповника, способные приподнять красные гранитные плиты — таким был образ палестинского народа, прорастающего изо всех щелей и расселин… Если мне придется объяснять, почему я ушел к фидаинам, у меня останется этот последний довод: в шутку. Мне во многом помог случай. Думаю, для всех я уже умер. И медленно, словно постепенно теряя силы, я окончательно умер, чтобы это выглядело красиво.

Инкубационный период некоторых вирусных заболеваний длится так долго, что невозможно с точностью установить время, когда болезнь не то, что началась, а когда произошло заражение, тот самый момент небольшого смещения, исторического или какого-нибудь другого; как начала революций, источник семейного капитала, зарождение династии затерялись в изгибах тропинок, так и я не могу определить, когда началась эта книга. После Шатилы? Первое ноября 1954 годы было необходимо, что в 1962 Франция поня-

ла, что ей надо бы капитулировать в маленьком курортном городе с целебными источниками. С 1920 по 1964 годы в газетах (создание ФАТХа) о палестинцах почти ничего не писали, потому что Европа и Америка страшились узнать, что Палестина уже сражалась.

Слово «экзотика» может указать мне путь, не обязательно правильный, это удивление сродни тому, какое испытываешь, когда вдруг пересечешь линию горизонта, которая все время отодвигается. За нею — впрочем, никогда нет ничего «за нею», кроме постоянно изменяющейся линии горизонта — лежит чужбина. И эти линии, которые я пересекал снова и снова, вероятно, потому, что был привычен ко всякого рода странствиям, застилали мне само путешествие; мне кажется, когда я писал эту книгу, то видел Францию и вообще Запад словно сквозь туман. Они казались мне далекими, какими-то в высшей степени экзотичными, я отправлялся во Францию, как какой-нибудь Француз едет в Бирму. Книга начала писаться в октябре 1983. И я сделался во Франции чужаком.

Со 12 июня по 8 сентября 1982 израильская авиация бомбила Бейрут, а руины, оставшиеся после налетов, фалангисты превратили в пыль.

Город в пыли — это редкое зрелище: я видел Кельн, Гамбург, Берлин и Бейрут. Что же должно было остаться от Сабры, Шатилы, Бурдж-аль-Бараджне? Трупы так загромождали главную улицу Шатилы, что я передвигался, словно играя с мертвецами в чехарду. Эдакий бег с препятствиями. Запах разложения был таким сильным, что казался видимым и непреодолимым, как стена. В сентябре 1984 я не узнал ничего. Эта главная улица была у́же, чем раньше. По мостовой машины двигались медленно и с большим трудом. Слушая шум клаксонов, моторов, крики, я вспоминал ту кладбищенскую тишину, мертвую тишину, и я совершил богохульство: я стал сожалеть о той тишине. Вокруг тележек с овощами и фруктами толпились раздраженные женщины. Это были палестинки, пестрые и разноцветные, как плоды на этих самых лотках.

«Воздухом Израиля невозможно дышать», — написал когда-то раввин Кахане, обвиняя израильских арабов в том, что те отравили воздух Еврейского государства. Спешность жить, расти, пользоваться всем, что можно, чтобы этот мир тебя уничтожил после того, как ты поглотил его, — вот, что я чувствовал через два года после бойни на главной улице Шатилы.

По пути из аэропорта тот, кто не знает Аммана, находит Иорданию очень привлекательной, особенно вечером; пусть каждый читатель проявит собственное воображение и представит себе цвета и краски, что так нравятся туристическим агентствам. В каменистых ущельях внезапно появлялись водные источники, часто отделанные деревом, а по заржавленным каркасам старых артезианских колодцев ползли вверх гигантские лианы. Через четырнадцать лет после первого моего пребывания здесь я уже не узнавал ничего, но сразу же понял, что притягательность этих холмов, далеких и сумрачных гор, долин, садов, домиков объясняется разноцветной дымкой, застилающей жестокую, кровавую картину палестинских лагерей.

Тем, кому хорошо известны мужество и тактическая изобретательность фидаинов, хорошо бы расспросить специалистов, известных маршалов, полководцев и военачальников: Байяра, Крильона, Тюренна, Наполеона, Фоша, Лиоте (последний также популярен среди театральных деятелей).

Что же касается меня, я видел достаточно примеров их храбрости и мужества, но — и это было моим восхищением и разочарованием одновременно — они не боялись убивать и быть убитыми,

творить зло, делая его добром, и принимать зло на себя. Они изобретали всякого рода военные хитрости, но мне показалось, что убивать они будут целую вечность, которая завершится не раньше, чем они победят. А если бы они победили, то безо всякого торжества, но и без угодливости предложили бы территории израильтянам, но они не могли согласиться, чтобы их прогнали оттуда навсегда. И то, что они делали, они делали во имя морали, записанной в кодексе завоевателей.

Более всего меня волновало, а порой и сбивало с толку, что они сами подготавливали появление этого разлома: воины до мозга костей, которых заставляли сражаться ненависть к врагу, оскорбления, которыми их осыпают, животное наслаждение битвой — самец против самца, убежденность, что они высоко несут знамя своего клана, в общем, все эти замысловатые лепные узоры, вынуждающие сойтись в рукопашной схватке, когда последним, решающим оружием становился кинжал, — и вот, когда битва закончена, почему ни один погибший, друг или враг, не распрямляется и опять не идет в бой?

А фидаины, как я их воспринимал и воспринимаю до сих пор, способны разгневаться на убитых израильтян, не желающих воскресать из мерт-

вых, на евреев, неспособных понять, что смерть должна длиться одну лишь ночь, не больше, иначе воины превращаются в убийц.

— Убить человека — это ведь не значит, что он умер навсегда. А жестокость солдат-бедуинов — как они тогда красиво танцевали — он никогда не мог ее понять. Даже то, что бросалось в глаза иностранцу: изысканная нищета. Солдат-бедуин одним своим присутствием, пусть даже стоя неподвижно, вносил беспорядок в расстановку убогой мебели, собранной по помойкам Аммана.

А что если верным было замечание Абу Омара о том, что двадцати лет оказалось достаточно, чтобы у черкесов и бедуинов возникло чувство принадлежности к иорданскому королевству — поскольку оно, королевство, было создано лишь в 1959 году, причем, по причинам столь очевидным… Так что я нисколько не удивился этому новому чувству.

Вспомним, что эта страна состояла из территории, которая звалась Трансиорданией, отданной Англией эмиру Абдалле, деду Хусейна и сыну короля Хиджаза. Это королевство (Иордания) казалось мне столь неудачно сляпанным, с преимущественно палестинским населением, которое заявляло, что переселилось сюда из са-

мой Палестины, вместе с иорданцами из городов — Аммана, Зарки, Ирбида, Салта — неуловимые бедуины и, наконец, черкесы, — что всё это наводило на мысль о колонизации, в интересах, прежде всего, англичан, а затем американцев. Страна бедная за исключением поселений по берегам Иордана, скудные, хотя и много раз исследованные недра, она, похоже, была создана для того лишь, чтобы служить своего рода заграждением между Сирием и Израилем с одной стороны и Саудовским королевством с другой, с юга. Но если иорданцы знали, что они в Иордании у себя дома, попытка взятия власти палестинцами казалась им кощунством не только из-за их бесчинств, но из-за самого факта государственного переворота. Лишь прямой потомок Пророка был законным королем. В четырехугольнике, отданном фидаинам по соглашению, подписанном в посольстве Туниса в Аммане, палестинцы из лагерей и солдаты с баз вели себя, как оккупанты. В том секторе Аджлуна, где находилась моя квартира, я видел крестьян, в глазах которых полыхала ненависть.

Палестинцы сделали еще одну ошибку, они враждебно встречали чиновников и государственных служащих, возможно, и не слишком

крупных, но все-таки, молодых таможенников или полицейских, работников почты и больницы, хоть в какой-то мере настроенных на сотрудничество с фидаинами. Отрезанные от крестьянского населения, селившегося по берегам Иордана, палестинцы жили в изоляции, во вражеском окружении.

— Думаю, бедуины захватили его в плен и пытали. Я что-нибудь разузнаю еще.

И тихо добавил по-арабски, полагая, очевидно, что я его не пойму:

— Думаю, Хамза из Ирбида уже мертв.

Так мне говорил Хани аль-Хасан…

Лагеря изменились тоже. Вместо холста и сухой земли — бетон, изливающийся потоками из Бразилии в лагеря, из Ла-Пас в лагеря, из Осаки в лагеря, из Нью Дели в лагеря, накрыв перед этим Индию. Как поначалу мхи и лишайники, эти начальные формы жизни зарождались в трещинах стены, по-прежнему стоявшей вертикально, в едва заметных стыках двух известняковых плит, — так появлялись там и прочие формы жизни: злаковые, другие растения, и даже дети. Всё здесь рождалось из трещин в бетоне. Так сюда возвращалось то, что было, как мне когда-то казалось, отобрано, вырвано навсегда

бедуинами Хусейна, летчиками Даяна, мерами предосторожности Всемирного банка: блеск глаз и зубов. Придется ли мне к этому привыкнуть? Как и к мысли о том, что реальность порой более изобретательна, чем мои ночные кошмары и воспоминания?

Как рождается путешествие? Какой себе придумываешь повод? Как в Амман я поехал отнюдь не потому, что намеревался рассказать во Франции о жестокостях Хусейна, так уж тем более в июне 1984 я отправился в поездку не для того, чтобы описать ситуацию с фидаинами, рассеянными между Алжиром и Аденом. Моей опорной точкой, своего рода Полярной звездой, что вела и направляла меня, всегда был Хамза, его мать, исчезновение Хамзы, его мучения, его смерть, в которой почти не было сомнений, а также желание найти его могилу и, насколько возможно, поддержать мать, позаботиться о ее старости. Возможно, эта опорная точка звалась любовью, но за четырнадцать лет какого рода любовь к мальчишке и старухе, которых я видел всего-навсего двадцать два часа, проросла, созрела, поднялась во мне? Коль скоро она до сих пор посылала свое излучение, выходит, ее радиоактивная энергия вырабатывалась в течение тысячелетий? За че-

тырнадцать лет путешествий, приведших меня в шестнадцать стран, путешествий, совершаемых под какими угодно небесами, я измерял земную поверхность этим излучением.

Я знал, что Аджлуна больше нет. Я догадывался, что здесь не было построено ничего нового, не посажено ни одного дерева взамен срубленного, не расчистились перевалы, не срослись переломы и что ничто здесь мне ни о чем не напомнит. Когда-то золотистая пшеница вновь станет зеленой, заколосятся поля, вместо коз будут гулять коровы. В моих мечтах уже зрел план: добраться до окрестностей Даръа и, не переходя сирийской границы, повернуть налево по узкой дороге, которая проходит через Джераш и ведет в Ирбид, где я спокойно, не привлекая ничьего вниманию, пообедаю, неизвестный никому в этих краях, убежденный, что не найду ничего, что храню — или мне казалось, что храню — в своей памяти.

— Если собираетесь посетить лагеря, вам потребуется разрешение Министра информации. Но оно у вас уже есть, я ему звонил.

Я как будто перенесся на много лет назад. В 1972 Дауд мне посоветовал поехать в Иорданию не только посмотреть Петру, но чтобы убедиться: два народа — иорданцы и палестинцы — по-

прежнему были врагами.

Каким бы заурядным ни было мое путешествие, службы слишком долго выдавали мне разрешение на посещение Петры; зато в Бейруте, в посольстве Иордании я получил визу за несколько минут. Я гордо предъявил ее швейцару в отеле, палестинцу.

— Вы слишком быстро ее получили. На вашем месте я бы не поехал.

А я поехал. Через четыре дня меня попросили — впрочем, это слишком слабое слово — покинуть Иорданию и препроводили к сирийской границе. И вот через четырнадцать лет я появился снова. Директор всемирного банка и его жена встретили меня в аэропорту. Их предупредили из Рабата, и они опасались, что по прибытии в Амман меня арестуют.

— Мы с Жаном поедем в Ирбид одни. Если не сможем пройти в лагеря и нас арестуют, предупредите министра.

Так мы, я и Нидаль, моя палестинская подруга, отправились в Ирбид. В данном случае имя Нидаль принадлежит женщине, белокурой и очень красивой, она ливанка, которая говорит по-арабски и по-французски. Но вообще-то это имя может быть и мужским, полагаю, что Абу

Нидаль это мужчина.

Я много говорил о Хамзе, о том времени, когда он сидел в тюрьме, о его пытках, о пустыне Зарка, о его вероятной смерти, о которой мне сказал по-арабски представитель ООП. Я упомянул о его возможной поездке в Германию, возможной, потому что, несмотря на письмо Дауда, так и не понял, как Хамза смог поехать в Германию, а главное — ради чего. Или, может, ради кого?

Палестинское сопротивление не одно, их много. Надо было оказаться в каком-нибудь одном и *сделать вид*, что ты в каждом; но прежде всего, оказаться в одном по своему выбору и там задержаться. Моим выбором стал ФАТХ.

ФАТХ остался организацией популярной, но поскольку его центр превратился в командный центр, эдакое бюрократическое сопротивление, возможно, и неосознанно, ФАТХ сделался пленником этого другого сопротивления.

Из Намюра в Льеж, из Льежа в Брюссель, к Ла-Маншу дорога безукоризненная; автострада, соединяющая залив Акаба и сирийскую границу, тоже. Из Аммана до Ирбида два часа пути, слева и справа от дороги тщательно возделанные земли. В глубине долины я увидел лагерь Бакаа, где когда-то прожил так долго, к моему удивлению,

он находился в ложбине, а в моих воспоминаниях раскинулся на склонах довольно крутого холма. Если город показался мне драгоценностью в обрамлении пейзажа, так это оттого, что я увидел его издали. Особенно, если ехать на высокой скорости в машине с кондиционером: тогда любое убожество, если не касается лично тебя, кажется преисполненным очарования. Глядя в окно машины, я и не подозревался, что вон тот зеленый мох — это изгородь из кактусов, а на ней всякий мусор: старые расчески, зубные щетки, сухие стручки фасоли. Римские развалины Джераша по-прежнему казались бесчувственными и надменными, они будто знали, что к ним специально приезжают латинисты из Ульма, чтобы расшифровать их двухтысячелетние надписи. Нашу машину никто не остановил и видимо по недосмотру мы оказались в Ирбиде прямо посреди палестинского лагеря, который почти не отличался от центра Ирбида, разве что дома были пониже, одно- редко двухэтажные, а улицы, спускающиеся красивыми, словно специально продуманными, уступами, были такими же чистыми, но довольно убогими. В предместье Ирбида дома казались зажиточными, каждый с небольшим садом. А в лагере все двери выходили

прямо на улицу.

Чтобы навести справки, Нидаль зашла в первый же дом, перед которым мы остановились, припарковав автомобиль. Прежде чем показать нам нужное направление, хозяйка пригласила нас войти и выпить чаю. Она улыбнулась: «Мы из Назарета», — это была ее вторая фраза. Никакой подозрительности, против которой все пытались меня предостеречь в Аммане и других арабских странах, не было и в помине. Палестинцы не скрывали своих корней. Старик, который стал меня расспрашивать, по-прежнему с улыбкой, подтвердил, что мы, и в самом деле, в лагере, а во всех этих домах живут палестинцы. Никто не сетовал на изгнание, на войну, на денежные трудности, на то, что трудно найти работу. В доме, в котором мы оказались, жила семья, мне показалось, что родственные отношения там довольно запутанные: глава семейства, сам еще вполне нестарый, очень юный зять, солдат иорданской армии, три женщины и множество детей. Я счел нужным упомянуть об этом не просто так, все сведения гости получают, едва переступив порог дома, это своего рода приглашение рассказать, в свою очередь, о себе: кто вы такие? Мы так и сделали, ничего не скрывая, ничего не при-

украшивая. Присутствие сидящего на ковре и облокотившись на подушки француза никого не смущало. Им казалось совершенно естественным, что Нидаль переводит на французский их слова, и на арабский — мои. И в этом доверие палестинцев, которые без размышлений следуют внутреннему побуждению. Я никогда не чувствовал себя палестинцем, и все-таки здесь я был у себя. В Аммане — нет. На Ближнем Востоке и не только, везде мне говорили о том, что в лагерях полно полицейских, шпионов, я ожидал увидеть хитрые лица, ожидал, что мне будут задавать множество вопросов, не желая при этом говорить о себе.

«Люди очень скрытные. Они расспрашивают, а сами ничего говорить не хотят. А если и говорят, так это чтобы лучше понять, когда ты врешь».

А здесь любили говорить именно о себе, рассказывали о своем положении. Будь у меня хоть какое-нибудь беспокойство, оно тут же исчезло бы, но недоверия, с которым мне пришлось столкнуться при сообщении о своей поездке — у представителей ООП на Западе, живущих вдали от своего народа, должен заметить — здесь не было вообще, ну, может быть, какие-то мгновенные вспышки, я чувствовал покой и доверие

к палестинцам. Европейцы, да и другие арабы тоже мне солгали. Мне было здесь очень хорошо. Еще бы немного, и два члена этого семейства, самые молодые, рассказали бы мне, что были фидаинами. Я смеялся, они смеялись тоже, мы пили попеременно то горячий чай, то холодные напитки, которые приносили нам женщины.

Дом и особенно та комната, где вы мне сидели на ковре, показались мне очень чистыми, но в улыбках и искренних словах тогда, в 1984 году, я мог уже распознать какие-то признаки капитуляции. Заметнее всего она была как раз там, где ее пытались скрыть: в этих предательских переменах, которые хотели выдать за перемены к лучшему, и в этом было еще одно несчастье. И эта маленькая улочка, и те, что мы видели потом, были забетонированы, посередине пролегал желоб, по которому текла чистая воды или сточные воды. Дома были неновыми, но укрепленными твердым бетонным или цементным покрытием, казалось, весь квартал был, если можно так выразиться, стабилизирован, здесь ничто больше не испортится, не повредится, потому что всё застыло в этой нищете, было в ней зафиксировано, как в бетоне: зацементированная деградация. В комнате имелся пылесос, а не веник. Вертел

лопастями вентилятор, и даже дети не обращали на него никакого внимания, ледяную кока-колу вынимали из жужжащего а углу холодильника. Комфорту здесь не радовались, с ним смирились. Всё, на что падал мой взгляд, было чистым, бедным, и некое аскетическое изящество виделось в этой со вкусом расставленной мебели, явно недорогой, порой купленной у торговца скобяными товарами. Белое пластмассовое ведро, судя по месту, которое оно занимало, воспринималось здесь как произведение искусства. Да будет позволена мне эта банальность: как и лицо палестинца, эта комната улыбалась, но улыбалась печально.

Саму борьбу, так мне показалось, словно отложили на какое-то время. Здесь это семейство, состоявшее из десятка человек, просто остановилось немного перевести дух. И больше, чем нищета, меня убеждала в этом кажущаяся стабильность:

«Чтобы сделать жизнь более или менее сносной, нам нужно укрыться в чем-то временном, которое выглядит, как постоянное».

И никто не удивился, что мы оставались только несколько минут. Мы находились среди лаконичного народа, где о главном говорят стоя. Набор закусок, *мезе*, что-то, приготовленное быстро,

на скорую руку, на Востоке подают перед основными блюдами, основательными и плотными. Несколько минут, проведенные с этим палестинским семейством в Ирбиде, как раз и были мезе. По моему описанию никто Хамзу не узнал. Зять, молодой солдат, промолчавший все это время, поднялся, когда мы собрались уходить, пожал нам руку и впервые улыбнулся. Мне показалось, что до сих пор он наблюдал за нами с недоверием, но когда каким-то своим жестом я дал понять, что устал — что вы хотите? возраст! — он единственный это заметил и подтолкнул мне под локоть подушку. Когда мы оказались на улице, под солнцем, то опять заговорили про Хамзу. Было около полудня, Нидаль вошла в овощную лавку. На ней были темные очки, которые защищали не только от солнца, она не хотела, чтобы ее узнали. Нидаль спросила, живет ли в этом квартале Хамза, у которого мать вдова.

— Он там, с женой. Мать была вдовой, но снова вышла замуж.

«Это не тот, — подумал я, — есть настоящий Хамза и есть ненастоящие. Во всяком случае, настоящий из них один. Все остальные нет». Я подумал так потому, что вдова, снова вышедшая замуж, это так не соответствовало образу

его матери: ее приветствию и прощанию, тем нескольким часам, что я провел с ней и ее сыном. Когда есть такой сын, замуж снова не выходят. Это было моей первой мыслью, а затем пришла другая, банальная, но почему-то меня опечалившая:

«Около пятидесяти лет, вдова, она могла вновь выйти замуж, чтобы легче было переносить трудности и переживать горе, вызванное смертью Хамзы. Однако она была настоящей главой семьи, а разве палестинцу — главе семьи нужна поддержка в виде второго мужа?»

— Можешь отвести меня в их дом?

— Конечно, это рядом, я знаю, что Хамза сейчас у себя.

Воображаемая крепость, в которой Запад, да и сами арабы держали палестинцев, испуганных, робких, гордых, молчаливых, рухнула прямо у меня на глазах. Так какой-нибудь бакалейщик в Пюи-дю-Дом мог бы показать ближайший кабинет дантиста, а продавец цветной капусты повел нас на соседнюю улицу. Он остановился перед железной дверью, которую я не узнал, потому что в моих воспоминаниях дверь Хамзы была деревянной и выкрашенной белой краской. К тому же несколько веток деревьев, видных через ограду, говорили о том, что перед домом сад, а не

просто двор. А я доверял своим воспоминаниям, и доверял постоянству вещей и событий, питающих эти воспоминания: «Раз воспоминания мне верны, значит, и мир тоже».

Торговец несколько раз стукнул кулаком в дверь.

— Кто там?

— Я.

Этот обмен репликами показался мне каким-то кодом, шуткой. Как так получилось, что он здесь, и он отвечает так просто и так спокойно? Выходит, он изменился? Но почему? Как?

Это сейчас все выглядит логично и последовательно, просто чтобы легче читать, а в реальности все было не так: стремительные образы и ощущения теснились во мне, создавая нечто вроде вибрации времени и даже пространства, создавая эту цементную ступеньку перед железной дверью, на которой стояли мы — Нидаль, торговец и я. Убогий литературный прием! Когда я пишу: *я думал, что*..., это всё не так, я не думал ни о чем или, вернее, волны мыслей накатывались одна на другую, и каждая из них была такой прозрачной и светопроницаемой, что одна просвечивала сквозь другую и угадывалась за ней. Так сменялись — и в то же время возникали одновременно

— эти даже не мысли, а картинки: «А что если это ловушка? А этот торговец шпик? Железная дверь изнутри заперта на ключ? Как же мой самолет в Сану? Нидаль привела меня в западню?» Резкий толчок откуда-то изнутри меня словно объяснил то, что последует далее. Этот *шок*, ставший моим дополнительным органом, меня обо всем предупредил, а размышления пришли потом, они добирались до моей головы медленно, словно прорастали из земли под ногами. Красивый молодой человек с очень черными, взъерошенными волосами, с двух-трехдневной щетиной на подбородке и без усов стоял в дверном проеме и выглядел так, будто только что проснулся. Удивленный, он протянул нам руку. Нидаль спросила, как его зовут.

— Хамза.

Я смотрел на него, он был красив, как тот Хамза или его изображение, или копия, или заменитель Хамзы; *я был убежден*, что этот молодой человек не мой давнишний друг, живший тогда в доме матери, но этот казался таким привлекательным, несмотря на внезапность своего появления и беспорядок в одежде. Если *другой* Хамза лежал в могиле, к этому, по прошествии двух дней печали и сожалений, я мог бы привязаться и полюбить

его. Он стоял в дверном проеме. Что мы от него хотим?

Один лишь образ вставал тогда передо мною, я видел фидаина или группу фидаинов, которые отправлялись с заданием на израильскую территорию, но мое волнение в тот момент можно было передать так: «*могила размером в человеческий рост перемещалась, ползла за ними вслед, словно тень, готовая их принять*», и я до сих пор испытываю такую же печаль при слове «палестинец», как будто слышу слово «могила», вернее сказать, мое волнение сродни тому, какое я чувствую всегда, стоя перед свежевырытой могилой, возможно, именно это смутно ощущали командиры, инстинктивно вскакивая с мест, когда входил мученик?

«Словно тень», — написал я, — но тень глубокая, тень прямоугольная, вырытая в земле или выдолбленная в скале лопатами и мотыгами. Благодаря этому образу я, как мне кажется, обнаружил и не желаю забывать одну особенность палестинцев. Все люди смертны, идиотская очевидность данной формулировки меня не шокирует, но даже если так, мало кто осмеливается осознать это, и уж совсем редко кто украшает себя, словно драгоценностью, этим знанием. У

фидаинов не было этой привычки, распространенной у европейцев, держать за ухом свернутую сигарету, зато все они умели усмехаться краем рта, зажав сигарету в губах: в том прямоугольнике, который следовал за ними, словно тень, мне виделся лукавый прищур. Белый мир передвигается без тени. А когда я смотрел на юного палестинца, я сначала видел прямоугольную могилу за его спиной, а потом уже его самого; но я знал, что командиры уже не носят траур и не встают при виде мученика.

— Ты его узнаешь? — спросила меня Нидаль по-французски.

Я не решился сказать «нет», испугавшись, что этот Хамза вдруг превратится в плюшевого медведя, который мне совсем не понравится, и мне придется его убрать на пыльную полку.

«Я Хамза второго сорта», — подумал бы он.

— Спроси, сколько ему лет.

— Тридцать.

— Слишком молодой. Хамзе должно быть тридцать пять.

Мы действовали, как владельцы хлопковых плантаций, разыскивающие беглого раба, или, я, во всяком случае, как перекупщик, у которого увели лошадь, а он не узнает ни масть, ни зубы.

И даже не уверен, как ее зовут. Хамза озабоченно нахмурился. Нидаль объяснила ему, кого мы ищем в палестинском лагере.

— Вы в палестинском лагере.

Внезапно проснувшись, он узнал Нидаль и сказал, что она красивая.

— В этом квартале, — сказал он, — было три человека по имени Хамза: я, один мученик (он погиб) и еще один Хамза, немного старше меня — и тут был второй шок — который работает в Германии. Дом его матери тоже на этой улице, направо.

— Что ты об этом думаешь? — спросила меня Нидаль. — И, обратившись к тому, кого теперь я буду называть Хамза II: — проводи нас.

Чтобы оправдать присутствие француза, Нидаль объяснила ему, что четырнадцать лет назад я провел ночь в доме этой женщины и ее сына. И теперь, оказавшись в Ирбиде проездом, хотел навестить ее, если она жива. Мой возраст и усталый вид доказывали, что я никакой не иорданский чиновник, которого следует остерегаться.

— Если вы говорите о Хамзе и его матери, она жива. И еще как жива, вы увидите.

Это было сказано с явным восхищением: еще как жива!

Он вместе с нами вышел на улицу, которая полого шла вниз; но наш странный, с непонятной целью визит, ливанский акцент Нидаль, мой французский, наше хождение туда-сюда, — все это вместе начинало уже вызывать любопытство и даже некоторую нервозность, и я опасался, что какой-нибудь официальный чин потребует у нас объяснений. Когда мы шли, вслед нам поворачивались не только головой, но всем корпусом. Я ощущал некоторое беспокойство: почему этот молодой человек так быстро решился нам помочь? Может, он собирался привести нас прямо в лагерь.

Это беспокойство, которое я описал одной фразой, здесь, в этот момент в Ирбиде чувствовалось как некий фон, потому что я был *уверен*, это друг. Я специально надел обувь с тяжелой подошвой, чтобы походка не казалась легкой и подпрыгивающей.

Никакого скопления людей здесь не было. Однако две чужие женщины в лагере (кажется, я почти не рассказывал об этой второй, совсем неприметной, чье присутствие позднее сыграет важную роль и поможет установить доверие), француз, которого ведет растрепанный молодой человек, едва проснувшийся к полудню, в об-

щем, вся наша компания, должно быть, казалась необычной. Шагая по наклонной улице вниз, я почувствовал, что попал в знакомый, родной мне мир, такое со мной уже было. Друг держал меня за руку. Конечно же, я никого не узнавал, да и кого я видел в 1970? И в то же время, все лица были мне знакомы, ни одного чужого. Так и с домами — я не узнавал их, но когда остановился перед одним из них, довольно новым, с лестницей в три ступеньки и без дворика, который, как я помнил, был перед домом Хамзы, — я не сомневался: это именно тот, который являлся мне во снах и о котором я думал при пробуждении все эти четырнадцать лет.

По мере того, как мы спускались по этой улице, из-за наклона земли, из-за угла соприкосновения моих подошв с землей всё становилось для меня чётче, не резко, а постепенно, зато это было очевидно. Когда они, подошвы, возвращаются в то место, куда приходили один-единственный раз, они узнают тот самый наклон земли, свое положение по отношению к ее плоскости, импульсы идут от подошвы ко всему телу, и оно вспоминает себя в этом пространстве. Хамза II показал дом:

— Это дом Хамзы. Его мать там, думаю, вы сможете ее увидеть.

Когда я написал *знакомый, родной мне мир… я знал, что там был*, я мог бы ошибиться, но я не ошибся. Чувство, или, вернее, уведомление, пришедшее мне, недвусмысленное указание: *здесь находится дом Хамзы, его мать здесь*, к тому же, мой предыдущий рассказ о моей встрече с Хамзой и его матерью — всё сошлось, и сомнения пропали. Это был именно тот дом, несмотря на все перемены, всё случилось здесь. В крайнем случае, это мог быть один из двух домов, стоявших справа и слева от этого, но только не тот, что напротив, ведь дом Хамзы, если спускаться по улице, должен был находиться слева. Но был еще один признак, и тут мои органы чувств были не при чем, я получил его извне. Из Германии. Ведь из письма Дауда и слов Хамзы II мне было известно, что Хамза работает или работал в Германии, а в этом палестинском доме в лагере Ирбида, сам не знаю, почему, было что-то немецкое. Все это я понял не разумом, просто понял внезапно, как понимают, что яблоко еще не созрело, еще до того, как сорвут его. При этом не обязательно видеть, что оно зеленое, порой это понятно и до того. Дом не был построен из материалов, привезенных из Шварцвальда, но само звучание слова «Германия» очень ему, вернее, его внешнему

виду, подходило, между ними имелась некая гармония; теперь я всегда ощущаю ее, когда говорят: Германия и муфтий Иерусалима. Входная дверь была открыта, Нидаль прошла первой, когда я поднялся на три ступеньки лестницы, она уже разговаривала с пожилой хрупкой женщиной с седыми волосами, разделенными посередине на пробор и поднятыми кверху, наверное, под платком имелась куцая кичка. Вот что я почувствовал:

Если это мать Хамзы, она уже в царстве теней. Если задать ей прямой вопрос, она поранится о его острые углы и рассыплется в прах на моих глазах, и тогда передо мной будет покойная мать Хамзы.

Я осторожно протянул ей руку, она коснулась ее, как кошка мочит лапку. Еще она сказала:

— Садитесь.

Обвела рукой комнату, небольшую гостиную, где вместо ковра на полу лежали покрывала и подушки, образуя уютный уголок. С гибкостью, которую арабские женщины всех стран сохраняют до глубокой старости, они села на корточки на пол, прямо держа спину, и скрестила под собой ноги. Нидаль спросила:

— Ты узнаешь этого француза?

— Мои глаза плохо видят.

— Он приезжал сюда, к тебе, вместе с Хамзой, в 1970.

— У него был фотоаппарат?

— У меня никогда в жизни не было фотоаппарата, — сказал я.

Лицо ее оставалось неподвижным. Вполне вероятно, она меня забыла. Палестинцы пережили зверства солдат-бедуинов, беспокойство за Хамзу, когда тот был в исправительном лагере в Ирбиде. Я и сам не был уверен, что это она. Однако понемногу расположение комнат нового дома стало мне напоминать планировку дома прежнего. Гостиная, в которой мы сейчас разговаривали, была комнатой матери, той самой, где она принимала меня утром и приготовила чай, а сама пить не стала. Напротив находилась закрытая дверь уборной, где я научился пользоваться бутылкой с водой. Тоже сидевший на корточках, наконец-то проснувшийся Хамза II с детским восхищением смотрел на эту странную очную ставку. Мы хитроумно расставляли ловушки, словно хотели, чтобы несчастная женщина проговорилась, и каждый думал: «Так ему будет лучше».

Пока Нидаль переводила мои вопросы на арабский, старуха ей отвечала, а потом Нидаль

передавала ее ответ по-французски, у меня было время подумать, я в который раз обводил взглядом комнату, опять искал и опять находил новые черточки прежнего дома, пытался их истолковать. Лицо женщины находилось на уровне моего лица, оно было совсем белым, почти как ее волосы, и я заметил розоватые чешуйки кожи на голове и еще несколько маленьких пластинок хны, такими осыпают волосы невесты утром после свадьбы. Она тихо сказала:

— Кажется, однажды в рамадан мой сын пришел с каким-то иностранцем. Может, это и был француз. Не помню.

— Как зовут твоего сына?

— Хамза.

— Это было в каком году?

— Давно. Очень давно. Год я уже не помню.

— Ты помнишь, что это был Рамадан, но год не помнишь?

— Да, Рамадан.

— Тогда ты должна вспомнить: твой сын, Хамза, к тебе привел француза, а у тебя было ружье на плече…

— Нет, нет, у меня никогда не было ружья.

Я говорил с ней, мы все говорили с ней не то, чтобы мягко, но осторожно, как разговаривают

полицейские и следователи, которые, несмотря на раздражение, должны продвигаться медленно, терпеливо, не прямолинейно, успокаивать, идти словно в войлочных туфлях, я думаю, пока у нас все получалось. Мы, Нидаль, ее подруга и я, стали тремя идеальными копами. Я смаковал сладость притворства, я думаю, великие инквизиторы прошлого обладали, а полицейские и следователи обладают сейчас ловкостью птицелова. По ее реакции было понятно: власти когда-то обвинили ее в том, что она носит оружие.

— Хорошо, оружия не было. Твой сын пришел с французом. Он сказал, что этот француз христианин, но в Бога не верит.

Хамза II рассмеялся:

— Хамза тоже совсем не верил в Бога.

— А ты тогда сказала сыну: если он не верит в Бога, надо мне его накормить.

— Да, он ел очень мало. Одну сардинку…

— Две. Две сардинки, два помидора и небольшой омлет. Правда, немного.

Все, кроме нее, засмеялись. Нидаль сказала по-арабски:

— Но эта дама рисует портрет Жана. Он в Амане, уже неделю, и вообще ничего не ест.

— Твой сын Хамза привел меня к себе в ком-

нату. Показал отверстие у своей кровати, чтобы мы могли спрятаться, ты, твой сын и я, если бы бедуины оказались слишком близко…

После слова *отверстие* Нидаль перестала переводить. Может, сказалась профессия актрисы, ее умение уловить самый драматический момент, она остановилась, но затем молчание продолжилось ферматой, то есть, первая часть фразы завибрировала, словно повиснув в воздухе, и мне показалось, что вот теперь эта очень тонкая нить порваться не должна. Нидаль продолжила от *у своей кровати* до *слишком близко*. Когда фраза оказалась полностью переведена, мать поднялась и протянула мне руку.

— Идем, отверстие еще там, я тебе покажу.

Переводить было уже не надо. Ведя меня за руку и не предлагая другим последовать за нами — чего обычно она делать не решалась, но сейчас ее волнение было не скрыть — она отвела меня, меня одного в соседнюю комнату. Приподняла квадратную заслонку. Встревоженные слухами на улице, двое молодых людей вошли, когда я находился в бывшей комнате Хамзы и стоял, склонившись над этой дырой в полу, о которой помнил все эти четырнадцать лет и которая была словно символом доверия между мною и

палестинцами: Халебом абу Халебом, Хамзой, его сестрой и матерью. Я выпрямился, глядя перед собой и сказал по-арабски:

— Это была комната Хамзы.

— Да, — по-арабски ответила мать.

И впервые мне улыбнулась.

Двое молодых людей вновь опустили заслонку, она сливалась с паркетом в комнате. Это были внуки матери и двоюродные племянники Хамзы. Они боялись, что в дом принесли плохие новости из Германии.

Мне вспомнилась фраза Хамзы II «Хамза тоже совсем не верил в Бога». Я подумал, что они, наверное, много спорили с матерью о вере; для нее, мусульманки, это было потрясением? Безбожие своего сына — возможно, вызванное дружбой с Халебом абу Халебом — о чем соседи-палестинцы, разумеется, знали, она в конечном итоге приняла. Или смирилась, я не знаю. Поэтому-то она и сказала: «Если он не верит в Бога, надо мне его накормить», меня надо было накормить в Рамадан, значит, она знала, что христиане едят во время священного месяца. На первый взгляд эта фраза могла бы показаться верхом свободомыслия, на самом же деле она явилась логическим результатом наблюдений за соб-

ственным двадцатилетним сыном, ставшим одновременно и атеистом, и бунтарем, пренебрегающим обычаями ислама. Во всяком случае, первые обращенные ко мне слова матери, тогда, давно, теперь казались мне не такими оглушительным, как четырнадцать лет назад, когда я воспринял их как щедрое великодушие, свойственное палестинцам. Они перестали быть для меня символом веротерпимости, обретенной в долгой или стремительной битве. Нет, в моем представлении она не утратила величия, просто я лучше стал понимать, что́ привело ее к такому ответу, ослепительно простодушному. Она была еще палестинкой, но могла бы быть любящей христианской матерью сына-подростка, утратившего веру и, возможно, разум, который хочет есть мясо на страстную пятницу.

— Он работает в Германии.

Она говорила громко, обращаясь то к Нидаль, то к молодой палестинке, нашей спутнице, но все ее слова с этого момента были адресованы мне.

— В Германии, — повторила она, словно напоминание о расстоянии, отделявшем нас от него, было дополнительной защитой, мол, он слишком далеко, чтобы ему могли навредить. Она защищала его заклинанием.

— Ты слишком много говоришь.

Это произнес младший внук, наиболее проворный, как мне показалось.

— Но ты ведь помнишь, когда стемнело, Хамза ушел воевать, канонада была уже совсем близко, а ты тихонько вошла в его комнату, где я спал, и принесла на подносе чашку кофе и стакан воды.

— Я принесла французу чашку чая.

— Нет, кофе по-турецки. Ведь стакан воды был или нет?

— Был.

— С кофе по-турецки подают воду, а с чаем нет.

— Ты слишком много говоришь, — повторил младший внук.

Эти давние ночные воспоминания двух стариков, в которых ему, вероятно, мнилось некое постыдное сообщничество, смущали молодого человека, и казались неуважением по отношению к Хамзе. Глаза матери заблестели, ее лицо и тело, которые, как мне казалось еще несколько минут назад, вот-вот должны были растаять в воздухе, превратившись в тень, становились все плотнее и тверже с каждой секундой, заставляя меня держаться на почтительном расстоянии, не было смысла размениваться на ерунду. Мне хотелось закрепить свое открытие, она искала в

прошлом забвения.

— Тому, кто собирается спать, кофе не приносят.

— Ты не хотела, чтобы я засыпал.

— Бедуины были совсем близко.

— Ты слишком много говоришь.

Арабские невесты и молодые замужние женщины используют много хны. На коже она теряет цвет быстрее, чем на волосах. Как я уже говорил, волосы матери Хамзы были седыми и редкими. Я не мог оторвать от них взгляда. Даже когда я поворачивался к Нидаль, то все равно их видел. Маленькие чешуйки розовой кожи, видные под волосами, были покрыты хной, которая теперь там и останется, как у юной невесты или старой покойницы. Я это уже замечал, но теперь меня это преследовало, как поражение преследует настойчивее, чем победа. Победа палестинцев над израильтянами в сражении при Караме не забыто, но она волнует не так, как резня в арабской деревне Дейр-Ясин, когда в памяти сохранилась малейшая подробность, она вновь и вновь словно рассматривается под микроскопом, а тот, кто станет вглядываться в эти детали, будет не так потрясен самим фактом поражения, как его неизбежностью, признак или признаки которого

проявлялись с самого начала. Поражение вновь переживется слово в слово, потому что пережить — значит выжить, а победа — это данность, какой смысл ее пережевывать. Когда я смотрел на ее голову, в голове мелькали абсурдные мысли, стремительно сменяя одна другую:

«А если бы доктор Богомолец…?»

«Новый шампунь на основе яиц и меда или маточного молочка…?»

«Талассотерапия…?»

Чем больше всматривался я в морщинки вокруг рта или на лбу, тем меньше узнавал женщину, которую когда-то знал, сильную и веселую, и чем больше она давала мне доказательств моего пребывания здесь и нашей первой встречи, тем больше я сомневался, что всё это, и в самом деле, было четырнадцать лет назад. Хотя «сомневаться» это не совсем верное слово. Гораздо правильнее и честнее было сказать фразу, которую произносят, когда сомнение сменяется удивлением: «Этого не может быть!»

Так многократно использованный кусок мыла, потерявший половину своего объема, половину собственной субстанции, удивленный новыми размерами, мог бы жалобно воскликнуть: «Этого не может быть!»

Когда-то моя память была очень цепкой, она четко зафиксировала образ этой женщины, достаточно сильной, чтобы носить ружье, заряжать его, прицеливаться и стрелять. Ее губы тогда еще не были такими тонкими и бесцветными, как эти бледные, выцветшие следы хны на чешуйках в редких волосах. Самого краха я не застал, но его последствия осознать мог. Мать Хамзы стала такой худой, плоской, что сделалась похожа на всё в Иордании: фигурой в двух измерениях. Под ее полинявшим платьем угадывался приплюснутый картонный манекен, какие выставляют на витринах модных магазинов в Аммане, они пытаются оживить какой-нибудь кафтан, который на такой фигурке выглядел, словно повешенный, разве что язык не высовывал; мать Хамзы была плоской, как цинковая корона Хусейна над улицами и площадями; плоской, как первый мертвый фидаин, раздавленный танком; плоской, как пустая униформа, положенная на гроб погибшего солдата; плоской, как афиша… Еще она была плоской, как ячменная галета, плоской, как мелкая тарелка.

Но если она так хорошо помнила столь давние подробности, значит, говорила об этом с сыном, и они смеялись. Тогда почему? И над чем?

— Он работает в Германии. Женился на немке.

— Ты слишком много говоришь.

Внук считал ее слабоумной и, возможно, хотел избавиться от нее и её бредней. Предостерегать и оберегать ее от себя самоё означало бросить ее в старость, словно в клетку. Она утомленно поднялась. Должно быть, она многое помнила и о своем озлобленном, подозрительном внуке, хотя, возможно, он хотел выглядеть мужчиной в присутствии этой восьмидесятилетней — как казалось — женщины[107]. Хамза II по-прежнему смотрел на Нидаль. Он считал ее красивой, потому что она была красивой? Или знаменитой? И еще она так хорошо говорила по-арабски с ливанским акцентом, говорила по-арабски и вдруг переходила на другой, какой-то неизвестный, язык, наверное, варварский, французский. Как многие другие женщины, каждый раз, когда она говорила, то полагала, будто думает.

Подруга Нидаль впервые что-то произнесла по-арабски. Хамза II, казалось, удивился. Он и она когда-то принадлежали к одной организации и

---

[107] Примечания: 107

Я согласился на это слова: «казалось», она и была восьмидесятилетней, ибо время, прожитое в страданиях, старит быстрее. Четырнадцать лет назад ей было около пятидесяти, но сейчас она не казалась восьмидесятилетней, она ею была.

даже входили в одну группу, принимали участие в одних и тех же операциях против одного и того же противника. Они оба состарились, теперь у них другие лица, имена, другой образ жизни, и вот теперь они оказались здесь. Теперь перед удивленными нами они называли друг друга прежними именами фидаинов и в открытую вспоминали свои операции. Они были не новыми друзьями, а старыми товарищами. Поскольку в разговоре они употребляли другие слова, время в этой комнате ощутимо сжилось. Мать вернулась, когда ее внук, так часто повторяющий «ты слишком много говоришь», уже поднимался, чтобы идти за ней. А она пришла. Ее правая рука была сжата в кулак, а в левой она держала раскрытый конверт. Когда она протянула его мне, я сказал:

— Хамза!

И показал на фотографию, где ему было, наверное, лет двадцать. Нидаль посмотрела. Ее подруга и Хамза II посмотрели тоже.

— Он всегда смеялся, — сказал Хамза II.

Что чувствовал он в этот момент? Он носил имя, принадлежавшее далекому герою, на которого издалека приехали посмотреть, но он-то не был этим героем; номер II отодвигал его так далеко, гораздо дальше, чем это сделал бы кто-то вовсе

безымянный. Он больше не сомневался, что я когда-то, очень давно, провел в этом доме ночь. Раздался суровый голос внука:

— А на каком языке вы разговаривали, как друг друга понимали?

Он почти наверняка понимал, что еще немного, и ему придется признать: да, я был здесь, когда сам он только-только родился. Его мелочные придирки к бабушке ни к чему не привели, великим полицейским ему не стать, разве что этот последний вопрос был ловушкой…

Все, забыв о фотографии Хамзы, внимательно смотрели на меня. Я легкомысленным тоном произнес:

— Хамза, так он мне сказал — Нидаль переводила — провел десять месяцев в Алжире, в столице, на военных сборах. Там он выучил несколько слов на французском и немного на арабском. Так мы и разговаривали.

— Он там был восемь месяцев, — сказала мать.

— Десять.

— Не могу вспомнить, это было так давно.

Она подождала, пока Нидаль переведет ее ответ. И добавила:

— Я не могу тебе дать его адрес, у меня его нет.

Она протянула правую руку ко мне, кулак раз-

жался. Я взял газетный клочок, на котором были нацарапаны только цифры, которые во всем мире называют арабскими. Она объяснила Нидаль без улыбки, лицо ее вообще ничего не выражало, ни триумфа, ни краха:

— Это номер телефона Хамзы. Вы можете ему сегодня вечером позвонить. По телефону-автомату.

У меня был билет на самолет до Адена, но я не улетел. Аден, Сана, два Йемена были слишком далеко, это путешествие стало казаться мне бесконечным шлейфом. Вернувшись в Амман, вечером я набрал номер Хамзы, живущего в одном немецком городке. На том конце подняли трубку.

— Хамза?

— Да (по-арабски): Nam.

Хотя я не забыл голос, его мягкость меня удивила, и в который раз я подумал: «Меня взволновала не столько справедливость этой борьбы, сколько правота». Он не удивился моему путешествию в Ирбид. Хамза не умер, как меня пытались убедить. Мы сказали друг другу несколько слов по-арабски и по-немецки, на котором он, как мне показалось, говорил очень хорошо. Он продиктовал мне свой точный адрес.

Но коль скоро худшим из всего возможного

была смерть, смерть в одиночестве под пытками, выходит, худшего не произошло; или, напротив, худшее как раз и произошло, *поскольку Хамза не умер*?

Можно было рассматривать множество гипотез, и все они были здесь. Страшные.

Но вернется в дом в Ирбиде.

Наверное, мать что-то потрясло, раз она протянула мне единственный клочок бумаги, на котором был написан адрес Хамзы, чтобы я забрал его себе. На этой бумаге пальцы оставили множество следов, если бы я унес ее, мы оборвали бы нить, связывающую ее с сыном. Я попытался было ей объяснить, но у нее как будто снова кончился завод, не осталось сил даже на смятение, словно решение сделать мне этот подарок полностью лишило ее жизненной энергии. Я переписал телефон Хамзы в записную книжку Нидаль, а грязный клочок бумаги вернул ей.

Следует вернуться к покатой улице, которая, как мне показалась, вела в знакомый мир. Я так долго думал и мечтал об этой улице, о белых воротах, ведущих во внутренний дворик, что в моих воспоминаниях она была не покатой, а ровной. Так я ее и описал палестинцу, управляющему отелем Абу Бакр в Ирбиде, недалеко от таможни,

в 1972. Он отговаривал меня туда возвращаться.

— Но я хочу узнать про Хамзу и его мать.

— Ты с таким трудом перешел границу. Полиция не хочет, чтобы ты возвращался. Сейчас они думает, что ты в Аммане или, по крайней мере, по дороге туда. Если тебя обнаружат в палестинском лагере в Ирбиде, тебя привезут обратно в Сирию, и для тебя это будет конец, но мало этого, когда ты появишься в доме, за которым наверняка следят иорданские военные, ты поставишь под угрозу фидаинов, они рисковали, провожая тебя туда, и меня тоже поставишь под угрозу, ведь я обещал полиции следить за тобой до отъезда в Амман.

Тогда я не стал даже приближаться к дому, но описал его фидаину в отеле, и он обещал, что попытается все разузнать. Но ничего не сказал. Или забыл. Слишком много палестинцев тогда пострадали.

«Он долгое время находился в лагере Зарка. Его ранили, пытали. У него повреждены ноги».

По крайней мере, одна часть письма Дауда оказалась правдой.

Мать, внезапно рассмеялась, показав совершенно беззубый рот, и сказала мне:

— Француз был такой смешной, Хамза предложил ему свою расческу, а он нам сказал, что

каждое утро причесывается влажной салфеткой.

— Действительно, такой идиотский ответ мог дать только я.

В какой момент я об этом подумал? Не помню: «Но если она так точно помнит эту фразу, значит, должна знать, что фотоаппарата у меня не было». На портрете, который я только что видел, Хамзе двадцать, а не двадцать два. Она знает, что я не мог фотографировать Хамзу до того, как вошел к ней».

— Кто сделал это фото?

— Халеб Абу Халеб.

И я понял, что упоминание о фотоаппарате было ловушкой. Я должен был в нее попасть, лжеца бы разоблачили и не стали бы ничего ему рассказывать. Порой ложь имеет свои преимущества, свою привлекательность, и я люблю иногда с ней играть, даже здесь, когда пишу эту книгу; но тогда, в Ирбиде, она бы меня погубила. Прояви я нерешительность, и мать бы засомневалась. И я еще четче смог увидеть это бледное узкое лицо, бесцветное, словно его вымыли жавелевой водой, с коричневыми старческими пигментными пятнами, с чешуйками хны, это лицо казалось одновременно и подозрительным, и хитрым, и боязливым, и дерзким. И вспоминая ту довер-

чивость, с какой она приняла меня когда-то, я словно измерял с помощью некоего невидимого инструмента прошедшее время, с 1970 по 1984, время страданий и разрушений, превратившее этот прекрасный рассудок в свою противоположность, в осторожную подозрительность. У нее, изъеденной невзгодами, но не угасшей, будет ли еще время обрести себя ту, какой она была?

Но можно ли назвать крахом то, что с ней стало? Наверное, она страдала от невралгии, постоянно почесывала ногу. И все-таки почему, когда я шел по этой улице, у меня возникло чувство, что место это мне знакомо? Попробую дать объяснение. Тогда, в 1970, я прожил половину дня и целую ночь в невероятном возбуждении, но оно было скрыто глубоко внутри и не заметно постороннему, наверное, это место отпечаталось во мне. Трешь ногтем или монеткой билетик моментального лото и постепенно проявляется сумма выигрыша, так и здесь, это место, улица, дом появлялись даже не перед глазами, не узнающими деталей, но какими-то очертаниями, которых я не разглядел во время первого своего пребывания здесь, но они были, они сохранились с этом лагере Ирбид. И только теперь, спускаясь по этой улице четырнадцать лет спустя, я сумел

вернуться сюда и пройти по ней снова, но так, будто это было четырнадцать лет назад. Все, что я написал тогда, было ложным. Возможно, правильнее будет так:

Думаю, в декабре 1970 я, выпив чаю в комнате матери, которая в это время готовила ужин, вышел из дома. Идя вверх по улице, я был счастлив: ночь прошла прекрасно, Хамза вернулся усталый, но не раненый, вторая тревога так и не была объявлена. У колонки я поздоровался со старой палестинкой, она наполняла ведро водой. Не помню, что она мне ответила, но когда вернулась в дом, оттуда вышел какой-то молодой мужчина в пижаме, подошел ко мне, ответил на мое приветствие и попросил документы. Я, немного раздраженный, порылся в карманах и протянул ему подписанный Арафатом пропуск. Этот совершенно незначительный эпизод — после теплоты и радушия дома Хамзы — породил во мне недоверие к этому народу, который всегда настороже. Вернувшись сюда, в то же место, в 1984, я прежде всего остального узнал ту самую колонку. Не уверен, что причина именно в этом, но мне всё стало понятнее и яснее. За четырнадцать лет эта колонка из моих воспоминаний никуда не делась, и каждый раз, думая о Хамзе, я

видел и её тоже, в кинематографе это называется двойной экспозицией: то, что нас когда-то оскорбило и причинило боль, приходит на память быстрее, чем то, что нам было приятно. Сознательно, по собственному желанию мы крайне редко вспоминаем оскорбления, напротив, стараемся их прогнать как можно дальше. Когда нам на память приходят счастливые моменты, тогда же и вспоминаются страдания, пусть даже мимолетные, пусть воображаемые, эти напоминания настойчивы и несокрушимы. Не каждая колонка будила во мне отголосок прежней боли, зато любое воспоминание о счастье возвращало меня к колонке. И вот она по-прежнему здесь, в Ирбиде, и я ее увидел. Она так и стояла на перекрестке двух улиц, улицы Хамзы и той, что вела к дороге. Сейчас, когда я это пишу, мне странно, что я не воскликнул, как тогда, увидев фотографию Хамзы: «Колонка!»

Почти в унисон мы произнесли:

Я: На следующий день я отправился в Дамаск.

Она: Когда Хамза проводил француза и вернулся, то сказал, что тот уехал в Дамаск.

Она решила обратиться прямо ко мне по-арабски, Нидаль негромко переводила:

— Видишь, какие мы. Мы были в Испании, в

Голландии, во Франции, в Лондоне (Лейла Халеб), в Швеции, в Норвегии, в Таиланде, в Германии, в Австрии.

Слушая эти слова, Spagnia, Landia, Francia, Guilterra, Teland, Magnia, я как будто видел популярный символ каждой из этих стран, названных ею на арабском языке. А она сама, услышав эти названия по радио, как представляла себе территории, где действовали фидаины и где, как она думала, закладывал взрывчатку ее сын?

Бои быков, каналы Амстердама, Эйфелева башня, Темза, снег (*teij* по-арабски, *telj*, повторяла она восхищенно), полярные льды, золотой Будда, Франко, Гитлер, вальсы… Из своего дома она покоряла мир, управляя перемещениями Хамзы, и подобно Наполеону на его острове, рассказывала своему конфиденту Лас Казу о мире завоеванном и потерянном. Она продолжала:

— В Италии, в Марокко, в Португалии, а сейчас мы где? В Дюссельдорфе. Из Токио приехали японцы, чтобы в Тель-Авиве (она на арабский манер произнесла Tel-Habib) убивать израильтян.

— Хамза купил тебе цветной телевизор?

— Он маленький, а у меня глаза больные. Я его слушаю, а смотрю редко. Только вчера я посмотрела, хотя в глазах туман, я хотела увидеть, как

Хусейн на коленях молится за старика.

— Какого старика?

— За своего деда, Абдаллу, его убили, когда он выходил из мечети в Иерусалиме. Ты меня слушаешь, француз? Хотя он умер давно, все молятся, чтобы Бог смилостивился и спас его.

Выйдя из дома, я нисколько не сомневался, что знал поэзию с семидесятых годов, с тех лет, проведенных среди фидаинов: абсолютное доверие и благоразумная осмотрительность. Я испугался, почувствовав на лице теплый уличный воздух. Всё, что было в этом доме, мне, похоже, приснилось. Мне было страшно за мать, за двух ее внуков, за Хамзу II, за самого Хамзу. Наше прибытие в лагерь, все наши разъезды не могли остаться незамеченными.

— Представьте себе в этом забытом богом месте появляется человека с Севера, такой старый, рассказывает какую-то историю, и как старуха была счастлива, что не попала в ловушку, когда иностранец рассказал ей, что провел здесь ночь четырнадцать лет назад, а рядом красивая молодая светловолосая женщина, которая говорит на прекрасном арабском языке с ливанским акцентом, — сказала мне Нидаль.

Боялся ли я? Я, и в самом деле, чувствовал

легкий холодок страха. От недоверия и подозрительности, о которых мне говорили в Бейруте, в Рабате, в Аммане, не осталось и следа. Может быть, какой-то образ, матрица, но где она отпечаталась во мне? Из-под растрескавшихся плит, гранитных или бетонных, пробивался мох. Какие-то споры растений, корни инжира приподнимали плиты, медленно или резко, и раскалывали их; этот образ стоял передо мной не то, чтобы очень четко, он был размытым и нерезким и возникал как будто в том же тумане, в каком когда-то появлялась передо мной колонка.

В сопровождении внуков и Хамзы II, который на этот раз, смеясь, признался — и не без хвастовства — что тоже когда-то был фидаином, мы прошли по лагерю, почти безлюдному, потому что было как раз время обеда. Какие-то молодые палестинцы поздоровались с Хамзой II, и тот ответил беспечной улыбкой, как настоящий Хамза тогда, четырнадцать лет назад, или наоборот, говоря теперь об улыбке Хамзы I, я вспоминаю II.

Когда мы подошли к автомобилю Нидаль, Хамза II демонстративно не заметил моей протянутой руки и, меня за плечи, дважды поцеловал. Внуки, улыбнувшись, проделали то же самое, возможно, не так сердечно. Нидаль и ее подруге

они пожали руку.

Откуда у матери такая холодность и подозрительность? Если ее сухой прием был подобен высохшему ручью, в каком высохшем источнике брал он свое начало? Метафора ничего не стоила. Никакой образ не передаст это яснее и полнее, чем просто слова «сухой» и «сухость». Они, как нельзя лучше, передают это отсутствие какого бы то ни было течения, водного потока, льющейся воды, реки, что берет начало в полноводном источнике и струится, орошая землю; а высохшая река, как и мать, неподвижна, безжизненна, суха. Взгляд был потухшим, промелькни в них какой-то свет, это означало бы некое движение души, и глаза бы засияли. Если бы речь шла о светильнике, любой ребенок сказал бы, что нет тока, а слова «сухой» и «сухость» означали засушливую, бесплодную почву. Выбранные мною пронзительные вокабулы, их узус, их истертость, возможно, и передали то чувство беспокойства, в котором я не решался признаться: как протекли эти четырнадцать лет, сделавшие из той красивой, цельной женщины вот эту — скрытную и подозрительную. Скрытную, но… она все-таки дала мне листок с номером телефона Хамзы, и это было следствием её усталостей. Именно так, во

множественном числе. Когда-то умевшая постоять за себя, так гордившаяся сыном, она иссякла, как высохший ручей.

Шиповник — это цветок романтиков и, возможно, их символ, так что ничего удивительного, что венчику цветка я предпочитаю плод; розовое соцветие дает плод ярко-красного цвета, теплый, который в народе иногда называется «почесушник», мясистый, с многочисленными плодиками-орешками, покрытыми легким пушком: стоит съесть две-три штуки, как начинает чесаться в заднице. Когда по осени шиповник начинает опадать, обнажается сам плод, маленький, но очень яркий, красный, как член кобеля, гоняющегося за течной сукой. Один за другим отрываются и падают на землю пять лепестков, по одному в день, и вот остается только колючий куст. Так передо мной медленно обнажалась Церковь, признаваясь, что стоячая вода в купелях — не из Иордана, а из крана, что Иисус родился не в I году, что безо всякого чуда облатку можно было грызть грязными зубами, ну и так далее. Так же и мать. Ее сын не умер. Он был единственным. У него у самого был сын. То, что я счел ошибкой памяти, было хитростью. У Хамзы было два старших брата, не зная этого, я не знал, как она к ним

относилась, возможно, с такой же нежностью, как и к Хамзе. Откуда у Хамзы это безбожие?

«Хамза тоже совсем не верил в Бога», — сказал Хамза II.

Может, это у него от братьев? От матери осталось не слишком много: чешуйки перхоти в волосах с остатками хны, костлявое тело, бледное, словно выцветшее лицо, серая кофта, колючий кустарник шиповника без цветов, Церковь, с которой слетела позолота.

Это была неутихающая золотая лихорадка. Впервые я понял, что это такое, в церкви одной маленькой французской деревушки. Подсвечники были из золота, старинного золота, на котором проступали темные пятна ржавчины. Предметы священные, потому что культовые и должны были быть сделаны из этого благородного металла, который, к тому же, так подходил для метафоры. Но деревенский каменщик посмеялся надо мной, ведь подсвечники были всего лишь позолоченные, в тот год я узнал, что такое золотой фиксинг, накладное золото, золотой лист, вермель, самородок, но тут уже приходской священник посмеялся надо мной, объяснив, что подсвечники просто жестяные, покрытые тонким слоем красной меди. Это схождение золота

в ад, как признание скудости Бога, породило во мне сначала осторожность, затем скепсис. Ренессанс, Людовик XIII, Людовик XIV, Регентство, Людовик XVI, Империя, Луи-Филипп, Вторая Империя, вся эта мебель, сделанная в Карачи, была деревянной, серебряной, перламутровой, но вся целиком, снизу доверху покрыта позолотой. Это была квартира представителя ООН в Бейруте. Он привез ее из своей страны, из пакистанского дворца, вся она была позолоченной, и всё вместе напоминало знаменитый Золотой храм сикхов. Он жил на двенадцатом этаже, я на восьмом. Он пригласил меня выпить кофе, и я был удивлен как этим золотом на уродливой мебели, так и самим приглашением. Я вернулся из Карачи, где в уличных заторах сновали автобусы и трехколесные грузовые мотороллеры без верха, а мебель, примотанная для надежности стальной проволокой, переливалась позолотой и серебром, вдруг вспыхивал то зеленый, то красный, то желтый, цвета набегали, карабкались один на другой, и всё было покрыто золотом. А здесь, в Бейруте, на двенадцатом этаже, мебель, которой посчастливилось показать мне себя, смотрела на море.

Хотя этот посланник, как и все жители Бейрута, боялся бомбардировок, держался он весьма

непринужденно. Никогда представитель ООН не должен был бы приглашать меня к себе.

С ним жила молодая красивая палестинка. Встретив меня в арабском книжном магазине в Париже, она испугалась, что я вспомню ее лицо, ведь приглашение исходило от нее. Пакистанец, совершенно не зная арабского, говорил только на английском и французском. Она была первой и, возможно, единственной палестинской шлюхой, которую я видел. «Нет, генерала Шарона я не встречал, — сказал он мне. — Наверное, он был со своей семьей, я не подходил. Пожимать ему руку не входит в мои должностные обязанности».

В сентябре 1984 я вернулся в Шатилу, дом, куда меня привели, был в свое время разрушен, затем восстановлен, перекрашен. Женщины предложили мне чай. Я знал четверых из них, хозяйку дома, ее мать, двух дочерей. Кроме десятилетнего мальчика, все были ранены в 1982.

— В нас до сих пор еще пули и осколки бомб.

От них я узнал, что им стыдно было не от того, что их ранили, а от того, что в их телах сидели осколки израильских снарядов, это было похоже на изнасилование, чреватое чудовищными родами.

— Осколки живут своей жизнью в нашем теле,

что еще ужаснее, они питаются нашей плотью.

Скудная простая мебель, два разрозненных кресла неизвестно откуда, того же происхождения диван, низкий столик, на стенах фотографии погибших или их портреты, сделанные неумелой рукой, этот дом был не просто опрятным в своей обнаженности, во всей обстановке была какая-то изысканность, изящество, которым можно только позавидовать, он, после всех убийств, разрухи, обставленный старой мебелью, дарил сердцу покой. Хамза и вообще все палестинцы, как мне казалось, несли в себе этот покой; в их интонациях, жестах, одеждах было что-то аристократическое, давнее, забытое. Домов, подобных этому, семей, подобных этой, я много видел в разрушенных Сабре и Шатиле, в лагерях беженцев в Иордании. Палестинская сдержанность и элегантность, норвежские озера.

В 1972, за два дня до того, как меня выслали из Аммана и Иордании, мне довелось увидеть зрелище, которое, сумей я описать его, добавило бы саркастическую страницу. Когда я приехал в отель «Джордан», у меня было время съездить в Петру и обратно, но мне долго пришлось ждать возвращения палестинца, с которым я связался. Гостиная в отеле была в полном моем

распоряжении, потому что все, кроме меня, были приглашены на два коктейля в подвальное помещение, куда я никогда не спускался. Странность — и места, и самого факта — начиналась прямо здесь, с двух табличек внизу двойной лестницы, что спускалась в два огромных подвала, освещенных и блестевших позолотой, одна табличка была на английском и на вьетнамском языке: это был национальный праздник Южного Вьетнама, другая на английском и на арабском: национальный праздник Абу-Даби в Эмиратах, выполненная легкими буквами, похожими на персидские; старательно выписанные таблички, одна в честь страны, которая перестанет существовать через несколько месяцев, другая в честь страны, где я никогда не был, но которая представлялась мне бесконечной песчаной пустыней с редкими вкраплениями колодцев. Сидя в углу черного дивана, не отводя взгляда от массивной двери в холл я, ожидая возвращения палестинца, смог увидеть начала обоих праздников.

Два посла, которые, казалось, не замечали друг друга (мне не нравились оба их одеяния: голубое с позолотой вьетнамское и белое с вышивкой арабское), стоя на красном покрытии наверху лестницы, встречали приглашенных, пожимая

каждому руку, и гости, усыпанные блестками и ленточками, словно жидкости в сообщающихся сосудах, плавно перетекали с одного праздника в другой, из позолоченного арабского подвала во вьетнамский красновато-коричневый, но между входной дверью холла и двойной лестницей, ведущей в оба подвала, происходила еще одна церемония, явно не предусмотренная протоколом, мешавшая праздникам обоих послов обеих стран. Секретарей посольств в цветной униформе с их женами в шелковых платьях, консулов с женами в кружевных платьях, холостяков в рубашках или во фраках, которые так неуклюже на них сидели, всех дипломатов, гостей праздника досматривали на входе шестеро полицейских, пропуская одновременно лишь одну пару. Первым в двери появился итальянский посол, вытянув руки перед собой, словно желал, чтобы его пощекотали под мышками. Полицейский-иорданец ощупал его от шеи до носков; затем подошла очередь испанского посла, до которого полицейский едва дотронулся, как будто стряхивая пыль с пиджака, знак уважения франкистскому правительству, отказавшемуся признать государство Израиль; затем появился посол Японии, его обыскали, посол Берега слоновой кости с супругой в платье

«бубу», их обыскали, посол Бразилии, обыскали, посол Голландии, обыскали, других послов, обыскали тоже; мне полицейские не сказали ни слова. Сидя на диване, я отводил взгляд от двери только для того, чтобы полюбоваться знаками внимания, которые два посла, Южного Вьетнама и Эмиратов, оказывали дипломатическому корпусу, но весь этот дипломатический корпус и каждый корпус в отдельности подвергался тщательному обыску со стороны десанта полицейских, обосновавшихся здесь уже давно. Однако во всем этом спектакле уже начинала чувствоваться какая-то усталость, причем, она сквозила не в жестах дипломатов, суетливых и проворных, ни в жестах их жен, те и другие выглядели довольно естественно, как будто посланник позволял себя лапать между ног, под мышками, чуть ли не осматривать подошвы исключительно ради любопытства француза, сидевшего в углу салона; усталость чувствовалась в движениях атлетически сложенных усатых полицейских, которым надоело постоянно наклоняться и разгибаться, чтобы ощупать подметки, ноги, карманы и плечи. Как будто согласно некой договоренности эти шестеро ощупывающих разбились на три группы по два: одна стояла у входа, другая перед послом, третья позади него.

Полицейские трудились, как стахановцы. Если нужно, чтобы белок яйца был не только вкусным, но и выглядел прилично, надо разбить скорлупу над хорошо разогретой сковородой, смазанной маслом, тогда белок быстро схватывается, перестает быть прозрачным и вязким и становится похожим на белую глазурь, окаймленную тонким темным ободком, значит, всё уже готово. В свежем яйце белок чаще всего грязновато-белого цвета или цвета слоновой кости. Эмаль выглядит мягкой и маслянисто-белой не сама по себе, а рядом с другой эмалью, зеленой, иногда красной, но чаще зеленой. Эмаль, как яичный белок на сковороде, не вспучивается, но иногда слегка набухает. Такая белая эмаль окаймляет зеленую эмаль креста Карла II на груди испанского посла. Несколько позже мне довелось увидеть более плотный белый на кресте кавалера ордена Почетного легиона, украсившего грудь французского посла в Аммане в августе 1972. На его груди военный атташе прикрепил медаль Сопротивления. Я отметил, что нежность и изящество эмалей, какого цвета бы они ни были, зависела от двух вещей. Прежде всего, от легкого вздутия эмали, оседавшего к краям, и еще от легчайшей, почти незаметной сетки крокелюров, появившихся,

вероятно, при обжиге, так, что награда, если ее рассматривать под лупой, выглядела особенно изысканной и даже загадочной, как полотна Шардена и Вермеера, когда на них смотришь невооруженным глазом. Я, как мог, подсчитывал в уме страны Востока, отказавшиеся признать Южный Вьетнам, пока широкие ладони ощупывали посла Марокко, посла ФРГ, посла Швеции. С папским нунцием обошлись бережнее, и дело здесь не в нагрудном кресте, изумление вызвала эта белоснежная борода на алой переливающейся ткани; нунций даже не удостоился, чтобы с него смахнули пыль, как с испанского посла. Появился посол Франции, представляющий, как я полагаю, вечную Францию. Его Превосходительство с орденом Почетного легиона на шее взирал на коленопреклоненного полицейского, похлопывающего его по туловищу снизу вверх, восходя от лодыжек до колен, до бедер, которого сменил другой полицейский, ощупывавший спину, в то время как супруга посла в длинном платье, вцепившись в сумочку, ждала, когда муж, обысканный снизу доверху, будет признан неопасным и допущен на прием. Военный атташе Франции в полной парадной форме, на которой медалей было больше, чем барельефов на неаполитанской

базилике, появился в дверях и помедлил, словно маршал Тюренн с его знаменитым: «Ты дрожишь, мой скелет? Ты дрожал бы еще больше, если бы знал, куда я тебя сейчас поведу», и, как Маршал, он бросился в атаку всем своим дрожащим скелетом и позволил себя теребить и ощупывать. Посол Пакистана, посол Туниса. Меня нисколько не удивляло, что все супруги послов явились в кружевах, изумрудах и рубинах, но откуда их мужья взяли все эти наградные бляхи, украшающие их торсы, причем каждый торс был выпуклым, как лоб Виктора Гюго, словно в этом и было назначение посла: обзавестись торсом, на который можно было вешать орденские значки и ленты?

Я даже подумал, может, после первой медали торс начинает раздуваться и увеличиваться в объеме, становясь эдаким дерзким выступом, гордой витриной, в ущерб ногам и голове, причем, ноги становятся все более тонкими, а голова все более тяжелой, но пустой. Происходит накачка мускулов груди.

Эта церемония, походившая на оборотную сторону медали, не имеющей лицевой стороны, так сказать, реверс без аверса, причем, медали за заслуги, о которых никто никогда не узнает, приостановилась, словно переводя дыхание.

Когда личный обыск завершился, все дипломаты, спустившиеся в зарезервированные для мероприятия гостиные, оказались в центре земли, чтобы выбраться оттуда уже на другом конце света, и даже на меня снизошел покой: два полицейских, которые массировали их позвоночники, теперь, снимая напряжение, массировали друг друга с таким сладострастием, с каким дамы начала века расшнуровывали свои корсеты. На холл, на полицейских опустился туман, как пар в турецкой бане. Они потягивались, открывали рот, чтобы зевнуть, но из подвала уже поднимались нет, не первые, а последние дипломаты, их супруги, их военные и культурные атташе, вернее, культурные и военные, как уточнил бы словарь Гревисс, сообразуясь с военным кодексом и правилами красноречия. Поясницы ломило. Руки устали, запястья болели, но лихорадочный зуд никуда не делся, они вновь были готовы проверять туфли и приподнимать брюки. В глазах французского посла я увидел уныние и безнадежность, такие же, какие испытывал и я в тюрьме, когда меня обыскивали охранники. Его надменная супруга, указав на мужа и атташе посольства, сухо сказала по-английски:

— Довольно игр на сегодняшнюю ночь. Меня

уже достаточно обыскивали.

Копы с облегчением выпрямились.

Глядя на них всех, дипломатов и полицейских, я понял, что нет ничего красивее восточных полицейских, приказывающих жестами, порой довольно игривыми, сильным мира сего наклониться, оттопырить ягодицы, развести в стороны руки. Уроком им служили невозмутимость Талейрана и его еле заметная улыбка.

Супружеская чета дипломатов поднялась из ярко освещенных золоченых подвалов; они гордо прошествовали мимо полицейских с ноющими от напряжения, но прямыми позвоночниками, и вошли в дверцу автомобиля, тоже почти не согнувшись. В этот раз они узнавали изгибы знакомых спин: куртка шофера была английской, мундиры бельгийскими, немецкими, французскими. Дипломаты с супругами рассаживались по автомобилям степенно и серьезно, но оставляли за собой шлейф аромата, заставляющий сомневаться в серьезности масок.

Это был такой обряд, праздник…

Когда какой-нибудь ветеран в тысячный раз рассказывает мне про Мёз-Аргонское наступление, а Виктор Гюго в романе «Девяносто третий год» неоднократно упоминает бретонские леса,

это меня раздражает, но не мешает самому снова и снова писать про то, что дни и ночи, проведенные в Аджлунских лесах — от Ас-Салта до Ирбида по берегам реки Иордан — были праздником, если принять следующее определение этого слова: огонь, который горячит наши щеки оттого, что мы вместе, несмотря на законы, предписывающие нам одиночество; или вот еще такое: сбежать ото всех и отыскать место, где мы сделаемся сообщниками против этих всех. И самый большой восторг на этом празднике мы почувствуем, когда тысяча или сто или пятьдесят или двадцать или два пламени будут гореть столько времени, сколько понадобится одной зажженной спичке, а единственной песней станет нарочито-театральное шипение почерневшей гаснущей спички, умирающей в корчах. Этот последний образ напоминает о том, что праздник порой походит на надгробное бдение, в самом деле, всякий праздник — это одновременно и ликование, и отчаяние. Представим себе смерть какого-нибудь еврея во Франции при немецкой оккупации: его хоронят на деревенском кладбище и из семи разных мест приходят семь самых отвратительных солистов с черными коробочками в руках. Этот тайный септет у могилы играет арию Оффен-

баха, плохо, зато очень торжественно, а затем, не сказав ни слова, они расходятся каждый в свою сторону. Для Бога пророка Исайи, который сам есть дуновение на стебельке, это ночь была праздником. Глядя на волосы и бледное лицо матери, я понимал, что одного лишь легкого, едва уловимого беспокойства Мухабарата, о котором можно было только догадываться, достаточно для свершения таинства, именно оно позволило этой странной встрече стать праздником.

Хотя слова ночь, леса, септет, ликование, одиночество, отчаяние — всего лишь слова, тем не менее, именно их я использую, чтобы описать то душевное смятение ранним утром в Булонском лесу в Париже, когда расходятся трансвеститы, свершив таинство, и пересчитывают свои мятые от росы банкноты. Но любое более или менее благонамеренное действие может быть скорбным — не мрачно-похоронным, но скорбным — так на заводе устанавливают громкоговоритель, чтобы легче стало работать на конвейере под приятную мелодию. Хозяева завода полагают, будто музыка способствует яйценоскости. Любое отправление таинства опасно, а когда оно запретно, но все равно свершается — это праздник.

Мой знакомый палестинец так и не пришел.

Поскольку начинало уже темнеть, я решил отправиться к нему, почти инстинктивно отыскав улицу, где находился магазин его отца, еще открытый в этот час. «Я тебя отведу», — сказал мне отец по-арабски. Он улыбался, похоже, мое присутствие его не раздражало.

Сын лежал на кровати, над ним сидели две его жены. Тело было сплошным синяком, его избивали полицейские, которым хотелось узнать, зачем я приехал в Амман.

— Скорее уезжайте, вам надо покинуть королевство.

— Завтра.

— Уезжайте этой ночью.

Вечеринки в обоих подвалах уже закончились. Я забыл сказать, что после отъезда дипломатов уборщики, за которыми неотрывно следил один из полицейских, нашли на коврах несколько орденов с якобы бриллиантами, а на самом деле фальшивыми камнями. Ни один из них не стоил ровным счетом ничего, зато комиссары полиции могли унести их домой и дать поиграть детям, это мне рассказал лифтер, которому было предписано за мной следить и обыскивать чемоданы.

Той ночь в саду рядом с отелем «Джордан» взрывов не было, водители пододвигали по-

ближе к крыльцу таблички, написанные на национальных языках. Я решил принять меры предосторожности — эффективные, как картонные доспехи — и спал не на кровати и не в спальне, а в ванной, завернувшись в одеяло. На следующее утро я, не понеся более никакого ущерба, на такси покинул Иорданию, весьма довольный вчерашним спектаклем с участием дипломатического корпуса. Граница между Сирией и Иорданией была уже закрыта, ее открыли специально для меня.

– *Is finish for you.* (Для вас все кончено).

Однако я безо всякой помпы вернулся четырнадцать лет спустя.

— Умные, они? Ну, разумеется. Причина обособленности палестинцев от других народов — в их поражении. Израильтяне мало того, что лишили их своих домов, садов, яблонь, баранов, роз и кольраби, так еще и сделали из них демонов, которые дерутся, умирают и убивают, они желают уничтожить не только отважный народ, который лишил крова, но вместе с ним и все народы. Фидаины объявили войну всему миру. Сами себя они называют красивым словом революционеры…

— Это слово вам не нравится?

— Дело не в этом. В Алжире у нас была алжир-

ская революция.

— А базы в Марокко и в Тунисе.

— Они в арабском мире были везде, и в Китае, и в СССР. Они могли бы иметь такие же.

— Вы же прекрасно понимаете, что нет. Вашей свободы и ваших идей арабский мир не опасался. А палестинцы наводят страх на арабский мир, на все монархии, крупные и не слишком.

— Это они сами вам сказали. Впрочем, людям вроде вас они так и говорят. А мусульманам рассказывают совсем другое. Израильтяне слишком их разнежили. Ислам спит вполглаза, если его разбудить, он окрепнет. Сами видите, как поднялись «Братья мусульмане».

В Братьях мусульманах он видел высокомерие и надменность. Офицер-алжирец, который — слишком часто — приходил ко мне в 1972 году, был неспособен предвидеть приход Хомейни. Суниты казались сильнее, при них шииты говорили тихо и вели себя еще робко.

— Они одержат победу, начнут священную войну и вас здесь не будет. Братья терпеть вас не станут. Или умрите или обратитесь в их веру.

— Я обращусь, обо мне не беспокойтесь. А вот что сделают они с вами?

— Когда я приезжаю в Алжир, то даже не могу

сказать своему сыну, ему шестнадцать, что не верю в Бога.

— А то он вас убьет?

— Просто не поймет. В полицию он не обратится, скорее, к психиатрам.

Имя этого офицера хорошо известно и палестинцам, и алжирцам, он погиб. Зачем приходил он ко мне обменяться парой-тройкой слов? Потом я его долго не видел, и вот в последний раз в Бейруте:

— Вам не следует здесь оставаться. Они разрушат всё. Снаряды и бомбы всех уничтожат и перемешают в кашу: мужчин, женщин, детей, лошадей, железо, *они* из всего этого сделают кашу, причем, скорее, исламскую, а не израильскую.

Я записал это в сентябре 1972. В его автомобиль попала бомба. Израильская?

К сентябрю 1972 в Южном Ливане уже ощущалось нечто тягостное. Словно все движения фидаинов и даже, возможно, их мысли, налились свинцом, исчезла радость борьбы и разрушения. Всё происходило будто в плотной густой субстанции, так происходит всегда, когда руководители и их подчиненные *размышляют всерьез*, то есть, когда убежденности: какой-то Бог пообещал их землю потомству какого-то бродяги — они про-

тивопоставляют собственную убежденность. Изучение малейшего передвижения войск было делом необходимым, но утомительным. Когда руководители отправлялись в Пекин, в Москву, в Женеву, они считали, что могут свободно туда ехать? И свободно вернуться? А там разговаривать на равных? Великие империи тяжело дышат, и в рядах ООП царило смятение. Предпоследнее замечание алжирского офицера было приблизительно таким:

— На Ближний Восток вернется мир, когда палестинцы перестанут быть паладинами неба и начнут жить так, так живет весь разумный мир: удовлетворять свои потребности за счет собственных ресурсов вместо того, чтобы идти убивать и умирать.

Вернувшись в Ас-Салт в 1984 году, я вновь увидел эти дома с портиками в романском стиле, круглые арки, опирающиеся на четыре мраморных колонны, какие-то нездешние, словно перенесенные сюда моим желанием иметь пригодный для жилья дом и сад с видом на море и Кипр вдали, меня охватила ностальгия, и я сам не понимал ее причины: то ли желание укрыться в раковине, то ли радость окунуться и телом, и разумом в романский стиль, как в морские

волны; второе предположение казалось более возвышенным, нежели первое, хотя и менее правдоподобным. Тогда, четырнадцать лет назад, утром, доктор Махджуб, услышав мое восклицание: «Какой красивый» при виде домика в Ас-Салте, освещенного рассветными лучами солнца, сказал: «ООП вам его сняла на полгода». Я почувствовал такое разочарование, что этот дом сразу же показался мне непригодным для жизни, а все прочие строения, что я видел в Ас-Салте, являли собой, я, по крайней мере, в это верил, аутентичную архитектуру маленького византийского городка, в котором я мечтал бы прожить до самой смерти, то есть, остаться здесь одному часа на два — на три, но не больше. На этот раз, в 1984, солнце освещало дом не с фасада, а с обратной стороны, потому что было пять часов вечера, то есть, романский портик находился в тени, что добавляло городу еще больше средневекового флера, и я мог остаться здесь спать, моему возрасту нужно было пристанище на ночь. Пара моряков предложила мне такое пристанище, и я оказался помещен в некую полость, образованную пространством и временем. Я жалел о домике в Турции, о саде, о виде на море и берега Кипра, о морском сражении, которое мне бы хо-

телось увидеть прямо из окна, об утопленниках в воде, ставшей спокойной и безмятежной.

Когда в сентябре 1971 я скитался вокруг Аджлуна и пытался понять причины краха палестинского сопротивления, в том состоянии оцепенения, в каком я тогда находился, мне в голову приходило разве что это:

Перебирая в памяти все, что я, как мне тогда казалось, знал о фидаинах, я полагал, будто сопротивление со всеми его религиозными наставлениями, которыми пичкали сражающихся, предписывало скорее обороняться, а не нападать. Акт убийства представлялся чем-то далеким, ему сопутствовало такое количество ритуалов, что напрашивалось сравнение с охотой на куропаток, когда нужно было получить лицензию, купить охотничье ружье, карабин, патроны, выбрать дробь, в общем, это было сопряжено со множеством обрядов, цель которых, похоже, — уменьшить удельный вес убийства: компания мужчин, охотничья лексика, суета женщин возле кухонной печи перед возвращением охотников, охотничьи песни, то, как вскидывали ружье, прицеливались, нажимали на курок — все это означало не отнять жизнь, а исполнить некое обязательство, принятое в светском обществе.

Мне казалось, палестинцы перестали осознавать, что имеют к смерти жертвы прямое отношение: а это хоть отвратительно, но неизбежно, коль скоро на карту поставлена жизнь. Это отвращение к смерти на жестокой войне было подобно отвращению к танцам далеких предков, зародившимся в пустыне еще в незапамятные времена, они казались целомудренными в своей стилизованной чувственности, которая шлифовалась не одно тысячелетие, и тогда в Бакаа мне показалось, что я вижу танцующих солдат Навуходоносора. Но это были солдаты бедуины, осознающие силу танца и охоты.

Каждый день мы ели аргентинскую тушенку из жестяных банок. Это был наш самый преступный жест: вскрыть банку и освободить из нее быка, убитого в Ла-Плате. Бедуины — и это доказывали их танцы — напрямую контактировали со смертью. Животное, на которое охотятся, становится врагом. Любой, кто поймал животное, съедал его, будь это хоть перепелка. Палестинец был врагом. Убить врага просто. Но сами палестинцы не считали бедуинов врагами.

Невозможно вымарать из этой книги грузовик, который восемь месяцев возил нам в Аджлун галеты и консервы. Он выезжал из лагеря в Баке,

перемещался от базы к базе, сначала отправлялся в Аджлун, сгружал наш паек, ехал на другую базу. Как это описать? Под каким углом смотреть на это? Лучший наблюдательный пункт — это глаза мальчишек иорданской деревни. Они видели грузовик сверху, доверху наполненный галетами. Дети были голодны, их семьи тоже, а наш грузовик с продовольствием проезжал у них под носом, бороздил дороги, вез еду фидаинам, но не этим детям с большими глазами и большими вспученными животами. Должно быть, взгляды и жесты бедуинов стали другими из-за беспокойства перед палестинцами, которые, будучи похожи на них, словно братья, знаменовали собой приход иного мира, долгое время существовавшего далеко от них благодаря пустыне, когда-то неприступно-смертельной, теперь постыдно-доступной.

Возможно, такое объяснение и приемлемо, но порой слепое безумие овладевало, пусть даже ненадолго, многими фидаинами.

Поражение палестинцев от Ас-Салта до Ирбида — убийства, бегство, пленение, лагеря и пытки — помогло мне понять, что жизнь фидаинов казалась такой легкой из-за того, что над ними, над их головами все время парила смерть. Пусть эта

риторическая фигура отвратительна, но у воинов была эта легкость бытия, потому что они знали: будущего они лишены. Махджуб сказал мне: «Если я хочу быть истинным воином, я не должен думать о том, что стану делать послезавтра». Фраза, безусловно взятая из катехизиса идеальной жертвы. Цели революции были настолько труднодостижимы, что стоило жить лишь настоящим моментом.

Я говорю это или нечто подобное и знаю, что выздороветь уже не смогу: фидаины, ставшие моими друзьями, хотя эта дружба не имела продолжения, погибли, ранены, арестованы, скрываются, присоединились к другим отрядам и сражаются в других странах. Деревья, буки, грабы, тополя никто не потревожил. Они молчали. Я уходил, почти ступая на цыпочках, как выходят из спальни, где уснула даже кровать.

Когда произносят слова «свирепость фидаинов, они означают их грубое обращение с предметами, но не жестокость.

Меня восхищало, как легкомысленно и небрежно относились они к мебели, в этом было что-то символическое: такое мне, к примеру, довелось наблюдать однажды между Аджлуном и Ирбидом ночью при свете луны, причем, эта луна была

единственным освещением; я будто вновь вижу себя среди груды бархатных вольтеровских кресел. В марте 1971 база фидаинов располагалась на виллах, которые король велел построить для своих министров на этой сухой каменистой территории. За несколько часов виллу освободили от мебели, и эти тридцать-тридцать пять красных бархатных кресел выставили в полукруг прямо на вспаханной земле. Нам досталось два таких кресла, стоящих рядом: одно фидаину-переводчику, второе мне. Кажется, река Иордан была где-то в километре от нас, чуть меньше. Палестинцы ждали начала конференции, перебрасываясь репликами, улыбками, историями, мыслями.

Вот список небольших предметов, которыми все обменивались: зажигалки размером с яблочное семечко, транзисторные приемники, спичечные коробки, механические бритвы, упаковки лезвий «Жилетт», миниатюрные издания Корана в медной обложке, крошечные, как ноготь на большом пальце ноги, но с гравировкой имени Бога по-арабски, авторучки, карандаши, сделанные в автомате фотографии на документы, карманные зеркальца, складные ножницы, в общем, то, чем можно было бы меблировать домик лилипута в спичечном коробке, я словно цити-

рую каталог детского варианта Национальной оружейной мануфактуры в Сент-Этьене, если бы такой существовал. В общем, сбывалось все до последней спички.

Наверное, настало время искать ответы: Греция с 1950 по 1955 была ко мне нежна и добра, Япония в 1967 восхитительна, в начале 1970 я полюбил Черных пантер, с конца 1970 по конец 1972 более всех и всего — фидаинов. Что же произошло? Греки, японцы, Пантеры, палестинцы жили под счастливой звездой? Или, может, меня так легко привести в восхищение? Они всё еще такие, какие остались в моей памяти? Это было так прекрасно, что я задаю себе вопрос: а что если все эти периоды моей жизни мне просто приснились?

Когда в рисунке оказывается слишком много неточностей, художник стирает их, и после двух-трех взмахов резинки лист оказывается абсолютно белым; так, если стереть Францию и Европу, эта белизна передо мной, бывшая прежде Францией и Европой, становится пространством свободы, куда можно вписать Палестину, прожитую мной палестинскую жизнь, но при условии, если ее подправить и подретушировать. Как Алжир, как другие страны, не говоря уже о революции в арабском мире, она была возможна

лишь на территории, на которой могло бы появиться двадцать второе государство, принеся с собою то, что требуется от вновь пришедшего: Порядок и Закон. Это восстание, столь долго проходившее вне закона, надеялось ли оно стать законом, каким для Европы стал закон Неба? Я попытался объяснить, чем это восстание стало, но Европа, сделавшись для меня *terra incongnita*, оказалась стерта.

Возможно, резня в Шатиле в сентябре 1972 не стала для меня определяющим фактором, да, она была, я принял эти события близко к сердцу, я говорил о них, и хотя писать стал позже, сначала был инкубационный период, мгновение или мгновения, когда какая-то клетка, одна-единственная, изменив свой привычный метаболизм, стала плести первую петельку кружева или раковой опухоли, о которой никто еще не подозревает, какой она будет, да и будет ли вообще, так я решил писать эту книгу. Решение окрепло, когда несколько политических заключенных убедили меня сократить поездки, уменьшить время пребывания во Франции. Все, что не было этой книгой, оказалось далеко, сделалось почти неразличимым глазу. Палестинцы, мои поиски Хамзы, его матери, мои поездки на Восток,

особенно в Иорданию..., а Франция, Европа, запад существовать перестали. Мое посещение некоторых регионов Африки, дни, проведенные в Аджлуне, оторвали меня от этой Европы, от европейцев, которые уже так мало значили. С середины 1983 я уже был достаточно свободен, чтобы начать записывать свои воспоминания, нечто вроде репортажа.

Когда выступает свидетель, после имени и возраста он произносит фразу: «Клянусь говорить правду и только правду». Прежде чем начать писать, я поклялся себе говорить в этой книге правду, специальной церемонии не было, но всякий раз, когда какой-нибудь палестинец просил меня прочитать или начало, или определенный отрывок, опубликовать что-нибудь в журнале, я под любым предлогом старался этого не делать. Юридически свидетель это человек, который ни противостоит судьям, ни служит им. Согласно французскому закону, он поклялся *говорить правду*, а не *говорить ее судьям*. Свидетель клянется перед трибуналом и аудиторией в суде. Свидетель один. Он говорит. Судьи слушают и молчат. Он отвечает не только на подразумеваемый вопрос *как*, он должен показать, *почему* произошло это *как*, он освещает его особым светом. Поскольку

самих судей не было на месте преступления, свидетель необходим, но он знает, что голые факты не скажут ничего никому, в том числе и судьям, если не будут освещены светом или затемнены тенью, которые он один и сумеет различить. Судьи могут объявить эти показания ценными, они такие и есть.

Почему в зале суда звучит эта почти средневековая клятва, как во времена каролингов? Возможно, она окутывает одиночество свидетеля, одиночество, дарующее ему легкость, с которой он может говорить правду, потому что в зале заседаний всего лишь три, может, четыре человека умеют слушать свидетеля.

Реальность вне меня, поскольку существует сама по себе и для себя. Палестинская революция живет и будет жить как данность. Палестинскую семью, состоящую из матери и сына, первые, кого я встретил в Ирбиде, я встречал и в другом месте. Возможно, в себе самом. Пара мать-сын может жить во Франции и где угодно. Сумел ли я осветить эту пару своим собственным светом, сделав из этих людей не посторонних, за которыми я наблюдаю, а возникших из меня самого, которых мое воображение совместило с двумя палестинцами, сыном и матерью, живущих чуть

на отшибе сражения в Иордании?

Все, что я рассказал, написал, было на самом деле, но почему же именно эта пара — то, что остается мне от *сущности* палестинской революции?

Я сделал все, что мог, чтобы понять, как мало эта революция похожа на другие, и в каком-то смысле мне это удалось, но всё, что мне останется — этот домик в Ирбиде, в котором я провел одну ночь, и четырнадцать лет, в течение которых пытался понять, была ли эта ночь. Эта последняя страница моей книги прозрачна.